ISSN 0012-6756



Дружба народов

7/2021

ПИСАТЕЛЬ КАК ЧИТАТЕЛЬ

7'2021

Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал

Основан в марте 1939 года

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
http://дружбанародов.com

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей НАДЕЕВ

Ольга БРЕЙНИНГЕР

Ирина ДОРОНИНА

Ответственный секретарь Елена ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья ИГРУНОВА

Галина КЛИМОВА

Владимир МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр СНЕГИРЁВ

Редакционный совет

Мария АНУФРИЕВА

Сухбат АФЛАТУНИ

Муса АХМАДОВ

Ольга БАЛЛА

Дмитрий БИРМАН

Денис ГУЦКО

Иван ДЗЮБА

Ольга ЛЕБЁДУШКИНА

Фарид НАГИМ

Илья ОДЕГОВ

Кнут СКУЕНИЕКС

Сергей ФИЛАТОВ

Ренат ХАРИС

Вячеслав ШАПОВАЛОВ

ЭЛЬЧИН

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaompk.рф тел.:
(495)745-84-28; (49638)20-685

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию, указанную в выходных сведениях.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Сдано в набор 20.05.2021.
Подписано в печать 26.06.2021.
Формат бумаги 70 x 108 $^{1}/_{16}$
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ 8777. Цена свободная.

16+

СОДЕРЖАНИЕ

Скриншот: книги читателей. *От редакции — Наталья Игрунова* **3**

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Бахыт КЕНЖЕЕВ. Новые нравоучительные стихотворения Ремонта Приборова **4**

Георгий ГРАТТ. Русский Стикс. *Роман* **8**

Владимир ГАНДЕЛЬСМАН. Стихи из «Велимировой книги» **73**

Владимир ЕРМОЛАЕВ. Движение на закат. *Фрагмент романа* **78**

Дмитрий РУМЯНЦЕВ. Лампа Аладдина. *Стихи* **126**

Александр ВЕРГЕЛИС. В поисках бедного Йорика. *Рассказ* **130**

Алина ВИТУХНОВСКАЯ. Гамлет — попытка полёта. *Стихи* **159**

Владимир ТРЕНИН. Рюмка Достоевского. *Рассказ* **162**

Сергей ЗОЛОТАРЁВ. Витька и Сухомлин. *Междуречье* **173**

Наталья ИЗОТОВА. Ахматова в профиль. *Стихи* **180**

ДИАЛОГИ С ПАМЯТЬЮ

Валерий ПИСКУНОВ. Опыт Евангелия. *Метанойя* **183**

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Олеся НИКОЛАЕВА. Брат мой Битов **192**

БИБЛИОНАВТИКА

Ольга БАЛЛА. Вчитывая, вычитывая, (пере)прочитывая.
Писатели о писателях в серии «Жизнь замечательных людей» **238**

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

Вечный Сад: символ, почва и судьба. *О романе Марины Степновой «Сад»*
размышляют Елена ЛЕПИШЕВА, Александр ЛЮСЫЙ и Елена САФРОНОВА **248**

ПОДРОБНОЕ ЧТЕНИЕ

Николай АЛЕКСАНДРОВ. Реторта литературы (*В.Сорокин. «Доктор Гарин»;*
А.Соболев. «Грифоны охраняют лиру») **264**

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. И вновь читая жизнь свою **269**

SUMMARY **272**

© «Дружба народов», 2021

Скриншот: книги читателей

Сквозная тема и главный герой этого номера «ДН» — писатель в роли читателя. Тема задана не сегодня и не нами, но в открытом доступе ее постоянные обновления.

Отечественные прозаики и поэты ничуть не реже и не менее изобретательно, чем в расцвете постмодернизма, обращаются к текстам и с текстами предшественников. Владимир Сорокин и Дмитрий Быков, Тимур Кибиров и Мария Степанова, Владимир Березин и Сергей Самсонов... В недавнем проекте романа-буриме по мотивам «Войны и мира» вообще задействован целый коллектив авторов. Отчетливая тенденция последних полутора десятков лет — в «разработку» писателей все чаще попадает писатель. На «бумаге» и в интернете, в разных форматах, на разных площадках. Да что там, достаточно беглого взгляда на плотно заставленную полку книг писателей о писателях в серии «ЖЗЛ»... Писатель становится персонажем. Историческое лицо под собственным именем, со своей судьбой (или с авторской легендой) и репутацией — и рожденный воображением современников и потомков образ, миф (это в равной мере касается текстов художественных и нон-фикшн, когда мемуары или биография облекаются в форму документального романа или жития).

Мы не задавались целью всеобъемлюще проанализировать, что за этим стоит. Стратегия издателей, уловивших запрос публики на жизнеописания? желание писателей вступить в диалог с классиками? присвоение символического капитала? стремление возродить традицию просветительства? соблазн получить «готового» героя?.. — да мало ли что еще. Идея этого номера — проиллюстрировать тенденцию, сделать скриншот, срез литературного процесса в моменте. Подумать о том, что Бахтин называл живым событием автора и героя, о том, насколько плодотворна литературоцентричность для современной литературы, и о том, насколько сегодняшняя реальность зависит от полета воображения писателя.

На страницах июльской журнальной книжки Гаврила Романович, Александер, Антоша, Мишенька, Николя, мастер Вил... — лица, похожие на Державина, Пушкина, Дельвига, Лермонтова, Гоголя, Шекспира,.. — читают свои стихи и спорят о народной душе и судьбе России, о масонах и Библии, о добре и зле, тщатся «разгадать смысл жизни» и печально уходят «понемногу», по одному, почувствовав, что на «большой Земле» умирает память о них. Их Вергилий в таинственном краю между Смородиной и Почаем — некто Гайст — то ли Демон, то ли персонаж популярной ролевой игры. А на соседних страницах Пушкин, Гоголь и Мандельштам уже делят общую посмертную маску — кто хочет, тот берет, по очереди. Пятнадцатилетний школяр крадет череп из кабинета биологии и пытается обменять «бедного Йорика» на кило картошки. Однофамильцы идеологов литературного движения «Буря и натиск» Гердера и Гамана живут в башнях, названных их именами, и один из этой четверки пишет роман о другом, а сам автор пытается постичь процесс превращения замысленного в вымышленное. Поэты задают вопросы Велимиру Хлебникову и Хармсу и призывают не будить Есенина в «Англетере». Андрей Битов рассказывает, что у него было сразу два крестных. Булат Окуджава вспоминает, как остановивший его гаишник просит автограф и отказывается от протянутой надписанной книги прозы — о Толстом он уже все знает... Вот и попробуй, читатель, разберись, что было на самом деле, а что — творческое (весьма разной степени свободы) преломление обстоятельств, фактов, событий, — то есть вымысел, «литература», миф. Скучно уж точно не будет.

Наталья ИГРУНОВА

Бахыт Кенжеев

Новые нравоучительные стихотворения Ремонта Приборова

В 1974 году я отправился в ДЭЗ № 10 Тушинского района получать новый паспорт взамен утерянного. Жившим при Советской власти известна эта унизительная процедура. День, а может, и неделя были безнадежно испорчены. Томясь в порядочной очереди, я от нечего делать стал читать стенную газету ДЭЗа, ожидая встретить там призывы бороться за культуру уборки лифтов и очковтирательские отчеты о количестве сэкономленных веников. Обнаружив в стенгазете поэтический раздел, однако, уныние мое безвозвратно рассеялось! От шести стихотворений, кое-как отпечатанных на машинке «Москва», несмотря на их определенную бесхитростность, на меня повеяло истинным вдохновением. Правда, я недолюбливал Советскую власть, а эти стихи ее воодушевленно защищали. Но главным в них, несомненно, была глубокая вера, подлинная искренность! Меня окликнули. Я увидел смущенного юношу с горящим взором и с разводным ключом в руке. Это и был Ремонт Приборов, работавший тогда в ДЭЗе сантехником, а вечерами учившийся на инженера-ассенизатора. Разумеется, о публикации этих стихов в мейнстримовской печати не могло быть и речи. Советской власти требовались не убежденные сторонники, а прожженные циники. Мы немало сокрушались об этом в тот вечер на кухне моей тушинской квартиры, обмывая новый паспорт, полученный без очереди с помощью моего даровитого нового друга.

Ремонт Приборов — скромный, услужливый, талантливый, всегда при бутылке андроповки, а то и двух — вскоре прочно вписался в круг «Московского времени», сблизившись и с Сопровским, и с Гандлевским, и с Цветковым, и с Виталием Дмитриевым, и с Юрием Кублановским, а впоследствии — и с Тимуром Кибировым. Тогда же он взял себе этот псевдоним, хотя никогда не скрывал своей настоящей сибирской фамилии — Ремонт Бытовых-Приборов.

Ремонт Приборов — один из тех поэтов, настоящий расцвет которых начался с переходом России к рыночной экономике. Его лира отзывалась едва ли не на все ключевые события последних лет. Вдумчивый читатель отметит некоторую противоречивость эволюции поэта от коммуниста к демократу, но в том и состоит своеобразная прелесть его творческого пути. (Вспомним, сколько лет потребовалось, например, Бродскому, чтобы расстаться с заблуждениями юности и гневно бросить свой партбилет на стол секретарю санкт-петербургского обкома КПСС!) Печатается он редко и неохотно, отчасти от скромности, отчасти по причине материальной независимости, заработанной честным и нелегким трудом.

Я рад возможности представить читателям новые стихи этого даровитого самородка.

Бахыт КЕНЖЕЕВ

Бахыт Кенжеев — поэт, прозаик, эссеист. Родился в 1950 году в Чимкенте (Казахстан). Окончил химический факультет МГУ. Автор многочисленных книг стихов, среди них — «Позднее: Книга стихов» (СПб., 2016), «Элегии и другие стихотворения» (М., 2018) и нескольких романов. Лауреат литературных премий: «Антибукер» (2000), «Москва-транзит» (2003), «Русская премия» (2008) и другие. Живет в Нью-Йорке.

1

Иван
Сел на диван.
Левретку —
пристроил на табуретку.
А коня
Усадил на меня.
Был я раньше парнишка весёлый,
А теперь мне сказать простительно,
Что конь — ужасно тяжёлый,
А Иван — отвратительный!!!

2

Полез на тибетскую гору Василий.
Взобрался наверх — и совсем обессилел.
Хочет попить, отдохнуть, поесть —
но не знает, бедный, как с горки слезть.
А старый дружок его Петя
Никогда не бывал в Тибете,
и в горы карабкаться не любил.
Да и что он в этом Тибете забыл?

3

Таня вышла замуж за Катю,
Теперь они спят на одной кровати.
От зависти Коля женился на Вове,
Аркаша — на старой корове.
А одинокий дедушка Федя
Взял и влюбился в лесного медведя.
Есть у Феди и ум, и прекрасный нрав,
Но в данном случае он неправ!

4

Отчего грустит альпинист Василий?
А его на праздник не пригласили!
И Алёна, и Толик, и конь, и корова
В прошлый четверг в половине второго,
В ресторан приехали на метро —
покушать, попеть и попить ситро.
А Васю забыли. Ему тяжело.
Потому что он ябеда и фуфло.

5

Да здравствует бодрость духа!
Час чистоты настал!
Алёша помыл своё правое ухо,
И вдруг ужасно устал.
Никакой гигиены у парня не вышло!
Завалился он спать, обормот.
А несчастное левое ухо неслышно
Рыдало всю ночь напролёт.

6

Друзья мои! Среди американцев
Не так уж много вегетарианцев.
Вольно же им громить мясные лавки,
И в сердце родины вонзать свои булавки!
О веган! Ты умом подобен гномику!
Зачем ты подрываешь экономику?
Тебя бы звездануть об стенку лбом,
Чтоб подавился соевым бобом!

7. Иностранной агентке

Не спасет тебя, Алиса,
Мировая закулиса!

8

Известно всем, что любит Таня
Грибы, тушёные в сметане.
Они — отрада для души,
Да и под водку хороши.
А у Петра ума немного —
Он обожает осьминога.
Пред ним на блюде гад морской
Исходит смертною тоской.
Но твёрдо корешу скажу я:
Не порти, Петя, жизнь чужую!
А стань, как Таня и как я,
Поганку бледную жуя!

9

Серёжа — знаменитый дачник, богатый, словно царь Горох.
А Лёша — жалкий неудачник, едва считающий до трёх.
Сергей рулит на дискотеке. И тачка у него, и зять.
А Лёша даже ипотеки по бедности не может взять.

Что ж! Так, ребята, мир устроен. Пинает лоха он ногой!
Один рождается героем, и скучным лузером — другой.
Но не завидуй, смерд! И витязь, и князь из брения возник.
А если денег нет — держитесь! Ведь счастье все-таки не в них.

10

Скобарёв Виталик выиграл в лотерею.
Захотел истратить денежки поскорее.
Пошёл на рынок, купил слона
И двадцать четыре огромных бревна.
Весь день по квартире брёвна таскает слон,
Машет толстым хоботом, словно птица.
Потому что добрый и трудолюбивый он.
А Виталик радуется и гордится.
Очень здорово поступил Скобарёв.
Я для вас всё разложу по полкам:
Обзавёлся другом, запасом дров
И шальные баксы истратил с толком!

11

Коля, в отличие от Оли,
Прескверно учился в школе,
Тройки получал по математике,
Биологии и грамматике.
Коля пишет кота через ять,
Крестика не отличает от нолика,
Ходит в маске, чтобы людей не пугать
Жалкой мордой курильщика и алкоголика.
А красотка Оля — всегда ни в одном глазу!
Пишет жалобы в суд без единой ошибки.
И завидует Коля, роняя слезу:
«Что за счастье досталось этой паршивке!»

12

Друзья! Своеобразен гений, сжимая кисть или резец.
Он — ключ великих откровений и праведности образец.

Вот, скажем прямо, ваш покорный. Добытчик, повар и пиит.
Не знает он печали чёрной, не пьёт, в постели не храпит,

Зато в искусстве понимает с весёлой песней на устах,
И маски с морды не снимает, грустя в общественных местах.

Когда вселенский ветер дует в лицо, сбивая нас с пути,
Не зря поэт рекомендует мораль и нравственность блюсти.
В разгаре страстного ли чата, иль слыша от жандарма «стой!» —
Учитесь, дети и внучата, ключам гармонии святой!

Георгий Гратт

Русский Стикс

Роман

Wheresoe'er I turn my view,
All is strange, yet nothing new[1]
Samuel Johnson

Лето одна тысяча восемьсот сорок первого года от Рождества Христова выдалось бог весть каким. Короткие жары сменялись вдруг промозглым северным ветром, и надолго заряжали нудные дожди-сеногнои, поднимая из берегов реки и в грязь разбивая дороги. Выйдешь во двор, глянешь в мутное небо, сплюнешь и перекрестишься: за что, господи, напасти сии терпим?

В доме по причине слякотно мерзкой погоды было жарко натоплено и стоял тот тяжелый удушливый полумрак, который бывает от сырых дров и чрезмерной экономии свечей. Верно, управляющий был из немцев или из бывших интендантов. Сам же дом этот казался необычайно громоздким. Был он о многих комнатах и походил скорее на деревенский трактир или обветшалую почтовую станцию, где среди лиц знакомых и алознакомых попадались и вовсе случайные или даже неизвестные, на которые, впрочем, никто не обращал никакого внимания. По бесконечным проходам меж комнат толкались какие-то чумазые розовощекие девки в подоткнутых передниках, сновали худосочные юноши, с гитарою или без оной, и терлись о косяки пушистые хозяйские коты, а из дальнего угла доносились слащавые звуки цыганского романса.

В передней зале играли. За круглым столом собрались трое. Тусклые трехсвечные канделябры обманчиво освещали их лица, рождая порой странные портретные сходства.

Так один из них, с длинным носом, похожим на руль рыбацкой лодки, с тяжелыми усталыми веками и едва различимой усмешкой на тонко очерченных губах напоминал известного всем картежника, поэта и любимца императрицы Гаврилу Романовича.

Другой, моложавый и круглолицый, с густыми, полумесяцем бровями и чуть опушенными бакенбардами, был копией князя Шаховского.

Георгий Гратт (Воскресенский Георгий Борисович) родился в 1954 году в Ярославле, где живет и поныне, работает учителем математики и информатики в школе. С 2005 года неоднократно публиковался в журнале «Дружба народов». Предыдущая публикация — повесть «Свинцовый дирижабль», «ДН», 2014, № 4), в 2016-м в изд-ве «Факел» вышел роман «Изгнание русского духа, или Улыбайся в Нью...».

[1] Куда ни глянь, все странно, но ничего нового (*англ.*).

И наконец третий — страшно сказать! — третий... Хотя стоит ли продолжать? Пусть уж лучше они сами назовут друг друга.

Итак, шла игра. Оплывший воск свечей заляпал аглицкое зеленое сукно обивки, от которого засалились и карты, в бокалах остывал забытый шоколад, а в щели прикрытых ставень проникал неверный свет, и вообще было уже очень поздно. Или слишком рано? Судя по кислым лицам собравшихся, игра шла по маленькой, не принося никому ни крупных выигрышей, ни столь же заметных поражений. Видно, Фортуна нынче отдыхала.

— Я пас, — сонно произнес один из игроков и раздраженно кинул карты на стол рубашкою вниз.

— Так не положено! Не положено! — укоризненно закачал головой сосед слева, похожий на Гаврилу Романовича. — Вы нарушаете правила!

А сосед справа грустно поглядел на паснувшего и тоже с явным упреком проговорил на немецкий манер:

— Александер!

— А и черт с ними, с правилами! Какие могут быть правила?! Мне надоело. И вообще, господа, который теперь час? — поднялся из-за стола нарушитель.

— Зачем же час? Играй сейчас. Сей час судьбой и предназначен, — донесся из угла голос четвертого, не принимавшего участия в игре.

— Браво, Дельвиг, браво! — захлопал в ладоши тот, к кому обратились, — Александер.

— А вы? — спросил игрок справа. — Прочтите и вы нам что-нибудь из новенького, раз уж так бесцеремонно покинули игру.

— Ну, что бы вам, право, этакое, князь?.. Я и не знаю. Вот разве это: «В дом прекрасный и пустой воротился царь морской...» Впрочем, нет, господа, не буду. Пустое... Да здесь и не пишется вовсе.

— Зато как дышится!

— Да, господа, накурили мы знатно!

— А не хотите ли вина, господа?

— Что? Вина? Ну уж нет, помилуйте!

— А не позвать ли нам поручика?

— Только, чур, не при дамах!

— Да где же вы видите дам, Александер?

— Не знаю, мелькали здесь будто бы...

Тут же явился и помянутый поручик, как всегда невесть откуда и в заляпанном грязью мундире.

— Послушайте, Ржевский, вы будто сейчас с коня, — усмехнулся из своего угла барон.

— Так дождь, господа, — виновато захлопал глазами поручик, — извините.

— Извиняем! Извиняем! — наперебой засмеялись господа. — Нуте-с? На бис! Что-нибудь из старенького.

— Ну, так, значит, вот, — начал поручик, запинаясь и неловко переминаясь с ноги на ногу. Наконец он вытянулся и застыл в торжественной позе греческого декламатора. — Про Пушкина. Анекдот. С бородой, — добавил он, обведя особым взглядом присутствующих.

В зале повисла напряженная тишина.

— Приезжает как-то раз поручик Ржевский в соседний полк, — начал он, — а там банкет. Дамы, шампанское и все такое. Господа офицеры у рояля собрались.

— И с чего бы он, право, туда приехал? — вмешался Дельвиг.

— Барон! Барон! Не мешайте же! Какая вам разница для чего? Так надо! Продолжайте, поручик.

— Ну так вот, собрались они у рояля, а полковой старшина — охальник и дуэлянт — и говорит: «Господа, господа, извольте выслушать! Новый анекдот о Пушкине. Только что из Петербурга». Все хором: «Просим, просим!» Он и рассказывает: «Поехал как-то раз Пушкин в лес с дамами. Грибы собирать. Ходили-ходили по лесу. Надоело. Умаялись. Решили в прятки поиграть. Вот все попрятались кто где, а кому-то водить досталось. Одна дама в стог забилась — ее сразу нашли, другая за дерево спряталась — ту тоже недолго искали, и только Пушкина искали, искали — нигде найти не могли. А он, не будь дурак, залез в болото и кричит оттуда: «Во мху я! Во мху я!» Ну, офицеры натурально заржали: «Браво! Браво! — кричат. — Чудесный каламбур!» Возвращается поручик Ржевский в родной полк и рассказывает: «Вчера я, господа, у соседей такой прекрасный каламбур услыхал! Про Пушкина». Офицеры, конечно, обрадовались, закричали: «Просим, поручик, просим!» «Так вот, — начал Ржевский, — поехал раз Пушкин в лес с дамами. В прятки играть. Ну, разбежались все, попрятались кто куда. Кто — в стог, кто — в болото. А Пушкин влез на дерево и кричит оттуда: «Пошли вы на ...й! Пошли вы на ...й!»

— Браво! Браво, поручик! — засмеялись игроки.

— Ну, это уж нет, господа! Это уж ни в какие ворота прямо! — скривился в углу Дельвиг.

— Да полноте вам, Антоша! Это же Ржевский! Чего ж вы хотели? Вы бы еще Баркова сюда пригласили.

Ржевский сконфузился, переминаясь с ноги на ногу.

— Ладно вам дуться, голубчик. Не обижайтесь! — приятельски хлопнул его по плечу Александер. — Ступайте! Ступайте! Возьмите вот рупь на водку.

— Премного вам благодарен, господа, — откланялся Ржевский.

— Послушайте, а поручик, он кто? — спросил из угла Дельвиг, когда тот удалился. — Откуда он взялся?

— А бес его знает!

— Я тоже что-то не упомню, когда он объявился в наших палестинах, — заметил князь.

— А разве это так важно, Фёдор Петрович?

— Да нет, но любопытно, знаете ли...

— А слышали вы, господа, как он французов обманул? — засмеялся Александер.

— Нет, нет, расскажите!

— В двенадцатом году это было. Наполеон тогда долго стоял под стенами Москвы, войти не решался. Все ждал капитуляции. И видит раз в трубу — белые флаги! Велит поход трубить. Входят в город. Посылает он узнать, от кого принимать капитуляцию. Являются разведчики по известному адресу, а на пороге их поручик Ржевский встречает. «Это вы вывесили белые флаги?» — спрашивают. «Да нет, — отвечает Ржевский, — это я портянки решил проветрить».

— Вот сукин сын!

— Признайтесь, Александер, вы это сейчас придумали?

— Да что вы, господа, это быль!

— А как он в комедии господина Грибоедова играл, слышали, господа? — вступил Гаврила Романович. — В домашнем театре князя... впрочем, не стану называть фамилии. И роль-то ему пустяковая досталась — слуг*и*. Так, на пару слов. Всего-то и сказать: «Полковник Скалозуб! Прикажете принять?» А надо заметить, он впервые на сцену вышел и страшно перепугался. Пока ждал выхода, все твердил за кулисами: «Полковник Скалозуб, полковник Скалозуб...» А как подняли занавес, вытолкали его на сцену, он и ляпни: «Полковник Сказолуп! Приняжете прикать?» Такой конфуз вышел. Поручика, сказывают, весь вечер сельтерской отпаивали.

— Вас послушать, господа, так прямо какой-то народный герой получается. Этакий а-ля Иванушка-дурачок.

— А что, Антон Антонович, это мысль!

— Это не мысль, Гаврила Романович, это мыслища! Браво, Антоша, браво! Каждой эпохе свой дурачок, как фига в кармане.

— Это-то и обидно, господа! Что ж у нас всё дурачки в героях?

— И опять же вы правы, барон, такая уж наша планида. Вы у князя поинтересуйтесь, как он со товарищи погеройствовать решили и что из этого вышло.

— Истинная правда, господа, — подтвердил Шаховской, — дурак нынче в фаворе.

— Вот и тост родился, а вы вина не хотели. За дурачков, господа! Как за дам, стоя! — поднялся Александер.

— А я не поднимусь и пить за них не стану, — нахмурился Дельвиг.

— Ну и черт с вами, барон, как хотите. Дуйтесь на весь мир.

На минуту воцарилась неловкая тишина, нарушаемая лишь приглушенными звуками из дальних помещений, среди которых особенно выделялась скверно настроенная гитара.

— Так который все-таки час, господа? И распахните же наконец ставни. Дайте свету! — опомнился первым Александер.

— Но почему вас так тревожит время? Вы чего-то ждете? — заинтересовался Фёдор Петрович.

— А вы уж, стало быть, и забыли? Вот и напоминай вам после этого. Нынче пятнадцатое число, Мишеньку привезут.

— Ах да, простите! И в котором часу?

— В шесть пополудни.

— Так идемте же скорее встречать!

Природа ознаменовала их выход особо неприветливым порывом ветра и мелкою сечкой дождя.

— Теперь бы только дома сидеть, — недовольно пробубнил себе под нос Гаврила Романович, угодив башмаком в лужу возле самого крыльца. — Не лето прямо, а черт знает что!

Безлико ровная, ничуть не всхолмленная местность простиралась перед ними. В ней безраздельно царила та особенная унылость, что подвластна лишь балалаечному строю, да и то в руках ученика, выучившего первые три аккорда. Редкие вётлы, склонившись в извечной печали, нисколько не радовали глаз, а только усугубляли общую безотрадность картины. В целом все тут вязалось одно с другим в бесконечно однообразный занудный мотив не то песни, не то причитаний безыскусного деревенского пьянчужки.

— А у нас здесь и не бывает иной погоды, — горько усмехнулся Фёдор Петрович, — разве что зимой, на святки.

— Ну, зачем уж так мрачно, князь?! — улыбнулся ему поверх очков Антоша. — Вон хоть и Александера спросить.

Тот, невзирая на рост, ушагавший далеко вперед своих спутников и захвативший лишь самое начало разговора, неожиданно резко обернулся и, состроив рожу, комично развел руками.

— Я ж говорил — карикатура!

— Полноте вам, друзья! Вас послушать, так прямо какой-то вселенский пессимизм!

— Эх, барон, барон! Вам ли с вашей неметчиной в крови судить! Jedem das seine[1] — не так ли? — не удержался Гаврила Романович.

— А что вы, собственно говоря, имеете против неметчины, против порядка и воли? Эту вашу «обломовщину»?

---

[1] Каждому свое (*нем.*).

— Я протестую, барон, так нечестно! — вмешался в спор Фёдор Петрович. — Это еще не вошло в обиход.

— Не вошло, так войдет, ждать недолго.

— И все-таки надо же придерживаться правил, тем более с вашей-то немецкой пунктуальностью!

— И вы туда же! Далась вам моя немецкая кровь! Да ежели хотите, я не менее русский, чем вы!

— А вот и нет! — опять не сдержался Гаврила Романович. — Дух, он, знаете ли, неистребим. Я еще давеча заметил, как вы за дурачков пить не стали.

— Господа, господа! Ну что вы, право, как дети?! — попытался урезонить их Александер.

Но тут уж вскипел Антоша — не унять, пунцовыми яблоками налились припухлые щеки. И верно бы, дошло до пистолетов, если бы одно непредвиденное обстоятельство не отвлекло горячие головы, заставив их позабыть о распрях. Они аккурат поравнялись со старой, наполовину усохшей ветлою, когда от ствола отделилась мрачная фигура в монашеском капюшоне и преградила им путь.

— По какому праву, любезный?! — выступил наперед князь, возмущенный помехой, и, забыв что он не при шпаге, принял стойку и потянулся рукой к отсутствующему эфесу.

Это движение не ускользнуло от незнакомца. Усмехнувшись тонко очерченными губами, он примирительно поднял правую руку и с язвительной укоризной в голосе произнес:

— Опомнитесь, Фёдор Петрович! К чему это ваше en-garde[1]? На вас никто не нападает. Оставьте сие для барышень.

— Разве мы представлены? — не обращая внимания на его иронию, парировал князь. — Что-то я вас не припомню, сударь!

— Ай-яй-яй! Не признали? — притворно обиделся незнакомец. — А сказывались магистром ложи!

— Вам-то что до того?! — нервно оборвал его тот.

— Мне-то, может, и ничего, а вот вам, полагаю, должно быть стыдно.

— Прежде чем стыдить, сударь, — вступился за товарища Гаврила Романович, — соизвольте назвать нам свое имя!

Но незнакомец, пренеприятнейше улыбнувшись в ответ, сделал этакий книксен в сторону защитника и нарочито задушевно, что выглядело уже явным издевательством, произнес:

— А вам, любезный Гаврила Романович, так и вообще пора... — он на секунду задумался и продолжил: — почистить перышки. Засиделись вы, так сказать, в этом предбаннике.

— Да кто вы такой, черт возьми, чтобы указывать?! — пришел в негодование автор «Фелицы» и даже топнул в раздражении.

— Я тот, кого вы вызываете всякий раз, не ведая, что сами вызываемы им, — туманно выразился незнакомец.

По лицу Александера пробежала смутная тень догадки, тогда как на лицах его спутников не отразилось ничего, кроме искреннего недоумения: есть места, в коих мысль нам не вполне подвластна.

— Ну и что? Что это значит? — произнес князь, но как-то вяло, без интереса. — Что означает ваш каламбур?

На сей вопрос незнакомец и вовсе не счел нужным ответить, а вместо того весьма неприлично зевнул, едва прикрыв рот ладонью. Затем как-то таинственно подмигнул,

---

[1] Начальное положение при фехтовании (*фр.*).

но не так чтоб кому-то особенно, а вообще, и вдруг, заговорщицки перейдя на шепот, поинтересовался:

— А куда это вы так спешите, господа, на вечер глядя?

Странная дрожь охватила Александера. Ему показалось, он где-то видел уже это лицо, это, пожалуй, наглое и вместе с тем такое печальное выражение глубоко посаженных глаз. И припомнился вечереющий Петербург, скрип возка на синеющих сугробах, маслянистое мерцание иконных лампад в черной глубине киотов да раскатистый окрик извозчика: «Па-аберегись, еть твою туды! Барина везем!» Но нет... видение было не оттуда.

— А мы вот на реку собрались, — ответил он за всех и, словно бы извиняясь за своих спутников, пригласил: — Хотите, присоединяйтесь к нам.

— С удовольствием, — ответил незнакомец и усмехнулся. — Не купаться, надеюсь?

Все же и князь, и Гаврила Романович в особенности, еще дулись невесть на что и потому остаток пути молчали. Антоша насвистывал какой-то романс Лядова, а Александер погрузился в бесплодные воспоминания. Что же до незнакомца, тот, казалось, все еще посмеивался в душе над незадачливыми путешественниками.

Река открылась им сразу вскоре за очередной купой чахлых кустарников, открылась во всей своей равнинной безмятежности. Туманная морось не позволяла толком разглядеть противоположный берег, к тому же было не вполне ясно, берег ли это? Не залитый ли водой остров мешает увидеть истинное? Там, за зыбкой пеленой рубежа, рождалось сейчас то, к чему были устремлены все их помыслы и взоры. И думалось о многом, вспоминалось. «На встречу юному пииту, — захваченный торжественностью момента сочинял Гаврила Романович, — уж Елисейские поля оделися в зелены травы, шумят приветливо дубравы, внимая песне кобзаря...» Александер нервно теребил бакенбарды.

Но ждать пришлось недолго. Не успел Гаврила Романович и вполовину составить свое пафосное воззвание, а Фёдор Петрович, как сказали бы теперь, ухватить понюшку табаку, как послышался плеск весла, и утлый челнок, раздвигая камыши, ткнулся к покосившимся мосткам. Лиц*а* перевозчика было не разглядеть, он будто бы слился со своей лодчонкой, зато его юный спутник был прекрасен. Пылкий взгляд странно оттенял его мертвенную бледность. Казалось, весь он был еще там, на том берегу, в битве, и лишь понурая девичья округлость плеч говорила о неизбежности свершившегося.

«Кавказец! Кавказец! Мишенька!» — пробежал сдержанный ропот среди встречающих. Сам же он, печальным взором обведя пустынную местность, неловко ступил на берег.

— С возвращением! — выкрикнул Александер, опередив остальных, и протянул ему руку. — Ура, господа! Нашего полку прибыло!

— Как, вы здесь?! — изумился гость, очевидно признав его, и с некоторой робостью ответил на рукопожатие.

— Здесь, мой друг, здесь! Как видите! Помнится, вы искали встречи со мной? Ну вот и дождались! — радостно сообщил он. — И давайте же без смущений, по-приятельски. Тут все так. Называйте меня просто Александер, мне будет приятно.

И он уж собрался было представить юному прозелиту своих друзей, как в разговор бесцеремонно вмешался незнакомец.

— Еще успеете наговориться, — нагло заявил он, подхватив юношу под руку, — времени у вас будет предостаточно.

Александер, смущенный таким напором, не успел и возразить, как тот, точно на крыльях, увлек свою жертву, и они шагали уже где-то далеко впереди, а в ушах все еще звучали слова незнакомца, брошенные напоследок: «Герои имеют право!»

— Вот вам и встреча, — обескураженно развел руками Гаврила Романович. — Сами напросились! — язвительно добавил он.

Но Александер не слушал. «Имеют право, имеют право», — бубнил он себе под нос. Вспомнилось, как сам таскал, уцепивши за бороду, воздушного карлу, не находя, к чему бы ее привязать, а тот лишь охал и стонал, моля о пощаде. И лишь на третий день удалось запереть его в чулане.

— Пустое! — ответил за товарища князь. — Это всегда так.

Дорогой обсуждали пережитое.

— А что это за река такая, господа? Вспоминал, вспоминал, никак не мог вспомнить, — пожаловался Антоша.

— Как?! Разве вы не признали? — удивился Фёдор Петрович. — Это же Смородина!

— Господь с вами, князь! Это Почай! Так и в «Слове» сказано, — перебил его Гаврила Романович. — А Смородина, так та совсем в ином месте, дальше. Почай — это рубеж, а уж кто за Почай перешел, тому и Смородина не страшна. И потом, на Смородине мостки, вы ж должны помнить, а здесь переправа.

— Верно, верно, я перепутал что-то, — согласился Фёдор Петрович, — теперь-то припоминаю. Калиновый мосток, так ведь, кажется? Змей сторожит.

— Ну, змей — не змей, где как рассказывают. Дойдете, сами узнаете. А так... никто ведь не возвращался, чтобы спросить.

— А в «Слове» разве Почай сказано — не Каяла? — осторожно поинтересовался Антоша.

Но Гаврила Романович сурово замахал на него руками.

— Что вы! Что вы! Каяла — это к Дону, а тут Почай!

Александер, который некоторое время шел молча, обернулся.

— Одного не пойму, господа, а как она с другими реками соотносится? — спросил он.

— Это еще и раньше такой вопрос был, — задумчиво проговорил Гаврила Романович. — Полагали, где-то в Заволжье искать следует, в вятских лесах. А я так думаю, что и севернее. Этак где-то в Перми.

— А не в Олонецком ли крае?

— Нет, нет, там не может. Там и реки другие — мельче. Такой не сыщешь.

— Да, красивая река, — промолвил мечтательно князь. — Ото всех вроде взяла — и от Волги, и от Дона, а уж от Днепра и подавно. Я как первый раз увидал, так и обомлел.

— А давно это было? — поинтересовался Александер.

— Уж давненько! Теперь и не припомню.

— И все же из всех вас старожил я, — не преминул вставить Гаврила Романович. — Вот уж уйду, так промеж себя старшинство делить станете.

— Ну, это когда еще будет! Может, еще и вперед кого пропустите.

— Нет уж, это вряд ли. Видно, прав был энтот нынешний герой — засиделся. Пора и честь знать.

Собственно, на этом разговор и закончился, потому как вернулись к дому и тут уж разбрелись кто куда по своим неотложным делам. Александер же, затеплив свечу, уселся сочинять письмо другу. Письмо было не совсем обычным и уже тем отличалось от прочих, что не имело ни начала, ни конца. Казалось, он всю жизнь трудился над ним. «Душа моя, — писал он нынче, — ты не поверишь, как захвачен я теперь своими воспоминаниями. Порой даже кажется, а не из них ли и состоит вся наша жизнь? Ибо кто мы в сущности, как не дети воспоминаний? И вот уже в который-то раз задаю я себе один и тот же мучительный вопрос: а в чем смысл этих переживаний и разве не исчерпали они себя уже в тот самый миг, как впервые были нами испытаны? Но тут же сам себе и возражаю: а так ли он чист, тот наш опыт при "первом поцелуе", и не мешают ли всякие помехи вкусить его истинную сладость? И вот, переживая

сызнова, мы раз за разом срываем шелуху обыденности, пока не доберемся наконец до исконного ядра».

Мысли путались, напирали одна на другую, громоздясь наподобие весенних льдин, и Александер едва поспевал записывать их, ритмично покачивая в такт головой. Он и не заметил, как состарился вечер и вырвавшееся из облачного плена солнце ударило красным лучом по ставням и по унылым промокшим деревьям. За этим-то занятием и застал его Гаврила Романович, неслышно войдя в кабинет.

— Ну, вот я и решился, друг мой! — весело сообщил он и несколько гнусаво промычал: — «Malborough s'en va-t-en guerre»[1].

— Как же это?! — оторвался от пера Александер. — Так скоро? Но ведь...

— И не отговаривайте, мой друг, не надо! Глядите, какой дивный вечер! Когда еще случится такое? Солнце в дорогу — отрада!

— Позвольте хотя бы проводить вас? — поспешно вскочил Александер.

— Конечно, конечно! Я и сам бы просил об этом, — радостно согласился Гаврила Романович.

— Так подождите же, я крикну остальных!

— А это лишнее, мой друг, поверьте, пусть только вы и я. Не станем делать из таинства балаган. Вы уж как-нибудь потом за меня проститесь. Да и пора уже, солнце садится, — сощурился он.

В огне заката раскисшая дорога полыхала, как самоварная медь, и черным рисовался недалекий лес, вскинув к небу острые пики елей. Охваченные благоговейным трепетом, путники молчали, думая о своем, пытаясь загодя разглядеть ту просеку в чаще, куда уводила дорога.

— А вы бывали здесь прежде? — не вытерпел наконец Александер.

Гаврила Романович пожал удивленно плечами:

— Зачем? Всему свое время, не так ли?

— Может и так, — согласился Александер. — А только жутко как-то, знаете ли! У меня так мурашки по коже!

Там, где дорога, окончательно превратившись в тропинку, ныряла в лес, стоял камень. Был он темен и мшист, в добрую половину человеческого росту и видать по всему, что поставлен был здесь задолго до царя Гороха.

— Что ж это? — удивился Александер, склоняясь прочесть надпись. — Раньше вы о нем ничего не сказывали!

— Камень и камень. Подумаешь?! Да я, признаться, и сам не знал.

— Э... тут не просто! — пробормотал Александер, водя пальцем по углублениям едва различимых букв. — Не просто камень! Тут слова! «Свет светит», — прочел он по слогам, силясь понять значение надписи. — Тут вот совсем стерлось. Тут ижица вот, юс малый... нет, не разобрать, — вздохнул он.

— Ладно, какой теперь во всем этом смысл? — бросил Гаврила Романович, раздражаясь задержкой.

— Кабы прочли, так был бы и смысл. Верно, предупреждение какое.

— Уж если и предупреждение, то для вас, для тех, кто еще не готов, — буркнул Гаврила Романович и улыбнулся, пряча печаль. — Что ж, давайте прощаться. Чует мое сердце, не скоро свидимся вновь, а и свидимся, так узнаем ли друг друга?

— Узнаем, узнаем! — воскликнул горячо Александер. — Непременно узнаем!

— Как знать? — произнес неопределенно Гаврила Романович и, по-стариковски смахнув набежавшую слезу, повернулся и зашагал прочь.

— Прощайте! — крикнул Александер ему в спину, но тот, не оборачиваясь, лишь едва качнул головой.

---

[1] Мальбрук в поход собрался (*фр.*).

В закатном солнце его неожиданно сгорбившаяся фигура таяла, будто ярмарочный леденец, пока не пропала вовсе, задернутая мохнатыми лапами елей.

Прошло с полчаса, а тропинка не кончалась, все дальше и дальше уводя в лесную глушь. Давно уже село солнце, и в сгустившихся сумерках стали видны редкие звезды, мелькавшие в просветах листвы. По временам путнику казалось, чьи-то глаза пристально следят за ним из темноты, и он едва сдерживался, чтобы не оглянуться. Поникшие ветви сбрасывали порой за шиворот редкие холодные капли, заставляя зябко передернуть плечами. А то вдруг где-то в стороне за деревьями слышался сиплый хохот, и тогда уж Гаврила Романович ругался сквозь зубы, торопливо осеняя себя крестом. Неприметные в темноте ветви хлестали в лицо, ноги разъезжались на осклизлой глине, а он все шел и шел, гонимый и жаждой, и страхом одновременно.

Прошло еще полчаса, как не больше, прежде чем он не то чтобы совершенно успокоился, но хоть как-то пришел в себя, справедливо рассудив, что бояться здесь нечего. «Чего это я? — пробормотал он под нос, — леса разве испугался?» И уж было повеселел, собрался даже молодецки присвистнуть, заложив в рот два пальца: эй! что тут за нечисть?! Выходи! — да так и обомлел, прилепившись спиной к корявому стволу.

То, что уловило его ухо, но еще не различал глаз, напрасно борясь с темнотой, при других обстоятельствах могло показаться совершенно пустяшным делом. При других... но только не здесь. Это были шаги, тяжелая поступь неизвестного, и шаги эти приближались. «Чур, меня! Чур!» — еле слышно пробормотал Гаврила Романович, еще сильнее вжимаясь в спасительный ствол. Мгновение спустя мрачная фигура в древнем хитоне поравнялась с ним и, не задерживаясь, будто дым сквозь пальцы, двинулась мимо. «Ба... да это же дух! Другие оттуда не приходят!» — только теперь сообразил Гаврила Романович, хотя еще секунду назад ему было не до размышлений.

— Эй! — крикнул он вдогонку, пытаясь приручить непослушный язык. — А далеко ли тут до моста?!

Но то ли крик вышел тихий, то ли встреченный им оказался глуховат, а только никакого ответа он не получил.

Непредсказуемы людские страхи. По-разному действуют они на труса и смельчака, а Гаврила Романович был не робкого десятку. Отнюдь не робкого! Вот и теперь, рассудив здраво, усмехнулся лишь над своей минутной слабостью. И более того: вдруг в мгновение ока осознал, что никакой он больше не Гаврила Романович с досадливой одышкой и неодолимой склонностью заплеснуть за воротник, а рыцарь, что ни на есть рыцарь без страха и упрека, вышедший померяться силой с неведомым чудищем к реке Смородине. И уж более он ничего не боялся.

В тех краях, где крапива да малина, да завалившийся набок плетень, где и лето бывает не в лето, а так, что хоть с печи не слезай, в тех печальных краях взгрустнется, бывало, о тепле, о солнце и припомнится веселое голоногое детство. Лукошко ли, полное ягод, костер за рекой или гроза под вечер. И защемит вдруг тоской сердце о невозвратном, заплачет, и поймешь тогда со всей остротой явившегося откровения, что вот это-то и есть твоя родина. А всякие там Бенкендорфы да Аракчеевы, коллегии, присутственные места, балы по пятницам у французской тетушки — все это никакая не родина, а так, не пойми что.

Странный дух, перепугавший накануне Гаврилу Романовича, вызвал немалый переполох в этих неведомых простому смертному краях. Впрочем, до поры сие оставалось тайною для их обитателей, а потому и пребывали они в полном здравии и благостном расположении духа. Князь играл на гитаре, Антоша сверлил очками потолок, удобно развалившись на диване, а Александер приводил в порядок ногти.

— А где ж это Мишенька-то у нас пропадает? — озаботился Фёдор Петрович,

отложив в сторону повязанную алым бантом гитару. — Мне так и обидно даже, господа: встречали, встречали...

— Верно, со своим дружком расстаться не может, — ухмыльнулся Антоша.

— Полно болтать пустое, барон! — осадил товарища Александер. — Или не доводилось вам прежде слышать о том, что герои преследуют своих творцов? Вижу, доводилось, — произнес он, выдержав паузу. — И что б вам вместо того не поинтересоваться, а где теперь Гаврила Романович?

— А что ж в том интересного, право? Дрыхнет, поди, как немецкий валенок!

— Разве и такие бывают? — прыснул Антоша. — Чем больше вас узнаю, князь, тем более вы меня удивляете.

А Александер, нахмурясь, покачал головой.

— Стыдитесь, князь! Вы не на плацу!

— При вас уж, ей-богу, нельзя и...

— Нельзя, нельзя! — поспешно оборвал его Антоша, не давая договорить, и нарочито жеманно замахал на него руками.

Такие милые колкости случались меж друзьями ежечасно, ничуть, впрочем, не омрачая общей приятельской атмосферы.

— Так вот, господа, — вполне торжественно проговорил Александер, — любезнейший Гаврила Романович приказал всем низко кланяться и отбыл давеча в известные вам края. То есть, конечно, — совершенно неизвестные, — поправился он. — Ваш покорный слуга имел честь сопровождать их сиятельство до самой опушки леса.

На мгновение в комнате воцарилась полная тишина.

— То есть, как это отбыл?! — опомнился первым князь. — А как же мы?

— Чего ж тут непонятного? Дойдет очередь и до нас.

— О чем вы? Какая еще очередь? Разве туда очередь?

— Да нет, конечно же. Это я просто так фигурально выразился. Вот вы, к примеру, готовы? Я — нет! — ткнул себя в грудь Александер. — Мне покуда и здесь хорошо. К тому же вчера у леса я такого натерпелся, не приведи господь!

— Да не о том ведь я и спросить-то хотел, черт побери! — осерчал Фёдор Петрович. — А в том больше смысле, что и разговор-то вчера несерьезный был — ну, пора и пора, подумаешь! Как на охоту: пора, мол, за зайцем ехать. А на самом-то деле можно и обождать. Не так же скоро!

— Ну, это всегда так. Никогда нельзя сказать заранее, а приходит срок — и идешь. Я бы вот, может, и хотел, да не смог. Говорю же, такой страх обуял, а Гаврила Романович, тот пошел как ни в чем не бывало. Как к себе домой пошел, прямо.

Антоша зевнул.

— Мне и здесь хорошо, господа. Моя бы воля, и вовсе никуда не ходил, так бы и жил тут. Жаль только, и это когда-нибудь да наскучит. Нет в мире совершенства!

— Экий вы, право! Совершенство вам подавай! Здесь не Германия, сударь.

— В Германии не совершенство, князь, а порядок. А это, согласитесь, не одно и то же.

— Вот и не соглашусь! — нахохлился Фёдор Петрович. — Где порядок, там и совершенство!

— Господа, господа! Опять вы за старое! Уймитесь же наконец! — вмешался Александер, предчувствуя новый разлад.

— Да вы и сами-то, Александер, рассудите! Вот барон о совершенстве твердит, а какое же это совершенство без порядка?

— Ничего я такого не твержу, — обиделся Антоша.

— Не перебивайте, сударь, дайте договорить. Какое ж может быть совершенство, ежели нет порядку? Этак один бедлам получается, как в туруханской бане. Первонаперво порядок должно установить, а уж потом и о совершенстве думать.

— Мне кажется, Антоша совсем другое имел в виду: совершенство есть некая высшая ипостась, которая уже сама по себе являет божественный порядок и оттого никакого иного порядка не требует, будь то хоть немецкий, хоть чей угодно другой. Так ведь, барон?

— Ну... что-то в этаком роде, — лениво откликнулся с дивана Антоша.

— Как это тонко, господа! Браво! Браво! — раздался из прихожей насмешливый голос вчерашнего незнакомца, а через мгновение обнаружился и он сам, стаскивая на ходу промокший плащ. — Вы уж извините покорно, но порядок, господа, будь он хоть божественный, хоть государственный, никакой на самом деле не порядок, а сплошное надувательство и насилие над личностью. Порядок, господа, это моя воля и не более того.

— А почему бы вдруг не моя? — процедил сквозь зубы Фёдор Петрович, который еще со вчерашнего дня затаил обиду на этого субъекта.

— Хотя бы и потому уже, что вы об этом спросили, — довольно развязно парировал незнакомец. — Глупо просить то, чего нужно требовать. Разве не об этом было записано в вашей «Зелёной книге»[1]?

— А как же идеалы равенства и братства?

— Ваши идеалы, князь, яйца выеденного не стоят. Они и во Франции-то никому не нужны, а уж тем паче в России.

— Можно подумать, вы знаете, что нужно России? — произнес Фёдор Петрович, особо при этом напирая на слово «вы».

— Конечно же знаю, и даже берусь доказать вам это! Хотите пари, господа?

— И каковы же условия? — хмуро поинтересовался князь.

— Но я, сударь, не ряжусь с вами! Или уж все — или никто. Так как же?

За все время этой странной пикировки Александер и барон молчали, выжидая, что будет дальше. Александер чувствовал некий скрытый подвох в предложении гостя и мучительно искал, чем на него ответить. Наконец решил, что будет лучше, если найдется какой-нибудь компромисс и, словно досадуя, произнес:

— Как же это вы здесь один? А Мишенька? Разве вы не вместе?

— Они отдыхают, — отмахнулся, словно от безделицы, гость. — Нынче после завтрака изволили почивать.

— Что-то вовсе на него не похоже, — с сомнением покачал головой Александер.

— А разве вы близко знакомы?

— Нет, но, знаете ли...

— Знаю, — бесцеремонно оборвал незнакомец, — ищете повод уйти от ответа. Что ж, я предвидел, что вы не примете вызов. Впрочем, с вами или без вас, а дело будет сделано, — таинственно заключил он.

— Это что же, угроза?! — не выдержал Фёдор Петрович.

Но гость лишь хмыкнул в ответ, удостоив князя насмешливым взглядом. Возможно, какие-то тайные причины заставляли его до поры держать язык за зубами, но он явно не считал нужным их пояснять.

В воздухе повисло тревожное ожидание. Гроза — не гроза, но что-то сухо потрескивало по углам помещения наподобие разрядов электричества. И в тот самый миг, словно луч солнца, блеснувший из-за туч, вошел, а лучше бы сказать и ворвался тот, кого уже не чаяли нынче видеть.

— Мишенька! — радостно вскочил ему навстречу Александер, протягивая руки. — А нам сказали, вы спите! Объясните же в самом деле, что все это значит, — обвел он широким жестом комнату. — И наконец представьте нам вашего героя!

Мишенька, явно смущенный столь дружеским напором, в нерешительности переводил взгляд с одного на другого, и в глазах его светилась та искренняя доброта, которую никак не спутаешь с мудростью.

---

[1] Устав «Союза благоденствия».

— Право, не знаю, как и представить, — смешался он. — Ну, это Дух, господа, Демон, если хотите.

При этих словах тот, чье имя перестало отныне быть тайной, сделал какое-то немыслимое па из давно забытого светского этикета, но сделал это нарочито небрежно. Словно всем своим видом хотел подчеркнуть некую в высшей степени самостность и независимость от создателя. Впрочем, что и говорить, он и так являл весьма разительный контраст в сравнении со своим творцом.

— Geist[1], — произнес он сухо, точно ворон кашлянул, — попрошу именно так, господа.

— Ну вот, все и прояснилось, господа, и слава богу! — заключил Александер. — Теперь, когда наконец все в сборе, я предлагаю отметить сие радостное событие.

— А почему же именно Geist? Почему же не Spirit[2] или, наконец, l'Esprit[3]? — не обращая внимания на примирительный тон Александера, не удержался Фёдор Петрович.

Гость ответил не сразу. Тяжелым взглядом, в котором застыло недоумение, обвел он присутствующих и, остановившись на князе, проговорил с той обидною интонацией, с какой обычно профессор выговаривает нерадивому ученику:

— Старушка Англия мирно дремлет в волнах океана, сударь, и не стоит ее будить. Франция же давно утратила свой революционный пыл, забыв и Конвент, и санкюлотов. И лишь Германия, верная боевому духу и древнему пророчеству о проклятии золота Нибелунгов, поднимается теперь с колен.

— Так, верно, и жить бы поближе к золоту Рейна. Чего ж на чужбину-то потянуло? — не унимался князь.

— Экий вы, право, остряк, сударь! — впервые улыбнулся гость. — Жить, конечно же, приятней в Европе, — задумчиво произнес он, — куда как приятней! Но революцию лучше делать в России.

— Оставьте наконец ваши умные споры, господа! Князь, ну сколько же можно тиранить гостей?! — не выдержал Александер. — Шампанское, господа!

При этих словах в руках Антоши хлопнула выстрелом бутылка, другая, и вот уже веселое вино игриво зашипело в бокалах. Какое-то время не набравшее должной силы оживление носило излишне строгий, чтоб не сказать — чопорный характер. Еще смущал звон вилок, казался хрупким хрусталь, и нечаянный локоть соседа взывал к немедленным извинениям. Но где-то в дальних комнатах попробовала свой строй гитара, за ней увязались скрипка и гнусавый тенор, а через минуту, шурша юбками и выбивая дробь каблуками, в неожиданно раздавшееся помещение ввалилась толпа цыган. И уже не прислушиваясь более друг к дружке, пирующие кто отбивал задорный такт на пузатых французских бутылках, кто, не устояв перед искушением страстной песни, подвывал режущим ухо фальцетом, а Александер так и вовсе ударился в пляс в кругу чернооких красавиц. «Ай, на-нэ, на-нэ, на-нэ. Ай, на-нэ...» — летело, кружило над залой, сбивая пламя свечей, и время, словно застыдившись своей неумолимости, остановило бег, рыжим прусаком забилось в далекие щели.

Кто сказал, что тризна — это печаль? Тризна — это радость по вернувшимся из страны испытаний героям.

— Как вам наши края, Мишенька? — склонился к самому уху гостя Антоша.

— Не знаю, еще не решил, — едва улыбнулся тот и добавил, пригубив вина из бокала: — Хотя, впрочем, шампанское — славное.

— А какое тут молоко! Как в детстве! — мечтательно произнес Антоша. — А ржаные пряники! Кухарка наша такие пекла. И сон глубокий, будто на сеновале, в прореху звезда смотрит. Вот погодите, еще обвыкнете!

---

[1] Дух (*нем.*).

[2] Дух (*англ.*).

[3] Дух (*фр.*).

— А есть ли здесь горы и море?

— Горы и море? — задумчиво переспросил Антоша. — Нет, не слыхал. А впрочем, ежели захотите, так, верно, сыщутся. Вам бы с Гаврилой Романовичем переговорить, он многое знал про здешние места, жаль вот, ушел вчера.

— Как это ушел? Куда?

— На Смородину, а то куда ж? Александер вон, — кивнул он на пляшущего, — провожал давеча.

— Позвольте, это что же за Смородина такая, разве та, былинная? Мне казалось, это фантазия.

— В том-то и дело, что никакая не фантазия, а самая что ни на есть реальность! Пожалуй, реальнее даже, чем мы с вами, — усмехнулся Антоша. — Это там, — махнул он неопределенно рукой, — фантазии, а здесь все по-настоящему.

— Что же, и поглядеть можно?

— Успеете еще, наглядитесь. Всему свой срок. Туда не просто так попадают.

— А как же?

— Вот этого не скажу, потому как и сам не знаю. Спросите лучше Александера, он нам нынче что-то такое рассказывал.

Мишенька задумался, посмотрел невидящим взором в окно, где на ставнях играли прозрачные тени берез. Произнес не то печально, не то сокровенно:

— Вообще, как-то странно все это. Ведь вчера еще только — Кавказ, Пятигорск, а сегодня вот здесь, с вами...

— Это бывает вначале, — согласился Антоша, — после пройдет. Все пройдет, — философски заключил он.

Тем временем за другой половиной стола складывался совершенно иной характер беседы. Князь, несколько захмелевший от выпитого и утомленный хороводом цыган, приятельски, если не сказать — фамильярно, ухватил под локоть своего соседа и, мучительно подбирая слова, произнес:

— Послушайте, Гайст, или как вас там! Так что это вы давеча рассуждали о революции?

Возможно, при других обстоятельствах такое его обращение и не осталось бы без последствий, но теперь, после обильной трапезы, гость был благодушен и явно не склонен к ссоре. И потому, уцепив со стола очередного вальдшнепа с аппетитной румяной корочкой, он на мгновение задумался, решая, по всей видимости, с чего начать, и, не найдя ничего лучшего, решил поступать, как Цезарь. Запустив зубы в сочное мясо, не без усилия проговорил:

— Революция — это большое искусство, сударь! Уж вы мне поверьте. — Освободившись наконец от птицы и широко улыбнувшись, прибавил: — Будьте так любезны, мой друг, подайте, пожалуйста, салфетку.

И опять-таки по формуле: коль скоро не обижаешься ты, так обижаются на тебя, особенно если этого ищут, Фёдор Петрович должен бы был осерчать. Должен бы... и уже было собрался, но, видимо, повод показался даже ему пустяшным. Посему не оставалось ничего иного, как выполнить незамысловатую просьбу и с преглупым выражением лица спросить:

— И в чем же вы видите тут искусство?

— Прежде всего, — вытерев рот, начал словоохотливый собеседник, — необходимо выяснить, кому и зачем это нужно. — И для пущей важности он поднял вверх указательный палец.

— Было бы чего выяснять! — рассмеялся князь на очевидную немецкую тупость. — И так все ясно!

— И что же, простите за нескромный вопрос, ясно лично вам?

— Да всем нужна эта революция! Всем!

— Неужели-таки всем? Вот вам, к примеру, зачем бы? — недоверчиво поинтересовался его оппонент.

— Ну... это... — замялся князь, — да тут не о чем и говорить! Все и так ясно как божий день!

— Что ж это вы, сударь, заладили одно и то же — ясно да ясно? Выскажитесь по существу.

В этот момент особенно громко ударила музыка, будто также призывая Фёдора Петровича дать сокрушительный ответ этому зазнайке, а гнусавый тенор изнемог на самой высокой ноте: «Скажи, скажи мне, друг сердечный, где похоронена она!»

— Черт с вами! — отчаялся Фёдор Петрович улизнуть от прямого ответа. — России нужна Конституция! Ей просто необходимо представительное правление! Наконец, ей давно пора сбросить самодержавие и провозгласить республику! Таков предначертанный ей путь!

— Охотно приму к сведению, сударь, — ухмыльнулся гость, — но вам-то лично зачем это нужно?

— То есть как зачем?! Как это зачем?! — Фёдор Петрович даже опешил от такого наивного вопроса. — Разве же я не сын своего отечества?

— Разумеется! Так оно и есть! — нарочито горячо подхватил гость. — Но ведь общественное служение не лишает вас потребности иметь и собственное мнение. Не так ли?

Фёдор Петрович помрачнел. Вопрос немца загнал его в угол. Он только теперь вдруг с совершенной очевидностью осознал, что никогда прежде и не задумывался об этом. Круговорот событий увлек его, как и всех его близких друзей, непосредственным переживанием происходящего: война двенадцатого года, заграничный поход, невиданная доселе европейская жизнь... Да, были тайные собрания и споры, и горячие головы, и горящие глаза. И за всей этой кутерьмой и предчувствием грядущих перемен как-то рассеивалось, стиралось личное, уходило на задний план, вытесняемое всеобщей эйфорией и пафосом.

— Ведь не станете же вы утверждать, — продолжал меж тем въедливый немец, — будто бы настолько срослись с общественным духом, что все личное перестало для вас существовать?

«Конечно же, не стану, — ворчал про себя Фёдор Петрович. Он уж и не рад был, что ввязался в этот дурацкий спор. — Черт меня дернул! — ругал он себя. — Совсем ведь допек, прощелыга судейская!» И уже искал, как бы отшить навязчивого собеседника. Но тот и не думал униматься, будто и впрямь решил допечь князя своей прокурорской логикой.

— Так вот я и спрашиваю вас, сударь, кому и зачем это нужно? А что же вы? — И не дождавшись ответа, сам же с усмешкой и отвечал: — А вы мне взамен твердите о какой-то предопределенности. С вами невозможно вести спор!

Неизвестно, чем бы закончилась их перепалка, но на счастье князя к столу вернулся запыхавшийся Александер, вырвавшись из круга танцующих.

— Вас нельзя оставить одних, князь, — с укоризной покачал он головой, застав конец разговора. — Вечно вы с кем-нибудь сцепитесь.

— Неправда! — непритворно обиделся Фёдор Петрович. — Я всего лишь поинтересовался, что думает наш гость о русской революции, так, в общих чертах, а он тут целую философию выдумал!

— Ну-ну! — погрозил ему пальцем Александер. — Знаем мы это ваше «в общих чертах»!

— Да вот же, ей-богу! — разволновался князь. — Вы-то что же молчите? — обернулся он к своему противнику.

— А что вы хотели услышать? — бесстрастно произнес тот.

— Господа! Господа! — перебил Александер. — Сколько ж можно?! Ну, время ли теперь?! Антоша! Мишенька! Идите же скорее пить вино! Барон, наливайте!

Взобравшись на табурет, он картинно поднял над головой бокал.

— Господа, — торжественно объявил он, — я хочу выпить теперь за этот чудесный край, что приютил всех нас! Пусть идет дождь, пусть сыро и слякотно за окном, и пусть все это называется «летом», но мы вместе, несмотря ни на что. И это чудесно! За наше братство, господа!

— Прекрасный тост! Браво! — воскликнул Антоша. — Но... — он обвел товарищей многозначительным взглядом, — но очередь теперь не ваша. Вы нарушаете правила.

С этими словами он обернулся к Мишеньке и, учтиво поклонившись, произнес:

— Не хочу показаться педантом, но как распорядитель я вынужден... — он сделал широкий жест рукой, словно приглашая его на середину, и, отступив в тень, закончил: — Господа! Слово гостю!

Мишенька, явно смущенный вниманием, вышел в круг.

— Тост действительно прекрасный, и мне, право, неловко, господа...

— Так в чем же дело? — выкрикнул князь. — Повторите — и дело с концом!

— Пожалуй, вы правы, — задумчиво проговорил тот. — Если позволите, лишь одно уточнение: за наше мужское братство.

— Стоя! — еще громче выкрикнул Фёдор Петрович. — Браво, господа! — и, выпив залпом, хрястнул бокалом об пол.

Вечером того же дня Александер писал: «Mon ami, что за чудо был нынешний вечер! Мишенька наконец-то пришел в себя и болтал без умолку. Рассказывал про Кавказ, про черкесов, про обычаи диких горцев. Читал “Мцыри”. И хоть мы давным-давно заучили эту историю наизусть, слышать его интонации, его чарующий голос было одно удовольствие. Антоша по обыкновению мечтал. Князь же — только и забот что спорил о политике. Будто ничто другое его теперь и не радует. Насилу оторвал его от Мишенькиного протеже. Кстати, не обошлось без конфуза, а причиною послужило все то же пагубное пристрастие Фёдора Петровича. Этак на середине вечера он заявил вдруг, что желает спать, но немного спустя вернулся и стал приставать ко мне с расспросами, что я думаю о мятеже двадцать пятого года. И правду ли молвят о том, что я отвечал царю. “Ну, что-то говорил в этаком роде, — ответил я князю, — припоминаю. Впрочем, какое это теперь имеет значение?” “В том-то и дело, что огромное!” — с жаром отвечал он и непременно добивался узнать мое личное отношение к событиям. Этот же новоявленный Мишенькин герой, услыхав мой ответ, не преминул усмехнуться: “Вот видите, что я вам говорил?” Очевидно, сие замечание следовало отнести к бывшему промеж ними спору. Князь вспылил, наговорил много такого, о чем в другое время верно бы пожалел, пытался призвать к ответу и Мишеньку: “Да уймите же вы его, наконец!” К нашему изумлению, Geist даже не счел нужным обидеться, но, думаю, то, что он ответил, озадачило нас в не меньшей степени. “Он, — указав пальцем на Мишеньку, произнес наш новый знакомый, — лишь вызвал меня из небытия. Другие оденут меня в плоть, но ни один из них не будет иметь надо мной своей власти”.

Как прикажете сие понимать?! Воистину, как говаривал мой папенька, que la volont? du ciel soit faite[1] !»

Странный край этот, протянувшийся в междуречье Смородины и Почая, имел не только свои особенности, но и свои тайны. И одною из них была та, что души сходящие и души восходящие в своем движении никак не соприкасались друг с другом. Таинство это не было следствием какого-либо пространственного разделения индивидов,

[1] Да исполнится воля небес (*фр*.).

а по необходимости являлось отражением их природной сущности. Таким образом, то, свидетелем чему стал Гаврила Романович, было, скорее, исключением из правил, неким странным стечением обстоятельств.

В один из последних дней лета тот, кого князь со свойственным ему прямодушием перекрестил на русский манер Гайстом, имел весьма прелюбопытную встречу. Визави же его как раз и выступал тот самый дух, что находился в контрадикции Гавриле Романовичу в его последнем на земле героическом путешествии. Поздние августовские сумерки сгущались над лесом. Солнце давно село, а красный диск луны еще не отбросил неверные тени, угольком мерцая сквозь ветви. Словом, тьма была такой, что и в двух шагах не различишь, лошадь пред тобой или человек. Хотя зачем свет тому, кому не нужны глаза, чтобы видеть?

— Так вот мы и снова встретились с вами, мой друг! — мрачно рассмеялся Гайст, и смех этот, прокатившись по опушке, вспугнул филина в чахлом осиннике. — Не ждали? Думали, забыл старый спирит?

— Не ждал, — честно признался его визави, и что-то печальное прозвучало в низком голосе: то ли скорбь, то ли досада.

— Вам бы теперь трагедию играть в самый раз, — усмехнулся Гайст, — то-то бы давилась публика! Впрочем, чего уж поминать! — оборвал самого себя. — Что было, то прошло! Обстоятельства изменились, пришел иной зритель. Хотя... — задумался он и неожиданно перешел на высокий штиль: — Хотя трагедия, как прежде, в моде. Плавильщиков, Мочалов, Каратыгин — какой напор! Какие имена! И прочие не хуже подрастают... Но я отвлекся. Это день вчерашний. Вы встретите иные времена.

Повисла невольная пауза. Казалось, Гайст и его спутник застыли наподобие древних каменных изваяний, над которыми не властны ни стихия, ни время. И даже летучие мыши, не замечая помехи, едва не задевали их крылами.

— Но разве прошлой услуги вам было недостаточно? — не вытерпел собеседник, и голос его при этом заметно дрогнул.

— Помилуйте, о чем вы, голубчик?! Конечно, достаточно! Но согласитесь ли вы сами после всего, что было, прозябать в глуши, в неизвестности, в этаком русском Стратфорде? Скажем, где-нибудь в Киеве или — хуже того — ютиться в сыром московском подвальчике? Вот в чем вопрос!

— А ответ? Мой ответ вам уже известен?

— Ну, зачем вы так? — картинно обиделся Гайст. — Конечно же, нет! Всегда есть выбор, и этот выбор за вами.

— И что я должен? Чего потребуете вы на сей раз?

— О, сущие пустяки! Безделица! И говорить не стоит! Всего лишь чуть-чуть сместить акценты.

— Опять добро и зло?

— Опять! — тяжко вздохнул Гайст. — Что правит миром? — продекламировал он. — Извечный вопрос, не правда ли?

— Но и ответ извечен — зло лишь правит, а побеждает все же не оно! — парировал собеседник.

Гайст в ответ лениво усмехнулся.

— К чему такой пафос, мой друг?! Мир условен: что зло для одного, то для другого — благо.

— Нет, я не соглашусь. Зло абсолютно!

Сей экспромт Гайст приветствовал бурными аплодисментами, взбудоражившими сонную округу.

— Браво, мэтр, браво! Недаром же прозвали вас сотрясающим сцену! Но потрясти основы мирозданья вам все же не удастся, — рассмеялся он. — Зло абсолютно?

Кто бы мог поверить! Ну, право, замечательный дебют! И чем его прикажете измерить — насколько абсолютен абсолют?

— Настолько, насколько абсолютно осознание того, что это зло. Злодей, убивший многих, все ж тяготится кровью жертв своих. Не кажется вам странной тяжесть эта? Как говорил когда-то Гесиод...

Но Гайст с поспешностью перебил, приняв актерскую стойку:

— Не надо пересказывать Макбета, там есть куда забавней эпизод. Припомните, что леди Макдуф сын ответил про злых и добрых граждан: если первых на свете большинство, то что ж рядиться в белые одежды? Куда как проще взять да перебить всех прочих! А после праздновать победу черных сил. Однако же такого не бывает, ведь всяк себе желает лишь добра.

— Но что тогда добро, коль во спасенье я тысячами бить готов неверных, кто не согласны с формулой моей? Себя на страже добрых сил считая, в помощники мы призываем зло. И тут уж воле нашей не помеха ни крепкий муж, ни старая вдова, ни чадо сирое, что от роду нет году.

— Пример ваш тягостен, он приговор людскому роду, который пользует ангину топором, отбросив все микстуры и лекарства. И я боюсь, ответ мы не найдем, когда так свысока на землю смотрим и муравейник судеб ворошим. Я ж приведу пример иного рода, и пусть он предостаточно избит, зато куда как прост для объяснений и утолит ваш пылкий аппетит. Итак, вот случай: некоторый отец, чтоб сына приобщить наукам мудрым, отдал того на время в обученье к священнику или купцу — не в этом суть. А отрок был характера дурного, и страсть к бумаге вовсе не питал, за что и бит бывал раз по десять на дню. Ну, в общем, ситуация знакома. Так вот, он план в груди лелеял долго обидчику отмстить, пока...

Тут Гайст неожиданно оборвал свой рассказ, задумчиво взглянув в черную пустоту, и потянул носом сгустившийся воздух.

— Так что — пока? — нетерпеливо подстегнул его собеседник.

— Пока не вырос, разве ж не понятно? И так всегда мы всюду видим зло, пока не вырастем из собственных штанишек, которым довелось краснеть от розг. И тот не вырос, кто не понимает — добро без зла на свете не живет. И что есть зло, как не добро до срока?

— Пример простецкий, нечего сказать! Но вряд ли объяснит он все изъяны.

— Нет, все не объяснит, бывают глубже раны. Но вы дослушать не изволили меня.

Он посмотрел печально на поднимавшуюся над лесом луну и продолжил:

— Когда глядите вы на бледное светило, какие мысли бередят ваш ум? И почему нам кажется унылым свет ночи, что сродни могильным огонькам? Когда б не солнце, верно, этот свет мы благостью великой почитали б и гимны возносили до зари его источнику... но я отвлекся. Полагали вы, что знаете расклад небесных сил, умеете предвидеть их желанья и приводить в движенье мертвецов рукою кукловода ловкой. Плясать и петь под дудку скомороха вы научили многих гордецов. Или заставить плакать короля, что в старости снискал к себе презренье, скопивши только нищету в удел. Что ж, шутка удалась, ликуй, раёк, иль плачь досадно! Хвала терпению, дослушавшему притчу до конца! Лишь два уменья остались неподвластны вам: зло оборачивать в добро, а то — обратно. Для этой цели разве ведьм позвать, смешав в их чане то, что смешивать опасно.

— К чему вы клоните?

— К тому, что мир сложнее ваших заклинаний, и в нем не просто два, в нем целых три начала! Когда б посмели вы, отбросив ложный страх, внутрь обернуть глаза, то вы б их отыскали. Как в капле отразился мир, так в каждом отразились их дерзанья.

— Так что с того? Какая в том печаль, две силы или три над нами управляют? Я и одну-то разгляжу едва ль!

— Увидеть нелегко то, что лежит в начале. Но без того решить вопрос со злом вы

можете оставить на потом — вам ни на шаг не сдвинуться вперед в познанье истины, хотя б весь мир на помощь вы призвали.

— Но что есть истина, и постижима ли она?

— Ха-ха! Вопрос весьма уместный. Еще Пилат им как-то задавался. Ответа, как мы знаем, он не понял. А вы достойны в мудрости тягаться, пусть не с Афинской школой, но с римским прокуратором вполне. Вам только лишь основы подогнать...

— Что ж, я готов услышать ваш рассказ.

— Так слушайте, начну издалека я. Весь мир был пуст и в пустоте тосклив, а колыбель безвременья убога. Но мысль жила, толкалась в темноте. И мысль была — «Мне хорошо», и мысль была — «Мне плохо». И эти две неласковых сестры друг с дружкой уживались до поры. Но кто хоть раз рожден, тот, верно, знает, — любая колыбель нас угнетает. Так ныне человечее дитя толкает ножкой люльку, проверяя, насколько прочен плен, пока узнает, что всякий плен, конечно, это — Я. А время шло... На наше исчисленье минули очень многие века, и сестры обособились в стремленье устроить мир по-своему. Река той жизни издревле петляет, и не сойдутся вместе берега. Но разорвать покров небесных вод им все же не удастся — мысль другая в струящемся течении живет. Как усмирить извечную вражду и — пусть связать в единстве не удастся — с сестрою все же примирить сестру, восстановив разрушенное братство. Меж тем все дальше устремлялась та река, и шире раздвигались берега. Был берег первый, как хрустальный сон, мечтою неземною напоен, и, отражаясь в водах родника, на нем гурьбой резвились облака. Из облаков, из их прозрачных сфер, родился светлый ангел — Люцифер. Другой же берег низок был и сед, туманами болотными одет. И там, сплотив росу, сгустив туман, родился темный ангел Ариман.

— Все это, право, интересно даже, но где здесь Бог? Заполните изъян.

— Вы плохо слушали, иначе б не спросили. Бог — он в единстве этих двух начал, стоит у равновесия на страже. Но до поры не проявляет он своих пристрастий, верный середине. Итак, продолжу я. Той бури след в сих ангелах укоренился ныне, но жизни так расширился поток, что прежней страсти нету и в помине. И мир иссяк бы, верно, изнемог, растекся по окраинам в бессилье, когда бы в дело не вмешался Бог. Вот вам и Бог, вы, кажется, просили? В те стародавние былые времена носилась между волн молва такая, что вздумал он в теченьи здешних вод вскормить неведомый доселе плод. Не это ли пример, когда слова ложатся на язык наш, как халва? Но дело долгое, затея непростая, и из возможностей различных выбирая, решил себя он взять в основу как пример и сотворить на образ и манер подобие свое из ткани вод и бросил семя, чтобы дало всход. Какой далекий, позабытый ныне век! Еще чисты и мысли, и дела. Так появился первый человек, и участь его трудная ждала. Он должен был по мере робких сил на разных берегах реки гостить. Был брошен жребий в соблюденье мер, и первым его принял Люцифер. Наш первый друг, как первая любовь, — ласкают сердце мысли и слова. Когда пришлось нырнуть в пучину вновь, потоки слез он сдерживал едва. А темный ангел, ревностью объят, уже своей любви готовил яд. Вот так с тех пор и повелось людскому роду меж этих двух делить свою природу.

— Пусть так, но где здесь зло, я б вас спросил.

— Отвечу, коли так уж вам неймется. Таится зло в соотношенье сил, между которыми вам выбирать придется. Но выбор неизбежен, потому и кажется, что зло бездушно. Там нету зла, где выбирать не нужно.

— Вопрос к вам можно? Коль так печалитесь вы о людских деяньях, что ж сами служите вы не у тех господ, которым поклоняется народ? Иль ваша вера вас заставляет быть на службе Люцифера? Откуда же иначе эта боль?

— Вопрос мне странен ваш. Мы все играем роль, будь ты простолюдин или король, ревнитель святости или слуга измене. Тот — в жизни, а другой — на сцене, всяк ожидает выхода на бис, и чем смелей игра, тем выше приз. Но я отвлекся... мы почти до сути добрались.

— Я весь внимание!

— Итак, страна, что чудесами разными полна и духом велика, и крепкой верой, во власти оказалась колдуна или окажется почти что верно. А тот, хоть это выглядит и странно, отдаст ее в владенье Ариману.

— Чего ж тут странного? Сказали же вы сами о неизменном выборе меж вами! То тут, мол, человек, а то вдруг — там, не в этом, ну так в следующем веке...

— Сказать-то я сказал, так то ж — о человеке! А здесь иначе — целая страна, вся, без изъяну, на откуп отдается Ариману! И отдается так, что этой доли хлебнет отныне каждый поневоле.

— Ну что ж опять? Подумаешь, хлебнет! Зла разлито немало в этом мире! Вначале даже Бог его испил!

— Точи свой меч на оселке печали, ты зла еще не видел, мудрый Вил!

— Как? Вил? Назвали вы меня случайно иль с тайным умыслом? Давно уже, признаться, я имени такого не носил!

— Хоть нет имен у духов человечьих, но несомненно, что награда им воздастся по деяниям земным и тем уже, что имя сохранит их вечно. Да жаль, поднявшись ввысь — больнее падать, и здесь, я думаю, найдем мы компромисс. Вы там, внизу, я — тут, над вами, незримую между собой протянем нить. Ведь кто бы что ни говорил нам с вами, за гениальность надобно платить. Вы лишь потяните, а я уж буду рядом, в сражение готов вступить. Дадим им бой, пусть знают, что обманом победу не одержит Ариман.

— Но быть лазутчиком во вражьем стане...

— К чему ж лазутчиком? Вы будете жить там. Смеяться и шутить, любить и плакать, и пить вино, и ранить сердце дам — все как обычно. Не обычен только ваш облик будет новым господам. Они распознают посланцев света по им одним известным в нас приметам. А там — держись! Не суйся им под ноги! Им нить судьбы на палец намотать, как прежде только паркам разрешалось, — что на дороге раздавить жука. И нам их суть нетрудно распознать — личине вражьей не пристало верить, но легче оттого не станет вам. Не раз случится на судьбу свою пенять и милосердье на себя примерить. Что ж, все ли получили вы ответы? Так, может быть, ударим по рукам? Тогда за дело! Пусть вам еще полвека коротать до первых криков в детской колыбели, но дни летят, и за недели вы будете года считать. Должны еще мы многое успеть — плоды науки долго зеленеют под нашим небом, прежде чем созреть, — пока река не разлучит нас с вами.

— Но кем я буду, что мне делать в этой неведомой доселе стороне?

— О, тут и вовсе нет секретов! Прошу, во всем сполна доверьтесь мне! Вы врачевать научитесь вполне сначала тело, а потом и душу. И тем успешней будет мастерство, чем скальпель ваш проникнет в рану глубже.

— Смеяться вам легко, да вдруг за эти шутки друзья меня запишут в кондуит?

— А вы ответьте им, что Devil made me do it[1]. Друзья поймут, а Бог... он все простит. К тому же за его ошибки платить всегда приходится другим. А впрочем, так и быть, прикрою вас плащом своим широким — скорее примут вас тогда за чудака, чем будут злиться. Шуту любое шутовство простится.

— Но быть шутом, пожалуй, лишь при короле достойно.

— Нет, друг мой Вил, скорее больно! Смотреть на то, как спесь с гордыней об руку идут, а лицемерье сзади погоняет, а самому невольно бояться упустить одежды край? Избави Бог от этакого прока! Уж ежели согнуться, так от рока, а не под тяжестью дворцовых тайн.

— Однако ж многие охочие до смеха сочтут, что это вовсе не помеха — пожалуй, даже увлекательная роль. Любовником быть у капризной этой дамы: свидетелем, а не героем драмы! Такого не сыграет и король!

---

[1] Дьявол совратил меня (*англ.*).

— Друг мой! Без всякого пристрастья скажу, что вы огромный Мастер, и более того — актер! Но помните ли вы, спрошу вас прямо, отличие трагедии от драмы? В ней гибнет не герой, а хор! Так вот, мой друг, игрой какого рода вас нынче озадачила природа!

— Смех смеху рознь. Не до веселья, когда гибнут царства! И где ж пределы вашему коварству, что шутовской суете мне колпак?!

— Вот так всегда, когда о деле просишь! Тот — крови, этот — грязи не выносит. А больше норовят рукой чужою себе каштаны из огня таскать. Сказал же вам, что дело здесь серьезно, не до капризов! И пока не поздно, одумайтесь, чтобы ханжой не стать. Открою вам секрет по старой дружбе: веселый смех — смертельное оружье противу тех, кто темноте под стать.

— Мне речи ваши странны. Про смех я слышал много пересудов, но так, чтобы оружье — в первый раз!

— А вот теперь и посудите сами — под этими седыми небесами кого же и послать-то, как не вас? Но в добрый час! Обвыкните вы скоро в юдоли новой. Среди нас есть много литераторов известных. Введу вас в круг. При наших разговорах присутствовать вы будете, телесно незримы оставаясь им. Умом объяв своим, полюбите вы здешние просторы, когда мы в наших странствиях по долу узрим героев сказочных былин. С природою обучитесь дружить... Чтоб душу разгадать народа, немало надобно усилий приложить.

Гайст поднял голову и, взглянув на Луну, что к тому времени уже успела достичь зенита, отбросив призрачные тени, задумчиво произнес:

— Однако ж бледное светило нынче тускло, иль глаз мой старый начал уставать? А нам лишь шаг до истины остался!

Странные сны снились порой Фёдору Петровичу. Москва — не Москва, а так, не пойми что, однако ж город. И купола, и Иван Великий. Но по Пречистенке какая-то железяка на колесах грохочет, и гогот пьяный: «А мы вот такие, бля, сермяжные! Водку лопаем, на гармошке играем, не то что энти, бля — белая кость!» И казалось Фёдору Петровичу, его вот-вот раздавят, сомнут, вывернут карманы, и бог весть что еще такое казалось ему. Но в конце всегда появлялся кто-то огромный, переступая дома, а в руках держал длинный прут наподобие вязальной спицы. И вот на этот прут накалывал он разбегавшихся граждан, точно прусаков, и недовольно ворчал себе под нос: «Сука, Надька, опять давеча прокупоросить забыла!» Скрюченным пальцем грозил этой неведомой Надьке и уходил, протискиваясь в проулок, а Фёдор Петрович вздрагивал и окончательно просыпался, торопливо крестясь. Он никогда не рассказывал товарищам об этих снах. Раз как-то зашел у них разговор о мистическом, спиритуальном. И выяснилось, что и другие видят во сне нечто подобное. Но у Александера вот, например, то был и вовсе не мужик, а баба, и говорила она по-иному, по-своему. И все же Фёдор Петрович не спешил поделиться с товарищами сокровенным, справедливо полагая свое видение более утонченным, чувственным и не поддающимся сравнению с тем, что у товарищей.

Однажды дружная компания расположилась на крыльце, наблюдая за тем, как угасает вечер и солнце плавит верхушки сосен. Барон по обыкновению что-то тихонько насвистывал, Александер по памяти декламировал Гёте, а Мишенька старательно вычерчивал на песке понятные одному лишь ему астрологические знаки.

— И о чем же говорят ваши формулы? — прервал его занятие Фёдор Петрович. — Какими бедами грозят нынче звезды?

Тот в задумчивости ответил не сразу, а прежде стер каблуком зловещие символы.

— Звезды предсказывают цареубийство, — произнес он мрачно.

— Эка невидаль на Руси! — рассмеялся князь. — Есть от чего печалиться.

— Что ж тут смешного? Вы полагаете, царей следует убивать? — откликнулся, оборвав мелодию, Антоша.

— Я такого не говорил, хотя, впрочем...

— Впрочем — что? Вы, верно, хотели сказать, что цари не люди?

Пауза затянулась. Фёдор Петрович как раз и собирался было сказать о том, что цари не совсем обычные люди, но Антоша бесцеремонно перебил его, и говорить об этом теперь уже не следовало. Но о чем же и говорить, как не о том, что думаешь? «Черт знает что!» — ругнулся про себя князь. Он вовсе и не думал сказать ничего этакого, как только то, что царей на Руси убивали часто и ничего необычного в том нет. Но тенью промелькнула мысль о некоей их избранности, а уж язык зацепился, клюнул, словно доверчивый карась, на эту приманку.

— Дело в том, — произнес наконец князь, — что цари проживают не совсем обычную жизнь. В отличие от простых смертных они богоизбранны...

При этих словах Антоша обернулся к друзьям и ухмыльнулся, мол, «а что я вам говорил?»

— ...А потому и полагаться более всего должны не на сиюминутные страхи, — продолжал меж тем Фёдор Петрович, — а на божий промысел.

— Но мы-то заговорили не о царях — о цареубийцах! — с юношеской горячностью воскликнул барон.

— А не кажется ли вам, господа, — вступил Александер, — что это одно и то же: палач и жертва? Хоть сапоги и разные, а все равно пара.

— Однако ж по Европе в такой паре не пощеголяешь! — попробовал отшутиться князь.

— Далась вам эта Европа, господа, — не то же ли было и там? Мы и тут с вами не первые.

— Плохо не то, что не первые. Скверно, когда дурное становится привычным, — философски возразил Антоша.

На мгновение все притихли, словно соизмеряясь с этим «привычным», и князь, выдержав для приличия паузу, поинтересовался:

— Но кто же, позвольте спросить, палач и кто жертва?

Мишенька задумался.

— Жертва — теперешний наследник престола, раз как-то я даже встречал его на Кавказе, — тихо произнес он. — А палач — тот и вовсе еще не родился. Впрочем, жребий уж брошен.

Все примолкли, каждый по-своему переживая неотвратимость судьбы.

— И как тут не вспомнить Цезаря? — задумчиво проговорил Александер. — Но лишь затем, чтобы с ним не согласиться. В Риме все-таки лучше не быть первым.

— Велика важность быть вторым! — раздался за его спиной знакомый чуть насмешливый голос, и в разговор друзей достаточно бесцеремонно вмешался тот, кого Фёдор Петрович считал своим обидчиком.

Следует отметить, что Гайст всегда появлялся неожиданно, как сказали бы древние, словно deus ex machina[1]. Впрочем, друзья давно уже перестали обращать на это внимание.

— И вы всерьез полагаете, что эта мера сможет защитить от пули убийцы? — рассмеялся он.

— Конечно же нет, — обернулся к нему Александер, — но шансы уменьшит значительно.

— Но что она стоит, такая жизнь? На своем поприще не лучше ли быть первым, и не к тому ли стремится всякий, взявший в руки перо ли, меч? Кульминации душ подобны кульминациям звезд. Да и вам ли сие объяснять?

---

[1] Бог из машины (*лат.*).

Логика была очевидна. Никто, будучи в здравом уме, не собирался оспаривать его выводов. Однако же князю все это показалось несправедливым: первенство одного всегда предмет зависти для другого. А потому, спрятав до поры свои чувства, Фёдор Петрович возможно более безразличным тоном спросил:

— Помнится, вы хотели просветить нас насчет революции, сударь. Так не откажите в любезности. В чем же вы находите тут искусство?

— Искусство здесь в одном, — столь же бесстрастно и в тон собеседнику выговорил Гайст, — всучить гнилой товар тому, кто и свежий-то покупать не собирался.

— Эк вы, сударь, прямо ввернули! С чего бы это — гнилой?

— Да с того хотя бы, что еще в Европе прокис, а вам за свежий показался.

— Возражаю! — вступился за товарища Антоша. — Революция всякий раз нова и несвежей быть не может!

Гайст бросил на защитника хмурый взгляд, будто на какую помеху, и тем же размеренным голосом продолжил:

— Революция, господа, — это такое поветрие на манер чахотки или инфлюэнцы, и уж коли где началось — пиши пропало. Вызывай похоронную команду.

— И чем она вас так задела? — не удержался от колкости Александер. — А не хотите ли взамен русский бунт?

— Бунт? — улыбнулся в ответ Гайст и облизнул губы, точно пробуя на язык незнакомое блюдо. — А отчего бы и нет? В нем клокочет молодость мира. Быть может, это слово и не так благозвучно, и не приятно на вкус, зато не разит нафталином и накрахмаленными воротничками.

Александер, сощурившись, переглянулся с Мишенькой и рассмеялся:

— Да вы, сударь, романтик! Жаль, теперь это вышло из моды. Видите ли, друг мой, — продолжил он, обернувшись к Мишеньке, и в голосе его прозвучала неподдельная печаль, — времена Пугачёва давным-давно канули в Лету.

— Это ничего, — будто и впрямь утешая его, вымолвил Гайст. — Зато очень скоро войдут в моду французские галстуки.

— А вот это, заметьте, очень даже возможно, — поспешил согласиться Александер.

— Да уж и входят! — подхватил князь. — Вспомните Петропавловский кронверк.

— То ли еще будет! — загадочно усмехнулся Гайст, и его усмешка показалась друзьям зловещей.

Солнце, бросив последний страдальческий взгляд на землю, село, и тени, незадолго перед тем протянувшиеся во всю ширину равнины, поглотила мгла.

— Скажите, господа, — неожиданно произнес Гайст, — знаете ли вы, как отличить революционера от простого смертного? То есть я, конечно же, имею в виду не человека, а его дух, тот, что еще только намеревается родиться среди людей.

Друзья с удивлением переглянулись.

— Но разве дух имеет какие-то отличия?

Гайст вздохнул.

— Отличия, разумеется, имеет не дух, а душа. Одна лишь она и придает нам индивидуальность. И все же дух, умудренный опытом земных странствий, раз за разом обретает свои неповторимые черты. Это душа запечатлевает в нем свои страдания.

Князь, позабыв о выбранном амплуа бесстрастного слушателя, живо обернулся к рассказчику:

— Так не хотите ли вы сказать, что страдания одних — тех, кого вы изволили назвать революционерами, отличны от страданий других?

— Именно, именно! — с жаром подхватил Гайст. — И не просто отличны, а чрезвычайно отличны! Дело в том, что...

Он вдруг умолк, поежился, глянув куда-то в наползающий туман, и, оборотясь к друзьям, произнес:

— Пожалуй, уже поздно, господа. Не пойти ли нам в избу? — После чего, перейдя на таинственный шепот, добавил: — К тому же здесь слишком много посторонних ушей!

— Вы чего-то испугались? — настороженно спросил Антоша, когда компания уютно расположилась в передней зале.

— Испугался? — задумчиво переспросил Гайст. — Скорее, нет. Но для нашего дела так будет спокойнее.

— А разве у нас уже есть какое-то дело? — не удержался, чтобы не съязвить Фёдор Петрович.

Вопреки ожиданиям, Гайст нисколько не обиделся и в ответ высказался в том духе, что пока еще нет, но очень скоро будет.

— Так вы не договорили, — напомнил ему Александер. — Вы сказали: «дело в том, что...» Так в чем же оно? Поясните!

— Что ж, — согласился тот, — здесь действительно требуются объяснения, и я готов их дать. Извольте!

Расслабившись, провалившись в мягкие подушки оттоманки, он продолжил:

— Вам, верно, не раз доводилось слышать прежде, что царствие Божье следует искать внутри себя, а не снаружи. — Ищите да обрящете! — продекламировал он. — Так вот, есть многие, кто не согласны с этой формулой.

— Ага, — подхватил Фёдор Петрович, — как же, как же! Слыхали! Вельзевул, Люцифер, Князь тьмы!

Гайст поморщился.

— Что ж это вы, право, валите все в одну корзину? Этак у нас с вами ничего хорошего не получится.

Князь обиженно надул губы и замолк.

Вечер, до того тихий, вдруг зашумел листвой, хлопнул ставней. Потянуло сквозняком, и языки свечей заплясали, разгоняя назойливую мошкару. В дверь постучали.

— Не отворяйте! — крикнул и тут же пружинисто вскочил Гайст.

— Это всего лишь ветер, — успокоил его Александер.

— Как знать? — задумчиво произнес тот, опускаясь на место. — Итак, — продолжил он через мгновенье, когда улеглись ложные страхи, — есть те, кто жаждет власти. — Он вновь прислушался к завыванию ветра и в задумчивости повторил: — Жаждут власти, да... Но власть есть лишь одна — от Бога.

— Вы, конечно же, разумеете при этом власть царя? — уточнил Александер.

— Именно! Именно так, сударь! — воскликнул Гайст.

— Но как же тогда пример французской республики или швейцарских кантонов? Им разве можно? — недоуменно проговорил Антоша. — Так в чем же разница? Или, что положено Юпитеру, не положено быку? В конце концов, даже обидно, знаете ли!

— А разница здесь как между браком по любви и браком по расчету, — улыбнулся Гайст. — По форме одно и то же, однако какое же различие по существу!

Мишенька, весь вечер хранивший странное молчание, так что о нем почти и забыли, вдруг спросил:

— Но в чем расчет?

— Если я правильно понял, — ответил за Гайста Александер, — то французская революция — стихия, бунт третьего сословия. Это любовь, не так ли? — оборотился он к Гайсту.

— Вы прилежный ученик, — кивнул тот.

— У нас же, — продолжал Александер, — заговор, ежели хотите — сговор, а это уж точно — расчет.

— Но где доказательства?! — воскликнул барон.

— Да вот же, пусть лучше князь скажет! — ткнул пальцем Гайст в сторону Фёдора Петровича.

Князь, до поры сидевший молча, как и велел ему Антоша, встрепенулся.

— А что, собственно говоря, хотите вы услышать? — настороженно произнес он.

Все собравшиеся невольно обернулись в сторону Гайста, ожидая разъяснений.

— Расскажите нам хотя бы о секретной директиве 1780 года, полученной из Швеции, или о берлинском циркуляре Александра Кутузова, — вкрадчиво проговорил Гайст.

— Но это же никак нельзя! Я давал клятву! — взмолился Фёдор Петрович.

— Господь с вами, голубчик! Какие здесь могут быть тайны?! — Гайст широким жестом руки обвел помещение. — А впрочем, не стану вас понуждать, — улыбнулся он. — Итак, — обернулся он к остальным, — всем, конечно же, известно, что господа масоны повсюду ищут выгоды. Не обошли они своим вниманием и Россию. Не станем утверждать вслед за некоторыми, будто заговор двадцать пятого года их рук дело. Хоть, впрочем, и без них не обошлось. Опять же, князь вот не даст соврать, — вновь кивнул он на притихшего Фёдора Петровича.

— Но царь Александр распорядился закрыть все ложи! — возразил барон.

— Вот именно, вот именно, мой друг! Потому-то я и не стал настаивать на признании князя! Но все ж французский опыт не дает покоя горячим головам. Масоны — это так, мелочь. Немало сыщется и других охотников до лавров Мирабо. Они-то вот и готовят для России брак по расчету, и уже в самое скорое время затевается нашествие женихов. Так что цареубийство в этом ряду, — тут он многозначительно поглядел на Мишеньку, — лишь самое начало.

— Но этому же должно помешать! — вскочил со своего места Антоша.

— Как?! Как вы полагаете сделать это?! — осадил его порыв Александер. — Как вы распознаете их? Это невозможно!

— Возможно, — тихо, но вместе с тем весьма убедительно проговорил Гайст. — И если припомните, господа, то именно с этого я и начал.

— Расскажите! Расскажите! — наперебой закричали друзья.

В комнате воцарилась тишина, и Гайст, оторвавшись от подушек, пружинисто поднялся. Он подошел к окну, попробовал зачем-то ставню и, сделав пару-тройку нервных шагов по зале, остановился ровно посередине.

— Итак, господа, — проговорил он, — мы остановились на том факте, что есть многие, кто жаждет власти. Вы хотите знать, как их отличить? О! Очень просто! — и проделал в воздухе некое вращательное движение рукой. — Их дух отягощен и не в силах высоко подняться. Туманными вечерами вроде этого они оставляют свой след в мокрой траве.

И опять дохнуло ветром снаружи.

— Но почему так? — спросил Антоша, зябко передернув плечами.

— Вы знаете, что такое внешняя тьма, о которой говорил Учитель? — вопросом на вопрос ответил Гайст.

— Очевидно, это то место, где правит Люцифер?

— О, нет! Совсем иное! — рассмеялся почему-то Гайст. — Люцифер — рыцарь света, а не тьмы.

— Падший ангел!

— Отпавший, но не павший! — нахмурился Гайст. — Вы плохо освоили демонологию.

— Но я и вовсе ее не изучал, — пробормотал Антоша.

— Ну что ж, — согласился, приняв его слова за извинение, Гайст, — в таком случае это многое прощает. Но с другой стороны, слишком затрудняет мои объяснения. Надеюсь, хотя бы с основами физики вы знакомы? — И дождавшись едва ли

убедительного кивка в ответ, продолжил: — Вы, конечно, наблюдали за движением облаков. Отчего, по-вашему, они не падают на землю?

— Уж верно, оттого, что им запретил Архимед, — усмехнулся барон.

— Вот именно! Но когда соберут достаточно влаги, то прольются дождем, — земное тянется к земному.

— Чем не легенда о взвешивании душ?! — воскликнул Александер.

— Так оно и есть, — согласился Гайст, — только без всякого вымысла.

В продолжение всего вечера Фёдор Петрович был словно не в своей тарелке. Многое передумал он, мучительно перелистывая память, а последние слова так и вовсе заставили его вздрогнуть.

— Скажите, — произнес он, с трудом выговаривая слова, — и что ж, это клеймо— навечно?

— Ну, вы-то, мой друг, и не ведали, с вас и спрос невелик, — разгадал его настроение Гайст. — Но горе тому, кто соблазнит сих малых!

— Лучше бы мельничный жернов ему на шею повесили, — подхватил Александер, — и утопили в пучине морской!

Но Фёдора Петровича все это мало утешило, он заскучал. Казалось, что-то привычное оборвалось в нем, оставив по себе пустоту. С того вечера ничто уже более не радовало его, как прежде, и разговоры в кругу друзей, бывало так веселившие сердце, стали пусты и необязательны. Все чаще поминая Гаврилу Романовича, заглядывался он в сторону леса и все реже появлялся за общей беседой. Земное истлевало в нем, догорая последним костром, и нечто новое, неведомое звало в дорогу.

Однажды друзья по привычке собрались за карточным столом. Александер шутил, Антоша рассказывал какой-то древний анекдот, а Мишенька листал старые пожелтелые календари. Все ждали князя, чтобы начать игру.

— Да где же его черти носят?! — не вытерпел наконец барон, мусоля початую колоду.

— Так, верно, у цыган, — предположил Мишенька, оторвавшись от чтения.

— Нет, вряд ли, — задумчиво проговорил Антоша, — теперь это и вовсе на него не похоже. Разве пойти поискать?

Но искать в этом пространном доме никто не решился, потому как было все равно что искать иголку в стоге сена. Тут только общими усилиями припомнили, что не видали князя вот уже несколько дней.

— Не иначе как на Смородину подался, — заключил Антоша.

Александер, покачав головой, промолвил с укоризной:

— Как же это он, право, по-английски!

Если не знать некоторых особенностей края, то в доме можно было бы очень легко заблудиться: комнаты, похожие одна на другую, низкие скрипучие переходы, лесенки о трех-четырех ступеньках, казалось, вели в никуда, составляя причудливую, порой повторяющуюся мозаику. Путешествующего ни на миг не покидало то странное чувство, что он здесь уже однажды бывал, видел этот вот колченогий стул, протершуюся до дыр скатерть, треснувшие обои. Вот эта картина в закоптившейся от близкой печи раме, с тройкой, стаей волков и насмерть перепуганным ямщиком — ну да! Та же самая картина! Только висела она прежний раз чуть дальше, и возница чуть крепче замахивался кнутом. А так, все то ж... Странно...

И дело было в одном — во времени. Вообще же время для обитателей сих мест не было незыблемой категорией. Считалось, оно зависит лишь от желания индивида. Захочешь — и на годы унесешься вперед, прозревая то, что еще сокрыто в родовых муках, а то так заглянешь на столетья назад, наслаждаясь шумом битв крестоносцев или песней слепого певца с Хиоса. Одно только обстоятельство было тому помехой —

трудно разглядеть детали. Все равно что смотреть через запотевшее стекло, чем далее, тем более мутное. Но кому же, скажите на милость, захочется жить при такой необходимости всякий раз протирать окна? А потому и оставались по преимуществу в своем, то есть настоящем, времени. Бывало, не без этого, заглядывали: а как оно будет там, дальше? Но это так... редко.

С другой стороны, такие понятия как «вчера» или «завтра» были и вовсе лишены здесь всякого смысла. Можно было легко оставаться в пределах одного и того же временного континуума, воспринимая его как непрерывно длящееся «сегодня». А потом вдруг спохватиться: ба! Да на календаре-то уж лето! А у тебя все зима на дворе! И броситься догонять ушедших вперед товарищей.

Мастер Вил и не помышлял ни о каком путешествии по дому, как вдруг в одной из зал его внимание привлекло кукольное представление. Длинноносый персонаж в красном колпаке, звали которого не то Ванька, не то Петрушка, кривлялся и паясничал под завывание шарманки и одобрительный гогот зрителей. Сие действие начиналось словами: «Ехал на ярмарку Ванька-холуй...», после которых цензура, стыдливо отвернувшись, уж более не вмешивалась в ход спектакля.

В самый пикантный момент, когда невеста героя уже готова была пожертвовать собой до свадьбы, к чему тот ее страстно и призывал, на плечо Мастера опустилась чья-то тяжелая рука. Вил обернулся, перед ним, улыбаясь, стоял Гайст.

— Что, друг мой, соскучились по сцене? — произнес он нараспев. — Забавы черни, право же смешны, пока она себя лишь ублажает.

Мастер невольно залюбовался его иссиня-черным плащом, отороченным тонким, шитым серебряной нитью позументом. Из-под плаща же весьма недвусмысленно выглядывала шпага с серебряной рукоятью такой же искусной отделки.

Но не он один обратил внимание на Гайста. Из-за ширмы балаганчика новичка тоже приметили, и следующая реплика героя была обращена уже непосредственно к нему:

— Гляньте-ка, люди добрые, какой вояка к нам нынче пожаловал! Небось, от их сиятельства графа Бенкендорфа посланник!

Любопытствующая публика тут же обернулась в их сторону.

— А шпага-то при нем, гляди, какая! — подхватила вторая кукла. — Ты бы нам ее отдал, дядя, а?

— Да почто ж она тебе, дурень? — картинно удивилась первая кукла.

— Капусту шинковать стану! Вот зачем!

— Да с капусты-то знаешь, брат, что бывает?

И лаская слух толпы, со сцены опять полились потоки скабрезности. Тут же подскочил и босоногий мальчуган с размазанными по лицу соплями, потянул за полу плаща, загнусавил:

— Извольте шпагу, дяденька, для представленья!

— Кыш, чумазый! — цыкнул на него Гайст. — Она заговоренная! Рука отсохнет!

Мальчонка в испуге убежал, утирая сопли, а Гайст, подхватив Мастера под локоть, увлек его за собой в темные, едва освещенные сени. Вслед им еще долго неслись ругань и смех, из которых совершенно отчетливо можно было разобрать лишь одно слово — «немец».

«А ведь, пожалуй, и верно — немец!» — усмехнулся про себя Мастер, подивившись скорее не тонкости, но точности чутья.

В следующем помещении, своими размерами и формой напоминавшем манеж, они застали совсем иную публику. По двое в ряд гарцевали драгуны, мерно покачивая высокими белоснежными султанами. Следом восьмерка лошадей цугом увлекала широкую приземистую карету, мелькала позолота спиц. Неожиданно из толпы зевак,

собравшихся поглазеть на процессию, выбежал молодой человек купеческой наружности и швырнул под колеса экипажа небольшой сверток. Грохнул взрыв, шарахнулись лошади, а из опрокинувшейся кареты выпало наземь соломенное чучело.

— Стоп! Стоп! Стоп! — закричал в то же самое время другой человек и настойчиво захлопал в ладоши, призывая к вниманию. Действие остановилось. Воцарилась полнейшая тишина. — Это же черт знает что! — продолжил неведомый дирижер. — Почему у вас в карете кукла?

Тут же словно из-под земли выпорхнула дамочка весьма приятной наружности, которую портил несколько птичий нос.

— Костенька, ну это же так надо! — затараторила она. — Не можем же мы всякий раз... — Тут она перешла на шепот и, приподнявшись на цыпочки, приникла к самому уху собеседника.

— Ах, отстаньте, милочка! — отстранил ее тот. — Вечно у нас так — прямо хоть самому садись! И потом, где вы нашли этого купчишку? Это же совершенно иной типаж! Вы ему верите? А я вот не верю! Не-ве-рю! — произнес он по слогам. — И никто не поверит! Извольте немедленно заменить! — Он заглянул в свои записи, порылся в бумагах и, оглянувшись по сторонам, выкрикнул: — Гриневицкий! На сцену!

В толпе произошло какое-то движение, засуетились, забегали люди, а дирижер уже командовал драгунам:

— Подпругу подтянуть! Поправить кивера! На исходную! — хлопал он в ладоши. — Второй проезд, господа!

Меж тем как отдавались все эти распоряжения, к Гайсту и его спутнику приблизился неказистый обер-офицер из гусар.

— Добрый день, господа! — приветствовал он. — А у нас нынче манёвры!

— Видим, видим! — усмехнулся в ответ Гайст. — И замечу — весьма успешные! Кстати, — обернулся он к своему товарищу, — вы не знакомы? Разрешите представить — поручик Ржевский.

Поручик, вытянувшись, щелкнул каблуками, отчего дружно звякнули репейки шпор.

— А разве вы сегодня не играете? — удивился Гайст, заслышав призывные хлопки дирижера.

— Нет, знаете ли, не мое амплуа, — честно признался тот. — Я все больше у господина Пушкина в пьесах.

— Скажите на милость! — еще более удивился и даже присвистнул Гайст. — И в каких же?

— В «Евгении Онегине», к примеру. Слыхали? — простодушно поинтересовался он и, картинно откинув руку, продекламировал: «Надев зелёный доломан, Онегин едет на канкан!»

— Очень мило! — согласился Гайст. — Как-нибудь обязательно зайдем послушать!

Тем временем кортеж, а вслед за ним и поставленная на колеса карета уже развернулись и застыли в ожидании команды в дальнем углу залы. Дирижер вертелся в кругу своих подчиненных, отдавая последние указания. Взгляд его случайно упал на Гайста и его спутников, задержался, и по лицу пробежала нервная гримаса.

— Оленька! — сердито крикнул он куда-то в толпу, очевидно, своей помощнице с птичьим носом. — Что за глупости? Кто распорядился вызвать гусар?! И потом, этот... со шпагой. Уберите же, наконец, посторонних! — отвернувшись, он снова захлопал в ладоши. — Внимание! Внимание! Господа, мы начинаем!

Но представление вынужденно задерживалось. С разных сторон его теребили помощники с какими-то мелкими хлопотами. Кто-то кричал:

— Константин Сергеевич! Опять бомбы не подвезли! Как же прикажете начинать?!

— Разгильдяи! — орал он. — Сукины дети! И убить-то у нас как следует не могут!

Но Гайст и Мастер далее уж не слушали, двинувшись к выходу.

— В какие все-таки разные игры играет народ! — выговаривал Гайст своему спутнику, когда они покидали эту странную сцену. — А впрочем, постановка весьма убедительна, разнятся лишь детали, — с явным удовлетворением добавил он.

В следующих комнатах ничего замечательного ровным счетом не происходило, да и сами они всем своим видом свидетельствовали об упадке и нищете, либо о совершенной нерадивости обитателей. Не раз дорогу перебегали какие-то мерзкие насекомые или бросалась под ноги тщедушная, замученная детьми кошка. Откуда-то натягивало запах подгорелого супа и кислый аромат плохо простиранного белья. Тут же, за поворотом, открывалось и это самое белье на провисшей веревке, загораживая своим откровенным естеством все пространство прохода. Изредка попадались навстречу и странные юноши в казенном платье, с рано состарившимися лицами невыразимо тоскливого выражения. Они суетливо пробегали мимо, а если и останавливались на мгновение, то лишь с тем, чтобы задать какой-нибудь глупый вопрос вроде: «А вы не встречали господина Ткачёва?» или Лаврова, или Бакунина, или кого-нибудь еще в этаком роде.

Наконец, порядком уставши, путешественники решили перекусить. К их счастью, неподалеку обнаружилось соответствующее заведение с меланхоличным хозяином из обрусевших немцев и аккуратной хозяйкой в старомодном чепце. Скромный выбор блюд приятно контрастировал с окружающей нищетой. После недолгих обсуждений заказаны были отварная стерлядь и блины с икрой, а на десерт ромовый кулич и молодое вино.

Дорогою Гайст большей частью молчал, теперь же, вполне насытившись, решил восполнить упущенное. Развалившись на совершенно неподходящем жестком стуле и дождавшись, пока его спутник покончит с трапезой, спросил:

— Ну и как вам местный колорит, сударь? — В ответ Мастер лишь брезгливо передернул плечами, а Гайст, развивая мысль, продолжил: — Скоро это повсеместно войдет в моду, как табачок при Петре. Ждать недолго. Так что вы, мой друг, аккурат застанете самый расцвет мракобесия! — и широким взмахом руки прочертил в воздухе дугу, словно объемля и заключая внутрь все неподатливое и сопротивляющееся пространство, а Мастер, проследив взглядом за этим движением, неожиданно наткнулся на картину, висевшую за спиной хозяина и почему-то остававшуюся до сих пор незамеченной.

Странная это была картина. Некий воин, возникая из облаков на стремительно летящем коне, наносил смертельный удар чудовищу, выкованному из стали и ощетинившемуся сотней орудий. Из разорванного чрева этого Левиафана горохом рассыпалась толпа человечков и в панике разбегалась кто куда. «Чудо Георгия о бронепоезде», — гласила подпись к картине. Гайст, поймав удивленный взгляд своего протеже, многозначительно покачал головой.

— Великий здесь художник подрастает! Но имя вам открыть не вправе я, — и, печально улыбнувшись, добавил: — То ли еще ждет вас, мой друг! Ныне наступает век новый, технический, а машина, как известно, дороже человека, — загадочно заключил он. Затем, перегнувшись через стол так, чтобы слышать мог лишь собеседник, таинственно прошептал: — Уже и новая Библия пишется!

Последние слова Мастер воспринял буквально и в недоумении спросил:

— Как?! Разве прежняя себя уже исчерпала?

— Конечно же нет! Хотя, впрочем, многие именно так и полагают.

Любопытный хозяин, как и положено всякому добропорядочному гражданину, давно уже прислушивался к их словам, делая вид, что протирает посуду. Заметив это, Гайст не преминул обратиться к нему со словами:

— Скажите, любезный, а у вас есть Библия?

Тот вздрогнул и от неожиданности чуть не выронил тарелку.

— Нету, — едва слышно пролепетал он, боясь не угодить важному гостю. — Только Священное Евангелие имеется. А вам почто? Вы, часом, не из патриаршей канцелярии?

— Нет, я из другой, — ухмыльнулся, успокаивая его, Гайст. — Видите ли, мой друг, — обернулся он вновь к Мастеру, — в отличие от просвещенной Европы, здесь Библия никогда не была под запретом. Впрочем, это вовсе не означает, что всяк удосужился ее прочесть. В Библии, конечно же, полно темных мест, но и в мутном зеркале истории далеко не всегда отражается истина. Знаете ли вы, к примеру, о чем теперь спорят здешние философы? «Откуда пошла есть Русская земля?» — не больше и не меньше! Как тут не вспомнить беднягу Архимеда, до самой смерти защищавшего свои песчаные формулы?

— Но разве знание истории не делает нас мудрее?

— Что толку в мудрости, почерпнутой из книг? Книжная мудрость — чужая мудрость!

— А для кого ж тогда, позвольте спросить, пишутся книги?

— Будто вы не знаете. Конечно же для себя! Скажите на милость, кто станет читать книгу, написанную для других, — что в ней может быть интересного?

Неизвестно, куда бы завел их спор, но в этот миг дверь распахнулась, и на порог протиснулся полицейский пристав. Пот ручейками стекал по его одутловатому лицу, а из-под руки выглядывал давешний сопливый мальчишка.

— Этот? — нахмурившись, спросил грозный страж, ткнув пальцем в Гайста.

— Он самый, — кивнул маленький иуда.

— Извольте предъявить документы, гражданин! — рявкнул пристав и, не дожидаясь ответа, напирая животом, понес мелкой скороговоркой: — Почему при шпаге?! Вы офицер? Дворянин? Куда следуете?

— Послушайте, голубчик, — поднялся ему навстречу Гайст, — вы из какой управы? Впрочем, не надо, не отвечайте. Вы ведь при исполнении, не так ли? — Тут он панибратски уцепил его за лацкан, отчего тот сразу же сник и присмирел подобно злющей дворовой собачонке, которой сунули под нос колбасу. А Гайст тем временем вкрадчивым голосом продолжил: — Так не откажите в любезности, откушайте с нами. Выпейте вина или, может, хотите водочки?

Гайст сделал в воздухе неуловимое движение, а догадливый хозяин уже собирал на стол запотевший графинчик и новую смену закусок.

Пристав не заставил долго себя уговаривать. Постеснявшись для виду, он грузно опустился рядышком и, пробормотав что-то вроде «Благодарствуем!», крякнул, освежив себя стаканчиком водки.

Человеку постороннему, непросвещенному трудно даже вообразить, сколько же всякого добра вмещают в себя иные желудки. Другому и на неделю достанет того, что этакий проглотит в одночасье. Тут уж, как говорится, только подавай! Гайст и Мастер глазом моргнуть не успели, как незваный гость уж и графинчик опорожнил, и расправился с увесистой волжской рыбиной.

— Вы, ваша милость, уж извиняйте за бесцеремонность — не за того принял! — добродушно ворчал пристав, набивая рот очередным паштетом. — Развелось тут у нас всякой швали немерено, ровно у Христа за пазухой. Прости, Господи! — торопливо перекрестился он. — Всяких студентишек недоученных, писак... Все бы им по европам бегать, понимаете, да чужие камзолы примерять.

— Знаем, знаем! — сочувственно покачал головой Гайст. — Нам тоже нынче докучали.

— А вы человек солидный, это завсегда отличишь, — продолжал пристав. — У-у, бестия! — замахнулся он на мальчонку, который все еще околачивался в дверях. — Так что, ежели чего, — обернулся он опять к собеседнику, — ежели

какая обида, так прямо к нам! Милости просим! Очумелова спросите, Аполлона Григорьича, — ткнул в свою широкую грудь. — Вам всяк покажет!

Он еще покопался вилкой и в соленых маслятах, и попотчевался предложенным телячьим языком. Не отказался и от новой порции водки, а закусив напоследок десертом, уж стал прощаться — увы, любое чрево не бездонно! С трудом отвалившись от стола, он обернулся было наподдать противному мальчишке, но шалопай давно уже задал стрекача.

— И... эх ты!.. — собрался выругаться пристав, но отчего-то передумал.

Тем временем Гайст с любезнейшей улыбкой рассовывал ему по карманам конфекты.

— Это еще зачем?! — оторопел тот. — Ну, право, лишнее.

— Детишкам, детишкам! Домашних угостите! — вкрадчиво убеждал его Гайст и при этом легонько похлопывал, подталкивая к выходу.

— Премного вам благодарен! — лепетал разомлевший пристав и пятился к дверям.

Вернувшись к столу, Гайст выпил вина и, кивнув на дверь, грустно пошутил:

— И всегда-то на Руси любили чиновников. Впрочем... — и, поразмыслив, добавил: — пожалуй, еще дураков и военных.

— Да где ж их не любят? — возразил Мастер.

— Может быть, может быть... — проговорил задумчиво Гайст. — Однако смею вас уверить, в России к ним любовь особенная.

— Вы-то откуда про это знаете?

— Из первых уст, мой друг! Из первых уст! Скоро вот Николай Васильевич к нам пожалуют — ба-альшой знаток по этой части.

Они еще долго сидели на обращенной к лесу веранде, наблюдая, как тихо угасает вечер и стрижи размашистыми кругами чертят в небе незыблемые формулы бытия. И думалось объять всю прозрачную ширь и раствориться в ней, и улететь вслед за птицами. И нежная истома разливалась в груди, и сладко щемило сердце.

— Sow the Peace in this hour is serene...[1], — едва слышно прошептал Мастер.

— Я гляжу, вы еще не вполне забыли родной язык? — улыбнулся Гайст.

— Я лишь теперь начал его вспоминать, — улыбнулся Мастер и, потянувшись, будто и впрямь собрался вот-вот улететь, спросил: — И долго ли мне здесь еще томиться?

— Покуда дух душой не обрастет, — промолвил Гайст.

Впрочем, был ли то вечер иль утро — неважно. Как неважны и год, и сроки. Все зависело лишь от желания, ибо, как уже было сказано, время не являлось незыблемой категорией, оставаясь до поры привилегией страждущей света души.

«Мой милый друг! — примерно в то же самое время писал Александер своему незримому собеседнику. — Право, какая же это душевная мука — творческое бездействие! Одно и отвлечение только что встречи да проводы. Давеча будто еще провожал Гаврилу Романовича или вот Мишеньку встречали, а уж и год другой, и порядки у нас новые. Мишенькин протеже, коего с легкой руки Фёдора Петровича окрестили Гайстом, что ни день нам смотрины устраивает. Тьфу ты, господи, как же я от родного языка поотвык! Не смотрины, а смотры, конечно. И вот представь картину: стылый вечер, туман над рекой, птица какая-то кричит в траве беспокойно. А наш полководец, точно Фридрих прусский — Чёрный герцог[2], в ботфортах, в треуголке и при шпаге делает обход новоявленному войску. Сказать, кто в новобранцах?

---

[1] Сейте мир в этот час безмятежный... (*англ.*).

[2] *Фридрих Вильгельм Брауншвейг-Вольфенбюттельский и Эльсский* (1771—1815). Генерал прусской армии, один из наиболее известных немецких полководцев эпохи Наполеоновских войн, командир Чёрного корпуса, носивший прозвище Чёрный герцог.

Изволь! Наперво Елисей-царевич и с ним богатырей семеро. Всякий раз добираются издалека — из каких-то муромских лесов дремучих. Но приходят, однако, первыми. Другие еще — могучий Руслан сам-друг с карлою Черномором. Этот второй смешон особо — бороденка его так и не отросла с тех пор; сказывают, князь Владимир не дает ей воли — выщипывает. Ну как, наподобие Самсона, волосы отрастут? Глядишь, еще и за старое примется, да на стол киевский сядет! (И надо же было его в Киев определить, из колдуна да в шуты — вот незадача! Но, впрочем, и поделом.) С ними и другие подходят: Рогдай, Фарлаф, Ратмир и Финн тоже, но те стоят не гордо — поодаль. После князь Гвидон с батюшкой своим царем Салтаном — чудо хороши оба, но не воинственны вовсе, будто простые миряне. И уж в самые сумерки, когда и звезды видны бывают, воды закипят-забурлят, выходит на берег дружина морская числом тридцать три. Эти вечно опаздывают, зато с ними потеха завсегда случается. И виной тому их старший — дядька Черномор. Ты же помнишь, друг мой, как писал первого, а как второго, не знаешь. Была у меня мысль христианская дерзкий побег устроить — негоже ему, хоть и басурманин, до скончания века в колпаке шутовском томиться. Да не задалась история. Ладно. Подумалось, народ наш пытливый, догадливый, сам поймет что к чему, откуда он в море взялся. Ан нет! Не случилось. Так и сталось их двое. Вот теперь оба и дуются. Что ни встреча — такие рожи корчат друг дружке, что хоть святых выноси! И бранятся, и лаются! Умора! Один лишь Гайст на них управу имеет. Гаркнет бывало: "Разговорчики на плацу!" — так, что листья с осин посрывает! И ничего, затихнут. Да и все-то войско не шибко он жалует. Это я ведь лишь про свою "гридню" сказал, за кого отвечаю. Иных немало собирается. Так Гайст их иначе как увальнями да деревенщиной не называет. Как зачнет все эти эволюции полка — движение вперед, назад, поворот на месте, построение в колонну, в каре — я-то мало в том смыслю, а эти слушаются, исполняют. Таков уж наш полководец, даром что немец! Вот тебе и оксюморон, кстати: русский немец — держи на память!»

Тем же вечером или день-другой позже — что нам до сроков? — в зале за столом собрались четверо. Барон по обыкновению скучал, Мишенька не в сотый ли раз пересказывал Александеру про Пятигорск, а Гайст с мрачным видом раскладывал пасьянс из засаленной колоды. Был в их компании еще и пятый — Мастер Вил, но этот, как и предсказывал Гайст, оставался до поры незримым. Потрескивали свечи, приблудный кот тщательно вылизывал лапу, пристроившись на подушках, и вроде бы ничего необычного не сулил этот вечер, но напряжение, как перед грозой, нарастало.

Наконец Гайст в раздражении швырнул колоду на стол и выругался, чего прежде за ним никогда не водилось. Тут только друзья разглядели, что никакой это был не пасьянс, а некий неведомый им план или даже позиция. Центр стола оккупировали карты исключительно черной масти, причем в середине толпились старшие, оставляя младшим потертые запятнанные края.

— Надо же! Какой любопытный узор! — улыбнулся барон, на мгновение вынырнув из тенёт своей меланхолии.

— Узор? — хмыкнул Гайст. — Пожалуй что и так. Такой же вот замечательный узор сложил из своих нукеров царь Дарий при Гавгамелах и просчитался. Александр Македонский не оценил его восточный орнамент.

— И что?

— И стер его художества в прах, вот что, — махнул рукой Гайст, рассыпая карты по полу.

— Очень любопытная стратегия! — с совершенно серьезнейшим видом пробормотал Александер. — Я полагаю, и вывод последует?

— Не прячь кулак за спину, коли собрался им ударить, — вот вам и весь вывод! — парировал Гайст и как-то по-особенному глубоко вздохнул. Видит бог, что-то необычное с ним творилось сегодня, так что друзья невольно переглянулись.

— Вы полагаете, что Дарий, ну... или кулак Дария был стеснен собственными же войсками? — вмешался в их диалог Мишенька.

— Именно! Именно так, друг мой, причем, в обоих случаях — и при Иссе, и при Гавгамелах. Чем и не преминул воспользоваться Александр Великий.

— Прекрасно, только нам-то все это зачем? Пошто нам древние персы и греки? — пожал плечами Антоша.

— Опыт! Опыт, mein freund[1], и ничего более. К сожалению, я вынужден признать, что у нас даже такого кулака нет, как был у Дария. Уж мы бы, верно, нашли, куда его применить! Не правда ли, господа? — и он заговорщически подмигнул всему собранию, но вдруг, спохватившись, словно только что теперь вспомнил, обернулся к Александеру. — А где ваша Голова, сударь?

— Моя? Моя при мне, — удивился тот и даже обхватил ее руками для пущей убедительности.

— Да нет, зачем же ваша? На что она сгодится? Разве что кубок для вина сделать, — расхохотался Гайст и будто бы пнул под столом невидимого оппонента.

— Ах эта! Голова! — догадался наконец Александер. — Должно быть, в поле, где Руслан оставил.

— Надо бы послать за ней, но кто же сможет? Кто? Пожалуй, я сам.

— А можно с вами?! — Мишенька вскочил в таком возбуждении, что даже щеки налились пунцовым. — Давно мечтал увидеть! Как-то и снилась даже!

И снова Гайст прискорбнейше вздохнул, как бы предваряя отказ, и по лицу его пробежали и горечь, и печаль, и скорбь одновременно.

— Нет, друг мой, не в этот раз. Тут нужно тет-а-тет. Такое дело... Спешу объясниться: ведома ли вам вся глубина отчаяния и одиночества сей мрачной фигуры? Изо дня в день, из века в век — один. Да что века! Навечно! Попробуйте-ка на язык это словцо. — Он потянулся, хрустнув суставами и проворно прошелся по комнате из угла в угол. — Представьте узника в темнице: есть руки-ноги, что не веселиться? Коль захотел, так встал. Устал — так сел. А тут ни рук, ни ног, ни мощи в теле. Ты заперт в голове! Все бесполезно! Простите мне высокий штиль любезно, — и он откланялся, будто артист на сцене. — Нет-нет, — все в той же прежней задумчивости повторил он, — тут надобно уметь слепить диалог.

К особенностям здешнего края следует прибавить еще и то, что все местные дороги — да нет, пустое! — дорожки, а скорее даже тропинки имели вид растрепанной в середине нити, один конец которой упирался в шаткие покосившиеся мостки на реке, имени которой никто толком не помнил, а другой уводил к Смородине. В сердцевине же, и особенно вокруг дома, волоски этой нити расходились и сходились, путались, терялись, обрывались и возникали вновь, словно бы ниоткуда. Да и немудрено, ибо ходили по ним редко. Так разве, по какой-нибудь случайной прихоти или нужде. Вот по одной из таких тропинок и отправились Гайст с Мастером на поиски затерявшейся головы витязя. День стоял обычный для этой местности — пасмурный, невзрачный и отчасти дождливый. Поначалу тропа вела мелколесьем черемухи и ольхи, ныряла в ложе ручейка по переброшенной паре жердей или взбегала на холм, густо поросший малиной. Но чем дальше, тем круче забирала она в коренник — старый сырой ельник, вросший седыми лапами в мох. Здесь, в самой глуши, под непроницаемым пологом хвои и лишайников мерцали лишь мутные звезды княжника. Гайст остановился, по-звериному принюхался к воздуху и заговорил:

— Здесь можем мы потолковать приватно, Мастер Вил, не опасаясь никаких ушей. И то отрадно, что нет в лесу врагов.

— Уж так и никаких?

---

[1] Мой друг (*нем.*).

— Так повелось здесь — враги приходят с поля, не леса. Лес не враждебен, хоть и полон тайн. Тут живо то, чем русский дух настоян. Настоян лесом он — не полем. Свои забавы видит в нем язык. К примеру, леший — лесовик, хозяин леса. Или кикимора, живущая в болоте. А ежели в воде, так водяной. В стране еще какой допустят вас до середины леса и шею не свернут? Не тут! А здесь все строго — ходи везде, но ничего не трогай. И, если углядел какую вещь, перекрестись сто раз и следуй дальше. А коли встретишь на пути кого, спроси, кто он? И сам представься. Не спорь ни с кем, не задавайся. Равняйся, будь хоть с волком, хоть с лисой. И нету в этом фальши никакой. Но стой! Идет к нам кто-то!

Сгорбленная старуха, лица которой не разглядеть, возникла перед ними, словно бы вышла из-за соседнего дерева.

— Ба! Вот так встреча! И ты тут ходишь? — невольно воскликнул Гайст.

— По виду джентльмен. Как звать, не знаю. А не заглянешь ли ко мне на огонек? — проворчала та неприветливо. — Тут недалече.

— Отстань, я несъедобен, — поморщился Гайст. — Нужна мне Голова. Дорогу знаешь?

— Своей, что ль, мало?

— Не просто голова, а та, с которой воевал Руслан.

— Эх, что за люди! — фыркнула старуха. — Все им — надо! Надо! Нет чтобы просто посидеть, потолковать... Послушать песен старых, посудачить о подвигах давно минувших лет, цигарку выкурить да хлопнуть стопку.

— Кончай, плутовка, хитрости свои, не до того мне нынче, — оборвал ее Гайст.

— А это кто с тобой незримый рядом? — насторожилась она и едва не ткнула своей сучковатой клюкой в Мастера. — Его я очертанья смутно вижу — не разгляжу никак. Румяный, вроде. Нерусским духом пахнет от него.

— Не видишь, значит надо так. Он между смертных не бывал еще.

— Тогда ему негожи наши сказки. А ты послушай, коли хочешь знать. Есть в поле камень — слов не разобрать, но если потрудишься, так прочтешь: «Свет светит тем, кто ищет света». И, если слева камень обойдешь, есть просека, как трещина в лесу. Она для тех, кого манит покой. Там и найдешь того, о ком спросил. Да, чур, смотри направо не сверни — она для света.

Старуха исчезла так же, как и появилась, будто просто зашла за дерево. Гайст даже сделал пару-тройку шагов, чтобы убедиться в этом.

— Вот ведьма чертова! Бывают же старухи — всю душу вытряхнут! А после тобой же и закусят, — мрачно пробормотал он.

— Кто такая? Прежде не говорили, вроде, про нее?

— Всего не скажешь. Мало ль тут чудес? Чем край скучнее, тем поверий больше хранит народ по старым сундукам. Ее Ягою кличут. Навроде ведьм макбетовых она. Но все ж отлична — завсегда одна, она на страже царства мертвых, как привратник. И в мир теней чтоб не сойти до срока, совет один — не спасовать пред ней. Поддашься на уловки — и пропал! И поминай как звали! Знавал я многих женщин, которые сочтут за идеал умение такое. Но пустое, скажу я, друг мой Вил, уменье это. Что за награда приворожить им нашего собрата? Ты удержать сумей!

— Да, случай редкий, соглашусь. И даже не возьмусь такие ставки делать.

— Один на миллион, а то и реже! Но отвлеклись мы, Мастер Вил, от дел. Пора нам к камню.

Порой попадаем мы в такие обстоятельства, что не решаемся выбрать: куда идти? Что делать? И думается: кто бы нам указатель какой поставил, поворотил нас на верный путь. Да только редко наши сомнения к добру приводят. Задайся Гаврила Романович подобным вопросом в своем последнем походе, неизвестно, к чему бы его

эти размышления привели. Но ноги сами знают дорогу, а все сомнения, они от болезни ума происходят и лишь сбивают с истинного предначертания.

Там, где Александер силился прочесть слова на камне, влево вела скромная, едва приметная тропка. В отличие от торной правой, была она совсем не примята: редкие души не тщились вернуться к свету. Мастер невольно остановился перед этой трещиной в лесу, пугаясь ступить хоть шаг.

— А что за души в этой стороне? Скажи, кто это? — прошептал он.

— Здесь те, чей путь земной превысил меру божьего страданья, кто кару незаслуженно понес и оттого в обиде на судьбу, кто в наказание изгоем стал, кто изгнан из народа, самоубийцы всяческого рода. Кто не увидел свет в конце земной юдоли, тот света не достоин до поры.

— И долго ль им томиться в сей неволе?

— Вот это не скажу, не я судья игры. Одно лишь твердо знаю: природа мирозданья такова — душа получит то, что заслужила. И если не по росту стремена, то виноват не всадник, а кобыла.

— Но разве соразмерность не царит там, где небесные сияют океаны?

— Нет, не царит. Случаются изъяны. Но правило одно на свете есть: кто глубже пал, тот выше всех воспрянет.

В этом краю леса царила особая тишина. Не то что птица не прокричит — ветка под ногами, и та не хрустнет. Мертвенное беззвучие пугало сильней любого самого страшного крика.

Гайст шел впереди, опустив голову и, не обращая внимания на эту сгустившуюся вокруг тишину, что-то бормотал себе под нос. «Я давеча не сказал, но он понял, — можно было разобрать некоторые из его слов. — Я видел, что понял. Не мог не понять. — И неясно было, сам ли с собой он разговаривает или нарочно, чтоб Мастер слышал. — Он даже имени его не удостоил! В безвестности, в безвременье, в плену у головы своей. — Некоторые слова повторялись, множились, будто он все время возвращался к одной и той же теме: — Я должен был сказать, должен. Нет, что теперь исправишь? Пустое. — И через какое-то время опять: — Нет, он, конечно, понял. На участь страшную обрек! — Несколько слов было совершенно не разобрать, так тихо их произнес Гайст, и вдруг, уже гораздо громче, отчетливее: — Он точно с Прометея слепок снял! Слепил героя, будто Фидий».

— О ком это вы толкуете, сударь? — решился наконец спросить Мастер.

— О Голове. О ком еще? — откликнулся тот. И, не дожидаясь новых расспросов, воскликнул: — Дружище Вил, хочу сказать, — творец всегда в ответе, в ответе за творение свое! И коли не явилась Голова на встречу, то даже не могу себе представить всей тяжести ее обид, запекшихся в груди, как рана, отчаянья представить не могу, как воронья на теле великана.

— Послушает ли вас? Вернется?

— Вот это и не знаю!

Некоторое время они еще шли лесом, пока наконец деревья не расступились и перед ними не распахнулось поле во всю свою необъятную ширину, до горизонта. И сколько хватало глаз, его устилали кости — грязно-белые, как пена прибоя, с пустыми глазницами черепа, проросшие травой. На середине поля, на самой его макушке, возвышался холм, точно древний могильник.

— Ну, вот и добрались! — обронил Гайст.

Некоторые разумные люди полагают, что как театр начинается с вешалки, так и Европа начинается с Львова или Риги, или даже Кракова. Может, оно и так, но любопытно знать и другое: откуда начинается Россия? То есть, ответить на вопрос древнего автора — «Откуда есть пошла земля русская?», но не с исторической, а именно с географической точки зрения. Исходя из логических размышлений, следовало

бы предположить, где началось одно, так там же, верно, закончилось и другое. Но это лишь на первый и самый поверхностный взгляд. Ибо на самом деле никаких таких границ нет и быть не может. Одно проникает в другое, как вино в мясо, и это уже не вино, и уже не мясо, а некий кулинарный изыск с названием шашлык.

Размышления барона на эту злободневную тему самым неожиданным образом были прерваны выкриком Александера:

— Господи! Опять крыса прошла! Да что же это такое?! Куда все коты подевались?

Коты, по меньшей мере два из них, с самым наглым видом возлежали на подушках оттоманки и ни во что такое не вмешивались.

— Вам бы на манер господ Гримм про крысолова сказочку написать, — усмехнулся Антоша. — Глядишь, и у нас бы мыши перевелись.

— А немецкую дудочку можно вполне заменить на пастуший рожок, — подхватил Мишенька.

— Нам бы еще чистоту немецкую завести не мешало, — хмыкнул Александер. — Ее никакими сказочками не пропишешь.

— Отчего же?! — едва ли не перебил барон. — Очень даже пропишешь! Именно так и прописывалась чистота в немецких курфюршествах!

— Это когда не только сам убирай, но и за соседом следи?

— Именно! А за недоносительство лишаешься доли собственности!

Александер заливисто рассмеялся.

— По мне так уж лучше крыс разводить, чем кляузников.

— Jedem das seine[1]! — рассмеялся в ответ Антоша.

Пожалуй, на этом их разговор и закончился бы, и каждый продолжил бы заниматься своими делами, ибо к картам сегодня никого не тянуло и особого повода выпить не случилось, но тут погасшие было угли беседы расшевелил Мишенька.

— Господа, — воскликнул он, — а что это у нас все про немцев сегодня? Или нынче праздник какой? Может, день Реформации?

— Кстати, и главного немца давно не видать. Куда это наш Гайст запропастился? — поддержал его с неожиданной стороны Антоша.

— Так давеча, вроде, видали? — удивился Александер.

— Что вы! Что вы! — замахал на него руками барон. — Третьего дня было! Никак не позже!

— Разве? — пожал плечами Мишенька, — а мне казалось, уж с месяц прошло.

Тут же общими размышлениями пришли к выводу, что, верно, он теперь на плацу пропадает со своими потешными войсками. «А скоро ему и еще работы прибавится», — озадачил друзей барон, так что они в недоумении переглянулись — как это?

— Давненько вы, видать, в календарь не смотрели, — загадочно хмыкнул тот. — А на подходе наш таинственный Карло!

— Как это? Наш Николя? Итальянец? — в крайней степени возбуждения вскочил Александер и безжалостно вцепился в свои кудри. — Что ж вы раньше молчали, дражайший Антоша? А я-то, дурак, и забыл совсем!

— Нет, ну а чего уж так волноваться? — засмущался барон. — Ну, прибудет и прибудет. Встретим, конечно.

— Да нет же, вы не понимаете совсем! Это ж такое!.. Такое... — он все никак не мог успокоиться и принялся выхаживать кругами по комнате, точно пойманная на крючок рыбина. — Надо ж не просто встретить! Надо же придумать что-нибудь! Этакое entrée[2]! Этакое entrer dans la peau de son personnage[3]!

---

[1] Каждому своё (*нем.*).

[2] Выход героя на сцену (*фр.*).

[3] Войти в роль (*фр.*).

В задумчивой рассеянности он плюхнулся на кушетку, придавив одного из задремавших было котов.

— Я знаю! Знаю! — вскинулся вместо него Мишенька. — Надобно ему тут вроде Малороссии устроить с тыквами, с кавунами, с горилкой, с варениками.

— Эврика! — треснул себя по лбу Александер и сгреб виновника идеи в охапку, облобызав в обе щеки. — Именно Малороссия! Именно ярмарка!

— Сорочинская ярмарка, — уточнил из своего угла Антоша.

— Разумеется! — согласились хором друзья. — Разумеется, Сорочинская!

— А не сказать ли, кто нам в этом поможет? — лукаво улыбнулся барон. — Поэт комедий шумных колкий[1], — хитро сверкнул он из-под очков.

— Сан Саныч?

— Ну, конечно! Их сиятельство князь Шутовской!

Тут же послали за князем, но явился тот довольно нескоро и в сопровождении двух певичек. Или танцовщиц?

Был он не то чтобы богатырских кровей, но грузен необычайно, на голову выше всех, и занял едва ли не половину комнаты. Коты, почуяв угрозу, немедленно разбежались.

— Вот, — повел он рыцарской рукою, опустившись в тревожно скрипнувшее кресло, — спешу представить: мои протеже — Люси и Марго. Ну просто дьявольски талантливы! — причмокнул он.

Обе танцовщицы — или все же певички? — хихикнули, сделали книксен, после чего опустились на оттоманку.

От венгерского гость вежливо отказался — сперва о деле — и обвел компанию ожидающим и несколько насмешливым взглядом.

— Нуте-с, чем могу служить, господа?

Возникло некоторое замешательство — кому объяснять? В результате барон, по праву старшинства возложив на себя эту миссию, принялся излагать суть дела.

— Господи, как же я не угадал?! — хватил кулаком по столу их сиятельство, не выслушав до конца. — Ведь и сам подумывал о чем-нибудь этаком, — покрутил он в воздухе пятерней. — Представляете, как мне повезло? Я же смотрел премьеру его «Ревизора» в Александринском — шестой ряд партера, пятое кресло. Хохотал до упаду! Городничий — Ваня Сосницкий, мой ученик! — гордо ткнул он себя в грудь большим пальцем. — Хлестаков — Коленька Дюр, мой ученик! — отвесил жеманный полупоклон. — А как играл! Как играл, сукин сын! Я отбил ладоши! Ведь я ж их сопливыми вьюношами помню! — Он устало обтер испарину с широченного лба и, покачивая головой из стороны в сторону, задумчиво и нараспев произнес: — Какой талант, ах, какой талант! Талантище! — Но через минуту его настроение коренным образом переменилось, и он скомандовал: — Теперь давайте вина, господа! Надо закрепить наш почин. Уж мы придумаем, мы придумаем встречу! Не ударим в грязь лицом!

«Свет мой, ангел, — писал тем же вечером Александер своему тайному другу, — с сегодняшнего дня мы станем репетировать, репетировать... Впрочем, пока еще ничего не ясно. Не знаю даже, какая роль достанется мне. Все держится под большим секретом! Все в руках нашего дражайшего Сан Саныча. Доподлинно известно лишь одно — это будет точно "Сорочинская ярмарка"! Думаю, может, и не сама ярмарка, а некая буффонада или даже бурлеск. Кажется, я уже вижу все ее пестрые краски, слышу дивные звуки! Вся надежда на нашего чудесного режиссера».

---

[1] «Там вывел колкий Шаховской/ Своих комедий шумный рой» (*А.С.Пушкин.* «Евгений Онегин»).

Что в русском поле? Пустота, бесприютность да ветер из края в край, и не за что зацепиться глазу, не на чем ему успокоиться. А вышел бы в поле художник и загляделся. И подумалось бы ему, как показать всю ширину и необъятность таких просторов? С чем их сравнить? И вот уже живописец сажает на нем дерево — аккурат посередке. Сосну, а еще лучше дуб — ветвистый, могучий, под которым впору отдохнуть целому стаду вместе с пастухом. Ухватится за дуб пытливый глаз зрителя и считает — сколько, к примеру, отложится его высота в ширине поля? Или так: а жил бы такой же, как дуб-великан, то за сколько шагов дошел бы до горизонта? Но вместо дерева перед спутниками предстал холм, и черная туча воронья взметнулась с вершины при их приближении. Тут только открылось глазам то, что силилось прежде представить их воображение. Под тяжким шлемом дремала голова великана, вся в бесчисленных шрамах от ударов палиц, копий, мечей. Какие ей снились сны? Какие сраженья вспоминала? Сколько витязей пали бесславно, уязвленные ее величием? И только ветер, только бескрайний простор вокруг. Гайст, остановившись поодаль, прокричал:

— Приветствую тебя, великий воин!

Не сразу ответила ему голова, не скоро поднялись тяжелые веки.

— Будь здрав и ты, хоть мало в том величья, — дуть на врагов или плевать им в спины, — пробасил, казалось ему, сам воздух.

— И все же хотел бы я уметь так дуть, с такой же мощью! И силу рук тогда не надо даром тратить.

— А я бы лучше умел ходить, как ты, или махать руками.

— Мы все за что-то платим. Я неприкаян вечно — ты прикован к месту. Порой бывает жалок жребий наш. Но выбрали не мы такую участь.

— Ты воевать пришел иль просто посудачить? Коль драться, так дерись! А жалость оставь свою для песен матерей.

— Не воевать, пришел к тебе я с делом. Просить о службе ратной против зла.

— Что ж, говори. Возможно, мы сойдемся.

— Страну родную готовятся поработить враги. Уже дозор их выслан, и новых сил несметное число вот-вот прибудет.

— Откуда про дозор известно?

— Я видел сам. Готовят цареубийство гнусное они. И это лишь начало их деяний. Потом придут другие, и начнется такое светопреставленье на Земле, что мертвым позавидуют живые! Тем худшие наступят времена, чем больше их число пропустим.

— И как мы их не пустим?

Гайст обернулся к Мастеру и вполголоса проговорил:

— Ты слышал? Сказал он «мы», а значит, дело в шляпе! Считай, теперь он наш боец! — И снова обернувшись к Голове, продолжил: — Есть способ верный. Я расскажу, как с ними воевать. Но не сейчас, еще не время нам раскрывать умения свои. И коль ты с нами, то должен я тебя предупредить: средь наших войск и брат твой будет тоже. Он не злодей теперь, забыл свои привычки. К тому ж без бороды он просто карла, и в шутовском обличье дни свои итожит.

— Что мне до брата? Нам не о чем друг с другом говорить.

— Я знаю, пред тобой его вина не смыта.

Голова тяжко вздохнула в ответ.

— Не смыта. Но не мне его судить.

— На том и порешим! Пришлем мы за тобой, как только станет ясно, где оборону нам установить. А здесь им не пройти. К тому ж здесь слишком грязно, — пнул он подвернувшийся под ноги истлевший череп.

Сколько ни говори, а местность эта, хоть и слыла вполне населенной, но оставалась совершенно не познанной. Доведись какому-нибудь ученому немцу посетить этот унылый край, уж он бы, верно, оставил нам самый дотошный план сих

туманных мест. Уж он бы исхитрился придумать такой масштаб, чтоб совместить в одном чертеже здешние сказочные пространство и время. И не было бы у нас нужды всякий раз хвататься за голову, пытаясь отыскать там Смородину. Заглянули бы тогда в хроники и прочли: да вот же она, в Олонецкой губернии прописана, а до того еще в Олонецком уезде значилась, а еще того ранее в Обонежской пятине протекала. Да вот беда, не случилось такого немца. То есть немцы-то, конечно, бывали, но по большей части нелюбопытные. А если и нашелся какой, то быстро обрусел, забыв о своих исконных талантах к черчению, и подпал общему очарованию меланхолии места — этакой Ding an sich[1].

От печальных полей забвения повернули Гайст со товарищем на поиски небесного пахаря Микулы Селяниновича.

— Он тот, кто нам поможет богатырей в один кулак собрать, — такими словами отрекомендовал его Гайст Мастеру.

— Он им хозяин?

— Нет, не хозяин, но народный дух лишь в нем сполна свою печать оставил.

— Так, стало быть, он вождь?

— Нет, и не вождь. Но он зазнайству их всегда предел поставит.

— Так значит, богатырь?

— Нет, не богатырь — простой селянин, но он любого за пояс заткнет. Не богатырь, но вот соху его из всей дружины вряд ли кто подымет.

— Так кто же он?

— Сказал же — пахарь!

А возле дома на ту пору происходили совершенно иные события. На скорую руку возводились бутафорские мостки, собирались прилавки и прочие атрибуты, могущие служить декорацией к торговому дню ли, к Троице, к выборам уездного предводителя, да в общем, к чему угодно. Тут легко можно было застать многих обитателей, коих в обычное время не больно-то и увидишь. Впрочем, и держали они себя не вполне привычным образом. К примеру, Мишенька мог запросто заспорить с каким-нибудь Иловайским о ценах на кукурузу. А поручик, переодевшись в партикулярное и забравшись на бочку из-под сельди, вдруг начинал декламировать, безбожно перевирая и переставляя слова: «Чудесен Днепр при всякой погоде, и редкая птица прилетит с середины его...»

— Вы бы хоть текст подучили, милейший, — морщился Сан Саныч, на что тот конфузился и принимался усердно расчесывать затылок.

Выглянул бы с утра в окошко какой-нибудь рядовой обыватель и обомлел — что за представление? Но здесь редко глядели в окна.

— У нас тут что? — взывал новоявленный режиссер к массовке. — Вавилонское столпотворение? Или, может, переход Суворова через Альпы?

— Скорее переход евреев через Красное море, ваше сиятельство! — прыскал в кулак кто-то из друзей.

Через мгновение Шутовской распекал кого-то еще и совсем в другом конце сцены:

— Помилуйте, Александер! Ну кто же так ходит? Писать книжки у вас получается гораздо лучше. Надо научиться теперь писать ногами. Да из вас такой же цыган, как из меня попадья! Вы совершенно не похожи на цыгана! Вы видели, как ходят цыгане?

И, несмотря на грузность, он принимался выделывать некие замысловатые па, демонстрируя то, что на театральном жаргоне называют походкой цыгана.

— Вот еще! Ногами писать... — бурчал себе под нос Александер. — Что ж я, ученая обезьяна какая?

---

[1] Вещь в себе (*нем.*).

Но пуще всего доставалось прислуге. «Голубушка, — увещевал Сан Саныч какую-нибудь пухленькую модистку, — разве это вышиванка? Теперь еще не сделался театр песни и пляски. Это вы, милочка, малость того... поспешили-с». Дождавшись нужной слезы, тут же сдавал на попятную, шепча на ушко: «Ужо загляните ко мне на вечерок. Посидим, потолкуем. Поразглядываем картинки в альбоме Уорта[1]. Аккурат намедни из Парижа получен». И устроив дело таким чудесным образом, спешил дальше.

Без малого в неделю постановка была готова. По вечерам в доме бывали горячие обсуждения дневных находок и неудач. Председательствовал, конечно же, Шутовской. Впрочем, не председательствовал, а как бы задавал тон.

— Вот помню еще в старом театре, — начинал он обычно, — еще в деревянном...

Такая реплика служила лишь затравкой к разговору, и то, что происходило в старом деревянном театре, могло вовсе не всплыть или всплыть в совершенно ином месте и при других обстоятельствах. И тогда, словно колоду из рукава, вытаскивал он на свет всех своих любимчиков, учеников-актеров, всех этих Каратыгиных, Сосницких, Семёновых... Жарко горели свечи, потрескивали дрова в печи, и разговор принимал тот непринужденный характер, когда спешить совершенно некуда, но, наоборот, есть много чего вспомнить, и можно сидеть хоть до зари, а если уж и пойти спать, то лишь по сложившейся многолетней привычке, а вовсе не в силу необходимости. Все давно уже приготовились к встрече, только того и ждали — вот-вот! — отсчитывая последние дни. К концу репетиций и сумбурных бесед за полночь как ни в чем не бывало объявился Гайст и принес с собой запах меда, полыни и никому неведомых дремучих лесов.

Февраль одна тысяча восемьсот пятьдесят второго года таял, истекал последними днями, готовясь червлёным золотом оттиснуть в истории свое двадцать первое число. И хотя февраль был здесь по преимуществу таким же промозглым и тоскливым, как август или апрель, но что-то в природе улыбнулось — солнце ли блеснуло приветливей, выглянув на мгновение из-за туч, или ветерок, налетев с реки, растрепал волосы, но будто бы что-то вздохнуло с видимым облегчением: «Ты вернулся! Ты с нами!» И все закрутилось, как в дурацком детском спектакле-утреннике, устроенном взрослыми к очередному празднику, в котором почему-то непременно ему предназначалась главная роль. Его просто вытолкали на сцену, занавес отдернулся, и надо было уже что-то играть. Но вместо предполагаемого зала открылся низенький берег — шуршание реки в камышах, запах прели. И все это совершенно незнакомое и вместе с тем до мурашек родное, прятавшееся до поры в самых потаенных уголках памяти. Незнакомые хлопцы в бутафорских шароварах и с головами, выбритыми под оселедец, или попросту чуб, поднесли ему чарку горилки, приправленную добрым шматком сала. Поклонились низко, едва не до самой земли. Одарили караваем на рушнике. Тут же подхватили, понесли, и вот уже водрузили на высоченный воз, запряженный волами, а самый воз этот дернулся и пошел. И волы, понукаемые вожатым, покорно месили грязь дороги, словно нанятый глиномес, стараясь намять сырец для хозяина.

Без малого верста, и тут вдруг открылось шумное празднество: ярмарка, или даже карнавал, и это, конечно, радость, это здорово, но ведь надобно еще и понять наконец, а он-то кто? Он-то зачем здесь? Ведь он же совсем не тот, за кого его, видимо, принимают. А за кого принимают? Точно за ревизора какого. Надо будет тотчас же объясниться, не затягивать. Надо сказать им. Но кому — им? И что сказать? Что такое он может сказать, если и сам ничего про себя не понимает? Но должно же быть решение! На все бывает решение.

Волы уже заворачивали под арку, увитую гирляндами изумрудно-прозрачного

---

[1] *Чарльз Фредерик Уорт* (1825—1895), французский модельер английского происхождения, основатель дома моды House of Worth.

винограда, и виднелись тесные прилавки, ломящиеся товаром. Горы сочащихся потом дынь, полосатых кавунов с белым подбрюшьем, сложенные как попало. Рыба, сверкающая серебром, устало шевелящие клешнями раки. И повсюду музыка, песни, столпотворение, хохот и крики, крики...

И половины не успел оглядеть, а уж подскочили к телеге две вертлявые девицы в цветастых, высоко подоткнутых юбках, заголосили, подняв наполненные прозрачным вином бокалы: «Николя мы славим, Николя родного, свет еще не видел красавчика такого!»

Но это же не про меня! Или про меня? Нет, не может быть, чтобы про меня. Я их совершенно не знаю.

Они кривлялись, тянули к нему руки, приглашая сойти. А чернявый мужичок, взлохмаченно-кудрявый, как... как... — нет, прости, господи, нет, ну нельзя же таких совпадений! — подбежал вдруг нелепо, облобызал, торопливо зашептал в самое ухо: «Делай! так надо!» и чуть не силком потащил с козел.

Всё, как в фантасмагорическом сне, мелькало перед глазами, кружилось, вертелось, и он, словно эпопт в Элевсине, вынужден был подчиняться. После какими-то комнатами, залами, бесконечными переходами, скрипучими лесенками, будто в петербургском доходном доме, — на задний двор и, не останавливаясь, снова в круговорот толпы, балагана. Кто-то протягивал руки, цеплял за края одежды. Кто-то говорил, но слов он не разбирал, да и не было никакой возможности разобрать что-то в этаком шуме, пока... Нет, не показалось. Это, впервые услышав, решил — показалось! Но после и второй раз, и третий. И тут уж точно не показалось! Тут уж специально стал вслушиваться. С разных сторон неслось — «красная свитка, красная свитка». А после еще и настойчивее, тревожней: «Кто тут не в красной свитке?!» Оглянулся вокруг, и точно — все вокруг в красных кафтанах! И лишь на нем одном непонятная, в серую полосу чесучовая хламида.

И тут же прежний мужичок кудрявый, который похож... — ну страшно сказать, господи, на кого он похож! — этот же мужичок, который никуда и не отходил, верно, опять потащил его в комнаты.

— Антоша! — крикнул натужно внутрь. — Нужен красный кафтан! Скорее! У нас, вроде, был где-то. В сундуках поискать надо!

И на пару с этим названным Антошей пошел настежь распахивать шкафы, выдвигать ящики, выбрасывая все содержимое наружу.

— Александер, вот, смотри! Нашлось! — отозвался через мгновение, радостно потрясая находкой.

И вдвоем они принялись переодевать его, торопясь, путаясь в застежках, а из соседних комнат, из коридоров — все ближе нарастал гул, приближались шаги, голоса. Все страшнее звучало: «Эй! А ну-ка? Кто тут еще не в красной свитке?! Того сразу в котел!»

Наконец управились, кое-как запихнув обратно вещи, задвинув шкафы. Уселись за стол. Тот, который кудрявый, — Александер — достал колоду. Другой, который в очках, — Антоша — принялся сдавать. И в тот самый миг, как первые карты коснулись стола, в комнату вломились четверо. Самый грузный из них, на голову выше остальных, занял собой едва ли не половину пространства — наверное, ротмистр, почему-то решил он. Других почти не разглядел.

— Так... — промычал великан. — А здесь что у нас, господа?

— Да здесь все свои, ваше благородие. Не извольте беспокоиться! — залебезил, выскочив перед ним, другой, щупленький, с рябым лицом и бегающими глазками.

Но он-то! Он! Какой же он им свой?! Ведь они его даже не знают! Неприятная дрожь подступила к рукам, и холод, и комок в горле. Великан-ротмистр словно угадал его сомнения, уставился в упор, не мигая из-под тяжелых бровей, переспросил:

— Свои?! Надо бы поточнее!

А третий — из-за спины не разглядеть — мерзким скрипучим голосом произнес:

— Может, кто-то надел чужое?

У него аж затряслось все внутри! Ходуном заходили руки, а ноги принялись выбивать дробь. Кто-то из двоих игроков больно наступил на них под столом, придавив к полу. Вслед за этими странными мрачными контролерами во главе с ротмистром затрещали двери и ставни под чьим-то страшным напором. Кто-то неведомый пытался пролезть в комнату.

Понимал, что выдает себя с головой, но никаких сил усидеть! Рванулся в отчаянии, выскочил из-за стола, метнулся к дверям, а следом из окон, из всех щелей неслось: «Держи его!» и отовсюду полезли черти, упыри, ведьмы, и не было им числа! Не было никакого спасения! Теми же проходами, коридорами, лесенками бежал не оглядываясь, не разбирая — лишь бы вырваться из кошмара! Где-то же был задний двор, но никак не найти! Господи! Нету сил. И снова лестницы, повороты, чуланы. А гул за спиною все нарастает, все ближе! Наконец чей-то спасительный крик рядом: «Сюда! Сюда!» За руку схватили: «В круг! Спасайся!» И мелом очерчено на грязном полу. Вступил. «Отдышаться! Господи! Верю в Христа осиянного!» — срываясь на шепот. Но кто-то мрачный в углу, бесформенный, будто слепленный из земли, из самой грязи: «Поднимите мне веки! — и ткнул пальцем: — Вот он!»

И тут налетели, догнали, набросились: держите его! хватайте!

Низкий потолок, некрашеный, в паутинах. Копоть в углу вековая — от самого царя Гороха не скоблена. Доски сучковатые, в трещинах — глазк*а*ми смотрят. Тени ветвей гуляют по потолку. Вправо качнутся, влево. Неспокойно на воле, значит. Слыхать, как ветер в трубе завывает, а в печке дрова потрескивают. Разговор рядом. Кто-то рассказывает. Голос неспешный, вкрадчивый, с хрипотцой.

«В пятнадцатом году, что ли, было? Так помнится, зашел к нам в село старичок один — и прямиком к батюшке. Сказывается, так, мол, и так, вольноотпущенный, с отходных промыслов возвращается. Бумаги у него в порядке. И звать любопытно — Филон Меченов. Видать, какого-то предка его в старину сильно пометили. Вот пришел он до батюшки и говорит: "Иду, мол, издалека, чуть ли не с Ростовской губернии, а шагать еще и того далече — в Холмогоры. Да чую, что не дойду уже, ибо ослаб очень. Так не сделаете ли богоугодное дело? Похороните, мол, меня тут, а деньги за службу возьмите, сколько надо. Остальное пошлите с оказией на родину, супруге моей". Ну и надо сказать, недолго он зажился. Не в тот же ли день и помер? Я-то сам эту историю не застал, наш управляющий после уж отписывал. Так вот, похоронили этого старичка, а после, через год вроде, на епархиальном соборе выяснилось случайно: того же самого старичка в Вязьме хоронили, и еще в паре мест. И как такое могло приключиться, никто не ведает».

Голос затих, он обернулся невольно взглянуть на рассказчика. И тут же все вокруг пришло в движение: гомон, опрокинутые стулья, отовсюду кричали.

— Господи, он очнулся!

— Скорее! Дайте нашатыря!

— Это свинство, Александер, так довести человека!

В то же самое время две прежние девицы бросились поправлять подушки, сунули под нос нашатыря. Из-за их назойливого мельтешения нельзя было толком разглядеть остальных. Но давешнего великана-ротмистра он распознал сразу. Очевидно, он и был тем самым рассказчиком. Только выглядел теперь совершенно иначе — не грозно, а как-то по-домашнему уютно и миролюбиво.

— Да уж, друг мой, умеете заинтриговать человека! Недаром в вас тот француз стрелял, — печально усмехнулся другой, который отыскал ему прежде красную свитку.

— А вам-то почем знать, Антоша?

— Да уж наслышан, наслышан...

Тут только стал доходить страшный и окончательный смысл происшедшего. Он вдруг понял, что знает их всех, ну совершенно всех! И более того — всегда знал! Он привстал с подушек и обвел собравшихся печальным взглядом.

— Так это что же? Я умер? — произнес в тихой задумчивости.

— Ну, в каком-то смысле да, — философски и несколько вальяжно проговорил великан Сан Саныч.

— Друг мой! Вы просто вернулись, — вскочил в порыве чувств Александер, — и дайте ж наконец я вас облобызаю!

— Давайте-ка все за стол, господа! — воскликнул Мишенька, и щеки его налились пунцовым от такого юношеского порыва.

Что-то еще мешало, что-то еще оставалось недоговоренное. И Николя, неуверенно улыбнувшись, обернулся к Сан Санычу.

— Но все же как вы меня напугали! — укоризненно покачал он головой. — Я ведь вас натурально за ротмистра принял.

— Да и вы нас напугали немало своей натуральной игрой, — усмехнулся в ответ тот. — Уж думали было положить конец спектаклю.

— Позвольте, а как же Вий? — спохватился Николя. — Он тоже был настоящий?

Тут выступил из тени до того молчавший Гайст, и надо же, как он точно соответствовал образу!

— Разумеется, настоящий. Хотите, приведем? Впрочем, вы уже сегодня встречались, — хмыкнул он.

— Но как же это?.. — заторопился спросить Николя и вдруг умолк, неожиданно оборвал себя на полуслове.

— Вы хотите знать, как же это так получается, что придуманные вами герои живы? — переспросил Гайст и, дождавшись даже не кивка, а лишь едва уловимого наклона головы, ответил: — Вы точно уверены, друг мой, что именно вы их придумали?

— Но позвольте...

— И не способны ли допустить иное, — не дал перебить себя Гайст. — Что все они существовали еще до вас, как некие мыслеобразы, а вы лишь вдохнули в них жизнь, дали имена?

— Но раз так, значит, они и не жили вовсе! — вмешался Мишенька.

— Смотря что понимать под жизнью! — расхохотался Гайст.

— Господа, господа! — перебил всех Александер. — Давайте оставим эти пустые нелепые споры! Не забывайте про наши традиции — у нас нынче гость. Гость! А мы даже не выпили первого тоста! Антоша! — обернулся он к другу. — Вы же у нас распорядитель. Командуйте!

В какие-нибудь минуты был собран чудесный стол, буквально ломящийся дивным изобилием давешней ярмарки. Чего здесь только не было! Ароматнейшие колбаски всех видов, от которых коты впали в неистовое состояние. Сало разнообразных способов копчения, холодец с тонким узором зелени и маленькими кристаллами чеснока, картофельные зразы со сметаной, вареники с самой непредсказуемой начинкой, крученики, полядвица, соленые баклажаны. Ну и, конечно, рыба — моченый в пиве судак, щука, фаршированная белыми грибами, копченый сом, истекающий жиром. А на десерт пляцки, кокурки, пампушки и всякого рода печенья, которым, кажется, и названий не придумано. Наконец хлопнули призывно бутылки, и вино аппетитно зашипело в бокалах. Барон как распорядитель вечера призвал виновника торжества к ответу:

— Николя, ваш тост! На правах гостя!

— Я в нерешительности, господа... — начал тот. — Я совершенно не привык к церемониям и прошу великодушно извинить эту слабость. Могу и хочу сказать лишь одно, что чрезвычайно рад всех вас видеть. Но особо я хочу вспомнить про один день.

Я тогда жил в Париже. Утром принесли из посольства записку о смерти друга, — он бросил короткий печальный взгляд на Александера. — Сказать, что я был потрясен — не сказать ничего. Я не знаю, с чем сравнить мое тогдашнее состояние. Был конец зимы. Слякоть. Я бесцельно брел по бульварам. Падал снег большими мокрыми хлопьями. Белый снег и черные тротуары. И никакого другого цвета. И почти никаких пешеходов . На углу старик-шарманщик с ученой обезьянкой прятались под зонтом. За один су обезьянка доставала из шляпной коробки бумажку с предсказанием. Кажется, до нас еще не дошла эта мода. Я расплатился и развернул доставшуюся мне бумажку. Красивым детским почерком — очевидно, писала его внучка — было выведено: «Смерти нет».

— Браво! — воскликнул Александер. — La mort n'existe pas![1]

— О, да вы прямо целый рассказ сочинили, — расплылся в улыбке Антоша. — Действительно, браво! Смерти нет! Отличный тост!

В смущении Николя опустился на место. Тут же, словно бабочки, порхнули к нему Люси и Марго. «Ничего, — наперебой шептали они, пытаясь вызволить новичка из задумчивой меланхолии, — это скоро пройдет, пройдет».

Но печалился не только он. В разгар веселья барон тронул за плечо Александера.

— Хочу выкурить трубку, — произнес он нарочито негромко, так, чтоб не слышали остальные, — составь мне компанию.

Вдвоем они вышли на покосившееся крыльцо, с которого в ясную погоду открывался чудесный вид на заречные дали, на тревожный ельник, уводивший к незнаемой Смородине. Весь он казался тогда силуэтом, вырезанным из черной бумаги, этакой аппликацией в контражуре, как сказал бы художник. Но теперь свет был ущербный, рассеянный, и острые пики елей скрывали клочья тумана.

— Ты что-то хотел мне сказать? — с некоторой опаской проговорил Александер.

— Да, хотел. — Голос Антоши странно дрогнул, а сам он натужно закашлял, словно поперхнулся табачным дымом. — Хотел сказать, что мой час пробил, мне пора. Пора уходить, — заглушил он кашлем предательскую дрожь в голосе.

— Как?! И ты?! — изумился Александер. В его интонации совершенно явственно слышалось «Et tu, Brute?[2]», да впрочем, он это нимало и не скрывал.

Барон виновато развел руками, но так как объяснение было явно недостаточным, продолжил:

— Понимаешь, это накатывает, как волна, и ты не в силах противиться. К тому же, мне здесь порядком надоело, — улыбнулся он. — Всё это сплошное фанфаронство, лицедейство, игра... Здесь душно и сыро, мой друг. Мне хочется света. Света!

— Ты зайдешь попрощаться со всеми? — проговорил Александер, потупив взор.

— Нет! Не хочу делать из этого трагедии.

Они еще постояли в нерешительности, не зная, что сказать друг другу. Наконец Александер не выдержал:

— Пойдем, я провожу тебя до камня. Не думал, что это случится так скоро, — вздохнул он.

— Я же сказал, — поторопился оправдаться Антоша, — это непредсказуемо. И никогда не знаешь наверняка. Есть у меня соображения на этот счет, верней, догадки. Точно-то ведь никто ничего не знает.

— Какие еще догадки? Выкладывай!

— Понимаешь, кто-то забывает нас там. Там, на земле, — махнул он неопределенно рукой. — Пока еще помнят, крепкая нить удерживает нас здесь,

---

[1] Смерти не существует! (*фр.*).

[2] И ты, Брут? (*лат.*).

не позволяет идти дальше. Но вот очередной ее волосок оборвался — и adieu. Впрочем, это так... домыслы.

Возле камня все было по-прежнему. Пусто. Неприютно. Пугающе. Антоша остановился и, обернувшись к другу, широко распахнул руки.

— Прощай, брат мой названый!

Александер, не скрывая слез, кинулся в его объятия. Минута — и все! Кончено! Барон зашагал прочь. Не оглядываясь. Навстречу новой судьбе.

Туман и чаща поглотили его, но некоторое время оттуда еще доносились слова, которые он произносил нараспев навроде баллады: «Он и в лесах не укроется, лира выдаст его громким пением».

К особенностям здешнего края следует непременно добавить и особый характер последнего рубежа. Смородина отличалась тем нравом, что впускала всех. Выпускала не каждого. Новый дух, попадающий в край, вообще не различал никакой преграды. Какой такой Калинов мост? Какой такой Змей? Так, обычная речка лесная, мостки, гуси-лебеди... И не замечал он останков многих героев на ее берегах, тех, кому не удалось вырваться к свету. Кто и рад бы, окончив скитания, вступить на небесную твердь, да душа прикипела к земному — не оторвать. Ничего этого он не видел и о сем не догадывался. Ибо духу входящему незачем знать всей тяжести будущих испытаний, нет потому и нужды смущать его ум всякими сказочками. А иначе возропщет прежде времени, усомнится. Пусть живет не таясь. Пусть вдыхает мир полной грудью! А там поглядим.

Хитрюга Гайст, конечно же, знал эту особенность, но делиться ни с кем не спешил. Что толку объяснять школяру устройство часов, коли о самом времени у того весьма смутные представления? По этой причине действия Гайста казались порой сумбурны обитателям дома, а то и вовсе непонятны. Взять, к примеру, историю с Головой.

После очередных учений с рекогносцировкой, когда уже и вечер давно состарился, и аппетит разыгрался не на шутку, вся компания по традиции собралась за столом. Разговор зашел о характере места. Стоит заметить, что с Антошей из дома окончательно ушло сибаритство. То есть случались, конечно, и карты, и вино, и цыгане захаживали, но редко. Сам характер бесед приобрел с той поры не то чтобы клерикальный, но до некоторой степени назидательный градус. Причем, непонятно, отчего это вдруг произошло. Как бы само собою случилось. Например, Николя мог спросить: «Не пойму, и куда ж Дантов ад подевался? Где его здесь искать?» На что Гайст — асессор по демонологии, как за глаза величал его Александер, — отвечал обычно: «Так отменили-с». Вот и теперь тему разговора задал неожиданный вопрос Мишеньки:

— А скажите, друзья, вот Смородина и Почай, они как-то соединены меж собою? Не впадает ли одна в другую? — окинул он пытливым взором компанию.

— Нет, ну что вы, друг мой! Нет, конечно! — замахал руками Александер. — Меж ними нет ничего общего, хоть и недалеко протекают.

— Это как Дон и Волга, не до пятидесяти ли верст сближаются в самой своей ужине? Однако даже в разные моря впадают, — поделился Сан Саныч географическими познаниями. — И случались такие прожекты в истории, канал меж ними прорыть.

— Да вы, князь, не ударите в грязь лицом! Вполне могли бы извозчиком служить у Митрофанушки, — рассмеялся Александер. А Гайст, тот и вовсе ударился в мистику:

— Есть воды, которые не смешиваются, — сообщил он с мрачноватой ухмылкой.

— Я вот прежде думал, что здесь, — Мишенька неопределенно повел рукой, — человек получает самые широкие познания о мире. Все вопросы сами собой снимаются. Ан нет, не тут-то было. Оказалось, число загадок лишь возрастает, — удивился он.

— Любопытное бы зрелище было, если б здесь такой канал проложить, — продолжал размышлять о своем Сан Саныч.

— Эк вас на маниловщину сегодня потянуло, — снова подначил его Александер. И тут Гайст вдруг совершенно неожиданно треснул себя ладонью по лбу.

— Ба! И где это у нас Чичиков прохлаждается, интересно знать? А ну подать сюда Ляпкина-Тяпкина!

Павел Иванович появился, как черт из табакерки, в считанные мгновения, будто стоял за дверьми. Друзья в недоумении переглянулись — к чему бы? Гайст даже глазом не моргнул, словно только того и ждал, словно давно имел некий план на сей счет разработанный, да только вот запамятовал за суматохой. Оборотившись к вошедшему, он спросил:

— Скажите, дружище, много ли у вас душ теперь числится? Ну, тех, что по ревизским сказкам прописаны.

— Мы, конечно, встречались, но, кажется, не представлены? — вздохнул Павел Иванович в том смысле, что нужно же придерживаться каких-то правил при разговоре. Подобная фамильярность допустима лишь между хорошими товарищами. Хотя познакомиться он совершенно не против. Такая вот сложная палитра чувств отобразилась в его вздохе и на лице.

— Бросьте, дружище! — осадил его Гайст. — Нынче не до формальностей. Время совершенно не терпит! Итак, сколько же мужичков наберется?

Как ни странно, но такой повелительный тон подействовал на Чичикова вполне отрезвляюще, и больше уж не делал попыток к знакомству.

— Аккурат с четыре сотни будет, — с нескрываемой гордостью произнес Павел Иванович.

— Прекрасно! Прекрасно! — воскликнул Гайст. — Это вы замечательно вовремя сообразили! Как раз они нам все и понадобятся.

— И для какой же цели, позвольте спросить?

— Для самой святой, уверяю вас. Для защиты отечества.

— Да разве же на нас кто-то нападает?

— Как знать, как знать, — задумчиво проговорил Гайст. — Я встречал немало таких охотников. Но это еще так... пока лишь буревестники.

— Каковы могут быть преференции? — поинтересовался Павел Иванович. — Вы же на время лишаете меня, можно сказать, средств к существованию.

— Преференции? А преференции могут быть таковы, что враги рода человеческого не повесят вас на ближайшем столбе, как придут.

За все время их короткой, как дуэль, перепалки, друзья не проронили ни слова и лишь следили за репликами, как за мячом в jeu de paume[1].

— Насколько я понял, это пока еще весьма туманная перспектива?

— Как знать, как знать, — снова изрек свою философскую формулу Гайст.

— Однако же приходили французы, и ничего подобного не случилось, — вполне резонно усомнился Павел Иванович.

— Французы? Ишь куда хватили! — хлопнул себя по ляжке Гайст. — Это все же цивилизация. А нынешние придут вообще без роду без племени. Одно слово — варвары.

— Во всяком случае, хотелось бы каких-то гарантий. Позвольте хотя бы расписочку.

— Ну разумеется, разумеется! За этим дело не станет!

И Гайст тут же подмахнул бумагу со словами: «Предъявитель сего документа, Чичиков Павел Иванович, удостоверяется в том, что его крестьяне, в числе четырехсот душ, изъяты для исполнения нужд государства и будут возвращены в целости

[1] Игра ладонью (*фр.*) — старинная игра, аналог современного тенниса.

и сохранности, как только оная нужда отпадет». И добавил еще что-то на словах, дружески приобняв за плечи:

— Насколько известно, Наполеон Бонапарт учредил у себя во Франции орден Почётного легиона. А буде создастся подобный ему орден и у нас, могу точно пообещать в нем особое место. Скажем, спаситель Отечества, очень вам подойдет!

Совершенно очарованный такой перспективой Павел Иванович пообмяк, не зная, что и сказать, и начал рисовать в голове отличительный знак будущего ордена — возможно, большую звезду с бриллиантами на красной атласной ленте через плечо. Но на этой приятной фантазии и был прерван все тем же бесцеремонным Гайстом.

— А теперь, милейший Павел Иванович, разрешите откланяться. Очень рад был бы продолжить беседы, но дела государственные требуют.

С этими словами, уцепив Чичикова под локоток, тихонечко подталкивал его к двери, а тот, в свою очередь, выходил, несколько пятясь, непрерывно отвешивая поклоны.

— Был очень рад! Очень был тронут!

Едва лишь за гостем захлопнулись двери, Николя зябко передернул плечами и тихо пробормотал:

— Не хотел бы я снова его видеть.

— Боюсь, что решать уже не вам, — несколько печально проговорил Гайст.

— Но позвольте, как же вы собираетесь использовать этих крестьян в ратном деле? — воскликнул Александер. — Помнится, давненько вы что-то такое говорили нам про отягощение злом.

— Имейте терпение, господа! Скоро увидите все своими глазами!

Анналы истории хранят не только дела, но и сами слова, послужившие причиной событий. Это лишь меж людьми гуляет общеупотребимый оборот «слова эти канули в Лету». На деле же именно слова в первую голову и цепляет старуха история на свое удилище и откладывает их в самые глубокие тайники памяти, и сохраняет как величайшую драгоценность. Ибо еще в давней давности сказано: «В начале было Слово».

Спустя совсем недолгое время после приснопамятного разговора дом, как, впрочем, и обстановка вокруг него, стали потихоньку меняться. Сами изменения были, может, и не столь заметны, но совершенно неотвратимы. На заднем дворе за домом появился завод. Не завод, конечно, — заводик, и даже так себе: сараюшка с вечно дымящей трубой. И доносились оттуда порой какие-то совершенно противные звуки — будто удары железа и стоны, и визги пилы. Если бы кто зашел, то — ба! — увидал бы вполне знакомые лица: плотник Пробка Степан и Иван Колесо, и каретник Михеев, и Пётр Савельев Неуважай-Корыто, и кирпичник Милушкин, и Григорий Доезжай-не-Доедешь, и другие — все сплошь Мастера и работящие люди. Но наши друзья туда и вовсе не заглядывали. Лишь однажды Николя, все еще не оправившийся после встречи с Павлом Ивановичем, завернул посмотреть их работу. Но об увиденном говорить не стал, а впал в еще большую задумчивость и меланхолию. А еще немного спустя через поле от леса протянулась железная дорога. Бегал по ней почти игрушечный паровозик, пугая округу протяжным свистком из трубы. Александер, верный таланту, окрестил его не иначе как самовар на колесах, да и вообще, кто его только и как ни обозвал! Но тот исправно себе трудился, таскал из леса дрова, и не было ему дел до людских насмешек.

И вот однажды трудяга-паровоз привез из-за леса знаменитую голову витязя, а заняла она без малого целую платформу. Тут уж вышли, пожалуй, все обитатели поглазеть на чудо. Правда, близко подойти никто не решился, а Александер так и вовсе стеснялся взглянуть в глаза великану и подглядывал из-за спин. Весь остаток дня он провел совершенно не в духе, в поздних сумерках затеплил лучину и уселся за письмо.

«Свет мой, ангел, — писал он, — должно быть, только теперь я понял, насколько мы пленены своими героями. И так ли уж простительна наша небрежность, когда, оседлав Пегаса, скачем мы пером по бумаге, погоняя фантазию? И так ли уж безобиден наш путь, устланный костями невольных жертв нашей рифмы? Мы боги! Мы все можем! Скачем мы, нимало не заботясь о тех, кто подвернется под копыта коня. Лишь смутно мерцающий огонек впереди достоин нашего вниманья, лишь он один зовет нас. Но когда-то же остановимся. И они, хромые, убогие, обезглавленные явятся поглядеть на нас, своих творцов. Сумеем ли мы тогда заглянуть в глаза тех, кого обрекли на страдания?

Нынче Гайст наш с полей забвения привез голову великана. Видел бы ты, ангел мой, ее глаза! Печаль вселенной, бездна! Я не нашел в себе сил подойти. Будто что-то сковало меня по рукам и ногам. Я лишь однажды был свидетелем подобного взгляда — так Николя разглядывал своего Павла Ивановича. Сколько муки, сколько чувств было начертано тогда на его лице! И ежели про Чичикова уместно сказать, что это герой без души, то мою голову точно следует признать душой без героя.

Вообще-то, я опять весь в сомнениях, друг мой. Должен тебе сказать, что начинаю побаиваться Гайста. Тот ли он, за кого мы его теперь принимаем? Не правда ли, что герои существуют до нас, а мы всего лишь списываем их с натуры? Но тогда вопрос: подчинены ли они уже нравственному императиву? Или именно мы вкладываем в них свои моральные нормы? Опыт Гайста подсказывает мне, что первое вернее.

Вопросы, вопросы, вопросы... Ум ищет божества, а сердце не находит».

Как-то раз вечером Гайст вместе с Мастером сидели возле путей на низенькой дощатой платформе, мокрой после недавних дождей. Паровозик только что притащил из леса три-четыре вязанки дров, и работяги сгружали их возле заводской стены. Вечер остывал. Сосны процеживали наползавший туман, а рельсы сверкали в лучах зари так, будто возили по ним не дрова, а солнечную руду. Гайст невольно прищурился на это сияние и заговорил:

— Скажи мне, Мастер Вил, игрой какого рода заботились валлийские купцы, лудильщики и рыбаки, и гончары Ламбета, а то так просто лондонская чернь?

Мастер невольно усмехнулся в ответ.

— Сдается мне, ты помнишь все места, где выступать случалось труппе нашей. А впрочем, ты джентльменов Стратфорда забыл.

— Да разве всех упомнишь?

— Ну что ж. Набор известный всем: любовь, измена, шашни короля иль королевы-матери злодейство — из года в год репертуар один. Афиши не меняются веками.

Гайст тяжело и как-то печально вздохнул.

— Здесь ждет игра иная! Сюжет, конечно, важен, но главное не в нем, а что за ним.

— И в чем же здесь отличие таится?

— Костюм, в который государь рядится. Отличье в нем.

— Скажи точнее, я не понимаю, как может быть причиною костюм?

— Я образно сказал, но ты поймешь, конечно. Как можешь пьесу с середины понимать. Так вот, как раб завидует камзолу господина, но сам его не станет надевать, так и народ удавится скорее, ударится скорее в смуту он, чем влезет в чужеземные портки вслед за царем своим.

— Ты, вроде бы, про зависть говорил.

— Да, так и есть, но зависть не к костюму. Причина глубже, глубже, Мастер Вил! И объяснить ее, пожалуй, будет трудно. Однако ж слушай и мотай себе на ус. Сложилось уж давно так: народ и знать здесь говорят на разных языках. Не станем мы в истории копаться, откуда так пошло. Но вышло точно так. И кабы не писать теперь

на языке народа, то, верно, разошлись бы эти племена. Но разойдутся дальше — сам увидишь, когда застанешь эти времена.

Он надолго задумался, разглядывая дальний лес, почти задернутый плотным занавесом тумана.

— Представь, в твоем театре, Мастер, на место зрителей актеров посадить, а тех, других, поворотить на сцену. Что выйдет из затеи этой? — тут он таинственно подмигнул. — О зависти еще ты не забыл?

— Я думаю, смешаются все маски. Получится такой дивертисмент — не отличишь трагедию от сказки!

— Скорее, тут случится бенефис, — ухмыльнулся Гайст. — Но продолжаем! Зритель в зале тем и хорош, что каждый чувствует себя в заглавной роли: уж он-то бы сказал! Уж он-то бы ударил! Уж он бы в этой драме заставил плакать всех, пустил слезу рекой! Вот зависть где! Вот злость откуда! Подумаешь, актер! Ну, просто повезло под этакой звездой родиться. Родись он под другой, пошел бы в пахари или лепил посуду, так чем гордиться тут?

— Но это нонсенс, хоть пример прекрасен!

— Пример с театром я тебе привел, чтоб показать, сколь несуразен замысел невежд — всех взять и поменять местами. На то есть божий промысел, едва ль ты не слыхал о нем. Так вот, царю пеняет дерзостный народ, что позабыл обычаи родные, что оседлал страну, как жеребца, и тщится за европами угнаться. Пока что втихомолку, по углам, но скоро, может статься, на площадь выхлестнет.

— И что плохого в том? Ну, выйдет, покричит, а после разойдется по домам. Не вижу тут трагедии особой. Не так ли и повсюду было?

— Боюсь, здесь так не будет, как повсюду. Здесь все бурлит, как на вулкане дышит! Тут ревность с завистью под руку идут, страстей и чувств шипит клубок гремучий! И так сплетен давно! И царь-де, мол, не тот, кровей немецких, и глас народа вовсе он не слышит! Тут только спичку кинь — и полыхнет! Покатится пожар до океана, а то, гляди, и океан перехлестнет!

— Да, сцена мрачная, тут нечего добавить. Но коли будет все, как ты пророчишь, к чему потуги эти с Головой, с героями всех сказок прочих? Что за сраженье могут выиграть они? И могут ли? Зачем лукавить?

Гайст вскочил в необычайно сильном возбуждении и принялся расхаживать по скрипучим доскам, мрачно уставившись себе под ноги.

— Как не поймешь ты истины одной? В героях сих живет душа народа! И до тех пор, пока она жива, он не погибнет, пережив невзгоды, — проговорил он, чеканя каждое слово, точно золотой червонец. Наконец остановился и подмигнул, дружески хлопнув Мастера по плечу. — И есть еще тут истина одна — неистребимо зло, и зла ледник вовеки до основы не растает. Как прежде я тебя учил? Зло — это лишь соотношенье сил. Зла без добра на свете не бывает. Но чем сильнее противленье злу, тем оно дольше в нетях пребывает. Пускай слаба еще народная душа и долго ждать, покуда силы наберется, но в нас надежда Дантова жива — пока хоть листик той надежды бьется...

Междуречье Смородины и Почая имело не только географическую ширину и разнообразие, но и глубину со своим, пожалуй, еще большим разнообразием, о чем мало какой обитатель догадывался. Очень сильно обманулся бы новопреставленный, полагая, что существует лишь то, что зримо. Словно наваждение, фата-моргана, возникал вдруг пред путником образ Νέστωρ[1], и он, выбитый из колеи обычной житейской рассудочностью, вдруг прозревал — да, это именно он, тот самый легендарный летописец! И так же продолжает свой труд. В ответ просветленный

[1] Нестор — «странник» (*лат.*).

рассудок подхватывал эту мысль и соглашался с ней совершенно — ну да, разумеется, а кто же еще? Присмотревшись внимательнее, изумился бы он и более, ибо заметил бы еще и другое — старцу нет нужды пользоваться привычным пером и пергаментом, а то, что он пишет, оттискивается словно бы прямо на небесах, и ниспадает на землю листами известной с незапамятных лет Голубиной книги.

Писалась эта книга во все времена: и при великом Петре, и при Грозном царе, и при прадеде его в тринадцатом колене Владимире Мономахе. Но всегда ли слово книжное носило лишь назидательный характер? Всегда ли было вроде докучливого материнского поучения «не водись с плохими людьми», а потому и не вполне обязательно?

Задумавшийся над этим адепт рано или поздно приходил к совершенно ясному ответу — нет, не всегда! Бывали времена, когда слово еще билось, еще трепетало живым сияньем на небе, подобно звездам, и лишь после погасло, застыло свинцовыми рунами на бумаге.

Как-то раз ночной разъезд пробирался вдоль болотистой низины, окаймлявшей предлесье. В неверном свете луны едва угадывался след копыт. О том, чтобы различить какие-то иные следы, не было и речи. Меж тем, наметанный глаз охотника разглядел в мокрой траве не то улиток, не то червей, размером едва ли больше лисицы.

— Алёша, глянь-ка, что за слизняки? — спросил Добрыня, слезая с коня.

— Так, верно, то и есть, что старшина нам сказывал намедни! — живо откликнулся Алёша, понукая своего коня пританцовывать на месте. — Кол*и* их, режь!

— И вправду мерзость! — хмыкнул подъехавший Илья.

Втроем они разбрелись вдоль болотины, орудуя копьями наподобие мальчишек, лучащих осенью рыбу на мелководье.

— Ну, прямо ратная забава! — горько усмехнулся Илья, мокрый и перепачканный с ног до головы тиной и слизью. — Как я домой вернусь?

Алёша расхохотался так, что в ближайшей рощице сорвало птицу, и она метнулась, хлопая в испуге крыльями.

— Скажи, что заревых червей копали. Чтоб после перемёты ставить... на стерлядь.

— Тебе бы зубоскалить все! А много ль сам прибил-то?

— Десятка два.

— Вот то-то и оно, что два. Эх, сейчас бы половецких ханов встретить, — сладко потянулся он, хрустнув косточками, — да по степи погнать! Да потоптать! Да булавою шлемы посшибать с башками вместе! Чем этих червяков колоть болотных.

— Эх, да, — вздохнул Добрыня, — прежде вольно было. Теперича не так! Иначе стало нынче. Все норовят пробраться изнутри, исподтишка ударить под кольчугу.

— Враг измельчал, да нам какое дело? Не в чехарду же с ними нам играть? — возразил Алёша. Он вдруг опешил, разглядев что-то позади, за спинами товарищей. — А оглянитесь-ка, друзья, на поле! Что там за холм с навершием стоит?

Там, где поле вздыбливалось, забирало к небу, и мелкие колючие звезды, казалось, вот-вот зацепятся за траву, стояло что-то уродливо огромное, похожее на гору. Но откуда тут взяться горе? В набежавшей из туч луне сверкнул шишак на вершине. Друзья ахнули, переглянулись и подъехали молча, с опаской разглядывая спящую голову. Кони под всадниками настороженно фыркали, держась на почтительном расстоянии. Алёша тихонько ткнул в бок Илью.

— Ты, кажется, искал противника покрепче?

— Искать-то я искал, вот только не приучен с головами драться, — буркнул тот.

— И то сказать! Слизнет тебя, как муху, и выплюнет к болотным червякам.

Добрыня, тот даже привстал в стременах, чтобы оценить размеры, но едва сравнялся с бровями витязя.

— Не Святогор ли это? — спросил он. — Я, сколько ни служу, а первый раз наехал на этакое чудо.

— Нет, Святогора знаю я, не он, — покачал головой Илья. — В кости тот тоньше будет. Про этого я слышал только, но прежде видеться и мне не довелось.

— Эх, сколько ж мощи в нем было ране, когда ходил, как мы! — с восхищением проговорил Добрыня, не в силах оторвать взгляд от великана. — Он мог бы запросто поднять нас всех троих с конями вместе, поставив на ладонь.

— Ага! Потоме еще другой прихлопнуть, — не удержался Алёша. Илья вздохнул:

— Тебе бы все смеяться.

— А что еще нам делать? Мы так и будем тут всю ночь кружить? Как будто бы другого дела нету?

— Что ж, будь по-твоему, — решил Илья. — Я, как смогу, подъеду ближе, а вы держитесь-ка подальше от меня — не ровен час...

Он приблизился к Голове на длину копья и, дотянувшись, пощекотал древком ноздрю великана...

Луна уже закатилась за лес, звезды потускнели и погасли перед лицом зари, когда им удалось снова собраться вместе. Последним подъехал Илья, конь его заметно прихрамывал.

— Ты, верно, с самого Почая возвращался? — встретил его появление Алёша.

— В другой раз, умник, станешь сам будить, — огрызнулся тот. Он спешился, кинул Алёше поводья и, подойдя к Голове, поклонился. — Прости нас, брат, что потревожили твой сон напрасно.

— Так что, нужда какая заставила вас рыскать по полям? Или обыденкой вы мимо проезжали? — откликнулась Голова.

— Нужда такая, брат, что охранять от нечисти должны родные земли.

— Благое дело!

— Только вот беда, не сразу ее отыщешь — прятаться горазда. Уж ты подуй нам, братец! Пособи! Лежалую траву приподними! Чтоб духи, отягченные переживаньем мрака, запутались, завязли, будто в паутине, в ней. А там уж мы подскочим!

— На том и порешим! Свистеть я буду. Услышишь свист мой хоть из-под земли.

После возвращения Николя редко проводил время с друзьями. Его можно было повстречать где угодно. Точно какой-то неугомонный дух преследовал его, гнал с места на место. Обычно он пропадал где-то в дальних комнатах дома и на дворе, у конюшни или сараев. Раз как-то Александер вышел подышать на волю и застал его возле железнодорожных путей рядом со станцией. День выдался сухой, но ветреный, и низкое вялое солнце пробивалось сквозь рваные клочковатые облака.

— Скажи, друг мой, куда ведет эта дорога? Ты знаешь? — спросил Николя, поеживаясь от колючего ветра.

— Должно быть, Гайст знает, — пожал плечами Александер. — А впрочем, какая разница — куда? — небрежно отмахнулся он. — Мы же все равно никуда не едем.

— Это-то и странно, — пробубнил Николя. — Почему все время сидим на месте?

— Если тут и есть что странное, так это вопросы, которые ты задаешь. Почему тебя это волнует?

— Помилуй, я уже давным-давно здесь, целую вечность. Даже не помню сколько. Я потерял счет времени! И... и ничего не происходит. Ни-че-го! — проговорил он в раздражении по слогам. — Я бы поехал, но, боюсь, там будет еще хуже. Боюсь, что где-то там — ад, — шепнул он, опасливо указывая пальцем в сторону леса.

— Ад?! — переспросил Александер и невольно хмыкнул. — Ад, друг мой, это влюбиться в графиню, нисколько не рассчитывая на взаимность. Ад — это сходить

с ума от одной лишь близости духовной, не имея никаких оснований ни для чего иного. Вот это сущий ад!

— Ты прав, прав! Тысячу раз прав! И почему тебя не было тогда со мной? — тяжко вздохнул Николя и схватил за руку Александера.

— А и был бы? То что изменилось бы?

— Хотя бы уберег меня от этих пустых растрат сил и времени.

Александер вздохнул, прищурился на низкое солнце и задумчиво произнес, старательно глядя куда-то в сторону:

— Тебе следовало выбрать иной объект любви.

— Вот как? И ты знаешь верный способ?

— Нет, способ мне неизвестен, но я знаю это наверняка.

Николя смутился, опустил голову и принялся усердно ковырять носком мелкие камушки под ногами.

— Я не искал лавров дона Жуана, — едва слышно проговорил он, заливаясь краской. — Непостоянство, ветреность, вероломство — не про меня. Верность — вот то единственное, что должно украшать человека.

— Верность? А что это такое? Верность кому или чему, позволь спросить.

— Ну... родство по духу — как родство по крови, тут не ждешь предательства.

Через некоторое время оба вдруг спохватились, что идут вдоль путей от дома и уже довольно прилично ушли, и, заметив это, повернули обратно.

— Пожалуй, ты прав. Это действительно верность, — согласился Александер.

«Свет мой, ангел, — писал Александер тем же вечером, — нынче редкий случай — долго беседовали с Николя. Только теперь мне открылось, как глубоко несчастен этот человек! Сколько обид натерпелся! И самая глубокая из ран — отношения с графиней. Ты же помнишь Анну? Ей, конечно, льстило, что величайший литератор России запросто общается с ней. Но каково было ему? Он и теперь подавлен, не может примириться с прошлыми обстоятельствами. В любой неправильности отношений виноваты прежде всего мы сами. Я лишь хотел поведать ему об этом. Но не умел сказать. Не решился. Мы наделяем нашу любовь тем, чем она ни для кого другого не является. Мы приписываем ей такие свойства, каковыми она не обладает. Для примера представь, мой друг, какого-нибудь почтенного отца семейства в летах, сохранившего нежные чувства к своей супруге. "Моя ласточка" или "мой котик" — зовет он ее ласково, как встарь. А в этом "котике" давно уже пудов пять-шесть. Каково? Но в том-то и состоит любовь — это то, что поднимается в нас изнутри, а не то, что приходит снаружи. Это, прежде всего, наша способность любить. В ней скорей отражаемся мы сами, чем наш избранник. И потому тяжело было Николя самому дать верную оценку графине. Как говаривал Цицерон: "Надо судить человека прежде, чем полюбил его, ибо, полюбив, уже не судят".

Каков же выход? Я не знаю. Другое дело, если бы Анна дала ему отказ. Но, насколько мне известно, отказа не было. Хотя, впрочем, не было и самого предложения. Все на полутонах, полусмыслах.

В сущности, мой друг, в этом мире мы все глубоко одиноки, отчаянно одиноки. Порой нам в отшельничестве улыбнется любовь, но это случается так редко и так недолго длится, что даже и говорить не стоит.

Эх, что-то я разболтался сегодня, должно быть, опять к непогоде...»

Тем же вечером Мастер, который стал невольным или, вернее сказать, незримым свидетелем той беседы, пересказывал Гайсту печальное содержание разговора.

— Скажи, кто прав и есть ли правый в этом деле?

— Вопрос не так уж прост, и правых нет, — поморщился Гайст прежде, чем дать ответ. — Что до меня, я выбрал бы свободу, без сомненья. Познанию противно постоянство! Я утверждаю, постоянство — это смерть! Конец развития, предел земных

страданий. Все постоянство — это труп могильный. Вот он уж, право слово, постоянный — как положили черепом к востоку, так и лежит, бедняга, с этих пор, не повернется ни на йоту вспять.

— Но что же нам толкуют об изменах, о пошлости и похоти людской? Что постоянство лишь одно залог успеха, — упрямился Мастер.

— Ну, кто же лицемерию поверит, друг мой? Твой рассказ другим задел меня. И добродетель здесь не цель — скорей, помеха. Она, как искус, как преграда, как прореха души, в которую стекает яд сомнений, страхов и застит свет, и нет в душе огня, а есть лишь скорбь...

— Так в чем утеха?

— Ее тут не ищи, сказал же я: нет верного ответа! Все дело в том, что, не познав друг друга, мы остаемся только образом, словами, закрученными туго в нити фраз, сплетенными в романы и поэмы. Мы друг для друга призраки всего лишь, не более, чем летней ночи сон.

В доме было полно всякой всячины. Шкапы, в изобилии набитые разной рухлядью, столы, скамейки, диваны, резные стулья, кресла венские, кухонная утварь, посуда — от тончайшего аглицкого фарфора до простой деревенской керамики, свечи, подсвечники, канделябры, арфы, рояли, клавесины, скрипки, гитары. Ковры турецкие, персидские, туркестанские, домотканые, гобелены, статуэтки, картины в рамах и без оных на самые разнообразные сюжеты, гравюры, рисунки, эстампы, атласы, открытки, календари, книги — целые библиотеки книг! На любой вкус — прялки, вальки, скалки, коромысла, сёдла, хомуты, попоны, подковы... Казалось, целыми днями, целыми месяцами ходи, а всего не пересмотришь — то одно откроется, то другое. Но вот чего тут вовек не найти, так это зеркал! Если кто-то еще держал в голове такое воспоминание — взглянуть на себя со стороны — здесь оно напрочь стиралось. Здесь каждый мог лицезреть себя и снаружи, и изнутри, была бы охота. Но как такое возможно? Черт его знает!

Как-то в один из промозглых дней, когда из дома лучше не выходи, а лишь полеживай на печи да грейся, Гайст вместе с Мастером сидели в заведении у знакомого немца — в том самом, с известной картиной про Чудо Георгия. Час был неурочный, но ввиду непогоды большинство мест было занято, и проворный хозяин едва поспевал обслужить гостей, ловко снуя между столиками. «Что есть за ненормальный погода, господа? — ворчал он, тяжело отдуваясь и специально коверкая язык, очевидно, в угоду посетителям. — Что за напасть на нас такая?» Господа же по большей части молчали, потягивая кто квас, кто чай с лимоном, а кто так и просто водочку. И лишь за одним столом ничего не пили — в самом дальнем и темном углу. А восседала там мрачная компания из трех человек. Гайст специально ткнул Мастера под руку, кивнув в их сторону — взгляни, мол, какие птицы! Троица казалась совершенно застывшей и как бы не от мира сего, словно с иконы Андрея Рублёва. Только одежды их были темно-серые, а не небесно-голубые, как на оригинале, и вместо чаши посреди стола помещалась лубочная картинка с императором, вроде тех, что продают в Страстную неделю на развалах возле монастырей. Перед портретом теплилась свечка, а все трое держали друг друга за вытянутые над столом руки, как бы образуя половинку звезды Давида. Время от времени можно было расслышать и отдельные слова молитвы, которую они шептали, усердно шевеля губами: «Спаси, Господи, и помилуй благовернаго государя нашего Александра Николаевича и покори под нозе его всякаго врага и супостата, и глаголи мирная и благая в сердце его о церкви Твоей святей и о всех людех Твоих... тихое и безмолвное житие... в правоверии, и во всяком благочестии и чистоте... мерзкое и богохульное жидовское иго и агарянское царство вскоре испровержи и правоверному царю предаждь... правоверие же утверди и воздвигни... христианский и низпосли на нас милости Твоя богатыя...»

— Кто это? Что за люди? — опешил Мастер.

— О, это давняя история, — ухмыльнулся Гайст. — Когда-то они величали себя любомудрами, завели кружок, изучали немецкую философию, увлекались Шеллингом, Кантом... Да вот незадача — сами же и перепугались своих дерзостных мечтаний о национальном самоопределении и о строительстве самостоятельной русской философии. И потому поспешили скорее загладить вину. Кружок распустили, устав сожгли, а для себя нашли прибежище в служении Богу, Царю и Отечеству. Такой вот конфуз случился на почве любви к родным пенатам.

— А прежде ты, кажется, руганью ругал революционеров? — лукаво улыбнулся Мастер.

— Я?! Ругал? — переспросил насмешливо Гайст. — Ругал — это еще мягко сказано! Ругал, потому как любое правильное развитие — это эволюция, а вовсе не ломка старого и уж тем паче не выписывание охранных грамот умирающей династии. И наш случай особенный, уж больно на верноподданнейшее шутовство смахивает — «Скорей бы ты помер, ваше величество, я тогда всем рассказывать стану, как сильно любил тебя, а то сейчас стесняюсь».

Никто из посетителей не обращал на странную троицу ни малейшего внимания, как, впрочем, и на самого Гайста. По простой причине: не было в этом пестром собрании ни единой души, что так страстно радела бы об отечестве, как эти трое. Слава богу, не перевелись еще в наших краях ни иные цели, ни иные служения.

— И вот ведь незадача, — продолжал Гайст, — тот вон красавчик, что у них в середке вместо Бога-Отца восседает, поначалу был совсем неплохим поэтом, что-то такое возвышенное писал: «Так ты, поэт, в годину страха и колебания земли, носись душой превыше праха и ликам ангельским внемли...» Но под конец скис и даже удостоился от критиков прозвища реакционер. Это ведь не самая правильная характеристика для поэта, как думаешь?

— А с Александером он, случаем, не знаком? Или, может, с Николя, еще с кем-то? С кем-то из тех, у кого ты обычно бываешь.

— Ну, как же, как же?! Разумеется, знаком! Только что с того? Тут ведь печаль какая — только заведешь друзей-литераторов, так и начнешь себя невольно с другими сравнивать, и не дай тебе бог оказаться слабее! Если поймешь, что невысоко летаешь, — пиши пропало! Ухватишься за любую соломинку, лишь бы устоять. Кто в женщинах, кто в вине, а кто в Боге опору находит. Эти, как видишь, в патриотизме ее отыскали. Ну, не самая далекая глушь — не какой-нибудь там Саратов.

— Посредственность в родной земле опору ищет, — задумчиво проговорил Мастер. — А гений, он всегда — космополит!

Происходившее в крае всегда имело непосредственное продолжение на земле, и по нему, как по барометру, можно было с уверенностью предсказать наступление тех или иных событий. Знать бы правила. И наоборот, отголоски дел земных прокатывались здесь с некоторым запозданием, как эхо, оставляя по себе тонкую печаль угасающего вечера. С некоторых пор обитатели дома стали замечать странную кровавую ржавчину закатов. Она появлялась незадолго до захода светила и держалась некоторое время после, окрашивая тревогой притихший ельник.

— Интересно, что бы означал такой мрачный оттенок? — задумчиво проговорил Александер, всматриваясь в пылающие облака. — Вспоминается, прежде старики рассказывали о чем-то этаком накануне войны двенадцатого года.

Друзья как раз устроили чаепитие на воздухе по случаю теплых сумерек. Экономка уже дважды раздувала большой самовар, но жажда все никак не унималась. Туман еще не пал, пахло свежескошенным сеном и чубушником, а чопорные стрижи замысловатыми пируэтами вырезывали непонятную азбуку в небесах. Им одним, казалось, не было никакого дела до цвета облаков.

— Нет, это не к войне, — покачал головой Гайст. — Это именно то, о чем нас предупреждал Мишенька, — декорации к убийству императора.

— Вы разве помните? — удивился Александер. — Я так уж и забыл, признаться.

— А между тем пророчества пишутся на небесах. Буквально! — откликнулся Николя. — Их можно не понимать, но не замечать невозможно. Иногда мы и сами себе пророчествуем. Но почему-то себе доверяем меньше. А напрасно. Мы же сотканы из того самого материала, что и облака.

Он вроде как спорил с самим собой, но спорил вслух, вынуждая остальных вслушиваться.

— А что? Легко представить, как я буду парить облачком или тучкой, — пожалуй, впервые за весь вечер улыбнулся Мишенька. — Это такая высокая поэзия! — закатил он глаза и, перехватив взгляд Николя, хмыкнул: — Буквально!

— Утес тоже придется представить, — улыбнулся в ответ Николя. — Утесов тут не поставили.

— Ваша милая пикировка не вполне приличествует случаю, господа, — нахмурился Гайст, подливая себе в очередной раз чаю.

Друзья переглянулись. Уже не впервые Гайст демонстрировал странную озабоченность событиями, которые так печально от них далеки.

— Пророчество — еще не свершившийся факт, — примирительно и как бы за всех проговорил Александер. — Стоит ли заранее оплакивать государя? Устраивать тризну? Да и так ли уж верны пророки?

— Оплакивать живых, конечно, не стоит, но и пировать во время чумы не резон. Вас ли, мой друг, укорять в этом? А пророчество верно, не извольте сомневаться. Пророчества не могут быть неверными, они бывают лишь неправильно истолкованными.

— Ваши слова справедливы лишь для царей?

— Отчего же? Для каждого. Но капризная дама история помнит лишь государей.

— И каких же пророчеств следует более всего опасаться?

— Повторюсь, — опасаться надо неверного толкования. А пророчества... Чего же их опасаться? — усмехнулся Гайст. — Они как указатели на дороге. Вы же не боитесь указателей?

Поздним вечером после чая, никому не сказавшись, Гайст отправился на прогулку, прихватив с собой длинный кожаный плащ и шпагу. Впрочем, все достаточно привыкли к его странным выходкам, чтобы обращать на них внимание.

— Нет, их уже не раскачать, пустое! — вздохнул он и махнул в досаде рукой, сходя с крыльца. Со стороны могло показаться, будто он бормочет с самим собой, но на самом деле он обращался к Мастеру. — Ты же видел, мой друг, — говорил он,— их уже ничто не тревожит. Они прожили славную жизнь, и теперь их волнует лишь одно — последний рубеж, Смородина.

— Я бы не сказал, чтоб они туда слишком рвались, — хмыкнул Мастер.

— Ха! В чем и дело! Заметил ты особенность одну? Сюда привозят, а туда уходят, — ткнул он пальцем куда-то в сторону ельника и печально вздохнул. — Так нелегко сказать последнее прости и отпустить былое, словно птицу. Свои привычки, радости, друзей — вот это все, что родиной зовется. Что замирало сладостно в груди от крика петуха, мычания коровы, от звуков, которые мы с колыбели помним: едва проснешься — уже заполнен мир каким-то чудным смыслом. Хруст яблок на зубах и скрип телеги, и прелый запах осени в саду, когда она под пуховик зимы ложится.

— Но всё ж они уходят. И значит, смиряются с потерею своей? Финал сей пьесы близок, позабыты роли...

— И да, и нет! В том нет особой воли. Как лепестки срываются с цветка затем,

что отсыхают, так и души покров помалу убывает, покуда дух не обнажится. Тогда уходят. Тогда уже ничто не держит здесь.

— Я облекаюсь в душу, а они снимают?

— Вот именно, друг мой! Всё так и есть! Насколько жаден к жизни ты, настолько же они остыли! Ты облекаешься сегодня в душу, а завтра будешь в тело облачен, как гусеница в кокон. Тебе всё любопытно нынче в мире, в стране, что родиною стать должна. Тебе в ней всё не терпится узнать. Её язык, обычаи и нравы, пословицы, приметы, имена ее героев, поверья, песни, смех, веселье, забавы юношей, лукавство юных дев. Её художников сюжеты, книги мудрецов иль шутки черни, когда, уставши от дневных трудов, она своих господ вовсю поносит, хвастовство отцов перед наивной глупостью детей иль страхи матерей за будущее, что грядет неумолимо в проклятый век машин, и вот уж близко сроки... — вот это всё, что, языком поэтов говоря, мы называем «аромат эпохи».

— Поистине чудесный аромат! Здесь всё смешалось, как в колониальной лавке. Я даже в Стратфорде такого не встречал. Хотя, что в Стратфорде? И в Лондоне едва ли...

— Да, здесь смешались многие наречья, как будто отворился Вавилон, оценишь его варварства увечье, когда перед тобой предстанет он. Тогда забудешь старого спирита, среди людей моя бессильна власть, но отблески иного света ты будешь еще долго вспоминать. В промозглый день у жаркого камина, за дружеской беседой в час ночной или под утро после нежной встречи я потревожу твой земной покой. Хотя покой тебе прописан вряд ли, то будут грозовые времена. Но, чур! Дальнейшее — молчанье, — приложил он палец к губам. — Об этом говорить не должен я.

За разговорами они незаметно дошли до леса, до памятного места возле камня, где когда-то Александер прощался с бароном, а до того — с Гаврилой Романовичем.

— Мы куда-то идем? — насторожился Мастер.

Вечер, еще минуту назад казавшийся теплым, вдруг пахнул сыростью, налетел тревожный ветерок со Смородины, зашуршал листвой.

— Да так... прогуляемся немного по тропе самоубийц, — хмыкнул Гайст. Но его небрежный тон произвел обратный и самый удручающий эффект. От неожиданности Мастер остановился, как вкопанный, на мгновение даже потерял дар речи.

— Са-мо-у-бийц? — наконец выдавил он по слогам. — Отчего вдруг такое страшное название?

— Не обращай внимания, — отмахнулся Гайст. — Идем! Я просто неудачно пошутил. Никто ее, разумеется, так не называет. — И, промычав себе под нос какой-то невразумительный мотивчик, пояснил: — Видишь ли, мой друг, сюда приходят те, кто окончательно скинул с себя земные одежды. Кто уже никогда более не вспомнит о своем земном существовании, и вовсе не потому, что не может вспомнить, а потому, что нет нужды вспоминать. Это как перечитывать старую книгу — пускай сюжет завораживает, но ничего нового в ней уже не сыщешь.

Тропа, ведущая старым ельником, изборождена узловатыми морщинами корней, вытоптана, словно в парке, и так широка, что при желании хоть на телеге поезжай! Однако же на телеге тут никто не ездил. Могучие стволы в смоляных потёках плотной стеной совершенно закрывали перспективу, невозможно было разглядеть, что там, за очередным поворотом. Птицы здесь не пели, зверья не водилось, и ни одна душа в мире не могла бы вынести этого удручающего места. Оттого-то души тут и не хаживали.

— Вряд ли ты запомнил, — вымученно улыбнулся Гайст, — но явился ты сюда именно по этой дорожке.

— Может статься и так, мне было не до того, чтоб разглядывать, — пожал плечами Мастер и спросил: — И куда мы теперь идем? На Смородину?

— Нет, не туда. Там нас сейчас не ждут никакие открытия.

— Значит, просто гуляем?

— Не совсем. Нам предстоит одна важная встреча. Необычная встреча, — с особым ударением и манерной загадочностью подчеркнул Гайст.

— И ты, конечно же, не расскажешь мне, с кем?

— Отчего же? Расскажу, — опять ухмыльнулся, растянув улыбку, и добавил: — Потом, после...

Они довольно изрядно прошли по тропе, сумерки, и без того поздние, совершенно сгустились, когда мерное, далекое содрогание насторожило слух. Как будто где-то в дремучей лесной чаще забивали сваю. И звук этот нарастал, приближался, становился явственнее. Мастеру показалось, даже сам воздух дернулся и пришел в движение. Стало не по себе, нестерпимо не по себе. Он нерешительно оглянулся на своего спутника.

— Это он! — шепнул Гайст в самое ухо. — Скорее! Освободим дорогу! — И, схватив Мастера за руку, торопливо потянул в сторону, под тяжелые еловые лапы.

Минуту спустя мимо них грузно прошагал кто-то темный, совершенно неразличимый в сумерках, и Мастер невольно поразился его размерам. Проходя рядом, великан на мгновение замер, обернув голову, но было неясно, увидал он их или нет? Странный ужас сковал Мастера. Какое-то время он совершенно не мог сдвинуться с места, прилипнув к смолистому дереву.

— А ты заинтересовал его, — усмехнулся Гайст.

— Я? Почему именно я? Не ты?

— Помилуй, мой друг! Ну что же во мне может быть интересного? Я так и останусь тут, в этих краях, а вот с тобой его пути еще пересекутся.

— Так кто же он?

— Он тот, кто, словно муху в паутине, тебя подвесит. Тогда его узнаешь, не теперь — теперь не время.

Мастер недовольно проворчал:

— И нет бы сразу предупредить. Я б разглядел получше, а то всё — после, после...

— Достаточно, что он тебя увидел. Теперь уж не забудет, верно.

— Постой! Дай угадаю, это Ричард Третий?

Гайст нахмурился.

— Нет, но того же плана господин. О большем не скажу, сам все увидишь.

Назад в дом спутники возвращались уже под звездами. Густой туман поглотил их, едва лишь они вышли из леса, — как потный ноздреватый сыр на бутерброде, лежал он на всей округе.

Всякого, кто путешествовал междуречьем Смородины и Почая, хотя бы раз да посещало сомнение, а насколько всё зримое им соотносится с истиной? Например, правда ли, что вот эта журчащая ручейком вода, которая после дождей становится мутной, есть на самом деле вода, а не что-то иное? Или тот дальний лес, в котором созревает такая дивно сладкая малина, действительно лес? И что самый дом этот, старый, громоздкий, покосившийся, кто-то когда-то построил? Насколько, например, малина есть малина сама по себе, а не просто наша память о сладости? Или, скажем, дом есть лишь сам дом, а не мечта об уюте? А что если никакого пространства нет и в помине? Ни самого пространства, ни каких-либо объектов, расставленных в нем тут и там, — ни ручейка, ни леса, ни дома? Что если существует одно лишь время, которое в своих бесчисленных метаморфозах принимает тот или иной знакомый образ? Не есть ли все сущее здесь просто красивый рисунок, этакое наваждение, хитрый обман зрения и ума? Будто могущественный, неведомый художник заставляет нас вновь и вновь переживать одно и то же?

«Мой милый друг, — писал Александер, — нынче я совершенно погряз в философии. И ладно бы только в ней! Но вот беда, стоит лишь на минутку задуматься

о сущности вещей, как тут же я начинаю ковырять ногтем поверхность стола — то ли пытаюсь убедить себя, что стол реален, то ли, наоборот, ищу подвоха. Я даже не знаю в точности, что бы меня больше устроило, реальность его или мнимость. (Вот уж не ожидал от себя, что стану мыслить когда-нибудь на немецкий лад.) Или резко оглядываюсь в надежде застать момент, когда вдруг всё за спиной исчезает, чтобы убедиться в придуманности этого мира. (Отечество нам царское свело... ха-ха!) Впрочем, всякий раз не застаю. Боюсь, не станется ли со мной dementia praecox[1]? Я даже и прозвище себе уже выдумал на сей счет — сумасшедший философ. Каково?!

Не могу вообразить свое путешествие на Смородину. Диви бы еще Змей, мостки, но что же дальше, на том берегу? Может, опять все лес, лес?.. А ну как пустота? Черная, бездонная, зияющая, ни опоры, ни звука. Так и представляю себе: мостки обрываются — и далее ничего. Ничего! И где же мои друзья? Где князь, где Гаврила Романович? Но, главное, где Антоша? Как искать их в этой пустоте? Я же точно ума лишусь! И спросить совершенно некого. Гайст либо молчит, как татарин, либо отвечает загадками. К тому же он кажется мне не вполне нормальным. Вечно бубнит себе под нос что-то, словно сам с собой разговаривает. Мишенька говорит, что он постоянно кого-то с собой таскает, но не разглядеть. Не знаю, как верить.

Давеча заговорил вдруг, что благословенные времена в отечестве теперь заканчиваются, а придет срок, их еще и сказочными назовут. Надо же, в какое время мы живали, оказывается! Вот бы ни за что не подумал. Жаль, барон не слыхал. Уж он бы, поди, повеселился! Вообще-то Гайст прав, наверное. Я тоже за сказку считал далекое, что еще до Ивана Кровавого было. И не я один, многие так. Что мы знаем о времени? Оно подобно толще воды. Что-то еще прозрачно, а другое уже и не разглядеть, затянулось. Я вообще склонен думать, что все мы живем не в своем времени. Одни с великой радостью поселились бы в веке минувшем, другие, наоборот, выбрали бы себе грядущее. Да и как иначе? Если допустить мысль, что самое лучшее время это время нашего пребывания, что это и есть некий золотой век, рай на земле, то к чему тогда все наши помыслы и порывы? Ведь ежели идеал достигнут, так не к чему и стремиться».

— Остановить мгновенье невозможно! — раздался за его спиной знакомый сухой смешок. — Чего другое, а золотой век никогда не будет достигнут.

Александер вздрогнул и оглянулся. Гайст стоял сзади и как ни в чем не бывало скалил зубы.

— Помилуйте, вы же подглядывали! Так нечестно и некрасиво!

— Вы смеете подозревать меня в мошенничестве? — нарочито шмыгнул носом Гайст. — Нет нужды подглядывать слова тех, чьи мысли и без того прозрачны. Да, золотого века не случится, — повторил он. — Никогда не случится. Время — это лишь постоянное перетекание.

— Перетекание?! — вскинул брови Александер.

— Ну да. Циник вам скажет, что это перетекание из пустого в порожнее. Философ назовет как-нибудь иначе — из ничего в ничто. На самом деле неверно ни то, ни другое. Суть не в словах. Мир постоянно меняется, течет. Идеал недостижим. Идеал — это застой, конец развития. Мир оттого и жив, что пребывает в вечном движении.

— Выглядит вполне логично, но позвольте спросить, какой же во всем этом смысл? Если все движется, все к чему-то стремится, но никогда этого не достигает, к чему тогда стремления, раз цель недостижима? Ведь ежели мне надо куда-то ехать, так я беру извозчика и именно туда и еду!

— Можно подумать, съездили один раз и больше с тех пор никуда ни ногой, — прыснул Гайст и, подмигнув, фамильярно хлопнул Александера по плечу. —

[1] Слабоумие преждевременное (*лат.*).

Ошибиться немудрено, мой друг. Вы глядите на мир, словно на себя лицеиста, как на свой сиюминутный порыв. К тому же полагаете, что мир изначально разумен, что существует Бог, провидение, всемирный разум — называйте как хотите, — который что-то такое знает, хочет и к чему-то стремится...

— А разве не так? — удивленно проговорил Александер и, не дождавшись ответа, оглянулся. Но Гайста уже нигде не было.

Мрачно скрестив руки на груди, прислонившись к молодой рябинке, Гайст стоял на краю бесконечно огромного поля, которое, будто кочевник, набежало из ниоткуда и умчалось куда-то за горизонт. Взгляд его — взгляд голодного волка — то ли бесцельно блуждал вокруг, то ли выцеливал что-то недоступное обычному человеческому глазу. Мастер приткнулся рядышком, прямо возле ног учителя, безмятежно развалившись в высокой траве.

— Скажи, а это в самом деле, что золотому веку не бывать? — неожиданно спросил он, теребя травинку.

— Тебе не все равно ли?

— Конечно, нет! Как белка в колесе тут крутишься, а всё без толку.

— Сравненье мне не нравится твое.

— А после обещают загробный рай, но врут, конечно, — насмешливо упрямился Мастер.

— Пусть колесо, но скачет по дороге.

— Которая вкруг дома заплелась.

— Тебя не переспоришь, верно. Ладно, пусть вкруг дома, но всякий раз ведь это новый дом.

— Что ж нового? Все те же окна, двери, очаг все с тем же сизым каплуном, и куча деток жадно смотрит в рот: что папа нынче им принес на ужин? И тут ты в черном мрачно говоришь: а ничего другого и не ждите. Не будет никакого рая вам, — передразнил он нарочито низким каркающим голосом и, усмехнувшись, взглянул на Гайста.

Тот вымучил улыбку.

— Чудак! Да посади тебя в тот рай, ты взвоешь через день! Запросишься обратно.

— А ты как будто знаешь наперед, чего я захочу?

— Что ж Лира ты обрёк на адские мученья, а после его же и играл, на сцену выйдя? Ну, нет бы в райских кущах посадить да окружить заботой дочерей.

— Так то ж игра! Тут важен сам процесс, не результат!

— А это не игра ли? — Гайст широким жестом повел вокруг рукой. — Напомни, кто сказал: «Весь мир — театр»? Я что-то подзабыл.

— Для красного словца и не такое скажешь.

— А после и повторил еще: «Жизнь — это только тень, комедиант, паясничавший полчаса на сцене», — усмехался Гайст.

— Так это ж в русле роли! Отчаянье героя таково, что даже смерть супруги лишь помеха. Тут с чем угодно жизнь сравнить горазд. Хоть с варевом в котле бирнамских ведьм!

— Э, не скажи! Тут точная цитата! — Гайст словно прожег его испепеляющим взглядом. — Нам интересно мучиться, страдать. А жизнь в уютном гнездышке едва ли доставит нам такие развлеченья.

— Но как насчет любви? Ее пошто мы ищем? — не унимался Мастер. — Не для того ли, чтоб забыть невзгоды и поселиться в тихом уголке, подальше от суетности мирской?

— И от любви ты не уюта ждешь. Ты жаждешь битв любовных, бури сердца, измен, раскаяний, находок и потерь, признаний в верности, мольбы, прощений, чего угодно — только не покоя. Любовь не омут мельничный, в котором топят страсти.

Скорее уж — бездонный водопад! Успокоение — конец всему на свете. Спроси любого в «Глобусе» своем, на что он поглазеть туда приходит. Понравится ль ему такой сюжет, где муж с женою годы проживают, рожают деток, кушают обед, гостей встречают, сами ездят в гости, а после тихо помирают, оплаканы друзьями и родней?

— Но большинство так и живет, пожалуй.

— Ты знаешь? Видел? Ты свечу держал? Они тебе открыли сундуки своих секретов? Что ж судишь скопом всех? Иль мнится, что страсть кипит лишь в спальнях королей? А простолюдина сия напасть обходит стороною? — Гайст даже запыхался от наигранного возмущения, но, переведя дыхание, продолжил: — Так я тебе и более скажу! Никто! Никто — ты слышишь? — в целом мире в покое жить не хочет и не станет, за исключеньем самых древних стариков. Вот незадача — помереть со скуки! — расхохотался он.

— Однако же, притом хотят покоя все.

— Хотят одно, но делают другое, вот штука в чем! — Тут он вдруг выпрямился, оторвавшись от рябины, и, вскинув к глазам козырек ладони, воскликнул: — О, глянь-ка, вон к нам и Микула правит!

Несметная туча птиц увивалась за пахарем, перекрывая горизонт, — это первое, что удалось разглядеть друзьям. Вслед за ней поднималась еще и вторая туча — пыли. И вот, когда, соединившись, смешавшись в одно, они перекрыли полнеба, появился и сам Микула. В белой полотняной рубахе навыпуск, с рыжими в седину вихрами, вырвался он из этого хаоса, точно буревестник из шторма.

— Deus ex machina[1]! — шепнул Гайст своему спутнику и, обернувшись к гостю, воскликнул: — Привет тебе, крушитель целины! Пушиста ли землица нынче?

— Пушиста ли? Вполне! А хочешь, сам проверь. Тебе сажени хватит? Иль скажешь глубже вырыть? Как ты больше любишь? — смерил его Микула хитрым насмешливым взглядом. — Почто позвал опять?

— Я вот к тебе зачем. Пеняли мне твои богатыри — в траве не больно эту мразь поймаешь. Так ты нам пособи, вспаши границы. Пройди сохой от края и до края. Пусть знают, ироды, как им сюда соваться!

— Вспахать — раз плюнуть! Был бы только прок, — кивнул Микула и полой рубахи отёр пот со лба. — Как думаешь, не дело ли живых покой свой охранять, стоять на страже?

— Они и встанут, когда выйдет час. Но чтобы встать, должно их быть хотя бы вровень.

— Господь их уравняет.

— Не сам же выйдет?

— Почто же сам? На то есть слуги Божьи.

— Так мы с тобой и есть вот эти слуги!

— Чудесный диалог! — рассмеялся Мастер, лишь только Микула скрылся за пыльным занавесом. — Он что, не знает доли своей?

— Здесь не пишут роли, — хмыкнул Гайст, — здесь нет судьбы, и всякий волен сам торить свой путь.

— Вот мне бы так!

— Глупец! Не знаешь ты, что просишь!

В предрассветных сумерках на краю того самого поля, что некогда выбрал Гайст для ристалища, потрескивал костерок. Ночью прошел дождь. Впрочем, не дождь, а так... обычная нудная морось, но сырости она поприбавила изрядно, и потому все зябко поеживались и жались к огню. Александер восседал на походном складном

[1] Бог из машины (*лат.*).

стульчаке, а-ля Наполеон при Бородино. Николя притулился на каком-то колченогом табурете, прихваченном по случаю из дома, а Мишенька — и вовсе стоял, мрачно скрестив на груди руки. Остальные же сидели прямо на голой земле, подобрав по-турецки ноги, и только один Гайст возлежал возле самого пламени, подоткнув под себя видавший виды тяжелый плащ. Все ждали с отчетом старшину, а может, и не ждали вовсе. Просто такой удобный повод собраться вместе, посидеть или даже потолковать, если представится интересная тема для беседы. Как знать?

Время от времени Гайст лениво пошевеливал палочкой угли, отчего в небо взметались искры, а по лицам пробегала причудливая мозаика света и тени. Мишенька, который, кажется, впервые попал на «манёвры», спросил, ни к кому особо не обращаясь:

— Интересно, как это видится со стороны?

— Что видится? — переспросил Александер.

— Да вот всё это, все эти ночные сражения, — и повел вокруг растопыренной пятерней. — Может ли их видеть кто-то иной, не нашего круга? Ну, кто-нибудь из-за... из-за реки, — осторожно произнес он.

— Разумеется, может! — откликнулся со своего места Гайст, не оборачиваясь и не глядя на собеседника. — Может, если ему так вздумается, только что в том толку? Что он во всем этом разберет?

— То есть, как это — что?

— А то и есть, что не будет для него никаких всадников с пиками наперевес, перекличек дозорных, ухающих сов по болотам. Ничего этого он не разглядит и не услышит.

— Странно... — растянул недоумение Александер. — Так что же он увидит?

Гайст хмыкнул:

— Прескучную картинку, доложу я вам. Как будто токи крови по жилам раненого зверя протекают, где мертвое соседствует с живым и красное здоровое начало сошлось в противоборстве с желтым гноем — картинка, что скорей врачам знакома. Из этого он может заключить — не все спокойно в датском королевстве, — тут он зевнул и перевернулся на другой бок. — А, впрочем, и вовсе может ничего не заключать.

— Как же печально все это выходит, — простонал Мишенька, — что для всех оставшихся за рекой мы всего лишь нелепая функция организма. И никакой поэзии, никакого полёта.

— Ну, это как еще посмотреть, — не согласился Гайст. — Ведь ежели разглядывать с других берегов, так вы и сами наполовину слепы. Разве доступен вам Демокритов колодец? Разве понятно движение атомов? Наступит час, и все творимое здесь покажется вам детским лепетом, сказочками няни в сравнении с мудростью вселенной.

Понемногу светало, и компания постепенно таяла, разбредалась. Грустен вечер, но и утро бывает печальным, когда мрак рассеется и то, что прежде таило в себе загадку, угрозу, казалось диковинным, даже и страшным, на поверку оказывается обычной гнилой корягой, которой воображение ночи дорисовывало совершенно неведомую природу.

Оставшись наедине с Гайстом, Мастер с некоторой тревогой спросил:

— Ты давеча сказал, что нет судьбы у тех, кто в этом мрачном крае обитает, но что же есть взамен? Что заставляет...

— Что заставляет дерево расти? — насмешливо перебил Гайст.

— Не дерево, героев здешних.

— А после полыхать огнем в камине?

— Я про судьбу спросил.

— Судьба... судьба, судьба, судьба, — пробормотал Гайст скороговоркой и несколько нараспев, покачивая в такт головой. — Тебе ссудили пять шиллингов, а после попросили отчитаться, на что потратил их, и очень может статься, что траты не понравились твои. Заимодавец умысел в тебе имел, вдыхая в плоть...

Ты же растратил деньги зря — на женщин, на вино, продулся в карты... Вот что судьбой зовется, друг мой. Но! Но кто, спрошу тебя, вдохнул в твоих героев жизнь? Кто их плясать заставил и песни петь, и драться на мечах, и рыскать под луной? Кто сделал глас их вещим? Они бесплотны, в них лишь дух трепещет, — заключил он и смолк, бросив на Мастера тяжелый взгляд, полный необъяснимой и неразделенной скорби. — Они бесплотны, хотя страдают, как и ты, одетый в плоть. — И, помолчав, добавил: — Ты, друг, их и вызвал к жизни, не умея вдохнуть их в жизнь. Пока что не умея... еще не время тебе таким умением владеть. И где-то, может статься, там, — махнул он неопределенно рукой, — Макбет страдает, и напрасно стучится в двери Лир, Джульетта плачет о потерянной любви, и Гамлет растерял друзей своих, как знать? Оставим их теперь. Твоя задача — другие дни на шпагу нанизать.

— Но, если так они бесплотны, какой в них прок для наших рубежей? Разве пулю остановить любовью? Или, укрывшись гневом, как плащом, мы защитим себя от лезвия кинжала?

— Нет, друг мой, нет, его не дрогнет жало. Но толк в них есть. Нас убивает слово скорее, чем разит рука. И пусть пока тебе неясен смысл вполне, но можешь верить — тот крепче дом, чьи двери охраняет дух, не ключ.

Стоит ли поминать, что для обитателей междуречья главным препятствием оставалась Смородина? Нет, никто, разумеется, в трезвом уме не думал о ней всякий раз, как глядел в сторону леса. Разве что мелькнет неловкая мысль, вроде камушка в подошве — не более, мелькнет и забудется. И завалится глубже, наслоившись иными размышлениями и обстоятельствами. Да и что о ней думать? Вот же прошли Почай — и ничего! И нет никакой смерти! Так, значит, и Смородину как-то пройдем, придет время.

Однако же нет-нет да и всплывет подлая мыслишка: а ну, как там всё по-другому? Может, пока только смерти не было, а потом — будет? Никто же с того берега не возвращался, не рассказывал. Но никто не умел объяснить и другого — почему эта мысль так зудит и тревожит? Никто не додумывал, что есть лишь одна причина, по которой нас может пугать смерть — именно та, что мы так и не поняли, что же такое есть жизнь?

Александер недаром что ни день садился за письма к другу. Так он размышлял, философствовал, уходил в себя, фактически никуда при этом не уходя, оставаясь в кругу друзей. Мишенька так не умел и страдал, вынужденно терпя соседство с другими. Не то чтобы он был нелюдим и чурался компании, просто находил в них мало интересного, созвучного своим душевным порывам. Человек поверхностный, недалекий поспешил бы окрестить его мизантропом и уж верно ошибся бы — мизантропом тот не был. Но он скучал и ничего с этим поделать не мог.

Раз как-то после затяжной докучливой непогоды, когда по всему дому гуляет такая сырость, что даже и печи не спасают, друзья собрались на вечерний чай.

— Five o'clock![1] — с фальшивой гнусавостью объявил во всеуслышание Александер, для пущей важности позвякивая ложечкой о фарфор. — Кажется, так это теперь называется у наших чопорных островитян?

На что Николя, притулившийся возле самых печных изразцов, печально вздохнул:

— Бедолаги, они и после реки в своем туманном Альбионе прозябают.

— Видимо, таков уж закон, — менторски развел руками Александер.

— Да уж, небесную канцелярию на хромой кобыле не объедешь, не обскачешь, — хмыкнул из своего угла Гайст. — Это вам не третье отделение — кого не надо, в Кишинёв не сошлют.

---

[1] Пять часов (*англ.*) — традиционное время чаепития.

— Ах, как бы я мечтал оказаться сейчас на Кавказе! — болезненно заломил кисти рук Мишенька. — Вы даже не представляете, друзья, как я теперь страдаю.

— Что тут удивительного? Всех нас преследует гений места да, видать, не судьба. Значит, недостаточно вкусили горьких плодов отечества, — философски заключил Николя.

— Соленых огурчиков, к примеру, — не удержался Александер. Но тут произошло нечто и вовсе уж неожиданное.

— А не продолжить ли нам водочкой, господа?! — раздался не пойми откуда настолько знакомый смешок, что все невольно переглянулись. «Князь! Князь! Фёдор Петрович!» — зашептали наперебой друзья, оглядываясь по сторонам, но источник голоса нигде не обнаруживался.

Надо заметить, что при этих словах Гайст поднялся и решительно вышел за двери, словно по неотложным делам.

— Ты эти шуточки брось! — пихнул он в бок выскочившего вслед за ним Мастера. — Не хватало только, чтобы тебя обнаружили! Скоро ты станешь им видим. Уже совсем скоро!

— Я примеряю камео поневоле, — хмыкнул в ответ Мастер.

— Боюсь, признать тебя будет трудно в этой роли. Да это и не входит в наш расчет. Тягаться предстоит тебе с другими — иное поколенье подрастет.

— Ты видел их? Ты можешь рассказать?

— Покуда не настало время знать тебе всех планов. Поверь, всему свой час.

Невинная проделка Мастера с подражанием голосу князя вызвала немалый переполох. Некоторое время все еще оглядывались и возбужденно обсуждали случившееся. Но так и не найдя виновника, порешили, что это вроде как gehörhalluzination[1], наваждение, и быстро забыли о происшествии. Через час никто и не вспоминал о Фёдоре Петровиче, но Александер впал в состояние, близкое к оцепенению. Его не отпускала некая упрямая мысль, пришедшая на смену первоначальному замешательству. Ввечеру привычно уединившись за бюро, он принялся за письмо.

«Милый друг, — писал он, — сегодня имело место одно любопытное обстоятельство, заставившее нас всех снова заговорить о князе. Впрочем, дело пустяк, и разговор не о том, но оно мне живо напомнило былое времечко — наши веселые пирушки, вист до утра, цыган с медведем, да и просто — словами не перескажешь — весь бесшабашный вздор и удаль, когда и день не в день, и ночь не в ночь. Вот пишу сейчас и не понимаю, куда же оно все подевалось? Не унес же князь, ровно какой-нибудь фокусник, у себя за пазухой? Время, друг мой, оно, как ткань, только лишь выцветает. Мы-то ждем все чего-то большего — и шампанского покрепче, и поцелуев погорячее, а оно все кислей да горше. Словно какой насмешник скалится: надо было пить, покуда не перебродило, не скислось. Так ведь и пили! Кто же остался трезв? Пили, а теперь вот не пьется. Или все-таки князь унес с собою?»

А недолгое время спустя Мишенька снова заговорил с Гайстом о своем, о наболевшем, мучительно ломая пальцы:

— Помоги мне, мой Демон, вновь увидеть Кавказ — ущелья и снежные пики, и бурные стремнины, и гордых черкесов, и бездонное небо. Поверь, тут я как в неволе. Погибаю от тоски, задыхаюсь!

— Здесь ты мне равен, друг, — с печальной нежностью отвечал Гайст. — Такой же дух, как я. Что можешь ты, могу и я. А что не сможешь, то и мне не смочь.

— И разве нет никакого способа? — допытывался Мишенька. Он тяжело дышал, как вышвырнутая прибоем рыбина, глядя на мрачную фигуру Демона, на это свое — свое ли? — создание. Гайст лишь отрешенно покачивал головой.

---

[1] Слуховая галлюцинация (*нем.*).

— Так что мне делать? Подскажи.

— Я бы послал тебя на одну дорожку, но туда ходят сами, — улыбнулся лишь уголками губ.

— Ты говоришь про Смородину?

— Да, мой друг, потому что такое решение окончательно.

— Что ж, я готов, — вздохнул Мишенька.

— Тогда ступай вперед и не оглядывайся. Ступай, я за тобою следом.

Мастер, который во время разговора стоял рядом, недоуменно переспросил:

— Что ж, и туда пойдешь за ним? — особо ударяя на слово «туда».

— Нет, не туда. Туда мне путь заказан. Он лишь для вас, для смертных этот путь. Я до реки лишь. После вернемся вместе в дом.

И снова, как в первый раз, лес встретил их мрачным величественным молчанием, тут же сомкнувшись над головами. Стволы елей призрачно мерцали янтарем, хлестали зазевавшихся путников мокрыми тяжелыми лапами. Ноги то и дело спотыкались об узловатый узор корней, едва различимый в сумраке. Где-то высоко, почти в самом зените, зажглась первая робкая звезда.

Мишенька легко вышагивал впереди, иногда скрываясь за очередным поворотом. Он, казалось, совершенно отрешился от происходящего, целиком погрузившись в себя. Что было в его отрешении? Звенела ли в нем песнь победы или всего лишь горечь смирения с неизбежным? Кто скажет?

Гайст шагал молча, угрюмо уставившись себе под ноги. Полы его распахнутого плаща взметались в ритм ходьбе и хлопали наподобие крыльев, но были слишком тяжелы, чтобы стать ими.

«Глянуть со стороны, так три методиста спешат на мессу, — хмыкнул про себя Мастер, но, в общем-то, было не до шуток. — Иногда слова не нужны, — думал он, — они вызывают лишнюю горечь».

Долгое время все шло привычно, но вот мало-помалу тропа начала плавный спуск, и спереди пахнуло сыростью. Повеяло не холодом, но тревогой. Что-то необычное творилось с шагающей впереди фигурой — на миг Мастеру показалось, что она стала меняться в размерах, вырастать, хотя они нисколько не сблизились. И тут толкнул его в плечо Гайст, горячо зашептал в ухо:

— Смотри, смотри! Он скидывает душу!

— Какой могучий! — изумился Мастер, и теперь он точно знал, что глаза его не обманули.

— Да, это очень древний дух! — подтвердил Гайст.

Изменился и сам лес — да и только ли лес? — изменилась вся округа. Здесь все жило и дышало живым, не оставалось неподвижным, как на болоте. Будто стихия воды боролась за главенство с твердью суши, проникая сквозь корни, сквозь сплетения трав, сквозь кристаллы земли. Повсюду струилась и мерцала влага. От елей сочились рыжие огни. Здесь кончался привычный мир, мир иллюзии твердой земли под ногами.

— Стой! — схватил за руку Гайст. — Ни шагу дальше! Это река...

Они почти нагнали своего «беглеца», и Мишенька открылся им во всем своем прекрасном величии.

— Но где же... — открыл было рот Мастер, собираясь спросить: «А где же тот, кого называют Змеем?», и обомлел, так и не договорив.

Навстречу «беглецу» из туманной пучины поднималось нечто, или, вернее сказать, возникал некто, столь явно с ним схожий, что Мастер непроизвольно моргнул и принялся усердно тереть глаза.

— Нет, не двоится, — угадал его движение Гайст. — И верно, удивительное сходство! Но сходство видишь только ты, не он.

— А что же видит он?

— Он видит... как тебе сказать? — осёкся на мгновение Гайст. — Он видит как бы несвершённость, незавершённость самого себя. Кем он хотел бы стать — и кем он стал в итоге.

— И ты? Ты тоже видишь это?

— Ну нет, конечно. Откуда же мне знать, ведь я не он.

— Но как возможно это раздвоенье?

— Вот, тоже мне нашел загадку сфинкса! Да точно как и в зеркале, чудак! Но там ты видишь отраженье тела, а здесь — отображенный дух. Ты в мире, словно в капле отражен. Когда ты там, — махнул он рукой куда-то назад, — ты всюду пребываешь, чего коснутся глаз твой и рука. Ты — как вода, что принимает форму того стекла, в которое нальют. А здесь теперь ты выплеснут наружу и видишь сам себя со стороны. Там ты смотрел вокруг глазами мира, а здесь, как мир, взираешь на себя.

— Запутал ты меня своим рассказом про странную зеркальность здешних вод, — проворчал Мастер, — как наизнанку вывернул рубаху, напялив ее задом наперёд. Уж и не знаю, что теперь я вижу.

— Ну, все еще себя, должно быть так. По крайней мере, я подмены не заметил с тех пор, как вышли, — хмыкнул Гайст.

Пока они вот пикировались, те двое так и стояли, уткнувшись взглядами друг в дружку, оценивая один другого, словно бойцы перед схваткой, не решаясь начать поединок. Или, может, следовало говорить о них как об одном?

— Что будет, если сходство подтвердится? — Мастер был настолько же удручен затянувшимся ожиданием, насколько понимал, что повлиять на исход не в их силах.

— Он с радостью к нему кинется в объятья.

— А если нет?

— А коли нет, придется повозиться, — развел руками Гайст. — Не зря же его прозвали Змеем, не просто ради красного словца. Случается, что днями бьются духи!

— И что же, много их кончает неудачей и погибает в схватке роковой? Ты часто заставал здесь смерть героев?

— Опомнись, друг мой! — рассмеялся Гайст. — Где ты видел смерть, коль сам бессмертен? Смерть лишь переход. Смерть — это фетиш жизни, уловка разума, прострация ума, который знать про бесконечность не желает, — ни знать ее, ни видеть, ни вдыхать всю эту философскую химеру! От бесконечности бежит, как от огня! Кто бесконечность нам собою заслонит? Кто остановит стрелки часов страданий в тесной келье жизни? Лишь только смерть одна — вот что придумал разум во спасение себе!

— Но разве черепа героев не тлеют у реки? Откуда же они, коль не от смерти? — упрямился Мастер.

— Да брось, друг мой! Все черепки лишь форма, которая нам стала тесной. Едва лишь только чадо подрастет, как тут же — разве нет? — ему меняют платье.

— Но все вокруг твердят, что это смерть.

— Все говорят лишь то, что затвердили — как научили нас, так мы и повторяем.

— И все ж, хотелось бы точнее знать про это...

— Вот все вы так — подай вам подтвержденье! — печально вздохнул, покачивая головой, Гайст. — А как насчет того, чтобы самим проникнуть в суть? Метаться и искать, страдать и мучиться, впадать в сомненья и находить утеху в буйстве чувств и красок — тот в женщинах, другой в вине иль, может быть, в игре? В поту кровавом истину добыть так, словно бы в бою свою победу! Не это ли есть жизнь? Не в этом ли есть путь? Опора в знании, полученном извне, кому пойдет в заслугу?

— Быть может, так, — невольно согласился Мастер и обернулся, словно бы ища подтверждения его словам.

А меж тем духи, сошедшиеся у реки, уже крепко сцепились, но это единственное, что можно было хоть как-то понять из их странных движений. Вроде как два верных сотоварища загуляли — пили-пили, да вдруг и сшиблись ни с того ни с сего, силою

схватившись за грудки. И всё молчком, выпучив глаза, набычась, дожидаясь, пока один пересилит, переупрямит, переможет другого. Со стороны поглядеть, разве разгадаешь, что они не поделили? Да верно, и сами в пылу схватки позабыли о причине, и теперь уже точно так до конца и стоять обоим, покуда не обессилят, не рухнут наземь. Так думалось.

И тут произошло, пожалуй, самое невероятное из всего случившегося в этот вечер — нельзя было в точности сказать, как так вышло, не было никаких приметных движений к тому, но один будто бы поглотил другого. Причем понять, кто именно из двоих получил успех, не представлялось никакой возможности, просто через какое-то время из двух целых остался только один.

«И точно, Змей!» — изумленно пробормотал Мастер, в недоумении оглянувшись на Гайста, который по обыкновению лишь развел руками. А этот, вновь явленный, как бы заново отлитый, точно из темной бронзы, и почти неотличимый от окружающего пейзажа, воздел руки и издал торжествующий клич.

— Так, значит, вот каков он! Вот итог страданий! — воскликнул в исступлении Мастер. — С самим собою совладать и — что в карман рука — проникнуть внутрь и обрести единство. Весь мир, чей был снаружи образ, взрастить в себе, как радужный кристалл, и всякий раз, на землю возвращаясь, оттачивать до блеска грани, до идеала выверяя строй. Пространство не помеха боле! Дерзай, поэт! Дерзай, актер! Всё в твоей воле!

— Ну, что сказать? Фантазия богата! — вздохнул Гайст. — Но истина неподалеку ходит. А впрочем, сам рассеешь все свои сомненья, когда наступит испытанья срок. Но помни: Змей — жестокий страж мостков! И наперво он не выносит трусость. Страшнее всех недугов эта хворь — привяжется, так не сыскать лекарства. Не забывай сегодняшний урок! — Он помолчал задумчиво, хрустнул костяшками пальцев и, как-то по-особенному взглянув на Мастера, заключил: — Да, смерти нет, но есть конечность жизни, поставленная на подмостках сердца, что тщится разгадать в ней смысл.

А меж тем тот, за кем они так пристально наблюдали, ставший снова единым, поначалу нерешительно сделал шаг, потом другой, третий и скрылся, исчез, словно за непроницаемым сумрачным занавесом, на котором уже всходили колючие мелкие звезды и сгущался туман, а в прибрежном тальнике тускло мерцала ржавая краюха луны.

Владимир Гандельсман

Стихи из «Велимировой книги»

Не меч и тать. Мечтать!

Лучится мир: в нём нет лечебниц,
ни смерти, ни чумы предательств,
и ты, летальный вовлеченец,
отныне вечн, без отлагательств.

Нет ни холопов, ни высочеств,
есть равенства священноучасть,
не сбивчивость и брех пророчеств,
но сбывчивость, расчёт, могучесть.

Сверкает город электричеств,
и высших чудотворных качеств,
и благ бесчисленных количеств,
и в звёздном колпаке чудачеств.

Не чад войны, но многочадость,
и в общем воздухе отечеств
мы празднуем с тобой зачатость
и разум встречных человечеств.

И не плачевность и печальность,
не ночи выморочной нечисть,
нам сёстры — речи изначальность
и птичья утренняя певчесть.

Гандельсман Владимир Аркадьевич — поэт и переводчик. Родился в 1948 году в Ленинграде. Окончил электротехнический институт. Работал кочегаром, сторожем, гидом, грузчиком, преподавателем русского языка и литературы. Автор более двадцати книг стихов и многочисленных публикаций в журналах. Живет в Нью-Йорке и Санкт-Петербурге.

Вопросы Велимиру

Безумливый[1], о чём ты рокчешь?
Куда водырь, туда гурьба.
На что их прочишь?
Зачем гремит твоя арба?
Блазноречивый чернокнижник,
по небу мечутся лучи,
мигает вспышник,
но тонет стихогруз в ночи.
На море, в воздухе, на суше —
куда ни погляди, везде
тобою души
забагренные, бард, в беде.
Ты кто, в каком котле заварен,
откуда твой словарный жар,
пролетатарин
и векомудрый числовар?

Числяр и отступление с разбитием окна

Как свести с тобой счёты?
Где твоё уравнение, мир?
Говоришь, мычание? Нет, мы чаянье, мир.
Мыр = мыравенство.

— Что возводишь, Хармс?
— Храм-с.
— Ну не срам ли, Хармс?
— Срам-с.
— Скажет «Hände hoch!»
Бог.
— Он на то и Бох —
строг!
— Чем осилишь, Хармс,
страх?
— Слово — my hand arms.
Бах!

Бытие + дух = Бух.
Я ищу уравнение мира,
выселен во вселенскую
песочницу,
под облаками,
плывущими ещё над моей лялябелью.
Между нею и гибелью.

[1] Безумливый — безумный; рокчешь — рокочешь; водырь — поводырь; блазноречивый — соблазняющий; вспышник — снаряд для вспышек, ночных знаков на море; векомудрый — суетный, мудрец века сего.

Пасечник песка числ,
я зачерпываю сырое время
формочками
и выкладываю на доски,
тёсаные доски моей тёзки — тоски,
вычисляя его закон.

Это мой, числяр*а*, загон.
Доски по периметру песочницы,
воспариметру бессонницы.
Доски, сложенные у сарая,
на которых сидя сплю,
сплюхнувшись лицом в колени,
доходягой ходьбы.
Громовые доски для гробов.
Доски будьбы.

Дни как выводок волчат,
из которых вывел
неизбежную, невиноватую
смерть в периодическом повторе.
В оправдательном — на счётах —
приговоре.

«В шорохов свисте шествует стук вроде Ч».
О, часы человечества.
О, чёткая чистота чертежа.
О, чары чёрта, чмокнувшего чело человека
тоЧКа.

Отступление словарное

Устроим Числоводск и Чудесавль!
Слетятся времери и верхари,
пребудет любь, засвищет возлетавль,
и в любесах зажгутся благори.

Летчайшие творяне прошлеца
всеучбищем обяжут, нехотяй
узнает стыдь при виде бодреца-
мечтежника. Сей, могатырь-светяй!

Людв*о*лнами ульяня[1], Указуй,
Младыка чтожеств и Языковод,
лжаному полю внянчит: не бесуй!
Красавда, небедь, умец, счастьеход.

[1] Деепричастие «ульяня» отсылает к Ульянову-Ленину, он же Указуй (имя собственное), Младыка и Языковод.

Наблюдение грозы

...Молнии слов серебро вью.
В. Х.

вяжут ломаные спицы молний
издали и всё неугомонней
в быстрых бога руках
жизнь земную нитяную
электрическое поле
всех шерстистых тварей
на десятую секунды долю
озарится прежде чем ударит молот
и в мельканьях молний
тем молитвенно-безмолвней
мир предстанет
лепета он жизни молит молит

тварей шерстью трущихся в траве
загорающийся глаз
иголкой колк
на краплённой каплею тропе
как янтарь и шёлк
шёлк и янтарь
грянут фабрики туч грозовых
фабрики парящих льдинок
цапли ломаные спиц
воздуха сквозной проб*о*й
первой пр*о*бой освежит
и в небе голубой
мозг извилинами задрожит

Рождение многих из Хлебникова

Рифмы автор палиндромной:
дым — а через строчку — мы.
Полубдящий-полудрёмный,
бес бездомный.

Замес бесовский крепок:
змеиное пьёт молоко,
заваривает в кипятке репейник, —
а глаз подмигивает: я, мол, око.
Но глаз его не око — лом.
Взгляд вкалывается в порядок —
и ветхий мир идёт на слом.
Бес — ядок, адок.
Гремуч и на разломы падок.

Велимирь, велимирь,
на штыре стиха — нашатырь.
Тысячелетнее узрь
царство моё! Заратустрь!

На штыке стиха, переимчив,
Маяковский атом твой расщепит,
а за ним уж, кочан набычив,
гегемон шипит:
большшшшшевик, шшшширпотреб, общщщщепит.

И спросила кроха:
— Ты не палочка ли Коха?

Идут кухарки из конур,
в очах сияет кохинур.

крох влечёт рок
блох течёт ток

Блок тех, которых тьмы и тьмы.
Меч мол*о*ха — молодым.
Дым и мы = дымы.
Мы и дым = мыдым.

айяайя
песня рая
яда яда
песня ада

Владимир Ермолаев

Движение на закат

Фрагмент романа

«Произведение нужно прежде всего для самого автора», — констатировал в своих «Лекциях по истории словесности» отечественный литературовед А. Потебня. Не странный ли зачин для предисловия к тому, что предназначено другим? Ведь с автором произведение уже рассталось, как бы ни было оно ему нужно, и теперь ищет себе читателя. И, может быть, окажется читателю даже нужнее, чем произведение было нужно автору? В любом случае, лишь когда произведение было совершенно необходимо для автора, оно станет чем-то важным и для читателя.

Такой зачин можно, наверное, предпослать любой книге, но мало где он окажется настолько уместен, как здесь — в предуведомлении к публикации фрагмента из романа рижского писателя, автора нескольких сборников верлибров, Владимира Ермолаева. Дело в том, что автор «Движения на закат» мастерски вскрывает это двуединство произведения, необходимого автору, и книги, предназначенной для читателя, и делает этот парадокс главной интригой романа. Ермолаев средствами литературы мыслит мышление писателя, задачу написания книги. Он анализирует тайну того, как строится соотношение между внутренним миром автора и вымыслом, обнажает приемы построения художественного мира, превращая исповедь в игру и в игре продолжая внутренний монолог. Это роман аналитический и лирический одновременно, читатель услышит и узнает тут отзвуки множества голосов мировой литературы, но от этого книга не утрачивает живой интонации искреннего экзистенциального высказывания, мастерски облаченного в яркую афористичную форму.

Игорь ЭБАНОИДЗЕ

Владимир Ермолаев родился в 1950 году в Иваново. Окончил Ивановское музыкальное училище по классу фортепиано и философский факультет МГУ, а также докторантуру Латвийского университета по кафедре истории философии. Опубликовал шесть сборников верлибров, первый же из них — «Трибьюты и оммажи» (М., «Культурная революция», 2011) — вошел в шорт-лист премии Андрея Белого. Печатался в журналах «Арион», «Воздух», «Интерпоэзия», «Даугава» и др. Последние тридцать пять лет живет в Риге.

В «ДН» публикуется впервые.

Роман Владимира Ермолаева «Движение на закат» выходит в этом году в издательстве «Культурная революция».

Тошнота в просторном фойе Стеделека. То же чувство аморфности, что и у Рокантена. При взгляде на дородного мужчину. Ничем вроде бы не примечательного. Одет примерно так же. Но все подороже. Едва уловимая разница в покрое и материале. Главное — тип лица. И повадка. Подробности ни к чему. Все вместе делало его плотным, самодостаточным. Законченным. В отличие от меня. Как я ощущал себя изнутри. Как я обычно чувствую себя изнутри. Никакой формы. Ничего устойчивого. Может быть, вся разница — в направлении взгляда? Может быть, изнутри каждый чувствует себя пустым, неопределенным? Ничего не меняется, когда я смотрю на себя в зеркало. Рокантена тошнило от аморфности мира. Но мне довольно и себя самого. Остальные представляются мне существующими в определенных границах. А собственных границ я почему-то не ощущаю. Даже тело мое расплывается. Не потому что я слишком полон. Наоборот. Я, скорее, худ. И все же я расплываюсь телесно. Точно бэконовские фигуры. Внутри же — первородный хаос. Каждая определенная мысль, каждое принятое решение кажется мне каким-то чудом. Они возникают ниоткуда. Из бездны. Из темноты. Смотреть в себя — все равно что заглядывать в глубокий колодец. Брось камень и жди три года — ничего не услышишь. Эти записи — попытка заставить колодец светиться. Если его нельзя осветить никаким фонарем, пусть освещает сам себя. Постепенно. Все ярче и ярче. Пусть превратится в полую статую. Фосфоресцирующую изнутри. Станет моим идеальным двойником. Идеальным уже потому, что имеет вид, форму. Мне не хватает границ. Окружающие, по сравнению со мной, — мраморные скульптуры. А я сделан из какой-то горячей лавы. Даже на секунду она не может застыть, сделаться чем-то определенным.

—

Непрерывное извержение, становление. Как будто я превращаюсь во что-то, кого-то, и это превращение никак не закончится. Не понять, во что же я превращаюсь. Все метаморфозы чем-то заканчиваются. Лишь у моей нет конца. Иллюстрации в альбоме: на одной стороне — «Метаморфоза Нарцисса», на другой — «Осенний каннибализм». В таком расположении есть тайный смысл. Кто-то застывает, успокаивается в виде цветка или статуи, а кто-то поедает самого себя. Непрерывно. Без остановки. И не может ни во что превратиться. Нескончаемый процесс. Кафка написал и «Превращение», и «Процесс». Я живу в кафкианско-далианском мире. Так уж случилось. Я знаю все картины Дали. Я прочел всего Кафку. Образование — может, именно это и мешает мне как-то образоваться. Принять хоть какой-то образ. Стать чем-то, кем-то. Скорее все-таки — чем-то. Потому что «кто-то» — это всегда процесс и превращение. Так я это ощущаю. И поэтому не хочу ни во что превращаться. Скрывая это от себя. Любой образ кажется мне недостаточным, как бы отнимающим меня у себя самого. В этом, может быть, все дело. Мое сознание не в ладах с моим бессознательным. Обычная история. Если посмотреть на нее снаружи, со стороны. Но изнутри...

Это личная история. И я рассказываю ее самому себе. Есть много произведений, в которых автор рассказывает о себе. Но обращается к другим. Кроме того, он вписывает себя в социально-исторический контекст. А я всегда ощущал себя независимым от любого контекста.

Как тот старик в рулевой рубке парохода, что вынырнул из тумана навстречу «Мартинесу».

Название («Мартин Иден») обманывает (того, кто думал познакомиться с личной историей Мартина). Речь не о Мартине, а о его отношениях с другими. И даже не об

этом. «Мартин» — просто ярлык, наклейка. Мартин — всего лишь тип. О чем здесь говорится? Темы: парень и девушка (из разных слоев общества), писатель и его окружение, писатель и читатели, писатель и критики. Личного тут на фут, на два фута. Не больше.

А есть ли истории другого рода? Где личного было бы на милю? На десять миль? Марианская впадина личного. Куда нет доступа ничему социальному. Историческому. Замкнутая экосистема. Никакого света, кроме люминесценции. Девяносто процентов объема Мирового океана погружено во тьму. Только собственный свет. Но появляется он не сразу. Разгорается постепенно. В том и задача — найти внутренний источник света. Не столько найти, сколько образовать (новые органы, фотофоры).

—

Бротиган считал, что автор «Морского волка» хорошо начал свою историю, и что такое начало подойдет многим другим историям. Включая его собственную о жизни в Калифорнии. У моей же истории пока нет начала. Да это и вообще не история. Записи от случая к случаю. Вроде «случайного дневника Пессоа».

«Автобиография без фактов» — не такой ли и должна быть личная история? Ничего внешнего. Только внутреннее. Не «факты сознания», а «факты подсознания». То, что лежит в глубине, в темноте. Некий исходный глубинный факт. В записках должно отражаться, выражаться лишь это — темное и глубокое.

Образное выражение некоей катастрофы постепенно застывает, отдаляя эту катастрофу от нас.

Отделить себя от своей катастрофы. Но я и есть катастрофа. Этому-то я и противлюсь — каким-то способом положить конец катастрофе. Она должна длиться, чтобы я мог существовать.

Я знаю только одно: мне хочется, чтобы моя катастрофа была выражена словами, получила образ.

Возможно, все это как-то связано с молчанием отца. Молчание — один из способов рассказать свою историю? Самый безукоризненный? Я чувствую, что должен превратить молчание отца в речь. Его история переплетается с моей. Рассказав об этом переплетении, я его распутаю. Отделю себя от отца.

Молчание отца — это и мое молчание. В каком-то смысле. Почему он был таким молчаливым? Его молчание — это молчание ветерана войны?

Отец его был неразговорчив.

Побывать на войне — открывает ли это человеку, что он такое? Придает ли ему форму? Делает ли его плотным, устойчивым? А лицо его — приобретает ли оно твердые, скульптурные черты? Или он становится слабым, немым и вдобавок — невидимкой? Вроде лошади Бротигана.

«Лошадь» — намек, понятный тем, кто любит поэзию. И таким он пусть остается. Без пояснений. Никаких сносок для «других». Других здесь нет. Всем остальным вход сюда воспрещен. Уже самой формой, а до этого — темой.

— Что же вы имеете сказать?

— Что вы, по крайней мере, последовательны, — ответил я.

Я буду последователен в том, что, начав эти записи, постараюсь вести их как можно дольше и проведу свою личную историю как можно дальше.

—

Только немногим удалось написать что-то действительно личное, свою «книгу непокоя». И кому же? Ницше? Кафке? Ионеско?

Рассказывал ли Кафка личную историю? Да. Только такую историю он и рассказывал. Только об этом он и писал. Социально-исторический контекст здесь ни при чем. Австро-Венгрия здесь ни при чем. А отец?

Но если он писал что-то по-настоящему личное, то почему он так популярен? Почему цитаты из его притч, его лицо можно увидеть на кружках, чашках, майках, сумках? *Кафка — туристическая икона Праги.*

Выходит, его произведения были недостаточно личными. И массы нашли, за что уцепиться.

Массы — массивные звезды, притягивающие к себе кометы. Заставляющие их кружиться вокруг себя.

Что может интересовать массу в К.? Его слабость? Чувство вины? Отчаяние?

Вот он стоит в трамвайном вагоне и размышляет над своей неуверенностью. Мысленно описывает ее. Он не уверен ни в чем. Даже в том, что имеет право ехать в трамвае, хотя и купил билет. Имеет ли он право мешать прохожим? Ведь они должны поспешить или остановиться, чтобы опередить или пропустить трамвай. Тот самый трамвай, что везет К. Он для того и существует, по-видимому, чтобы возить К. и других. Он возит других, в том числе и К. Редкий случай, когда К. попадает в разряд «других». Когда он делает то же, что и «другие». Не чувствуя себя, однако, вправе делать то, что делают они. Их, судя по всему, ничуть не заботит, какие помехи создает трамвай для движения пешеходов. Они думают, будто купив билет, они купили и право на часть улицы. На преимущество в передвижении. Но право, как его понимает К., купить нельзя. То, что у тебя в руках билет, ничего не значит. То, что тебе разрешили занять место в трамвае, ничего не значит. Ладишь ты с отцом или нет, ничего не значит. Родился ты в Праге или Париже, в монархии или парламентской республике, ничего не значит. Если вдуматься, приглядеться, так вообще не найдешь ничего значительного. И эта девушка в черной юбке и тесной блузке с кружевным воротником, поставившая кончик зонта на вторую сверху ступеньку, заблуждается, думая о деле, ради которого она вошла в трамвай, как о чем-то важном. В том-то и дело, что нет ничего важного. И задача, возможно, состоит в том, чтобы сотворить нечто важное из ничего.

—

Неподалеку, на берегу реки, достраивается жилой комплекс «Резиденция философов». Две башни — «Гердер» и «Гаман». Подходящее жилище для того, кто больше любит смотреть и думать, чем действовать.

Где-то там, чуть дальше по набережной, будто бы жили, каждый в свое время, два немецких философа — Гаман и Гердер.

Нет, там, в чьем-то имении, жил Гаман, а Гердер туда наведывался.

Владелец усадьбы одну из аллей назвал «Аллеей философов». Но никогда Гаман и Гердер не прогуливались по ней вместе. Свести их взялась компания R.Evolution City. Выбирай любую башню и в ней — любые апартаменты.

Визуально здания напоминают стопку книг, где каждый этаж — это новая книга, новое содержание со своей философией жизни.

Мечты о новой жизни. Каждый год. С первого января. Обещание начать все заново. Под знаком далекой звезды. Она станет ближе. Если держать свое обещание. День, другой. Неделю. Месяц. А в чем заключалась эта новая жизнь? Меньше говорить, меньше смеяться. Хранить внутреннюю серьезность. Далекая звезда требовала серьезности. Хотя и не подсказывала — для чего. Но и позже, когда это желание уже не связывалось с датами, мысль о том, чтобы начать все заново и т. д. Сколько я ни жил, прожитое казалось мне лишь подготовкой к настоящей жизни. Другие жили, а я — готовился. И так продолжалось до тех пор, пока я не уяснил себе, что ничего в моей жизни не переменится, то есть перемениться-то может многое, но звезда останется вдалеке. Говоря фигурально. И тогда я придумал себе игру.

Глядя на фото, сделанное в незнакомом городе, представлять себя одним из прохожих. Или тех, кто без дела сидит на ступеньках лестницы. У фонтана. Стоит у перекрестка. Едет на скутере.

Гугл позволяет бродить по улицам любых городов. Можно стать великим путешественником не сходя с места. Все зависит от внимания путешествующего. Горожане ходят по улицам своего города рассеянно. Некоторые работают в офисе, из окна которого видна какая-нибудь достопримечательность — памятник, руина, — но никогда к нему (или к ней) не подходят. С помощью Гугла можно узнать Трафальгарскую площадь лучше тех, кто проезжает мимо нее каждый день.

Прожить жизнь другого, имеющего достаточно средств, чтобы купить апартаменты в «Резиденции». Какую из башен он выберет? «Гердер» или «Гаман»?

Гаман так и не получил университетского диплома. Он хотел заниматься науками не в расчете на будущую профессию, а из чистого удовольствия, любопытства. И он пережил духовный кризис. Гердер был другим — более рассудительным, плодовитым, влиятельным.

Этому двойнику нужно будет придумать имя. Назову его Г.

А в каком путешествии случился тот приступ тошноты (в фойе Стеделека), вымышленном или реальном? Мужчина был старше меня. Но это не главное. Он мог быть и моложе. Он был исходной точкой для обобщения. Я ужаснулся своей бесформенности.

—

Робинзон, сбежавший с корабля. Так, что никто и не заметил. Укравший всю судовую библиотеку. И библиотеки всех круизных лайнеров мира. Это я.

Некоторые всю жизнь проводят там же, где родились. Дом, возможно, меняют, но город — нет. Любовь к родным местам. Пенатам. Изучение истории предков. Поиски в архивах. Пускают корни. Напоминают деревья. Чувствуют себя укорененными. Знают в городе каждый закоулок. Обычно это город средних размеров. А то и вовсе небольшой. Знают родственников до какого-то там колена. Жизненное пространство сужено, а временн*ая* перспектива протяженнее. Тянется в прошлое. Им так удобнее: чувствовать себя веткой, листом на генеалогическом дереве. А я без роду и корней.

Перекати-поле. Сознательный выбор. Как же после этого я думаю найти свою форму. Почему удивляюсь своей бесформенности.

Всякий человек своеобразен и, в силу этого своеобразия, призван воздействовать на других, но он должен находить вкус в собственном своеобразии.

Я пишу эти заметки с одной целью — чтобы они показали мне мое своеобразие. Тогда, может быть, я найду в нем вкус.

Человек что-то испытал, теперь он ищет соответствующую историю, нельзя, кажется, долго жить, что-то испытав, если испытанное остается без всякой истории, и подчас я представлял себе, что у кого-то другого есть точная история того, что испытал я.

«Гантенбайн», куда я заглянул только потому, что дал персонажу имя, начинающееся на Г, даже не имя — инициал, «Гантенбайн» оказался повествованием об историях. То есть историей, темой которой является сочинение историй. Удивительное (курьезное, знаменательное?) совпадение.

Нельзя видеть себя самого, вот в чем дело, истории видны только со стороны, — говорю я, — отсюда наша жажда историй.

Сочинить историю о себе, чтобы увидеть себя со стороны. Может быть, ощутить себя целостным, законченным невозможно потому, что смотришь на себя изнутри. Изнутри каждая человеческая жизнь представляется катастрофой.

Есть ли у вас история? — спрашиваю я после того, как он только что рассказал мне то, что он явно считает своей историей, и говорю: — У меня — нет.

Пессоа не закончил «Книгу непокоя». Такую книгу, вероятно, в принципе нельзя завершить. Но писать ее необходимо — для меня. Жаль, что я пришел к этому так поздно.

Каждый раньше или позже выдумывает себе какую-нибудь историю, которую он принимает за свою жизнь.

«Книга непокоя» — это не книга. Записки. Книги пишутся для других, а записки можно писать для себя.
И не нужно ставить себе никакой цели. Писать как пишется. Это и есть цель.

Я знал одного человека, — говорю я, — другого, который не угодил в сумасшедший дом, — говорю я. — Хотя жил целиком своим воображением.

Между жизнью здравомыслящего человека и жизнью сумасшедшего располагается лимб — жизнь мечтателя, жизнь грезера.

—

«Гантенбайн» вырождается в рассказывание малоинтересных историй. В демонстрацию мастерства рассказчика. История с дамой, чей муж находится в Лондоне. История с Лилей.

Истории, где главный или равноправный персонаж — женщина, ничему тебя не научат.

Искать женщину — значит терять себя.

Я рано это понял. А понял ли это Г.? Он живет один? Есть ли у него семья?

И как ему удалось приобрести такую дорогую квартиру? Допустим, он философ. Мне хочется, чтобы он был философом — будет о чем поговорить. Но много таким делом не заработаешь. А кто требует объяснений? Кто ищет правдоподобия? Никого другого здесь нет, и, выходит, я сам допытываюсь у себя, как же получилось, что Г., философ, приобрел большую квартиру в элитном жилом комплексе с названием пусть и относящимся к философии, но никак не облегчающим для Г. приобретение таких роскошных (на мой взгляд) апартаментов.

Если он женат, все можно объяснить банковским счетом его жены. Она — удачливая бизнес-леди. И ей такое жилье по карману. Лучше сказать, по средствам. Потому что в женских нарядах нет вместительных карманов. А если он холост, нужно искать другое объяснение. И со временем придется его найти.

—

Важное обстоятельство: Я живу на содержании у Лили.

Почему бы и Г. не жить на содержании у жены или подруги? Как философ он не должен придавать этому особенного значения. Он может считать, что такой порядок вещей (платежей) способствует его занятиям философией. Избавляет его от поденного труда. Делает его ум проницательным. Расширяет горизонт мысли.

Возможно, его жена — дочь банкира. Или владельца порта. Кому принадлежит грузовой порт в этом городе? Частному лицу? Компании? Государству?

—

«Гантенбайн» окончательно превратился в историю Лили и Гантенбайна. До этого автор как бы нащупывал нить. И вот, когда контуры истории становятся ясны, когда первобытный туман рассеивается, интерес к повествованию увядает. Оно превращается в набор эпизодов, которые, по внутреннему ощущению, сходны, как бусинки на четках. Одной больше, одной меньше — какая разница.

Регламентируется ли число бусинок в четках? В разных религиях? Стоит проверить. Но излишнее усердие ни к чему. О фактах пусть заботятся беллетристы.

В какой-то мере с фактами, жизненными обстоятельствами все же нужно считаться. Если Г. не в состоянии купить себе дорогое жилье, то каким образом он его получил? Жена тут, как выяснилось, ни при чем. Он не женат. Остается кто-то из родственников. Наследство? Предположим, отец его — архитектор или владелец строительной компании. Но в таком случае семья жила бы в особняке. И все же каким-то бизнесом отец занимался. Может быть, рыболовным? Или продавал местный лес? Но и тогда у него, скорее всего, был бы собственный дом, а не четырехкомнатная квартира. А почему я решил, что он живет в той квартире вместе с сыном? Может быть, он ее купил для него.

Как-то все не складывается. Потому что я совершаю вылазки на территорию беллетристики. С чего это вдруг мне захотелось писать о вымышленном Г.? Как он проник в мои мысли? И вместе с ним появились другие люди. Это неизбежно. Остаться в одиночестве можно, только если пишешь личную историю. Но меня сбил с пути мираж. Что-то мне померещилось. Будто история о Г. поможет прояснить мою собственную. И я принялся вымысливать. Фриш меня соблазнил? «Я примеряю истории, как платья». Беллетрист-лауреат. Рассказчик историй и побасенок. Вспомнил. Вот откуда взялся Г. — из недовольства моим жильем. Моими обстоятельствами. В которых я оказался сознательно, по своей воле, действуя с далеким прицелом, идя к цели неуклонно и на протяжении многих лет. Подобно моллюску, я выстроил для себя раковину. Рак-отшельник. Живут ли эти существа в раковинах? Рассуждать на эту тему — значит пускаться в беллетристику.

Если автор написал что-то по-настоящему личное, то у него найдется что-то интересное (важное) и для другого, кто так же заинтересован в познании (росте) своего личного. Таких читателей немного, и автору с подобной склонностью никогда не стать популярным писателем. Но для кого-то он может оказаться хорошим (самым лучшим) собеседником. А в чем-то и наставником.

Но Фриш не таков. Я давно уже понял, что он умеет сочинять истории (или варианты одной истории). Но что мне это дает? Фриш пишет не личную историю. Он сочиняет роман. То есть занимается беллетристикой. Пусть и не такой скучной, как у других.

Поначалу настраиваешься на что-то серьезное, касающееся лично тебя. Но потом убеждаешься, что история рассчитана на многих. Кому до личного (своего и чужого) мало дела. Можно умереть, не жалея о том, что не успел прочесть «Гантенбайна». Не такое уж важное произведение. Вопреки тому, что говорят критики. Литературоведы. Существа, еще более никчемные, чем беллетристы.

Я не знаю, чем занимался отец Г., где он заработал денег на приличную квартиру. Хотя приличная она только по моим меркам.

И что стало с его матерью? Он живет вдвоем с отцом. А где мать?

Беллетрист ответил бы на вопрос так: оба, мать и отец, попали в автокатастрофу. Мать погибла. Отец остался жив. Но он инвалид. И сын вынужден о нем заботиться. Поэтому он перебрался в его квартиру. До этого Г. снимал комнату на окраине города. Зарабатывал мало. Но никогда не обращался к отцу за помощью. Винил его в смерти матери. Был с ней очень близок.

—

Это произошло в парке Плитвицкие озера. Родители Г. были там в турпоездке. Отец уговорил мать сделать селфи на фоне водопада. Для этого нужно было перелезть через ограду. Сделать успели только один снимок. Потом отец решил перейти на другое место, споткнулся, упал, разбился.. Травма спины. Паралич нижней части тела. Никакой надежды на реабилитацию. Мать вскоре ушла от отца. За ним ухаживала его сестра. И работники социальной службы. Г. до совершеннолетия жил с матерью. А потом перебрался к отцу. Он хотел искупить предательство матери.

По-другому: Г. любил мать, был к ней привязан. Но не мог примириться с тем, что у нее будет новый муж. Отца он не любил. Но остался с ним. Не для того, чтобы выполнять обязанности сиделки. Просто у него не было денег, чтобы снять квартиру.

Г. не подозревал о разладе между родителями. Потом мать ушла к другому, а он остался с отцом. Вот тогда-то и происходит несчастье. Отец везет его в Хорватию. Хочет снять его и себя на краю обрыва в Национальном парке. И падает, успев сделать лишь один снимок. Тот самый, что висит на стене в гостиной.

Немного риска. Для того, чтобы показать свою смелость. И воспитать смелость в сыне. Очень просто: раз — и готово. Но тут твоя левая ступня скользит, и ты теряешь равновесие. На какой-то миг — восхитительное чувство свободы. Будто вот-вот полетишь. А потом ты и вправду летишь, но недолго: тело встречает уступ, другой, и через секунду ты лежишь у воды. Без сознания. А когда приходишь в себя...

—

Георг взял отца на руки и понес в постель.

Г. — это Кафка, бросивший работу на фабрике, перебивающийся случайными заработками (рецензии в газетах, литературные обзоры, переводы).

Странным образом вместо тихой, отшельнической жизни на верхнем этаже башни у Г. получается другая жизнь, полная забот и страданий.

Инвалидов с травмой позвоночника называют «спинальниками». В сети можно найти рекомендации, как таким больным удобнее заниматься сексом.

Но мать Г., очевидно, не относилась к женщинам, которые делают все, чтобы удовлетворить мужа-инвалида. Она развелась с ним через полгода. Между прочим, она была моложе его лет на десять. Что служит некоторым оправданием. Небольшим. А для Г. так и совсем недействительным.

Г. чувствовал свою вину перед отцом и пытался искупить ее, ухаживая за инвалидом.

Ребенком он уважал отца. Гордился им. Хотел быть похожим на него. Хотел заслужить его уважение. Его любовь.

Виноват в том, что не удержал отца, когда тот падал.

Плитвицкие озера.

Искушений сделать рискованное фото достаточно. Они побывали у самого большого водопада и сделали снимки со специальной площадки. Никакого риска. По величине не сравнить с водопадом Виктории. Но зрелище все равно захватывающее. Особенно для тех, кто не бывал на реке Замбези. А потом они вышли к другому водопаду, поменьше. Но более живописному. И вот тут пришлось сойти с дорожки и пробираться сквозь лес. Густой. Хвойный. Отец нашел подходящее, как ему показалось место, и сделал сначала несколько снимков водопада. Снял ролик. Потом попросил Г. взять фотоаппарат, а сам подошел ближе к краю, держась за ветку. И наклонился над обрывом. Эти фотографии сохранились. Отец предлагал и Г. попробовать то же самое. Но Г. побоялся. Тогда отец решил сделать селфи вдвоем. Так, чтобы за спиной был виден водопад. И горы. И небо.

Сильный запах зелени. Птичьи голоса. Ровный шум водопадов. Там их несколько. Ручьями текут, падают вниз с разных сторон. Промокшие кроссовки. Они не догадались взять с собой резиновые сапоги. Покачнувшись, отец пытается ухватиться за ветку левой рукой. Но ладонь его скользит. Ветка слишком тонка. Г. мог бы помочь отцу. У него есть доля секунды. Но он растерян. Он просто не понимает, не успевает понять, что происходит.

—

Фотографию отца над обрывом Г. распечатал. Она хранилась где-то в столе.

Иногда мои реальные путешествия кажутся мне нереальными. Снимки не помогают. Что прошло, то прошло. Был ли я на водопаде королевы Виктории? Был ли я вообще в Африке? Или еще где-нибудь? На самом деле никакой разницы, остаешься ты на месте или разъезжаешь по странам. Вот только упасть с обрыва тебе не грозит. Если ведешь жизнь домоседа. Прогулки по одному и тому же маршруту, который не надоедает, потому что мысли всегда другие. Намного ли? В конце, может, выяснится, что все они сходны, как ветви одного дерева. Ну что ж, пусть так. По крайней мере, я узнаю, что похож на кружащегося дервиша. Некоторые кружатся по многу часов. А я, стало быть, всю жизнь.

Наша поездка в поезде с отцом. За всю дорогу он не сказал и двух слов.

Возможно, его молчание ничего не скрывало. Но все же такая немногословность выглядит странной. Сейчас, когда я думаю об этом. Тогда она казалась мне признаком силы, мужественности.

Я пишу, чтобы доказать: мы с отцом разные люди.

Своим молчанием отец зародил во мне недоверие к речи. Молчание я всегда ценил выше слов. Источник всего, что я пишу, — в молчании отца. Темный источник. Искушение погрузиться в него с головой. Нырнуть на дно. И там остаться.

Молчание отца бездонно. Сколько ни опускай ведро, никакого рассказа из него не вытянешь.

А потом какая-то чудовищная нелепость — в тот момент, когда я наконец добежал до нее, чтобы ей помочь, она на шаг отступает от меня (я в недоумении останавливаюсь) и падает навзничь с откоса.

Вот как произошло несчастье.

Г. часто плакал, думая о смерти любимых героев.

Сцены в фильмах, когда павшему герою воздают почести.

Смерть как способ обрести родительскую любовь.

Беккет и восхваляет молчание, и боится его. Речь для него — и способ прийти к молчанию, и убежать от него.

...произведения культуры, которые, по мнению многих исследователей, являются лишь попытками справиться с ужасом смерти, достигающим у творческих личностей катастрофических размеров.

Г. ловит себя на мысли, что он, возможно, желал смерти отца. Или он этого не осознает — и тем усерднее стремится доказать обратное. Он заботится о нем. Выполняет все обязанности сиделки. Кормит, моет, переодевает, подкладывает судно. Полагается ли какое-то пособие по уходу за больным? Конечно. Хотя и небольшое. В соответствии с возможностями маленькой страны. Вот он и живет на это пособие и на пенсию отца.

Все это происходит в башне «Гаман». На сайте компании можно узнать, как эта башня будет выглядеть, когда ее достроят. Хорошо бы узнать кое-что о самом Гамане.

—

Юный Гаман сбежал от докучной родительской опеки в Курляндию. Работал учителем в семье балтийского барона. Ученик (лет двенадцати) не проявлялне проявлявшего никакого интереса к обучению. Не научился даже прилично читать и считать. И, вероятно, дерзил господину учителю. Не выдержав, Гаман написал письмо баронессе, где упрекал ее за то, что она слишком вольно воспитывает сына. В ответ он получил несколько язвительных замечаний и немедленный расчет.

Подобно Кафке, он не хотел вести жизнь обычного буржуа. Что-то его манило, влекло. Отчуждало от обычной, нормальной жизни.

Закатное солнце ярко освещает Президентский замок, башни церквей и соборов, новые высотки, облицованные стеклом. Река здесь широка. У причала стоит круизное судно. От залива к мосту плывет прогулочная лодка, сделанная в «русском стиле». Ярко разукрашенный струг. С лебединой головой на носу. Названия не разглядеть. Есть ли у Г. бинокль?

Г. приобрел телескоп и установил его на штативе. В комнате или на балконе? На балконе. В плохую погоду он переносит его в комнату.

Ему нравится наблюдать за причаливающими и отплывающими судами.

По реке суда не ходят. Конструкция мостов такова, что под ними не пройдет ни одно судно, кроме прогулочных катеров.

Грузовые корабли причаливают ближе к устью. Где-то у самого залива. Г. может рассмотреть и грузовой порт.

Иногда с дружеским визитом заходят военные корабли, причаливают парусники Международной регаты.

Закончив школу, Г. не стал продолжать образование. Может быть, и попытался, год-другой в каком-нибудь колледже, институте. Но потом бросил учебу, чтобы ухаживать за отцом. Странное решение. Ведь он был молод. Выходит, он быстро понял, чего хочет в этой жизни. Ухаживать за инвалидом-отцом. Жить отшельником. Мечтать, глядя на корабли. О чем же он мечтал, если устроил свою жизнь так, как хотел? Чего ему не хватало? Но это были именно мечты, грезы. В них не было стремления что-то изменить. Он ничего не хотел менять. Единственное, о чем он жалел, так это о том, что окна выходят на восток. Хотя он понимал, что смотреть все время на закаты ему тоже наскучило бы. Глядя на речной пейзаж, он иногда скучал. Наблюдая закаты, он, возможно, скучал бы чаще. Так что он всем был доволен. Хотя в его отношениях с отцом были проблемы. Отец не хотел жить. Он требовал, чтобы ему дали упаковку снотворного. Или сделали инъекцию. Однажды он объявил голодовку. Г. растерялся. И вызвал работника социальной службы.

—

«Умереть я бы смог, переносить страдания боли — нет; пытаясь уйти от них, я определенно бы их увеличил; я мог бы смириться со смертью, — но не с болью, мне не хватило бы душевного движения, — так, как если бы все уже было упаковано и уже натянутые поводья натягивались снова и снова — и никак не удавалось отъехать. Самое худшее — бессмертные боли».

Окажись Кафка в положение отца Г., он нашел бы способ *сбежать.*

Эти поиски образа, личной истории — что, если за ними таится обычный страх смерти?

Переименовать файл из «Случайных записок» в «Заметки танатофоба».

Если бы я мог написать роман о Г., несчастном случае и всем остальном... Лучший способ справиться с тревогой смерти — сочинять истории, в которых она проявлялась бы косвенно, в превращенном виде. Умение сочинять истории наполняет, вероятно, автора чувством собственной силы.

Чтение — приятный способ убивать время.

Так как нельзя мечтать наяву всю жизнь, мы пытаемся перехитрить ощущение мимолетности времени другими способами, такими, как любовь, интоксикация, мистические переживания, молитвы, творческие достижения и концепция рая.

Я пишу о Г. и его отце, чтобы не писать о своей матери.

Дети, с которыми слишком строго обращаются, могут умирать легко и с готовностью.

Мать Г. Суровая. Радующаяся успехам своего сына. И наказывающая за мелкие проступки. Эмоционально закрытая. Не проявляющая нежности. Не умеющая радоваться. Ее отношения с отцом.

С одной стороны, требование, чтобы сын был лучшим. С другой — чтобы он оставался «маменькиным сынком».

Отсюда стремление к большому делу, чему-то выдающемуся, и неуверенность в себе, делающая все попытки «что-то совершить» напрасными.

Преувеличенная танатотревога — возможно, из восприятия деструктивных тенденций матери.

Отец не играл никакой роли.

Г. не помнит хронологию своей жизни. Даты не удерживаются у него в голове. Не то что дни — годы. Он помнит только общую последовательность. Отрицание времени? Нет времени — нет и смерти.

Ужасающий страх смерти. — Существование писателя действительно зависит от письменного стола, он, собственно говоря, если хочет избегнуть безумия, вообще не вправе удаляться от письменного стола, он должен вцепиться в него зубами.

Страх Г. не так силен. Он никогда не чувствовал себя на грани безумия. Поэтому, может быть, он и не стал писателем.

—

Я ушел далеко от дома и должен все время писать домой, хотя сам дом давно унесло куда-то в вечность. Все это писательство есть не что иное, как флаг Робинзона на самой высокой точке острова.

Кому-то кажется, что он избежит смерти, если будет жить не так, как другие.

То, что казалось мне игрой, оказалось действительностью. Творчеством я не откупился. Всю жизнь я умирал, а теперь умру на самом деле.

У Кафки то и дело встречается «взгляд из окна». Он выглянул в окно. Я посмотрел в окно.

Смотреть на жизнь из окна. Выглядывать из норы.

Хорошо, когда есть незаколоченное окно. Может, и два, и три. Не такой уж плохой способ провести время — смотреть на жизнь из дворца, из башни. Из облицованного стеклом небоскреба.

—

Два каменных этажа. Возможно, был и третий, деревянный. Чердак. Что-то вроде мансарды. Но остались только камни. Большие, светлые. Не кирпичи. Известняк, сказал отец. Он поднялся по лестнице на второй этаж. Лестница почему-то сохранилась. Все ступеньки уцелели. Раскрошились кое-где. Лестница была тоже каменная. Но из другого камня. Снаружи, у стены. Вела на второй этаж. Г. смотрел на отца снизу. Здесь, внизу, тоже была когда-то дверь. Остался черный проем. И рядом — проем окна. Не хотелось туда заглядывать. Возле дверного проема к стене была приделана табличка, большой кусок ржавого железа с вырезанной в нем надписью PRODAJESE. Г. подумал, что это название улицы. Над остатками стены торчала труба. Печная, сказал отец. Г. подумал, если бы в дом попал снаряд, от трубы не осталось бы ничего. Наверное, был пожар. Все, кроме камней, сгорело. «Продается», — перевел отец. Удивительно. Что тут продавать. Г. знал: здесь воевали. Отец сказал, там, где ходят туристы, все уже разминировано. Если мины и остались, то в других местах. Парк большой, подумал Г. Везде леса. Как можно найти все мины. Сойдешь с дороги — и наступишь на невыкопанную. Он представил взрыв. Успеет ли он услышать звук? И еще змеи. Отец сказал, змеи здесь неопасные. И все же лучше смотреть под ноги. Г. бывал в пригородных лесах. Там ему нравилось. Но здесь он чувствовал себя неуютно. Чужая страна. Следы войны.

Где-то в стороне шумел водопад. Трудно было понять, далеко или близко. Оказалось, недалеко. Они стояли на высоком обрыве и смотрели. Водопад был слева. Падал стремительно. Шумно. Сплошным потоком. У Г. закружилась голова. Он будто полетел вниз вместе с водой. Ему пришлось ухватиться за ветку. Обрыв был весь в зарослях. Чтобы увидеть водопад, нужно было подойти к самому краю и раздвинуть ветки. Отец сделал несколько снимков. А потом еще и видео. Передал камеру Г. и сказал, чтобы тот снял его. Отец держался за ствол дерева, чуть наклонившись над обрывом. Г. вдруг представил, как дерево подается, корни его вылезают из земли, и дерево вместе с отцом падает вниз. Ему пришлось перевести дух перед тем, как сделать фото. Потом отец предложил ему встать на том же месте. Но Г. не решился. Отец выбрал другое место. Запустил видеосъемку, чтобы был слышен шум. Если уж водопад не виден, пусть пошумит. Г. не нравилось стоять спиной к водопаду. До края было два-три шага. Но ему все равно было не по себе.

Они спустились в каньон. Когда Г. увидел Большой водопад снизу, тот показался ему не таким уж большим. Вода текла (или падала) тремя струями. Отсюда они казались тонкими. Дух захватывало не столько от водопада, сколько от высоты берега.

Потом они долго шли по узким дорожкам, деревянным мосткам. Кроссовки промокли. «Нужно было взять сапоги», — сказал отец. Он увидел резиновые сапоги на каких-то туристах. Туристов встречалось все больше. А ведь они нарочно приехали пораньше, чтобы их опередить. Туристы все портили. Теперь уже не чужая местность, а люди вызывали у Г. беспокойство и досаду. Вообще-то, ему всегда было не по себе. Он постоянно тревожился, хотя и не сознавал этого. Был начеку. На взводе. Что-то ему угрожало. Отовсюду. Что-то его поджидало, караулило.

Здесь, среди озер, тревога постепенно ушла, забылась. Река, водопады, каньон — все было здорово. Он даже почувствовал что-то вроде радости. Но люди все портили.

Отца туристы тоже раздражали. Он решил свернуть на боковую тропинку. Сверившись с картой, отец сказал, что так они выйдут к следующему озеру. А заодно посмотрят леса. Кое-где, возможно, откроется и вид на каскады. Г. предпочел бы идти по берегу. В тенистом лесу ему снова сделалось не по себе. Ему показалось, что они с отцом затерялись. Вдалеке от людей. Только что он досадовал на толпы с фотоаппаратами и рюкзаками. А теперь затосковал по людям. Чтобы подбодрить его, отец начал рассказывать о том, как образовались эти водопады. Но Г. слушал невнимательно.

Шоколад совсем размяк от жары. Есть его было неприятно. Откусив немного, Г. сунул остальное в рюкзак. У него был небольшой рюкзачок с едой, водой и бейсболкой от солнца — которое так и не показалось. Поутру собирался дождь, но небо теперь становилось чище. Иногда сквозь ветви Г. видел белые облака.

Тропинка шла далеко от берега. Реки не было видно. Хотя временами слышался как будто шум водопада. Пели птицы.

На одном из поворотов им показалось, что вода шумит рядом. Дорожка поворачивала направо. Отец посмотрел на карту и махнул рукой, показывая налево. Вскоре они вышли к берегу.

Вид открылся замечательный. Чуть правее начиналось узкое длинное озеро. Вода в нем была зеленой. Г. уже понял, что чистая вода приобретает цвет того, что в ней отражается. Водопад был прямо под ними. Невысокий, но широкий. Один из уступов каскада.

Они прошли немного по берегу вправо, к озеру. Чтобы увидеть весь каскад. Деревья и кусты росли у самого края обрыва. Как и в том месте, где они впервые увидели водопад. Обрыв здесь был не таким высоким. Но Г. почувствовал дурноту. На водопады лучше было смотреть снизу. Когда глядишь на них сверху, вода как бы увлекает тебя за собой.

Отец нашел место, где деревья немного расступались, и передал камеру Г., а сам встал у обрыва. Давай, сними так, чтобы весь каскад был виден, сказал он. Г. примерился. И в этот миг что-то произошло. Г. смотрел на отца через объектив и не понял, как это случилось. Он отвлекся на каскады. Или еще на что-то. Отец исчез. Г. подошел к обрыву и, опустившись на колени, посмотрел вниз. Он увидел отца, лежащего на камнях.

Что-то такое ему и мерещилось с самого начала. Неспроста он чувствовал эту тревогу, беспокойство.

Так закончилось путешествие к Плитвицким озерам. Так закончилась прежняя жизнь и началась другая.

Г. живет теперь вместе с отцом. Ухаживает за ним, лишь изредка пользуясь помощью медсестер и работников социальной службы. Мать развелась спустя полгода после случившегося. У нее теперь другой муж.

Какое-то время за отцом присматривали его родители. Г. жил с матерью и отчимом. Потом он вернулся к отцу. Государство оплачивает его услуги. Он нигде не работает. Отец получает пенсию по инвалидности. Им хватает.

—

Георг Бендеман. Кафка будто писал о Г.

При виде несвежего исподнего ему стало совестно: он совсем запустил отца.

Отец Георга был разговорчив. Мог произнести длинную речь.

Молчаливость отца была для меня образцом, идеалом. Я слышал от бабушки, что он был таким еще до того, как женился. И брак не сделал его разговорчивым.

Невозможность спокойного общения имела еще и другое, в сущности, совершенно естественное последствие: я разучился разговаривать.

Разные причины, бывает, приводят к одинаковым следствиям.

Все творчество Кафки — это нескончаемый разговор с отцом, письмо к отцу.

Меня подавляла сама Твоя телесность. Я вспоминаю, например, как мы иногда раздевались в одной кабине. Я — худой, слабый, узкогрудый, Ты — сильный, большой, широкоплечий. Уже в кабине я казался себе жалким, причем не только в сравнении с Тобой, но в сравнении со всем миром, ибо Ты был для меня мерой всех вещей.

тайник

никогда не будет в тебе столько плоти
сколько бы ты ни съел мяса
сколько бы ты ни выпил пива
худой тщедушный
ты занимаешь так мало места
ещё меньше чем кажется
ты ведь вырыл
в своем теле нору
тайник без входа и выхода
пещеру убежище
логово
ты трудился усердно и спрятался глубоко

Краны у башен Резиденции не движутся. Я не замечаю на стройке никакого движения. Конечно, я смотрю на нее только проездом, когда выезжаю на мост или съезжаю с него, и вижу только верхушки башен. Может быть, внизу идет какая-то работа. Но, думаю, сначала им нужно завершить башни. Нельзя заниматься благоустройством прилегающей территории и отделкой, внешней и внутренней, пока не достроен каркас. Так почему же стройка остановилась? На темп моих записок это не влияет. Но хотелось бы все же знать. Не обанкротилась ли фирма? Не обнаружились ли какие-то природные или юридические помехи? В моем представлении башня «Гаман» давно уже построена и заселена. А что с ней происходит в действительности?

Ребенок, которого Гаман обучал в доме барона Будберга, стал позднее художником. В местном музее можно увидеть несколько его рисунков.

В Заречье улица названа именем Гамана. А возле Домского собора стоит бюст Гердера.

Знает ли Г. что-нибудь о Гамане? Вряд ли. Откуда бы ему знать. Решено ведь, что он не философ. Но, конечно, ему знакома концепция проекта «Резиденция философов». Он знает, что Гаман и Гердер были немецкими философами. Если его спросят, он так и ответит. Но без вопроса, сами собой, мысли об этих людях ему в голову не приходят. Он не вспоминает о них.

Удар судьбы может обернуться ее подарком. В Лондоне Гаману не повезло с деловым поручением. И денег на возвращение не осталось. После ряда приключений, совсем отчаявшись, он пережил религиозное озарение.

Гаман не преуспел в деле, которое ему поручили друзья, оплатив его путешествие в Англию. Человек, к которому он обратился по их указанию, высмеял всю затею (неизвестно, какую). Г. не стал настаивать, решив, что новые попытки могут повредить ему самому. Он застрял в Лондоне, один, без друзей, не зная, на что решиться. И тут ему в голову пришла странная мысль — учиться игре на лютне. В Берлине, по дороге в Лондон, он взял несколько уроков, и теперь хотел снова найти учителя. И он нашел его — одного на весь город. Говорили, этот музыкант заработал своей игрой много денег и жил припеваючи. Познакомившись с лютнистом, Г. вскоре перебрался к нему. Они сделались близкими друзьями. Настолько близкими, что лютнист, уезжая куда-то по делам, доверил ему пачку писем. К тому времени у Г. зародились подозрения, что его друг состоит в «непристойных» отношениях с богатым англичанином. И он не удержался от искушения прочесть доверенные ему письма («запечатанные ненадежно»). Все подтвердилось — это были любовные письма, «отвратительные и смешные». Что же делает будущий философ? Он оставляет себе несколько самых компрометирующих писем, а остальные отдает адресату, когда тот возвращается из поездки, заверяя, что не заглядывал в них. До шантажа дело не доходит. Но история продолжается: Г. пишет автору писем, богатому англичанину, предупреждая его о постыдности и опасности такой связи. Он надеется, что его красноречие убедит того порвать с лютнистом. Но вышло наоборот: оба потребовали от моралиста, чтобы он «заткнулся».

—

Названия разделов из дневников Бодлера: «Фейерверки», «Гигиена», «Мое обнаженное сепрдце».

Обнажи свое сердце. Заставь его говорить. В этот теплый летний день. Когда недалеко кричат чайки. И люди разговаривают под окном. И воет сирена скорой помощи. Шум не такой уж большой. Отговорки тут неуместны. Бесполезны. Недействительны. Их не признает твое же сердце. Оно хотело бы заговорить, но пока не может. И дело не только в шуме. Сегодня пятница, и народ, окончив работу, поедет к морю. Но я остаюсь дома. Небольшая прогулка — вот все, что я собираюсь предпринять этим июльским днем. Жара в Швеции. Горят леса. Шведы просят помощи. В мире происходит столько разных событий, что размышления о частных событиях кажутся неуместными. Даже мне. Тому, кто давно и сознательно поставил частное выше общего, личную историю выше всеобщей. Сердце спит. Заснуло, не раздеваясь. В кресле. Г. осторожно взял свое сердце на руки и понес в постель.

Все мои проекты рушились из-за того, что мне не хватало терпения. А вот Г. избавил себя от таких проверок. У него не было никаких жизненных проектов. Вернее, был, но только один. Связав себя проектом «Отец», он ни во что больше не ввязывался. Но разве для такой жизни не нужна устойчивость к стрессу? Терпение? Выдержка? И у Г. все это было. Откуда? Внешне здоровая, крепкая, но на самом деле неблагополучная семья. Несчастье с отцом — как бы символическое выражение той катастрофы, которая произошла в семье. Но что же произошло?

—

Поутру Г. раскрывает в комнате отца шторы. Приносит судно. Помогает справить нужду. Опорожняет сосуд в туалете. Умывает отца. Готовит завтрак. Отец любит с утра поесть. Яйцо. Поджаренная колбаса. Врачи не одобряют такого меню. Но отцу наплевать. Не из-за того, что он любит жизнь. Даже оставаясь в таком положении. Нет. Потому, что он теперь безразличен к жизни. Она ему не нужна. Он не прочь был бы поскорее от нее избавиться. Покончить с ней. Покончить с собой. Он уговаривает сына достать ему смертельную дозу морфия. Или упаковку снотворного. Морфий достать непросто. Отец уже пытался это сделать через своих знакомых. У него есть телефон, и он может звонить по нему. Но звонит он редко. Никому не хочется говорить с человеком, попавшим в беду. Даже близкие друзья постепенно перестали с ним общаться. Сначала перестали приходить. А потом и отвечать на звонки. Все его бросили. И первой — жена. А родители? Они жили далеко. В другой стране. И сами нуждались в помощи. Не так уж долог тот отрезок жизни, когда человек здоров, деятелен, самостоятелен. Может обходиться без посторонней помощи. Жить один. Полагаться во всем на себя. Все его бросили. Кроме социальных работников и медсестер. Г. уже лет в тринадцать мог бы перебраться к отцу, ухаживать за ним, делать все, что он делал для него позднее. Но закон этого не позволяет. Ему предстояло закончить школу, дожить до совершеннолетия. Лишь тогда он смог устроить свою жизнь по-своему. Какая странная натура, этот Г. Его загадка интереснее моей. Которую я уже разгадал. Стремление к победам, смешанное с предчувствием поражения.

Вы разгаданы! — крикнул я и легонько хлопнул его по плечу.

Когда Гаману (настоящему) было немного за тридцать, у его отца случился удар. Гаман оставил службу, чтобы ухаживать за ним.

Дает ли такое совпадение что-нибудь для истории Г., проживающего в башне «Гаман»? Скорее всего, ничего. Как и то, что Гаман (настоящий) позднее сошелся со служанкой, нанятой, чтобы помогать в уходе за отцом.

—

Вчера, душной полночью, какая-то женщина (навеселе) громким голосом (на весь квартал) завала: «Гунта Молинаре!» Она повторяла и повторяла это имя. Я не сразу его разобрал. А когда разобрал, оно мне очень понравилось. Подходящее название для романа. В старинном духе. В духе сестер Бронте. Нет, роман лучше назвать по-другому, а имя сохранить для подруги главного персонажа. Для его мечты, вымышленной возлюбленной.

На том же этаже в башне «Гердер» жила девушка. Летом Г. часто видел ее на балконе — она загорала. Г. старался не попадаться ей на глаза. Он прятался за кустом можжевельника, что рос в большом горшке на его балконе. Если бы не можжевельник, Г. было бы хорошо видно со стороны. Его и так было видно. И девушка, конечно, его замечала. Но они никогда не встречались взглядом. Тайком, из своего укрытия, приняв все предосторожности, чтобы остаться незамеченным, он сделал фото девушки. Несколько снимков. Поручень ограждения мешал — закрывал то лицо, то плечи. Пришлось изменить диспозицию: Г. спрятался у двери на балкон и высунул телефон из-за стены.

В конце концов он решился и, убедившись, что девушка загорает закрыв глаза, быстро снял ее несколько раз, встав так, как ему было удобнее. Потом выбрал самый удачный снимок, увеличил его, распечатал и повесил на стене.

Над столом висел портрет, который он недавно вырезал из иллюстрированного журнала и вставил в красивую золоченую рамку. На портрете была изображена дама в меховой шляпе и боа, она сидела очень прямо и протягивала зрителю тяжелую меховую муфту, в которой целиком исчезала ее рука.

Можно подумать, что это написал Мазох.

Беллетрист развернул бы эпизод с Гунтой в роман о сталкере и его жертве.

Невозможно, чтобы у Г. не было странностей. Гунта Молинаре — повод, чтобы они проявились.

Г. не таков. Он никого не преследует, никому не угрожает. Он избегает любого общения с внешним миром. Вся его деятельность сводится к заботам об отце. Остальное время он тратит на бесцельное наблюдение. Взгляд из окна, с балкона.

Живущему одиноко окно, выходящее на улицу, просто необходимо.

«Флоберовские вариации на тему Кафки».

Если не выходишь из дома, без окна, выходящего на улицу, не обойтись.

Я редко выхожу из дома. Зачем? У меня есть окно, выходящее на улицу.

Люди так часто и с таким удовольствием выходят из дома, что можно подумать, будто у них нет выходящего на улицу окна.

Если ты домосед, выбирай комнату с окном на улицу.

Разве может усидеть дома тот, чье окно выходит во двор? — Только, если он — инвалид.

Дело в том, что именно тогда я был лишен возможности свободно передвигаться.

Наблюдая из окна своей квартиры за обитателями соседних домов, можно заметить кое-что интересное. Бестолковых молодоженов. Одинокую мать, торгующую собой по ночам. Неблагополучную пару (она больна, а он почему-то ничего не делает для ее спасения). И так далее.

—

Вероятно, ее семья заняла эту квартиру недавно.

Г. увидел ее летом, в июле. Месяц был необыкновенно жарким. Медики предупреждали об опасности солнечных ожогов, перегрева, обезвоживания. Но она выходила с утра на балкон, чтобы позагорать.

Она ему сразу понравилась. Расстояние между башнями было метров двадцать. Не так уж много. Он рассматривал ее не стесняясь. А она его не замечала. Или делала вид, что не замечает. Говорят, у женщин развито боковое зрение. Если так, то она его наверняка заметила. Но не подала виду.

Понаблюдав за девушкой, Г. вернулся в комнату. Нужно было еще прибраться на кухне и вымыть отца. В такую жару приходилось два, а то и три раза обтирать его влажной губкой. Отец плохо переносил духоту. И все время потел. В первой половине дня солнце светило прямо в его комнату. Задолго до полудня она раскалялась. Шторы не помогали. Да и потом, когда солнце уходило на запад, духота не спадала. Таким был этот июль. Во всех смыслах необыкновенным.

В следующий раз Г. решил привлечь внимание соседки свистом. Ему пришлось просвистеть популярную мелодию целиком, прежде чем она повернула голову. Г. помахал ей рукой. Девушка, не ответив, отвернулась. И закрыла глаза платком. Г. посвистел еще немного. А потом крикнул «чао» и сел в кресло. Теперь между ним и девушкой располагался большой куст можжевельника, подстриженный в виде яйца. Его завела еще мать. Прошло уже несколько лет с тех пор, как она переехала. Развелась и вскоре вышла замуж за менеджера по инвестициям того самого банка, офис которого размещается в «Солнечном камне». Когда-то это было самое высокое здание в городе. У въезда на мост. Его хорошо видно с балкона. Дойти можно минут за десять.

Неделю девушка не появлялась. Г. то и дело выходил проверить, но ее не было. Уезжала с утра на пляж? Г. и раньше удивлялся, почему она предпочитает балкон. Может быть, она ездила на море по вечерам? Вместе с любителями покупаться на ночь глядя. А может быть, у нее есть друг, занятый на работе. Не все же в июле бездельничают. И она ждет, когда он освободится.

Через неделю девушка снова появилась на балконе. В том же шезлонге, в той же позе. Г., обрадовавшись, решил не упускать случая. Он написал крупными цифрами номер своего телефона на листе бумаги. И добавил: «ГЕОРГ. ГОША». Первым стояло его имя, а потом — уменьшительное. На выбор. Он подошел к ограждению и снова стал насвистывать ту же самую мелодию. К его удивлению, девушка сразу повернулась к нему и помахала рукой. Ему даже показалось, что она улыбнулась. Не теряя времени, Г. развернул лист бумаги. Девушка несколько секунд вглядывалась, потом взяла телефон, лежавший рядом на столике, и сделала снимок. «Увеличит и посмотрит», — подумал Г. Девушка, судя по ее движениям, так и сделала. Она снова улыбнулась — Г. уже в этом не сомневался — и, попросив его жестом подождать, скрылась в комнате. Через пару минут она вернулась с листом бумаги, чуть меньше того, который держал Г. (а он по-прежнему держал его в левой руке). Г. ожидал, что на листе будет написан номер телефона («Могла бы позвонить», — мелькнуло у него в голове), но это был адрес почты. Внизу было написано: «ГУНТА».

Вот так они познакомились. Г. тут же написал ей: «Поговорим? Дай свой номер». На что Гунта ответила: «Зачем торопиться?»

Г. подумал, что она ему не доверяет. Хочет узнать получше. Но если сказала имя и дала адрес, значит, ждать недолго.

И действительно они встретились через неделю. До этого каждый успел рассказать о себе (Г. — больше, Гунта — меньше). Г. подписывал свои письма инициалом. И они позабавились, когда выяснили, что их фамилии начинаются на одну и ту же букву. Полное ее имя было: Гунта Молинаре. Г. это имя понравилось. И он даже написал стихотворение с посвящением «Гунте Молинаре». Вот этим он, наверное, и решил дело. Против стихов Гунта не устояла. Как будто стихи пишут только порядочные люди. Г. знал, что это не так. Но, разумеется, не поделился этим знанием с Гунтой.

—

В первую встречу они просто гуляли по берегу. Посидели в плавучем ресторане. Гунта отказалась от вина. Г. пришлось обойтись фруктовым коктейлем. Они сидели за столиком у ограждения. Вода плескалась рядом. Пролетали чайки. Выпрашивала еду одинокая утка. Пассажирский причал на другом берегу был пуст. Посетителей в это время было немного. Г. уже знал, что Гунта учится в академии. Следующей весной она получит диплом менеджера в сфере туризма и гостиничного бизнеса. У нее был парень. Но она рассталась с ним зимой. Рассказ Г. о том, как он посвятил свою жизнь уходу за отцом, ее очень тронул. Г., правда, сказал ей, что он еще и учится в университете

на журналиста. Заочно. И подрабатывает переводами. Первое было неправдой, а второе правдой. Он переводил деловую и техническую документацию для различных организаций. С английского и немецкого. Где же он выучился языкам? Английский он учил в школе. А немецкий? Неизвестно. Почему бы физиономии (биографии) Г. не сохранить немного таинственности?

Представим служащего страхового агентства К. Часов до четырех он занят на службе. Свои обязанности он исполняет безукоризненно, хотя и без особого усердия. Во время обеденного перерыва он обдумывает сюжет криминального романа. Когда рабочий день заканчивается, он идет в кафе, сидит за чашкой кофе и продолжает обдумывать сюжет. Домой он возвращается к пяти. Переодевается в домашний халат и ложится на диван. Курит. Глядит в потолок. Сюжет романа готов, и он дает мыслям свободно плыть по этому сюжету, словно по реке. В шесть приходит машинистка. К. начинает диктовать ей роман, не вставая с дивана. Говорит он быстро. Ему нужна хорошая машинистка. Такую найти непросто. Но он нашел. И теперь согласился бы платить ей в два раза больше. Но она не догадывается об этом и работает за ту плату, которую он предложил ей вначале. Иногда К. встает и прохаживается по комнате, не переставая диктовать. Он вообще делает лишь один короткий перерыв, чтобы выпить еще чашку кофе. Двух чашек ему достаточно. И сигарет. Они работают до десяти вечера. Иногда заканчивают чуть позже. Через три дня роман готов. Обычно на сочинение детектива у К. уходит четыре дня, включая тот день, когда он не диктует, а только обдумывает сюжет. Оставшуюся часть недели он отдыхает — гуляет, охотится, встречается с друзьями, играет в карты. Он любит ездить на мотоцикле. Подруг у него нет. Как-то так получилось, что он легко обходится без женщин. Однажды он сказал другу: «Если я хочу, чтобы меня стошнило, мне достаточно представить себе, что я кладу руку на бедро какой-нибудь женщине». Он не гомосексуал. Скорее всего, асексуал. Творчество для него — не сублимация либидо. Разумеется, он получает удовольствие от сочинительства. Но вряд ли оно эротического свойства. И в те дни, когда он не занят сочинением, он даже не вспоминает о литературе.

Что задумал Г.? Какого рода психопатией он страдает? И действительно ли он психопат? Возможно, все подозрения напрасны. Игра фантазии одинокого человека. Скучая, он придумывает криминальные истории. Начинал-то он с личной истории. О нем самом. Но очень быстро (или не очень, это неважно) завершил ее и начал историю о Г. Выдавая ее поначалу за параллельную историю. То есть свою личную историю в параллельном мире. Мы же знаем, что число вселенных бесконечно. Каждый выбор создает новую вселенную. Случайные события на квантовом уровне делают то же самое. Число вселенных растет с невообразимой быстротой. Не только скорость этого процесса, но и сам процесс представить невозможно. Воображение отказывает уже на втором или третьем шаге. И тем не менее ученые уверяют нас, что это так. В обычае наших ученых идти против здравого смысла. Они гордятся тем, что нарушают привычные представления. С точки зрения современных космологов, образ Г. — это совокупность миллиардов и миллиардов образов. Ни один ум не в состоянии вместить их все. Как ни один ум не в состоянии пересчитать все числа. Но говорить об этом множестве в целом вполне возможно. На это наш ум способен. Что, однако, никак не помогает нам, — а если вернуться из облака фантазий на землю, то мне — решить вопрос о душевном здоровье Г. Он может быть и нормальным человеком, и душевнобольным. В первом случае Гунте, скорее всего, повезло, а во втором — точно не повезло. Сейчас они сидят на плавучей террасе ресторана, допивают коктейли (у Гунты — молочный с черникой, а у Г. — алкогольный мохито), смотрят на реку, на другой берег, иногда (часто) в глаза друг другу. Гунте все больше нравится этот человек. Судьба у него, конечно, необычная. В ее окружении не было еще лежачих больных. И она не знала никого, кто ухаживал бы за инвалидами.

Такие случаи для нее были чем-то кинематографическим. Благополучный ребенок в благополучной семье. И расставание с тем парнем произошло по ее инициативе. Он ее не устраивал. Слишком обычный. А в Г. она угадывала что-то необычное. Но никак не думала, что эту необычность правильнее была бы называть «странностью» (еще более точное название, диагноз, мог бы подобрать психиатр).

—

«Знать себя — значит ошибаться». Пессоа больше нравится представлять себя чем-то вроде водоросли, которую колышет течение. И проза его напоминает такую водоросль. По крайней мере, он выражается так, как считает нужным. И выражает себя таким, каким он себе представляется.

Беда в том, что я не могу твердо встать на какую-то точку зрения. Занять определенную позицию. Укрепиться на какой-то вершине. Или выстроить бастион в долине. Человек-за-и-против.

«Есть литературные фразы, имеющие абсолютно человеческую индивидуальность».

И тот, кто пишет в одиночестве, окружает себя шумной компанией, где каждый ему хороший знакомый или друг.

Множество историй из прожитой жизни. И ни одна из них не добавляет ничего в жизнь нынешнюю. Человек без биографии. Каждый день — с чистого листа.

На границе сна в голову приходят удачные мысли. О том, как продолжить эти записки. Что еще сюда добавить. Но наутро от этих мыслей ничего не остается. И я даже не стараюсь вспомнить. Жить так, чтобы сегодня ничем не было обязано вчера.

Представляю себя официантом, обслуживающим эту парочку. Чаевых точно не будет. Ни вина, ни закусок. Обойдутся двумя коктейлями. Студенты, наверное. Неизвестно еще, сколько они будут зарабатывать, когда получат диплом. Как повезет. Если повезет, можно и позавидовать, а если нет — порадоваться, что у меня-то работа есть. И не такая плохая. Веселее, чем дилером в казино.

Почему бы в это время на плавучей террасе не появиться матери Г. в сопровождении своего нового мужа? Нет. Они живут далеко. В другой стране.

Г. сказал Гунте, что хочет стать художником. И это было правдой. Он часто делал зарисовки на балконе. Рисовал карандашом речной пейзаж. Вид города. Вроде вермееровского «Делфта». Река. Берег. Здания. Облака в небе. Он подумывал и о том, чтобы заняться масляной живописью. Времени у него было вдоволь.

Я ничего не делал всерьез, даже и желая этого. Во мне и со мною развлекалась какая-то злобная судьба.

Приходится по нескольку раз в день повторять себе, что я устроил свою жизнь по собственному выбору. То, от чего я отказался, я отбросил сознательно. У меня это не отнимали. Но меня заставили выбирать.

Они возвращаются вместе. Расстаются в холле «Гердера». Или еще раньше, у входных дверей. Она поднимается на лифте к себе. А он идет в башню «Гаман». Спохватывается, что забыл зайти в магазин.

Если бы в здешнем собрании была картина Фридриха или что-нибудь в этом роде, я спешил бы в музей всякий раз, когда чувствовал, что меня оставляет серьезность. С террасы на крыше музея виден закат. Когда-то мне и этого было достаточно —

облаков, закатов. Наверное, потому, что тогда серьезность никогда не покидала меня полностью или настолько, чтобы я не мог вернуть, разбудить ее, глядя на пейзаж. Сейчас другое дело. Да и сезон не тот: музей закрывается раньше, чем солнце успеет приблизиться к горизонту.

Вериги брака. Это уже другая тема. Другой поворот. Мне рассказывают историю Гантенбайна. Оказывается, он все еще живет с Лилей. Подробности. Его двойник думает, не вернуться ли из аэропорта к женщине, с которой он только что расстался. Подробное описание угасающей в браке страсти. Он не вернется. Или вернется в другой, параллельной вселенной.

История Гантенбайна продолжается как ни в чем не бывало. А об истории Г. нельзя даже сказать, что она началась.

Что же до моей личной истории... Неужели она и вправду закончилась? Так быстро. Так просто.

Гантенбайн вполне устраивает Лилю: со слепым ей проще, чем с любым из зрячих. Г. располагает к себе Гунту рассказом об отце. Какое самопожертвование. Какая верность. Благородная душа. Хотя, если верить Ницше, именно благородный и не станет жертвовать собой. А может быть, Г. лжет? Может, вся его история об отце — хитрая выдумка? Может быть, его отец давно погиб? А на кровати лежит пластмассовая подделка? Манекен с чертами отца? Такие истории уже случались.

Вы живете здесь совсем один? Только вы и мать? — Да. Больше никого. Так было всегда.

Отец погибает в автокатастрофе. Мать выживает. Г. ухаживает за ней. А когда она умирает, он, благодаря своему искусству таксидермиста, делает из нее чучело. И заботится о чучеле так, как раньше заботился о матери.

«Ночью он укладывал ее в кровать, днем одевал и выносил в гостиную».

Он купил женский манекен подходящего размера. И взял его за основу. Кое-что не сходилось. Но это было неважно — все равно он никогда не раздевал мать догола.

Со временем, однако, чучело начало портиться. Где-то он допустил ошибку. Плохо просолил. Или недостаточно обработал купоросом.

И вот тогда у него возникает мысль заменить чучело другим. Лицо матери сохранилось отлично. А подлинность остальной кожи, как он считал, не так уж важна. Нужно только раздобыть подходящий экземпляр. Г. ищет женщину, похожую на мать — не лицом, а телом. За время, проведенное в постели, мать пополнела. Но за месяц до смерти начала быстро худеть. Так что искать, как убедился Г., нужно скорее девушку.

Девушек нужного телосложения он встречает немало. Но найти такую девушку — половина дела. Потом следует познакомиться. Завязать отношения. А у большинства уже есть какой-нибудь парень. Поиски затягиваются. Наконец он встречает Гунту. И надо же — она сейчас свободна. И он ей нравится (он умеет обращаться с женщинами, его эмпатическая связь с матерью). Он приглашает ее к себе.

И вот тут выясняется, что завершить дело не так-то просто. В холлах обоих башен сидят дежурные. Они видят всех, кто входит и выходит. Кроме того, Гунта наверняка рассказала подругам о своем новом знакомом. Может быть, одной, лучшей подруге. Но и этого — в случае ее исчезновения — хватит, чтобы полиция обратила внимание на Г. А там недалеко и до обыска.

Учитывая все это, самым правильным, пожалуй, будет приобрести свежий труп из морга. Незаконным, конечно, способом. Подкупив кого-то. Однако в этом случае он почти ничем не рискует.

Г. не в себе, как и персонаж «Психо». Но у него хватает ума, чтобы изменить план. Продолжает ли он встречаться с Гунтой? Вопрос неправильный: он с ней и не знакомился. Вариант морга был первым. И единственным. Девушку с балкона он фотографировал. И ее фото повесил на стене у себя в спальне. Но большего ему и не требовалось. Достаточно было видеть ее изредка. Живой. Во плоти, как говорили раньше. И видеть на фотографии постоянно, то есть в любое время, как пожелаешь.

—

У этих записок нет и не будет никакого сюжета. Г. — не Гантенбайн. И я — не Фриш. Не знаю толком, кто я такой. Но уж точно не Фриш. И не Вулрич. И не Блох. Никто из всех этих беллетристов. Я пишу не потому, что хочу рассказать историю. И не потому, что хочу узнать что-то о себе. Самоанализ невозможен. Никогда не достанешь до дна колодца. Ни своего, ни чужого. Пить вино. Грызть шоколад. Печатать слова. В этом немного смысла. Я понимаю. Но во всем остальном его еще меньше.

Я могу ходить вокруг темы матери и отца. Наматывая круги. Варьируя один и тот же мотив.

У него было по меньшей мере три ипостаси. Во-первых, маленький мальчик, который жить не мог без любимой мамы. Потом мать, которая должна была вечно жить рядом. Третьего можно назвать нормальным — взрослый мужчина, которому приходилось вести жизнь обычного человека.

Личной истории не получится, если не вспомнить о чувствах, которые уже давно не испытывал. Например, нежность.

Из чего должна складываться личная история? Не из внешних фактов, из которых складывается биография, или профиль в Linkedin. Важна психическая структура. Что она собой представляет. Психологический портрет. Случай человека-волка. Степного волка. Где тот психоаналитик, который напишет мою историю?

Есть какие-то основные эмоциональные состояния, чувства. И мысли. И желания. Сложный комплекс, который зарождается, формируется еще в детстве. А затем только изменяется. И вся твоя жизнь — метаморфозы этого комплекса.

Нежность, не находящая отклика. Начиная с какого-то времени. А может быть, и всегда.

Нежность, которая с годами прячется, как моллюск в свою раковину.

Не умирает, а меняет объект. История самая обыкновенная.

Но личная история не может быть обыкновенной.

«Нежность» получила во Франции несколько премий и разошлась тиражом триста тысяч экземпляров.

В романе — эпиграф из Чорана: «Я бы не смог примириться с миром, даже если б мгновения одно за другим отрывались от времени, чтобы меня поцеловать».

Не помню, чтобы мать меня целовала.

Враждебности я не чувствовал. Она была строга, но не зла.

Если строга с самого начала, то откуда же нежность?

Было время, когда я стремился к уединению именно потому, что в уединении мог чувствовать нежность. Мне хотелось быть нежным. В нежности заключался какой-то высокий смысл.

Нежность. Возможно, это то, что испытывает младенец у материнской груди. Или мать, кормящая младенца.

Кафка в письме: «Несколько раз он мог жениться, но его мать, которая дожила до его 52 лет, каждый раз его отговаривала».

Комната К. полнится шумом. Шум заполняет ее, словно растущее тесто. К. скоро уже некуда будет деться. Для него не останется места. Шум заполнит собой всю комнату. Кажется, он способен заполнить собой весь мир. Дети. Торговцы. Ремесленники. Музыканты. А в доме — прислуга, родители, сестры, родственники, их дети. В таких условиях цокот копыт и стук колес по мостовой кажутся символом тишины.

Разве можно сравнить положение К. с положением Г.? В том, что касается шума.

Нам, бедным голубям, перерезает шеи один и тот же острый нож, одному здесь, другому там. Но так медленно, так волнующе, так экономя кровь, так мучительно для сердца, так мучительно.

Нежность, радость, которую я испытывал, когда мать возвращалась с работы. И ее сдержанность, холодность. Вызванная, возможно, усталостью. Но так похожая на ту, которую она проявляла и по выходным дням.

Мир без нежности, казалось мне, не имеет смысла.

Говоря на эту тему, многие употребляют слова «тепло», «теплота».

Я чувствовал себя теплой печкой, к которой никто не хочет прислониться.

И отдавал свое тепло литературным персонажам, киногероям. Животным. Растениям. Облакам.

Может быть, я сам искал печку. И превращал в нее все, что мог.

Не так уж важно, откуда это пошло; важнее, как это сказывалось на всем, что я делал и чувствовал.

Тихо шумящее безумие, которое можно принять за мелодию жизни.

Нежность ко всякой твари, ко всему сотворенному. Существующему. Репейнику или пивной банке на пустыре.

В моей душе поднимается какое-то сожаление, словно сожаление Бога обо всем сущем, слепое желание слез.

Вселенская нежность смешивалась с печалью. Мировая скорбь. Но в глубине, конечно, это была жалость к себе.

Нежность и жалость залегали глубоко. Глубже, чем стремление победить и уверенность в неудаче?

Материнское сочувствие к себе самому, сопровождаемое музыкой, неопределимое.

—

Г. помнил то время, когда мать читала ему перед сном, а потом целовала в лоб и уходила. Он слушал рассеянно и ждал этого поцелуя. Иногда он обхватывал шею матери руками, когда она наклонялась над ним, и притягивал ее к себе. Он вслушивался в ее шаги, когда она выходила из комнаты. Он понимал, что мальчик его возраста

может и должен спать один. Но при этом где-то в глубине таилось чувство, что его несправедливо наказывают. Предают.

Бывало, что ему приходилось долго ждать возвращения родителей из гостей или с какого-то шоу, концерта. Они уверены, что я сплю. Так думал он. Им кажется, что все в порядке, что меня можно оставить здесь одного и уйти. Я посмотрю детское кино и усну. Мне же строго сказали, что после кино я должен выключить телевизор и немедленно лечь спать. Послушный ребенок. Никаких проблем. Но Г. не спал. Он никогда не засыпал до возвращения родителей. Он смотрел телевизор. Один фильм за другим. Родители позаботились о том, чтобы ему было доступен только детский онлайн-кинотеатр. Он укладывался, когда, по его расчетам, родители должны были уже скоро вернуться. Ему было строго (как всегда строго) запрещено звонить в такие вечера матери или отцу «по пустякам». И вот, лежа в постели, он представлял, как они придут, и мать заглянет в его комнату, а он притворится, что спит. Но часто он не выдерживал, и звал ее: «Мама!» А иногда и выбегал из своей комнаты им навстречу. За что всегда получал нагоняй. Строгий или не очень — в зависимости от того, в каком настроении были родители.

Если он знал, куда идут родители, где они проведут вечер, он выходил на балкон и смотрел в ту сторону, мысленно посылая маме «сообщение». «Возвращайся скорее», — вот что он обычно пытался ей передать. Он верил в телепатию и старался развить в себе телепатическую способность. Пока не убедился, что все его старания бесполезны.

Я представляю маленького Г. на балконе высотного дома. В башне «Гаман». Поздним вечером. Одного.

Существуют, наверное, судьбы с историческим развитием и без оного.

Прошли годы. Многое в жизни Г. переменилось. Но это были не «исторические» перемены. У его души не было истории. Изменялись лишь внешние обстоятельства его жизни.

Человек должен меняться с возрастом. А если он не меняется (внутри), то остается без истории.

Историей такой «постоянной» души может быть история самопознания. Или история художественного выражения этой фиксации.

Психологическая фиксация должна выдавать себя в речи. Особенно в пространной. Ничем не сдерживаемой. Ничем не направляемой. Метод «Магнитных полей». Термоядерный синтез происходит в магнитной ловушке. Никакие стены не выдержат, кроме магнитных. Вот чем должно быть это произведение. Эта речь. Хотя здесь, по сути, происходит разложение, а не синтез. Добраться до элементарного. Свести путаницу душевной жизни к чему-то простому.

—

Эти часы ожидания сформировали его характер. Поздний вечер и мальчик в пустой квартире. И еще — вид с двадцатого этажа. Иногда небо прояснялось, и открывались звезды. Много звезд. Гораздо больше, чем обычно. Он знал названия созвездий и мог их найти на небе. Когда над городом стоял смог, какие-то звезды все равно были видны. Город был не таким уж большим, и воздух в нем был не таким уж грязным. Огни города по ту сторону реки.

Его стремление куда-то по ту сторону реки, к матери, превратилось в стремление к чему-то неопределенному.

Ожидание матери превратилось в ожидание чего-то неопределенного.

Как будто он жил в горах. Высоко над людьми. А выше было звездное небо. И над ним, за ним — еще что-то.

Он слышал, как родители спорили. Отец не хотел, чтобы мать работала. А она говорила, что без работы ей будет скучно. Потом пришло время, когда она стала задерживаться на работе. Возвращалась все позднее. Словно в доме не было ничего притягательного. Что могло бы отвлечь ее от работы. Как будто она возвращалась только из-за усталости. Чтобы отдохнуть. Он уже вырос, и чтение на ночь давно прекратилось. Но ему по-прежнему хотелось, чтобы мать целовала его перед сном. Но и этого давно уже не случалось.

Он лишился матери еще до того, как она погибла. Но ее нежность осталась с ним. Та, из прошлого.

Спрятался — виноват. Не спрятался — виноват. В любом случае ты виновен.

Из пометок Кафки на полях «Или-или» (которых он, конечно, не делал).

К. — лучший из собеседников. Один из лучших.

Кафка: «Кьеркегор в каком-то смысле сейчас всегда со мной».

Г. казалось, что изменения в отношениях с матерью произошли по его вине. Он испытывал смутное чувство вины. Он чувствовал, что виноват, но не мог бы сказать, в чем именно. Он не смог удержать нежность матери.

Г. взял на себя все хлопоты по уходу за отцом не из любви к нему и не из чувства долга, а из чувства вины.

В японской системе психотерапии клиенту нередко предлагается подробно написать, что для него сделали родители — и что он делает для них. Обычно после составления списка клиент обнаруживает, что родители сделали для него больше, чем он сделал для них. Европейские терапевты склонны интерпретировать этот прием как создание чувства вины у клиента, японцы же рассматривают это как формирование понимания долга перед родителями.

Его попытки избавиться от нежности. Стать суровым, бесчувственным. Заняться каким-то делом. Если поставить все на дело, то чувствами можно пренебречь. Ничто уже не важно, кроме успеха. Люди, увлеченные своим делом, недоступны для нежности. Сентиментальности. Они бесчувственны. Они знают и понимают лишь то, что способствует или препятствует их успеху. Такое отношение к жизни дает преимущества. Спасает от расслабляющих чувств. Но где найти такое дело? И как отдаться ему полностью? Задушить в себе нежность. Как в криминальных фильмах душат кого-то подушкой. Найти дело и сосредоточиться на нем. Тщеславие против нежности. Стать тщеславным. Думать только об успехе. Свет этой цели заставит померкнуть все другие огни. Как предприниматель, жаждущий создать промышленную или торговую империю. Своего рода маниакальность. Лучше уж прожить жизнь таким маньяком, чем. И тут он долго подыскивает точное слово, чтобы обозначить себя, вернее, свой образ, каким он себя видит со стороны.

Каким видит себя со стороны Гантенбайн? Он видит себя Эндерлином, живущим в аду. Эндерлин не сознает ужаса, в котором живет. Но Гантенбайн все видит.

Он все подмечает. И вдобавок провидит будущее. Последнее-то нисколько не противоречит его слепоте. Скорее уж способность к ясновидению — ее результат.

Без слепого ожидания, без той неизвестности, которая помогает выносить настоящее, это был бы ад.

Он не может отказаться от ожидания. Оно каким-то образом связано с нежностью. То ли нежность ищет нечто, чего она могла бы коснуться, что она могла бы окутать собой, растворить в себе. То ли Г. ждет чего-то, что могло бы пробудить его нежность. Сон нежности — это ад. И он готов на что угодно, лишь бы она не засыпала. Спящая нежность — это конец мира. Что же будет, если она умрет?

—

Избавиться от этой фиксации если и возможно, то с неимоверными усилиями. И потребуется уйма времени. Лучше сделать из нее архимедову точку. Заставить весь мир вращаться вокруг нее. Да это и так уже происходит. Просто раньше он этого не сознавал. И мешал движению, чем мог. А теперь он будет помогать ему. Как тот «удивительный святой» из притчи Вакенродера.

Он говорил высоким, напряженным голосом, как будто сомневался, что его услышат. А если и услышат, то прислушаются.

В конце концов, после долгой борьбы с самим собой, после многих надежд и разочарований, он решил, что обойдется без материнской нежности, без матери, вообще без других. Зачем искать нежность где-то в мире, когда она прячется внутри него? Никто не будет относиться к нему с такой нежностью, как он сам. Ему довольно себя самого. И того огромного мира, который он создаст в воображении. Впрочем, этот мир уже существует где-то там, в глубине. Нужно лишь научиться спускаться и странствовать по нему.

Все сложилось как нельзя лучше: мать ушла из семьи, отец — лежачий инвалид, квартира в его распоряжении, он может не работать. Провести жизнь здесь, на одном из последних этажей высотного дома. Глядеть на мир с высоты.

А в ящике стола лежат начатки моей великой поэмы. Можно было бы сказать — «дело всей моей жизни».

Это всего лишь записки странника, путешественника.

Вначале он делал зарисовки карандашом. Потом пытался рисовать акварели. Результаты его не удовлетворяли. И тут он был прав — у него не было способностей к рисованию. Тогда он попытался не рисовать, а описывать. Вид с балкона. Пейзажные зарисовки. Это оказалось непростым делом. Ему не хватало слов. Он не сразу научился выделять главное. Строить фразы. Но постепенно в этих фрагментах, или скорее миниатюрах, стало появляться именно то, что он и хотел увидеть.

Привыкнув к слову (словам), он начал записывать и свои мысли. Он купил несколько одинаковых тетрадей для записей и старался каждый день исписывать хотя бы страницу. Чаще у него выходило даже больше — две, а то и три страницы.

Он научился разговаривать с самим собой. Вернее, слышать внутри чей-то голос. Тот, кто говорил этим голосом, был довольно словоохотлив. Иногда он принимался болтать без удержу. То есть удержать его было можно. Но стоило труда. Г. стремился к тому, чтобы каждая его запись представляла законченное целое. То есть он руководствовался художественными, эстетическими соображениями. По сути, это был не дневник, а рабочая тетрадь. Он не успокаивался, пока не доводил фрагмент

до совершенства. Все варианты оказывались в той же тетради. Часто вперемешку с другими. Окончательные варианты он выписывал в особую тетрадь. У него, таким образом, было две тетради — рабочая и чистовая. Число исписанных рабочих тетрадей быстро росло. Но в чистовой записи прибавлялись медленно. Он был требователен к себе. Почему, он и сам не знал. Он не считал, что занимается литературой. Просто каждый законченный фрагмент приносил ему удовлетворение, казался чем-то вроде драгоценного или полудрагоценного камня, красивой раковины. Собирая (создавая) эти миниатюры, он чувствовал себя коллекционером, пополняющим полки в своих шкафах.

—

Но если спросить его, чего он, собственно, хочет, он не сможет ответить, ибо у него — это одно из его сильнейших доказательств — нет представления о свободе.

Писать о Г., заменяя инициал местоимением третьего лица. И нас будет трое: я, Г. и «он». Постепенно компания расширяется. И при этом сам я будто отодвигаюсь куда-то в сторону. Далеко. Так же, как он смотрит на город, на мир с высоты своей башни, я смотрю на него. Третье лицо — великолепный способ унестись вдаль, отстраниться, почувствовать себя спокойным, неуязвимым.

Продвигаясь в каком-то занятии дальше и дальше, добиваясь успехов, все более важных, значительных, он начинает ощущать свою близость к вершине, к полному успеху, вернее, он уже может отчетливо представить себе этот полный успех, и тогда его охватывает разочарование, потому что он понимает: полный успех не будет полным, он вообще не будет успехом в том единственном смысле, который имеет отношение к его жизни, к его смутной цели, к чему-то, что должно его успокоить, избавить от недовольства собой, оправдать прошлое, примирить с настоящим, подружить с будущим. И тогда он бросает свое дело и начинает другое. Потому что надо же что-то делать. Но и с необъяснимой надеждой, что теперь-то он нашел то, что искал, свой путь, свою цель. Прежние неудачи ничему его не учат. До какого-то времени. А потом он понимает, что дело и успех не спасают. Спасения нет нигде. По крайней мере, так устроен его мир. Он завидует другим. Их цели, занятия, кажутся ему пустышками, иллюзиями. Но он завидует их способности обманываться, серьезно относиться ко всем этим мелочам.

Он кажется себе ловцом журавлей, попавшим на состязание по ловле синиц и узнавшим от орнитолога или фольклориста, заслуживающего доверия, что журавли — мифические птицы.

Он вышел на состязание по стрельбе и обнаружил, что перед каждым участником поставлена мишень, а перед ним — нет. И в руках у него не винтовка, а лук. И вот он натягивает тетиву, чтобы пустить стрелу как можно дальше. В то время как другие вглядываются в мишень, задерживают дыхание и плавно нажимают на спусковой крючок.

Он чувствует себя должником. Не зная при этом, что именно задолжал. Да и заимодавец ему неизвестен.

Есть, конечно, примеры, когда кому-то удавалось свою тоску, беспокойство, слабость превратить в силу. Ведь тоска и беспокойство, даже сама слабость — это энергия. И если ее каким-то способом преобразовать, собрать, направить...

Но он не знает, как это сделать. Вероятно, по лени он пропустил те лекции, где на доске выводились формулы, описывающие весь процесс.

Не быть даже в состоянии найти действенное утешение, действенное, не истинное, ибо такового не существует.

В его душе иногда собирается столько тумана, что он закрывает и самые высокие вершины.

Он мечтает о том, что когда-нибудь, украдкой — для этого, конечно, нужна такая темная ночь, какой еще не было, — он сойдет с линии боя и благодаря своему боевому опыту будет поставлен судьей над борющимися друг с другом противниками.

Дело судьи — такое же скучное, как и те дела, которые он разбирает.

Приятнее (и мудрее) жизнь рантье, не знающего никаких дел. Но где взять капитал?

Общение с себе подобными возможно лишь в одном случае — если общаешься с самим собой.

Что можно сказать о вине такого, что не сказал о ней К.? Вина — это некая внутренняя дрожь, тошнота, ноющая боль.

Здесь имеется в виду вина безымянная, секретная, суть которой держится в тайне.

В математике есть теоремы чистого существования. Доказывается, что существует число, удовлетворяющее определенным условиям. Но что это за число, неизвестно.

Чистая вина, свободная от всякой определенности. Она не может стать предметом какого-то искупительного действия, темой покаянной речи, оправдательного письма.

Кто-то недоволен мной. Его недовольство отличается от того недовольства, каким я сам недоволен собой. Но я не знаю, даже не представляю, кто бы это мог быть. И почему его недовольство так важно для меня. Настолько, что мое собственное недовольство по сравнению с ним кажется чем-то вроде благорасположения к нищему родственнику.

Если бы у меня достало сил рассчитаться с прошлым, покончить с ним, я бы придумал другого Г. — из башни «Гердер».

—

Одна из башен выше другой на этаж. И эта башня должна называться «Гердер». Чудак и маргинал всегда будет ниже человека без странностей. Судя по тому, что я знаю о Гердере, — или по тому, чего я не знаю, чего я о нем не слышал и не читал, — странности у него если и были, то не такие, чтобы мешать карьере.

Чуть ли не каждый день проезжаю мимо стройки, но почему-то ни разу не вышел, чтобы осмотреть ее поближе. Я уже закончил эту стройку в воображении.

Кафка: «Всякий человек своеобразен и должен находить вкус в собственном своеобразии».

Вино, виски, кофе поначалу вызывают отвращение. Потом к ним привыкаешь. И входишь во вкус.

Чтобы продолжить линию Г., придется прочесть биографию Гердера и его письма. Лучше, конечно, обойтись без этого. Но даже у моих бессвязных заметок есть своя логика. Чего я не предполагал.

Гайм о Гердере: «Его физические силы слишком скоро изменили ему. В конце сентября он просидел три часа в набитой людьми комнате, экзаменуя с чрезвычайным умственным напряжением кандидатов на духовные должности. Он возвратился измученным домой и почувствовал новое расстройство здоровья. Вскоре после того, а именно 17 или 18 октября, стало быть, только через месяц после его возвращения в Веймар, он внезапно упал в обморок в нетопленной зале, в которой осматривал устроенную Гёте выставку».

«Все его старые недуги снова обнаружились в сильнейшей степени. Если доктора предписывали какое-нибудь лекарство против одного недуга, то от этого же лекарства усиливались другие недуги. Вследствие нескольких апоплексических ударов силы больного пришли в такой упадок, что никакие лекарства не действовали».

«Человек рожден для общества» — любимый афоризм Гердера.

Если кто-то заявляет, что человек рожден для общества, у меня пропадает всякое желание с ним общаться.

Гердер — человек обширных планов и больших трудов.

Гаман представляется мне кафкианским человеком — любителем посидеть в норе. А Гердер — кем-то вроде скотовода. Или жителя прерий. С громким криком скачущего на коне.

Скорее всего, оба образа неверны. Но разве я забочусь об истине?

Неужели Г. никогда не бродит по берегу реки? Старому городу? Эспланаде? Заходит ли он в кафе? Бары? Что он предпочитает: вино или виски? Неужели минеральную воду? Что он вообще берет от города, кроме внешнего вида зданий? К прохожим на улицах он безразличен. Они его не занимают. Но архитектуру города он знает хорошо. Фасады и башенки в стиле модерн — его друзья.

Его способность очеловечивать неживое.

Я помню один яркий зимний день в Версале, необыкновенно тихий и спокойный. Всё словно смотрело на меня таинственным, вопрошающим взглядом. И я понял, что каждый уголок дворца, каждая колонна, каждое окно обладают духом, непостижимой для меня душой.

—

Гунта училась в Художественной академии. Г., немного смущаясь и не зная, как вести разговор, сказал, что он тоже рисует. Учится рисовать. Любит рисовать. Так, ничего особенного. Речные пейзажи. Улицы.

Гунта удивилась, обрадовалась, заинтересовалась и попросила показать рисунки. Тут Г. понял, что напрасно рассказал ей о них. Он представил, как она придирчиво рассматривает листы, делает замечания... Учительница и ученик. Нет, только не это.

Но прямо отказать он не мог и поэтому ограничился неопределенным обещанием: «как-нибудь». Мысленно говоря: «никогда».

Гунта сказала, что собирается пойти на выставку. В бывшем зале камерной музыки. Инсталляции. Почему бы им не сходить вместе?

Г. знал этот дом на улице Вагнера. Хотя ни разу в нем не бывал. Когда-то здесь проводились концерты. Потом зал и соседние помещения решили реконструировать. Но у Министерства культуры не хватило денег. Сейчас, как объяснила Гунта, зал находится на консервации. Г. не поинтересовался, что это означает. Какая разница. Его это не интересовало. Но сходить куда-то вместе было бы здорово.

Ему не нравилось, как Гунта говорит об искусстве. Слишком учено. Сухо. Но сходить с ней на выставку было бы замечательно. И не только на выставку, а куда угодно.

Они договорились встретиться завтра.

Больше всего Г. понравилось окно в темной комнате. Обе створки были открыты, и весь проем залит золотисто-молочным сиянием. Можно было выглянуть — и ничего не увидеть. Золотистое трехмерное ничто. Перед окном в комнате стояла скамья. Георг и Гунта посидели на ней, всматриваясь в ровный золотой свет. Г. хотелось обнять Гунту. Но он не решился.

На широкой постели. Белой, с позолоченным изголовьем. И все белье из золотистого шелка. Две простыни, две наволочки. Он укрывает себя и Гунту простыней золотистого цвета. Полностью. С головой. Они будто в пещере. В золотом коконе. Он целует ее в губы, а потом — в шею.

Г. выглядит нормальным. Не без странностей, конечно. Но их у него не больше, чем у реального Гамана.

Дэниел поцеловал ее в шею, легко касаясь мест, где под кожей бился пульс.

Неизвестный убийца наводит ужас на лондонцев. Пьет кровь своих жертв, а потом душит их. Инспектор Эбберлайн подозревает молодого немца, приехавшего в Лондон будто бы по делам и задержавшегося в городе на полгода. Подозреваемого зовут Иоганн Георг Гаман. Он живет вместе с лютнистом по имени Х. Вечерами они выступают в салонах: Гаман поет, Х. играет. Инспектор уверен, что это всего лишь прикрытие. Что они делают по ночам? Куда отправляются после концертов? Эбберлайн приказывает установить слежку.

Гаман: «Я чувствовал, как стучит мое сердце, слышал в его глубине голос, воздыхающий и скорбящий, словно голос крови, словно голос убитого брата, жаждущего отомстить за свою кровь».

«Нельзя испытывать чувства живой дружбы без того, чтобы обладать чувственностью, и метафизическая любовь, возможно, еще больше зависит от нервных соков, чем животная — от плоти и крови».

Гантенбайн, выдающий себя за слепого, украдкой читает романы о вампирах. Ему недостаточно аудиокниг. Он хочет видеть буквы.

Прикасаться к бумаге, видеть буквы, только буквы и ничего, кроме букв. Мечта книгочея, каким и был Г.

Пожирателем книг, но не плоти.

—

Мне всегда нравились герои-одиночки.

И сейчас, читая Стокера, я испытываю симпатию к ван Хельсингу, а не к Сьюарду, к Дракуле, а не к Джонатану.

Быть вампиром — значит быть монстром, исключением. Но писать о вампирах — значит быть заодно с издателями и читателями.

Их задержали под каким-то предлогом. Пока они сидели в камере (в разных камерах), в их квартире произвели незаконный обыск. Инспектор Эбберлайн считал, что для борьбы со злом все средства хороши. Он поклялся, что найдет Лондонского вампира. И полагал, что уже близок к цели.

Г. — успешный писатель. Он пишет романы о вампирах и динозаврах. Две его книги экранизированы. Живет в пентхаусе башни «Гердер». У него подружка-француженка. И он думает перебраться в Париж.

В Париже его подружка изменяет ему с другим писателем. Г. в ярости. Он не знает, что выбрать: убить писателя, подружку или себя. Все заканчивается тем, что он убивает главного персонажа своей саги о вампирах. Теперь в ярость приходит издатель. Он надеялся, что сага будет писаться, печататься и покупаться еще лет десять. Но Г. твердо решил изменить свою жизнь. Писать для публики — значит пускать свою жизнь на ветер. Нужно писать для немногих. И в первую очередь — для себя. Ничего не делать специально, чтобы в чем-то заинтересовать читателей, даже немногих. Относиться к немногим как к широкой, очень широкой публике. Той, что читает все написанное Бегбедером. Вообще не думать о читателях. Думать о жизни. Что такое жизнь вообще и твоя жизнь в частности. Откуда и куда. Предельная искренность. Затвориться в пентхаусе. Смотреть на закаты. И писать только то, что имеет отношение к сути дела.

—

Жара спала. Лето приняло свой обычный вид. Можно съездить на море, в Старый город. Или прогуляться по кладбищам.

«Шопенгауэр вел тягостно-веселую жизнь, все время сознавая, что проваливается в ад».

Не помню, чтобы Шопенгауэр развлекался чем-то еще, кроме игры на флейте.

Два-три собеседника, с которыми можно было бы разговаривать по дороге в ад, — большего мне не нужно.

Можно разговаривать и с самим собой. Но иметь пару толковых собеседников предпочтительнее.

Читать книги нужно лишь для того, чтобы найти подходящих спутников, с которыми можно было бы поболтать по дороге в ад.

Когда-то, в отрочестве, юности, жизнь казалась адом. Но потом стала представляться залом ожидания, вернее, зоной duty free, где можно приятно провести время.

Если все сводится к тому, чтобы сделать путь более приятным, менее тягостным, то зачем вообще выходить в дорогу?

Крут и с многим потом и трудом совершается тягостный путь, ведущий к добродетели.

Мы живем «после добродетели».

Я живу после добродетели.

«После добродетели» означает, что все дороги ведут в ад, точнее, в тупик. Еще точнее — в бескрайнее поле. А самым точным выражением было бы — никуда.

Добродетель предполагает некую цель. Быть добродетельным — значит стремиться к этой цели. Но если утрачены все цели, абсолютно все, то чем бы ты стал определять — или с чем бы соизмерять — свою добродетель?

Падая в ад, Шопенгауэр махал руками, кувыркался и строил веселые рожи.

Он летел вдоль стены небоскреба. Из окон ему приветственно махали Кафка, Беккет, Ионеско.

Хемингуэй встал навытяжку и отдал Шопенгауэру честь (на голове у него была белая шапочка с козырьком).

Кто-то отсалютовал двумя выстрелами из винтовки

—

Каждый день — словно музыкальная пьеса. И в каждой пьесе слышишь basso ostinato, органный пункт, обертон смерти.

Мне нравятся писатели, композиторы, которые слышат (и позволяют услышать читателю, слушателю) этот тон. Превращая его в основу, ствол, они сплетают (раскидывают) на нем крону других мотивов.

Иногда выпадают и беззаботные дни. Сквозь листья проглядывает голубое небо. Пробиваются лучи солнца. Однако в глубине прячется чувство, что это иллюзия, ненастоящее, словно блик на воде. В такие дни я как бы покидаю самого себя.

И все же это состояние убивает фантазию. Воображение не движется, сосредоточенное на одном.

Черное пятно мишени. Полное солнечное затмение. Шляпа фокусника, внутри которой ни одного зайца.

Системный сбой. Черный экран. Выберите одну из следующих возможностей: загрузка последней удачной конфигурации (с работоспособными параметрами), возврат к выбору операционной системы.

Проведено полное сканирование. Обнаружен вирус, избавиться от которого невозможно. Рекомендация: продолжать работу в безопасном режиме.

вирус

в моей душе прячется редкий вирус
его не может найти ни Dr.Web ни Kaspersky
он позволяет работать с файлами
но препятствует дефрагментации диска
в результате моя биография
распадается на кластеры
раскиданные по всему полю жизни
я чувствую как процессы
в операционной системе замедляются
и похоже что скоро
она
зависнет

Что там происходит с Гантенбайном? Он все еще проигрывает разные варианты жизни? Примеряет то и это и приходит к выводу, что любой выбор — это выбор между шилом и мылом, кукушкой и ястребом.

Когда откладываешь книгу, время в ней останавливается. Жизнь замирает. Вернувшись, обнаруживаешь, что с персонажем ничего нового не произошло. И это радует.

Выбор Гантенбайна — это выбор между верностью и адюльтером, между верностью одной женщине и другой.

Кафка беспокоился о том, упускает он настоящую жизнь или, наоборот, охраняет ее от искушений обычной жизни.

Вся тревога — от мысли, будто ты мог прожить свою жизнь получше.

Важный вопрос: что делать паре, когда секс становится рутиной? Когда жизнь становится рутиной?

Она годится мне в дочери, и встречаться нам снова бессмысленно.

Секс — начало и основа всего. Плодитесь и размножайтесь. А если не хотите размножаться, просто любите. Занимайтесь любовью два раза в день — утром и вечером. А еще — после обеда. И сразу после полуночи.

Все, что уводит от секса, ведет в никуда.

Как обеспечить доступ к телу в любой миг, когда захочешь, и при этом сохранить ощущение новизны?

Ханы, имевшие сотни наложниц, влюблялись в недоступных женщин.

Что ж полон грусти ум Гирея?

«Бурри пришел, как всегда, играть в шахматы».

Гантенбайн любит шахматы. Конь ходит буквой Г. Почему бы им не провести дружеский турнир, собравшись всем вместе? Роскошный зал во дворце Гирея. На столе — пять серебряных шкатулок. Каждый подходит, выбирает шкатулку, открывает крышку, вынимает шарик из малахита, показывает его остальным. На шарике выгравирована цифра.

Может быть, Гунта Молинаре тоже играет в шахматы? Шесть участников — чтобы никто не оставался свободным.

—

Личная история — автобиография без фактов. (Пессоа.)

Эта книга нравится мне все больше.

Нравится только то, что имеет отношение к тебе самому, в чем ты улавливаешь, замечаешь это отношение, и если поначалу не замечал ничего, что мог бы связать с собой, отнести к себе, то и не находил ничего интересного.

Игра богов. Бесконечные возможности.

Сперва он научился разыгрывать партии, — бессмертные партии, оставшиеся от прежних турниров, — беглым взглядом скользил по шахматным нотам и беззвучно переставлял фигуры на доске.

Со мной приключилось примерно то же, что и с Лужиным. Можно даже сказать — то же самое. Но обошлось это мне дороже. Отец его даже не журил. А мне пришлось выслушать длинную суровую речь. И еще час простоять в углу.

Подумать только. В таком-то возрасте. Я был чересчур послушным. Нежность. Ожидание. Сознание, что не прав. Что заслуживаешь наказания. Какого угодно.

Отец научил меня играть в шахматы. А отчитывала за прогулы мать.

Моя провинность была двойной: я не только прогуливал уроки, но и воровал деньги из отцовского кошелька, чтобы купить шахматы. Пластиковую доску, которую можно было сложить или свернуть в трубочку. И комплект фигур.

Я таскал деньги в течение двух недель. По мелочи. Чтобы отец не заметил. Один раз я залез в кошелек матери. Только один. Я знал, что мать скорее заметит пропажу, чем отец.

Почему я не попросил у них денег? Потому что у нас уже были шахматы. А зачем же я хотел купить новые? Потому что наши шахматы были большие и тяжелые. Их нельзя было спрятать в ранец. Я хотел купить пластиковую доску и легкие пластмассовые фигуры. Уложив их на дно ранца, я делал вид, что иду в школу, а сам спешил в городской парк. Спешил — это неверно. Можно было не торопиться. Игроки там появлялись ближе к полудню. Пару часов я просто бродил по городу. Иногда усаживался на скамье в каком-то сквере, доставал шахматы и играл сам с собой. Один раз ко мне подошел старичок. Я сыграл с ним две партии и обе проиграл. И все равно он похвалил меня. Сказал не «далеко пойдешь», а что-то другое, столь же ободряющее.

Это было просто убежищем. Попыткой бегства. Она не могла удаться. Слишком много нежности, ожидания.

Но разве не это обеспечивает успех? Или закладывает его основу?

Весь мир вдруг потух, как будто повернули выключатель, и только одно, посреди мрака, было ярко освещено, новорожденное чудо, блестящий островок, на котором обречена была сосредоточиться вся его жизнь. Счастье, за которое он уцепился, остановилось; апрельский этот день замер навеки.

И ты с головой окунаешься в это счастье, словно попадаешь в страну, где ты — крупнейший землевладелец.

Для успеха нужна не влюбленность в игру, а уверенность в себе и безжалостное стремление к победе.

Мне нравился лаковый блеск фигур и доски. Их форма. Я их очеловечивал. Почему-то думал, что если буду видеть в них живых существ, то и играть стану лучше. Странно. Я никогда не разговаривал с игрушками. Они мне казались мертвыми. А вот в деревянных шахматных фигурах виделось что-то живое. Теплое. Мои друзья. Тут уж не до расчета вариантов. Настоящий шахматист воспринимает фигуры с точки зрения их функций. Абстрактно. Для меня же они были слишком конкретными. Материальными. Я помнил все царапины, щербинки. И переживал за них. Как будто это были шрамы на моей коже. Нельзя сказать, чтобы я не хотел побеждать. Но это желание было каким-то мечтательным. Я не вкладывался в него полностью.

—

Чуждые торжественности всех миров, безразличные к божественному и презирающие человеческое, мы легкомысленно посвящаем себя ощущению без цели, культивируемому в утонченном эпикуреизме — единственному, что соответствует нашей умственной энергии.

Г. как утонченный эпикуреец. Рисующий пейзажи. Описывающий настроения.

Г. заказал столик в открытом ресторане на берегу, чтобы посмотреть ночной фейерверк. Ракеты взлетали с длинной узкой дамбы, протянувшейся вдоль противоположного берега. Музыку сопровождения заглушала другая музыка: на эстраде играл ансамбль — три музыканта и вокалист. Г. не ожидал, что будет живая музыка. Он предпочел бы вообще смотреть фейерверк в тишине. Мясо в горшочке было так себе. Красное испанское — тоже. Впрочем, Г. не был большим знатоком. Гурманом. По правде, он не находил удовольствия в еде. Такого большого, чтобы ему можно было придавать значение. Считать чем-то важным. Фейерверк тоже оставлял его равнодушным. Это было похоже на цирковое искусство. Г. и в детстве недолюбливал цирк. Но ему почему-то захотелось посмотреть фейерверк. Такой фейерверк устраивали каждый год, в День города. И каждый раз — до этого дня — Г. проводил праздничный вечер дома. Но в этот раз он решил присоединиться к толпе. Ему стало скучно. Одиноко. Обычно он умел справляться с этими чувствами. Отвлекаться. Пережидать. А тут обманул самого себя какими-то хитрыми доводами. И вот он в ресторане. Страдает от холодного ветра. От плохой и чересчур громкой музыки. От присутствия других людей. От разноцветных вспышек, в которых не видит ничего праздничного, увлекательного. Он думает о том, как устраивают фейерверки. Какая нужна для этого аппаратура. Где готовят мастеров фейерверка. Выдают ли диплом. Сколько это стоит. Сколько зарабатывают мастера. Много ли они ездят из города в город, из страны в страну. Наверное, только самые успешные. Как всегда. И везде. Официант спрашивает, не нужно ли ему еще чего-то? Он просит принести счет. Эпикурейца из него не вышло. Он возвращается домой. Видит множество людей, собравшихся на праздник. Некоторые, наверное, приехали из окрестностей. Из маленьких городков. Все это ему чуждо. И люди, и то, что их занимает. Дома он наливает бокал вина, хотя уже выпил достаточно. Больше обычного. И раскрывает книгу. Что ж, эпикурейцы, кажется, предпочитали духовные удовольствия телесным, чувственным. Может, он все же, в каком-то смысле, эпикуреец?

Мы — гиперборейцы.

По ту сторону севера, льда, смерти — наша жизнь, наше счастье.

Г. живет в стороне. И, как ему кажется, далеко в стороне. Но он не по ту сторону, а по эту. Он не знает чувства «возрастающей силы». Он только мечтает о доблестных подвигах. По натуре он романтик и декадент. Больше ценит слабость, чем силу. Мечтает о том, чтобы стать сильным. Но не всерьез. Серьезно он воспринимает лишь слабость.

Гердер — совсем другой. Выше Г. на голову (подобно тому как одна башня выше другой на один этаж).

Семья Гердера занимает пентхаус. Но Гердеры используют крышу не для того, чтобы любоваться закатами. Для загорания. Купания. Летом там устраивают маленький бассейн.

У Гердера есть дочь, которую зовут Гунта. Не очень-то благозвучно — Гунта Гердер. Но так ее назвали. Гердеру (и его жене) не хватило фонетического чутья.

—

Пессоа: «Быть пессимистом — значит воспринимать любое событие как трагическое».

Конечно, когда мы создаем наши творения, у нас нет четкого представления об их ценности. Конечно, мы создаем их для развлечения, и нас невозможно сравнить с заключенным, плетущим что-то из соломы в стремлении забыть о собственной Судьбе, — скорее, с девушкой, забавы ради вышивающей подушку.

Г. не может быть пессимистом, потому что он сам устроил свою жизнь. Судьба не принуждала его. И потому он спокоен. Но похож ли он на вышивальщицу, забавляющуюся своим рукоделием?

Книга записей путешественников, странствующих из ниоткуда в никуда, из ничто в ничто.

«Что мне делать?» или «Зачем мне это делать?» не спрашивают в этих местах.

Гердер ищет выход из обрушившегося туннеля. Суареш (Пессоа) описывает, как выглядит этот завал. А что делает К.? Он задает вопросы, спрашивает: «Как я сюда попал?»

Это какое-то недоразумение. Сейчас прибудет управляющий Железной дорогой и с ним — спасательная команда.

К. стучит металлическим обломком по рельсам.

Он выстукивает S.O.S.

Суареш называет себя фаталистом. Он кичится своим спокойствием. Вы, там, оптимисты и пессимисты, разве вы не знаете, что все покоряется нерушимым законам, все предрешено? Ход пьесы прописан да самых мелких жестов. До тихого зевка и громкого вопля.

Личная история не может быть фаталистической. Фаталистическая история пишется со стороны. А личная — изнутри. Другое дело, что фатализм Суареша выдуманный, как и его спокойствие.

По правде, мне все равно, погиб я или нет. Само понятие «гибели» потеряло смысл. А с ним — потеряла смысл и личная история. Я хотел сделать из себя Суареша, меланхолического фаталиста, а когда мне это удалось, принялся сожалеть об успехе.

Г. представлялся самому себе загадкой. Загадками были для него и другие люди. Но он понимал, что разгадать их ему не под силу. А вот относительно себя он надеялся кое-что выяснить. Кое-что, а может, и все. К другим людям в мечты и память не заберешься. Но свои-то грезы и воспоминания знаешь хорошо. Так что же мешает докопаться до сути? До того глубинного слоя почвы, откуда все это произрастает? Проследить до конца корней. Кое-что выкорчевать. Кое-что оставить, чтобы ухаживать и растить.

Пока у человека сохраняется интерес к такого рода исследованию, он имеет «личную историю». Потому что личная история — это история таких поисков. А когда он отказывается от них, теряет к ним интерес, теряет надежду довести их до конца, получить какой-то важный результат, чтобы изменить что-то в своей жизни (а это и есть главная цель исследований), тогда он теряет и личную историю. Теперь его жизнь — это просто жизнь, составленная из фактов, чаще всего мелких. Личная история, незавершенная, свернувшая не туда, на любом своем этапе превосходит по значительности эту груду фактов, даже если среди них есть выдающиеся.

Если обычно у нас, в общем-то, хватает такта, чтобы ничего о себе не выяснять, теперь мы настолько ослабели, что начинаем искать ясности — разумеется, как будто просто так, в шутку, как старательно ловят маленьких детей, которые убегают от нас медленными маленькими шажками. Мы лезем куда-то, как кроты, и вот, совершенно

черные, с бархатной шерсткой, вылезаем из своих осыпавшихся песчаных нор, высунув вверх свои бедные красные лапки, вызывающие нежную жалость.

Крот слеп к внешнему, наземному миру. Весь его чувствительный аппарат приспособлен к тому, чтобы разбираться в мире подземном.

Подземная тишина.

Г. устроил себе нору вдали от города. Он думал, что окажется в полной тишине. Не тут-то было. В школе Г. учился посредственно — а то бы он знал, что земля проводит звук лучше воздуха. Под землей Г. слышал, как движутся машины и поезда далеко от его жилища. Он был в курсе всех строительных и ремонтных работ в округе. Ему было известно, как идут дела на лесозаготовках, в песчаных карьерах и каменоломнях. Иногда ему казалось, что он слышит, как отец стучит пальцами по столу в гостиной, дожидаясь, когда он вернется с работы. Отец полагал, что Г. все еще служит в конторе. Он ошибался — как и во всем, что касалось Г. Годы шли, но Г. так и не решился сообщить отцу о его ошибке.

Бывают минуты, когда приходится делать усилие, чтобы подумать о себе, своей личной истории. И обычно это усилие ни к чему не приводит. Все личное перестает быть интересным. Интерес направляется на что-то другое. Спешит. Удаляется, не простившись. И ты остаешься без интереса к самому себе. Потерянный. Брошенный. В одиночестве, которое превосходит все другие одиночества своей пустотой.

Утром, закончив «Приговор», Кафка похвастался перед служанкой: «А я всю ночь писал». После этого он отправился в комнату сестер и прочитал им написанное. Жаль, он не отмечает, какое впечатление рассказ произвел на сестер. Что они сказали? Наверное, ничего разочаровывающего. Потому что, вернувшись к себе, Кафка снова лег в постель и пролежал до обеда, не сомкнув глаз, полный радостных мыслей и надежд.

—

Г. было восемнадцать, когда отец женился во второй раз. Гунта работала у него секретарем. Красивая блондинка. С длинными волосами. Полная. Но не слишком. Нормальная полнота. Женственная полнота. В противоположность матери Г., которая была худой и стриглась коротко.

Гунта была на семь лет старше Г. (и моложе его отца на двадцать). Г. казалось, что они с ней почти ровесники. И он не мог простить себе чувство симпатии, которое она у него вызывала. Почему он не может ненавидеть ее? Ведь она заняла место матери.

В первый месяц он думал, что не сможет жить без матери. Он не мог есть, не мог спать. Все случилось так неожиданно. Это была первая смерть, которая задела его самого. Первая смерть человека, которого он знал. И этим человеком была его мать.

Несчастья можно было бы избежать, не будь отец таким самоуверенным, будь он внимательнее. Если бы он оценил ситуацию быстрее. Если бы действовал правильно.

Отец и до несчастного случая подолгу задерживался на работе. А потом это стало правилом. Они почти не разговаривали. Г. решил вообще с ним не говорить. Но ему не удавалось отмалчиваться, когда отец к нему обращался. Он зависел от отца. Жил в его квартире, на его деньги. Оставалось еще три года до того, как ему исполнится восемнадцать. Но он уже знал, что уйдет от отца, как только сможет. Найдет работу, снимет комнату. Может быть, уедет в другой город, другую страну.

Отец сообщил ему, что женится, за месяц до свадьбы. В июне Г. как раз заканчивал школу. Отец уже присмотрел для него квартиру. Там он будет жить, пока не окончит университет. Все было спланировано: Г. поступает в университет на юридический, через семь лет заканчивает магистратуру и приступает к работе. Начинает самостоятельную жизнь.

И тут Г. проявил слабость. Он не подозревал, насколько он слаб. Ему казалось, что он полон отваги, решимости. Он был уверен, что начать самостоятельную жизнь за границей — пустяки. Но оказалось, что ему страшно даже попробовать. Неизвестно, чего он боялся больше — нарушить планы отца или оказаться одному, без поддержки.

Накануне свадьбы он переехал в квартиру, которую снял для него отец.

Кабинет сменился. Но отец остался на той же должности. Успешный чиновник. Состоятельный человек. Он по-прежнему часто задерживался на работе.

Г. и Гунта ходили вместе в театр, на кинофестивали, концерты, ярмарки. В День города они летали на воздушном шаре. Тогда, правда, с ними был и отец Г.

Иногда они вместе обедали. Г. жил в центре, недалеко от здания, где работала Гунта. Это был офис какой-то небольшой фирмы. Отец хотел, чтобы она стала домохозяйкой. Но ей эта идея не понравилась.

С тех пор, как он переселился, Г. ни разу не был в башне. День рождения отца они отмечали в ресторане. Г. по-прежнему считал отца виновным в смерти матери. Вместе с Гунтой они ходили на ее могилу.

Однажды Гунта позвонила и сказала, что сегодня заканчивает пораньше и могла бы зайти к нему. До этого она никогда не была у Г. Он не приглашал ее к себе. Г. смутился, сказал, что у него беспорядок, придумывал еще какие-то предлоги. Но Гунта все же пришла.

Она с интересом оглядела его квартиру. Спросила, бывают ли у него друзья, знакомые, девушки.

Вот так это и началось.

Она ушла от него через три часа. Хотя выставка, на которой они собирались побывать, закрылась раньше. Они уже одевались, когда отец позвонил Гунте, чтобы спросить, как дела. Она ответила: «Стоило поглядеть. Мы сейчас в кафе».

Теперь они встречались у Г. при каждом удобном случае. А случаев таких было достаточно. Отец уже привык к тому, что они ходят куда-то вместе. Так, по крайней мере, думал Г. И так думала Гунта. Конечно, им приходилось соблюдать осторожность. Отец мог внезапно появиться там, куда, по словам Гунты, она отправилась с Г. Но такого до сих пор не случалось. Когда отец хотел к ним присоединиться, он предварительно звонил. Звонок обычно заставал их в постели, и тогда они быстренько собирались и мчались туда, где должны были быть. Один раз они опоздали. Но им удалось вывернуться.

Девичья фамилия Гунты была Молинаре. Г. так мысленно и звал ее: Гунта Молинаре. Ему нравилось это сочетание. И хотя у нее теперь была другая фамилия, — такая же, как у него, — он почти не вспоминал об этом.

Однажды, когда они лежали в постели, он предложил ей развестись и выйти за него. Гунта не рассмеялась, а нежно поцеловала его в щеку. И сказала, что это невозможно. Ведь она на семь лет старше.

А потом случилось то, что и должно было случиться, должно было — если верить, что у всего хорошего век недолог. Отец пригласил их съездить в охотничий домик. Это был выходной. Гунта сидела впереди, рядом с мужем, а Г. — позади.

Они переехали реку и покатили дальше. Отец рассказывал что-то о своей работе, а потом стал расспрашивать их о выставках, на которых они побывали, о спектаклях,

которые они посмотрели. Гунта первая почувствовала неладное и, обернувшись, серьезно посмотрела на Г. Заметив это, отец перешел к делу.

Он знает, чем они занимаются. Он знает: его вторая жена не лучше той, первой, которой он помог упасть с обрыва. Она тоже нашла себе другого, помоложе. Хотя и не родственника. Остановите! Я хочу выйти. Нет уж. Остановимся, когда я этого захочу.

Они мчатся по широкой автостраде. Никаких светофоров. Скорость за сто. И человек за рулем, очевидно, безумен.

Водитель жмет на газ. Машина врезается в ограждение (грузовик, опору дорожной развязки). Подушки безопасности не спасают. Автомобиль сминается, взлетает на воздух, переворачивается, вспыхивает.

Плохой день для медиков, полиции и статистики ДТП.

—

Если я пускаю мысли на самотек, они текут, хотя и по разным руслам, но всегда в одном направлении и впадают в одно и то же море. Или исчезают в песке.

Нужно немногое — уверенность, что тот способ, каким ты проживаешь свою жизнь, — наилучший. Не только для тебя. Каждый должен был бы стремиться жить так, как живешь ты. Дело, которым ты занимаешься, наиважнейшее. Уверься в этом, и у тебя появятся силы, а у твоей жизни — смысл.

Что бы я ни делал, будь то самое простое и самое естественное, во всем этом я чувствую себя незащищенным, причем до такой степени — у меня по этой части взгляд острый, — в какой это не бывает ни у кого.

Если бы я умел спасаться, как летучая мышь, копая норы, я копал бы норы.

Играя в шахматы, К. первым делом прятал своего короля. Он рокировал уже на четвертом ходу, а затем окружал «замок» всеми фигурами. После этого он ходил только пешками ферзевого фланга, жертвуя их, чтобы отвлечь силы противника. Напрасно Г. советовал ему играть смелее — занимать центр, развивать фигуры. «Лучшая защита — нападение, — говорил он. — Это правило всех великих полководцев». Выслушав наставление, К., случалось, делал два-три активных хода, но затем возвращался к привычному плану. «Ну хорошо, — пытался зайти с другой стороны Г. — Допустим, твоя цель — сделать как можно больше ходов до того, как ты получишь мат. Этой цели можно добиваться различными средствами. И те, которые применяешь ты, старина, далеко не самые лучшие». К. обычно отмалчивался. Но однажды он ответил, и ответ его был неожиданным. «Моя цель, — сказал он, — построить замок и жить в нем, ни о чем не заботясь. Твоя цель, как я понимаю, иная: ты хочешь у меня выиграть. Наши цели находятся как бы в различных измерениях. Поэтому моя стратегия приводит к замечательному результату: каждый из нас получает то, к чему он стремится. Мы оба оказываемся в выигрыше, мой друг!»

Поскольку я не ощущаю в себе ничего национального, этнического, и родной язык для меня — просто язык, которым я владею лучше других языков, меня огорчает, когда Кафка пишет о еврейских делах, о чем-то, связанном с «еврейством». Я хотел бы видеть в нем человека без корней, без родины, без народа, без политических и общественных интересов. Такому «абсолютному» Кафке разрешается интересоваться только литературой и философией. И еще он может писать письма двум-трем друзьям.

Кафке разрешается упорно думать об отношениях с отцом и некоторыми другими близкими родственниками. Ему позволяется также страдать от разнообразных шумов, включая едва заметные, — например, от стука мышиных лапок по ночам и шороха, который производят бабочки и древоточцы.

Для меня загадка, почему Кафка продолжал жить в семье, хотя мог снять где-то комнату потише. Тогда он избавился бы также от необходимости видеть отца и от его поучений.

Кафка: «Непосредственно доверен мне был только голос, сказавший, что все остальное — шелуха».

Верить в голос и заботиться только о том, чтобы сказанное им не превратилось в болтовню. Возможна и другая точка зрения: болтовня начинается там, где ты подменяешь доверенный тебе голос своим, врожденным.

Один голос получаешь с рождением, другой тебе доверяют (может случиться так, что доверят, а может и не случиться).

Но все это пустые метафоры. За голос нужно бороться. Его приходится вырабатывать. Студенты, проходящие военную подготовку, вырабатывают «командирский голос». Без такого голоса, какой ты лейтенант? И без «авторского голоса», какой ты автор?

Жить так, будто к тебе в любой момент может явиться Командор и потребовать ответа.

Странное настроение для человека вроде меня.

Кто здесь думает сделаться автором? Оглянись — и никого не увидишь.

—

Г. рисует портрет Гердера. Выдуманного им жителя соседней башни. Расстояние между башнями невелико. Но какая разница между двумя Г.!

Вместо отца-инвалида, о котором нужно заботиться, у Гердера — жена и дети. О них тоже нужно заботиться, но это забота иного рода. Гердер успевает все — зарабатывать деньги, писать книги, проводить время с женой и детьми. Ни одной минуты, потраченной на пустые грезы.

Мать Гердера умерла (как и мать Г.). Но он не испытывает по этому поводу постоянной скорби. Он скорбит лишь два раза в год — когда посещает ее могилу. Нормальное, здоровое отношение к смерти близкого человека. Почему бы Г. не последовать его примеру? Иногда Г. думает, что лучше было бы согласиться на просьбу отца и помочь ему уйти из жизни, сделавшейся для него мучительной. И перестать постоянно думать о матери. Отец и мать — словно два якоря, которые удерживают его корабль на месте.

Ветер стих, и парус лёг.

Говорить, чтобы не слышать молчания темных вод.

Я выдумываю Г., живущего в башне «Гаман», а тот, в свою очередь, выдумывает Гердера, живущего в башне «Гердер». Может случиться, что Гердер выдумает еще какого-то типа, живущего поблизости от меня.

Речь, приближающая говорящего к себе, и речь, удаляющая говорящего от себя. Вроде пассатного и встречного экваториального течения.

Все океанические течения рано или поздно поворачивают в обратную сторону.

Гердер. Среднего роста. Коренастый. С широкими плечами. Ноги чуть коротковаты, но крепкие. Пальцы волосатые. Как и все тело. Крив на один глаз (детская травма). Большая родинка над левым уголком рта. Черноволос. Без признаков лысины. Густая черная борода. Аккуратно подстриженная. Усы тоже черные с рыжеватым оттенком. Говорит энергично. Отчетливо. Ногти стрижет коротко. Привычка играть авторучкой или карандашом. Иногда теребит левую мочку уха. Из крепких напитков предпочитает виски. Из вин — австралийское белое. Водит черный лексус. До этого у него был серебристый ниссан. Один раз имел дело с дорожной полицией — небольшой инцидент на дороге. Женат на преподавательнице испанского языка. Две дочери. Одна уже совершеннолетняя. Учится в Германии. Гердер занимает сразу две должности — одну в государственной, другую — в частной структуре. Конфликт интересов в данном случае исключен. Кроме того, Гердер пишет статьи и книги. Получает гонорары. Предпочитает синие костюмы. Носит их с коричневыми туфлями. Перстень. Дорогие часы.

Однажды Гердер узнает, что серьезно болен. Это еще не приговор, но теперь он живет с мыслью о близкой смерти. Мысль о смерти сделалась ему близка. Он почувствовал близость смерти. Раньше она словно обитала за Полярным кругом, а теперь переселилась в его тело. Мужественный ли человек Гердер? Как он поведет себя, заполучив такую соседку? Гердер решает написать «книгу жизни». Не книгу жизни, а книгу своей жизни. Какая ирония. Думать о книге жизни ввиду приближающейся смерти. Что тут имеется в виду? Он не собирается описывать свою жизнь. Гердер хочет выдумать персонажа и приписать ему свою растерянность. Но при этом обойтись без автобиографических подробностей. Единственное, что он берет из своей жизни, — место проживания своего героя. Он поселяет этого человека в соседней башне «Гаман» и называет его тоже Гаманом, хотя чаще пользуется одним инициалом — Г.

—

Гаман одевается в синий костюм Гердера. Он чувствует себя Гердером. Который, между прочим, на голову выше его (да, он не среднего роста, а, скорее высокого). Гаману интересно воображать себя другим человеком. Ему никогда не приходила мысль писать о себе. Он предпочитал пейзажные зарисовки. И теперь перед ним раскинулось широкое поле. Дальняя дорога. Писать о Гердере можно долго. Написать о нем можно много. Он того заслуживает. Полная противоположность Гаману. Низкорослому, неустроенному. Неудачник с рождения. Телесно-то он здоров. Тело его было построено в материнской утробе правильно, без дефектов. Но психика его не в порядке. Душе его не хватает опоры. Она как бы без внутреннего скелета. А душа должна иметь скелет, как и тело. Душа Гамана, скорее, имеет экзоскелет. Что-то вроде панциря. И не как у черепахи, а такой, какой имеют жуки. То есть тонкий и хрупкий. По сути, он ни от чего не защищает. Но это единственное, что есть у Гамана для обустройства в этом мире. Для адаптации к нему. Что означает: возможность выжить. Или просто продолжать свою бесцельную жизнь. Не таков Гердер. В самом его имени слышится что-то твердое, прочное, самостоятельное. Две гласные «а» в имени «Гаман» имеют в себе что-то женское, мягкое, полое. А два «р» в слове «Гердер» напоминают тигриный рык, даже если произносятся мягко. «Гердер» — мужское имя, а «Гаман» — женское, если не полностью, то наполовину. Гаман — гермафродит. И вот он пробует вообразить себя настоящим мужчиной. Пусть не солдатом, не спортсменом, не бизнесменом, а всего лишь чиновником и писателем. Например, юристом и писателем. Гаман покупает себе синий костюм. Дорогие часы. Перстень с аквамарином. Дюжину галстуков, однотонных и в полоску. Туфли. Меняет автомобиль (форд на лексус). Читает учебники по гражданскому и бизнес-праву. Гердер играет с

коллегами и знакомыми в гольф и теннис. Гаман изучает правила игры. Берет уроки. Постепенно он все больше ощущает себя Гердером. Остается только воспроизвести его мысли, овладеть его языком. А это означает, что Гаман должен написать книгу за Гердера. Для начала нужно выбрать жанр. Гаман предполагает, что Гердер следует Джону Гришему и пишет юридические триллеры. Именно в таком жанре должен писать успешный, энергичный юрист. Книги Гердера переводятся на все европейские языки. У него немало поклонников и в Азии, не говоря уже об Америке. Доходы от книг намного превышают те суммы, которые он получает на службе. Поэтому однажды Гердер решает, что сможет жить только на деньги от продажи своих романов. Он покупает особняк. Где-то на берегу залива. У него есть катер. В гараже — три машины: его собственная, жены и старшей дочери. Обе дочери пока живут с ним. Все идет хорошо. Но случается так, что сюжет последнего его романа очень точно совпадает с действительностью. Гердер об этом не подозревает. Он описывает государственную аферу, не догадываясь, насколько близко вымышленный сюжет совпадает с тем, что происходит в реальности. Махинаторы встревожены. Откуда утечка? И что делать теперь, когда книга опубликована? Если бы им стало известно об этом заранее! Они позаботились бы, чтобы рукопись не попала в типографию. И поговорили бы (весьма убедительно) с автором. Поговорить с ним нужно так и так. Необходимо выяснить, что еще ему известно. Откуда у него эта информация? Кто, кроме него, в курсе происходящего?

Со зрением у Гердера все в порядке. Откуда взялась эта выдумка о детской травме?

И Гаман, и Гердер, выдумывая своих персонажей, действуют в том же духе, что и создатель Гантенбайна. Не помню уж, для чего тот выдумал Гантенбайна, а вдобавок и его двойника. То ли он хотел прожить свои непрожитые жизни, то ли — показать, что все дорожки ведут к одному оврагу.

—

Помимо отца, у Кафки есть еще множество других врагов — к ним относятся все, кто (и всё, что) производит хотя бы малейший шум.

Первыми в этом списке идут дети. Они всегда тут как тут — под окном. И всегда кричат. (Под окном часто также собираются служащие, возвращающиеся с какого-то собрания, и другие охотники поболтать.)

Затем идут любители бренчать на фортепьяно, петь и насвистывать. Они могут располагаться этажом (этажами) выше (ниже) или по другую сторону улицы — не имеет значения. Играют они плохо, и голоса у них отвратительные.

На третьем месте — разного рода ремесленники и рабочие: жестянщики, печники, заготовители дров. Некоторые, производя, так сказать, профессиональный шум, сопровождают его еще пением или свистом.

Четвертое место делят случайно оказавшаяся поблизости железнодорожная станция, где по ночам грузят бревна, и конный ворот, расположенный примерно в ста метрах (лошади могут выполнять свою работу в тишине, но когда запрягают волов, то не обойтись без криков и понуканий).

И, наконец, — мыши. Шорох, производимый этими маленькими существами, может заставить бодрствовать до утра.

Завидую — но сам не знаю, завидую ли — тем, чью биографию можно написать, или тем, кто может написать собственную. В этих бессвязных впечатлениях я и не ищу связи, рассказывая беспристрастно собственную биографию, лишенную фактов, свою

историю жизни, лишенную жизни. Это моя Исповедь и, если я в ней ничего не говорю, значит, рассказывать нечего.

Однажды, в ранней юности, я вдруг сообразил, что, обращаясь ко мне, мать использует только императивы. Либо прямые, либо косвенные, выраженные вопросом. Спрашивая о чем-то, человек требует ответа. Поэтому все сводилось к требованиям, приказаниям. И еще были оценки. Но никогда не было простых нарративов, фактических утверждений. Мы ничего не рассказывали друг другу. Я охотно бы что-то ей рассказал, но раз за разом убеждался, что лучше этого не делать. Сказанное каким-то удивительным образом оборачивалось против меня — давало ей повод выдвинуть новое требование, потребовать, чтобы я что-то делал или чего-то не делал. Постепенно у меня пропала всякая охота с ней говорить. Если учесть, что отец был вообще молчалив (молчун, как его называла бабушка), то понятно, почему в доме слышался обычно лишь голос матери, и почему общение было чисто инструментальным, то есть сводилось к тому, чтобы как-то повлиять на мое поведение, вкусы, выбор.

Молчуньей была и бабушка.

Кафка — Броду: «Для меня эта пьеса значит много, она мне очень близка, задевает меня самым ужасным образом».

Силу приписываешь себе, а слабость — своему детству.
«Мальчик — отец мужчины».

И при этом все происходит в такой тишине, которая показалась бы Кафке раем.

Та относительно отшельническая, вне мира, жизнь, которую я здесь веду, сама по себе не хуже других, жаловаться нет причин; но если туда, во внемирность, доносятся голоса мира, точно голоса осквернителей гробниц, я срываюсь и буквально бьюсь лбом о слегка лишь притворенную дверь безумия.

Собственно, мне живется не так уж плохо. Недовольство связано все с тем же детским убеждением, будто мне предстоит какое-то великое дело. Большое дело. На которое у меня не хватает сил. И в этой нехватке будто бы виноват я сам. Но это убеждение вложено в меня матерью. Так же, как и другое — что мне это не по силам.

Почему же, сознавая все это, я по-прежнему чувствую вину и какое-то тоскливое смятение — как будто не решил задачу, не исполнил заданный урок?

Никто не предлагал мне никакой задачи. Никто не ждет от меня никаких дел, ни больших, ни малых (исключая служебные). Посмотреть со стороны — так я добился кое-чего в жизни, достижений у меня побольше, чем у многих. Живу припеваючи. Разрешите представиться — Иоганн Гердер. Успешный человек.

—

Пример Кафки показывает, что есть два вида литературы: письмо как проект по спасению души и как то, что не имеет отношения к этой цели.

Смерть стоит перед нашими глазами примерно так же, как картина с изображением битвы Александра на стене в школьном классе. Задача в том, чтобы нашими делами еще в этой жизни затемнить или совсем стереть эту картину.

Когда-то я досадовал на холодность всего, что написали знаменитые авторы. Я искал в литературе той же эмоциональности, что и в музыке.

Жизнь по большей части не является азартной игрой, но природа взаимодействия — игровая.

Соблюдать правила социальной игры, прилаживаться к другим, говорить и действовать, сообразовываясь с окружающими, ролью, маской и т. д., — мне это казалось предательством по отношению к себе. Уж лучше сидеть в пустом баре, когда все остальные сидят в театре. И разговаривать с самим собой.

Какого рода будет русский перевод слова soliloquy, женского или мужского?
Чем вы занимаетесь на досуге? — Пишу солилоквий.

—

Soliloquy. Возможно, окончание (мужское, женское) зависит от того, имеется ли в виду литературное сочинение или речь в пьесе.

На самом деле Гердер и Гаман — реальные, живые люди. И один действительно живет в башне «Гердер», а другой — в башне «Гаман». Но они не догадываются об этом. Каждый считает другого своей выдумкой, вымышленным персонажем.

Гердер — Гаману. Дорогой Гаман!

Не могу сказать, что ты плоть от плоти моей, но спешу предупредить, что ты — мысль от мысли моей. Может быть, ты не просто мысль. Может быть, ты существуешь в некотором специально для этого отведенном измерении. Человек, много времени проводящий с литературными персонажами, постепенно уверяется, что они имеют независимое существование. Для заядлого книгочея — это почти аксиома, наглядный факт. Но и писатели, создающие этих самых персонажей, часто жалуются на то (или хвалятся тем), что их герои начинают действовать и говорить самостоятельно. Так вот, ты — один из этих наполовину реальных, наполовину вымышленных существ. Там, где ты обитаешь, тебе могут встретиться и другие лица того же рода. Надеюсь, вы не скучаете.

Я пишу тебе для того, чтобы объяснить, зачем я тебя выдумал, или, говоря по-другому (что будет, однако, равнозначно сказанному), создал. Реальные, невыдуманные люди часто задаются вопросом, зачем их втолкнули, вбросили, отправили пинком в этом мир. Думаю, и ты — вместе с твоими друзьями — задаешь себе, им и кому-то неизвестному подобный вопрос. Реальные люди редко получают осмысленный ответ, даже если найдут тех, кто согласится им ответить. Но в твоем (нашем) случае, ответ будет ясным и точным, как правила умножения. Потому что я и есть тот неизвестный, кто несет ответственность за твое существование. (Поскольку «ответственность» имеет тот же корень, что и «ответ», естественно было бы ожидать, что всякий, ответственный за чье-либо существование, отчитывается перед ним по первому требованию, то есть отвечает по первому же запросу, объясняя зачем, для чего, ради какой цели, задачи он (или она) его создал (создала). Мы знаем, однако, что это не так. По крайней мере, те, кто живет в реальном, физическом мире, считают большой удачей, если им удается получить честный и четкий ответ. Но у меня нет причин скрывать мотив, которому ты обязан своим существованием. И я тороплюсь рассказать о нем, по возможности, ясно и коротко.)

Так вот, я придумал тебя, дорогой Гаман, в трудный, тяжелый час своей жизни. Многие (писатели и не-писатели) дают жизнь другим существам необдуманно, то есть

не задумываясь над тем, что они делают. Поэтому и вразумительного ответа (зачем, для чего) от них не дождешься. Но я хорошо сознавал, что делаю и зачем. Я создал тебя по необходимости. Это не было свободной игрой творческих сил, какой предаются благополучные писатели и не-писатели. Это был акт отчаяния.

—

Я потерял интерес к Гантенбайну и его истории. Эта история написана в том же духе, что и «Отчаяние». На публику.

Беллетрист — человек, с которым приятно поболтать в зале ожидания или самолете.

Почему Г. не делает отцу смертельную инъекцию? Или не дает большую дозу снотворного? Уголовное преследование ему не грозит. И все же он не решается. Напротив — решительно отказывается это сделать. Почему? Отец его был тираном. При отце Г. не мог ни думать, ни говорить. В юности Г. сознательно желал ему смерти. Там, в Хорватии, он представлял, как столкнет отца с обрыва. Представлял отчетливо. Отец увлеченно снимает озеро. Г. заходит сзади и, разбежавшись, толкает его вперед. Крик. Шум падения. Тишина. Г. осторожно подходит к обрыву и смотрит вниз. Держась за ветку, он наклоняется и видит тело отца. Камера лежит неподалеку.

Г. оставляет отцу жизнь из мести.

Отца Гамана зовут Герман.

Герман перенес два инсульта и не в состоянии говорить.

Гаман же произносит у его постели длинные речи. Полные иронии. Язвительные. Притворно сочувственные. Отец может закрыть глаза, но не может заткнуть себе уши. Гаман описывает ему историю их отношений. Припоминает разные мелочи. Мелкими эти слова, поступки казались отцу. Но для ребенка это были вовсе не мелочи. У него отличная память. Недаром он был первым учеником. Иногда он добавляет и что-то выдуманное. Отец все равно не может отличить выдумку от правды. Он и раньше, когда был здоров, не помнил многое из того, что случалось между ними. А сейчас и подавно. Поэтому Г. может выдумывать бесконечно. И он это делает, наслаждаясь своей властью. Теперь он — повелитель. Раньше он был ничем. *Крохотным, прозрачно-студенистым комочком.* Но получив власть над отцом, он стал таким же, как был отец до того, как с ним приключилось несчастье, — цельным и ясным, как закаленное стекло. Или драгоценный кристалл.

А. не мог ни дружно жить, ни разойтись с Г., поэтому он застрелился; он думал, что таким образом сможет соединить несоединимое, и именно «уединиться в беседке» с самим собой.

Г. иногда думал о самоубийстве. Он наказал бы этим отца и сбежал бы из-под его надзора. Нет, не то чтобы сбежал. Г. не верил в посмертную жизнь. Просто он положил бы конец этим невыносимым для него отношениям. Но его останавливала мысль о матери. Мать тогда еще была жива.

Любимой мечтой Г. была жизнь на острове вдвоем с матерью. Маленький деревянный домик на высоких сваях. Голубая лагуна. Белый песок. Пальмы. И ни одного человека.

Его привязанность к матери столь же сильна, как и ненависть к отцу.

Однако, если верить психологам, такие сильные чувства амбивалентны. Что означает: в его ненависти скрыта любовь, а в любви — ненависть.

Гаман — Гердеру. Дорогой Гердер!

Кем бы ты ни был — хирургом, юристом, политиком, менеджером, — ты мне нравишься. Впрочем, это не удивительно: ведь ты — мое создание. Я выдумал тебя, чтобы иметь рядом хотя бы одного человека, который бы мне нравился. По натуре я мизантроп. Не знаю, что сформировало мой характер. Не было никаких заметных (сохранившихся в памяти) причин, чтобы я начал сторониться людей. Так уж сложилось. Я много думал над этим и не нашел ничего, что объясняло бы мой характер, мою нелюбовь к общению. Это как любовь к сладкому и кислому. Я пытался изменить свой характер, но убедился, что ничего хорошего не выйдет, если будешь упрямиться и поступать наперекор своему вкусу. И я решил принять себя таким, каков я есть. Нелюдим? Что ж, поможем ему устроить свою жизнь так, чтобы он мог за день не произнести ни слова. Чтобы он мог прожить сутки, не увидев ни одного человека. И мне это удалось. Я живу так, как того требует мой характер. Ничто, однако, в моей природе не противится разговору с вымышленным собеседником. Тихому разговору. В молчании. Хотя и не бессловесному. Каждый день я гляжу на соседний жилой корпус. При этом вспоминаю иногда, что назван он в честь Иоганна Готфрида Гердера, жившего в этих местах. Гердера, который ходил по этому берегу. Можно ли увидеть одну и ту же реку дважды? Гердер был философом и размышлял над подобными вопросами. Пространно и плодотворно. В отличие от Гамана, он был человеком самоуверенным, и это помогало ему прокладывать дорогу в жизни. Гаман же рано сошел на обочину. Еще в университете, из которого он вышел, так и не получив диплом. Гердер, окончив университет, занялся преподаванием — успешно. Сочинительством — успешно. Церковной деятельностью — успешно. Семейными и домашними делами — успешно. Он был успешным человеком. Чего не скажешь о Гамане. То есть обо мне. Здесь нет никакой путаницы. Случайное совпадение — я ношу ту же фамилию, что и Иоганн Георг Гаман. И живу в башне, названной его именем. Соседняя башня называется «Гердер». Но, насколько мне известно, в ней нет жильца по фамилии Гердер. Это оставляет место для вымышленного персонажа. Я поселяю его по соседству, в башне «Гердер», на том же этаже, в тридцати метрах от себя. Теперь мне есть с кем поговорить.

—

Случайная книга. Случайная, как моя жизнь. Я всегда хотел сделать из своей жизни что-то иное — неслучайное, оправданное, стоящее на каком-то основании, уходящее ввысь к какой-то цели.

Бедственности моего положения не ухудшают эти соединенные по моей воле слова, с помощью которых я складываю понемногу свою книгу случайных размышлений.

Лучшего эпиграфа не найти (если бы эти записки действительно были книгой).

С одной стороны, все в моей жизни, вроде бы, закономерно: природные задатки (незадатки) и впечатления детства определили все последующее. С другой, в этой закономерности нет никакого смысла. А я искал осмысленного основания. Целесообразной необходимости.

Вот моя беда: я с детства привык смотреть на свою жизнь как бы с высоты. Охватывать ее «единым взглядом». Помнить начало и представлять конец. Я не мог жить настоящим. Все настоящее лежало в тени конца. Вынести такую картину можно было, только если жизнь представала чем-то вроде литературной истории, движением к какой-то цели и достижением этой цели. Или крахом, трагической неудачей. В отсутствие же того и другого — и достижения, и неудачи в достижении «великой

цели» — жизнь оказывалась лишенной всякого смысла. Мелкие радости, повседневные заботы ничего не меняли. Они не могли сделать жизнь осмысленной.

Другие, похоже, смотрят на свою жизнь с точки пониже. Не охватывая ее целиком. Их жизнь — это процесс. Течение. И они чувствуют себя пловцами. А не гидрологами, с высоты наблюдающими за течением.

—

У Набокова есть роман «Подвиг». Название, я уверен, так же обманчиво, как и «Отчаяние».

Подвигом было бы написать роман о двух Г. Ироничный. Написать всерьез не получится, потому что я заранее был бы уверен, что серьезного романа мне не написать.

Как добраться до этической стадии жизни.

Жить всерьез, ощущая в себе твердое основание, кристаллическую платформу.

Возможно, я всегда ставил себе ошибочную цель. И делаю это сейчас. Когда мечтаю о цельной жизни, твердом основании. Правильное решение заключалось бы в том, чтобы, не обращая внимания на «личное» (внутренний раздор), делать какое-то дело, например, писать стихи или романы. Тут внутреннее смятение было бы кстати. Что доказывают биографии многих писателей. Почему же я не мог до сих пор обратить свою разделенность себе на пользу? Потому что слишком заботился о своем внутреннем состоянии, слишком много думал о жизни в целом.

Снова и снова пробивается надежда: вот я найду цель, подходящее к моим «незадаткам» дело, буду добиваться этой цели с необыкновенным упорством и т. д.

Вечная зима с частыми оттепелями, когда появляются подснежники.

Надежда на здоровую жизнь. Заполненную делом. Наполненную смыслом. Даже если этот смысл в том, чтобы разыгрывать читателей, уверяя их, будто Достоевский написал роман «Кровь и слюни», а Фолкнер — что-то вроде «Сезам и фюрер».

Я сам топчу, вытаптываю, вырываю с корнем эти ростки. Больше никогда не поддамся на эти посулы, не попадусь на эти манки.

Флобер потратил бы весь вечер на то, чтобы убрать непрошеную рифму (и ритм). У него было бы дело на целый вечер. Но я не Флобер, и вечер мой пуст.

Всего лишь «случайная книга». Помнить об этом. Случайное собрание случайных мыслей случайного человека.

Дмитрий Румянцев

Лампа Аладдина

* * *

я помню чудное мгновенье: я встретил девушку-виденье...
она, как бабочка, была — легка, как бархатцы, сияла
на кромке летнего вокзала — пуглива, зорка и смела.
ещё она была — со мной! как хорошо, о Боже! Боже!
и жизнь казалась мне дороже, так, словно это — не со мной!
и шла со мной в июньский зной, я был другим — смелей и выше:
июльский гром гремел на крыше, как карнавал, где я — герой!
так, словно славно я сыграл, шут, квазимодо — казанову.
я, как она, любил и *слово* взаимной рифмой отражал!
хвала аллеям и альковам!..
всё будет OK, я узнавал...

* * *

хотел жить в жизни вовсе не поэтом,
а просто — быть и миру удивляться,
и оставлять душевные пометы
на проходных, вокзалах, бликах станций,
палитре луж... учить его английский,
его испанский и норвежский — в танце.
и если с кем-то состояться близким,
то никогда уже не расставаться.
а Бог — поэт, и он меня рифмует,
и спорить с ним — грешить... и я, пожалуй,
пойду к другим высотам, облюбую
права любви, похожие на жалость.
права любви и ту, что будет слева
один в один — одна, как только сердце.
единственная в мире королева,
в кого смотреть, да и не наглядеться...

Румянцев Дмитрий Анатольевич — поэт. Родился в Омске в 1974 году. Окончил философский факультет Омского педуниверситета по специальности «Культурология». Автор книг стихов «Сравнительное жизнеописание» (Омск, 2011), «Нобелевский тупик» (Омск, 2011), «Страдающее животное» (Омск, 2013). Постоянный автор «Дружбы народов». Живет в Омске.

* * *

не будите Есенина в «Англетере»,
пусть ещё поспит, выдыхая спирт,
на какой планете, в какой атмосфере
мне проснуться велит спирит?
  до чего же жизнь хороша-расхожа!
до чего умирать не с руки!
улыбаюсь глупо любым прохожим,
обнажая свои клыки
  я не зверь вполне, я уже напуган
обещанием роковым,
дай мне знак! — я пойду в зимний парк и стужу,
по грибы
никуда не уйти (может, и не нужно)
от судьбы...

* * *

перед смертью не надышишься.
дождь весь день, и пахнет взморьем.
как овчарка ветер лижется.
неизвестное под корнем
чувство шепчет: смерть — не горе!

тихо-тихо светит музыка
(хоры иоганна, людвига).

свет такой, что отменяется
смерти выгребная яма.
как предивно просыпается
в новой жизни, с новой кармой! —
под ногами растекается
облачная панорама

от матфея, иоанна.

* * *

Скорая дежурит у ворот. На окне ночная амальгама.
Отраженье всех переживёт: в вечность нашу майю мыла мама.
Встанем все на маленький пленэр — станем упражняться для бессмертья,
или я один уже теперь остаюсь стоять у парапета
  лестничного: вы, мои друзья, словно опьяненье, прихотливы,
так и капли летнего дождя — череда — приливы и отливы.
Буду пить вино и говорить в бездну тополиного июля.
Скорая карета, может быть, и меня сегодня караулит...

сыну

Привет тебе, Маленький принц, что в Сахаре сегодня?
Я падаю ниц пред судьбою, расхожей, как сводня.
Давай забавляться своей неизбывной любовью.
И, может, я что-то для сердца тебе приготовлю.
Вот мы друг за друга, как это и должно, в ответе.
Ты — чудный ребёнок, такой, как положено детям:
всё небо — в тебе! И, о Боже, как это небесно!
В ответ на слова ты Земной откликаешься песней.
А сколько всего из полдневных видений, знамений?
И сердце одно — для полдюжины сердцебиений.
...И только разлуки-змеи нам не надо мгновений!
Пойдём же по миру торопкой тропою оленьей.

* * *

лампа Аладдина нужна мне, лампа Аладдина
когда ноябрь, как Яков Брюс, заморозил пруды и плоды дички
да Диканьку мою, да луна наверху — ночник Сухаревой башни

да из всех чудес, добываемых трением,
лучшее, всё же — не огонь, но ребёнок
с огоньком желания, с красным петухом леденца, снегирём да снегом
когда на улице — адмирал Кончак
белая гвардия хлопьев холопьев и половецкая пляска метели

когда Красный путь — Млечный путь — в рябинах, сугробах, звёздах
где *«ложкой снег мешая, ночь идёт большая»*
где мультяшный Умка играет с мамой-медведицей на партийном плакате
ну и «ЕР» с ними

всё-то *«трутся спиной медведи о земную ось»*
всех и сил-то осталось во мне — трение и тяготение
да в судьбине — тернии и тягомотина
как в империи победивших ССэСеРов, от которой сейчас — песни лишь
там — Дзержинский против Кшесинской, а здесь —
подновлённая Матка Бос-к/х-а
да детский *сад наслаждений* в слабеющей памяти

с детства и помню:
«терпенье и труд всё перетрут»
в муку, что в снег — через заботу и родовые муки
и ребёнок, заведённый тобой
ещё не скоро растратит фряжский завод пружинки
пушинку крыльев
ангелов ли метельных, валькирий ли вьюжных
и загаданное желание —
единственно Большое, как Медведица, желание —
ЖИТЬ!!!

искры летят, звёзды летят, хлопья тоже
так и миры летят
напружившись спиральками ДНК да галактик
— чудн*о* — ты скажешь мне, — чудо

лампа Аладдина нужна мне, лампа Аладдина

Двое

Вот форточка, что фотокарточка — глубокой ночи отраженье.
Луна. Дорожка. В мятых тапочках он словно учится движенью.
Она уснула, разметалась в кровати, где подушка — Азия.
Вот ночь на цыпочки привстала. Шепни на ушко, чтоб отпраздновать
все прежде брошенные взгляды. Они, как новыми глазами,
глядят на мир, явиться рады в полночной форточки оазис.
Всё будет: самолёт над миром и рандеву у побережья.
Вот форточка уже открылась, глотая избранную нежность.
А сердца кулачок сжимается, зажав внутри любовь и веру.
И, да, — сегодня начинается в мечту и музыку премьера.
И на экране сонной комнаты — в окне, в его переплетеньи —
день Первый — в судьбах — иероглифом. Так начинается Творенье.

Творцу

Помилуй, Господи, меня! И сохрани в Своих ладонях,
пока осенняя погоня гоняет листья октября.
Пока хрустящий снег упал и лёг сегодня, как впервые,
пока итоги годовые декабрь ещё не набросал.
Пока в мешочке сердца кровь звенит монетой золотою,
а значит я чего-то стою, расплачиваясь за любовь.
Покуда нет дурных страстей, и может повернуться каждый/падший
к небесной музыке домашней над пропастью чумных смертей.
Лови во ржи своих детей!..

Александр Вергелис

В поисках бедного Йорика

Рассказ

Не помню, как пришла мне в голову эта идея. Скорее всего, она туда вовсе не приходила, а пребывала там всегда. Да, пожалуй, где-то глубоко внутри я давно готовился к этому преступлению — может быть, всю свою бесконечно длинную пятнадцатилетнюю жизнь.

В этом возрасте хочется выказывать удаль и молодечество. Я с упоением слушал рассказы о подвигах. Рассказчиков было много: один выкрал классный журнал из учительской и сжег его на пустыре, другой парализовал канализационную систему при помощи пачки дрожжей, третий испепелил кабинет литературы, четвертый — правда, не из нашей школы — имел взрослую связь с учительницей английского.

Не только лихие дела современников, но и славные деяния предков волновали мое воображение. Согласно семейным преданиям, мой дед, получавший среднее образование еще при царском режиме, однажды в отрочестве совершил нечто, граничившее со святотатством. Прогуливая на пару с приятелем урок Закона Божия, он напустил в классную комнату дыма — для этого были использованы вставленная в рот мундштуком наружу папироса и вентиляционное отверстие. Пока священник живописал геенну огненную, за его спиной в помещение медленно вползал и растекался по потолку опаловый джинн. Принюхавшись и возопив громким голосом, лицо духовного звания подобрало полы рясы и выбежало в коридор, но хулиганы уже успели удрать. Не знаю, как расценивать эту проделку — как обычное школярское озорство или как демарш подрастающих атеистов. Пожалуй, тут было и то, и другое. Но главное, была в этой выходке дерзость — качество, которого на излете моего отрочества я почти лишился.

Прежде я был другим. Я искал приключений и водил дружбу с отъявленными негодяями.

— У тебя нет ни одного приличного приятеля, — сокрушалась мама. — Одна сплошная шушера!

Вергелис Александр Петрович родился в Ленинграде в 1977 году. Публиковался как поэт, прозаик и критик в журналах «Аврора», «Волга», «Нева», «Звезда», «Знамя», «Дружба народов» и других. Лауреат нескольких литературных премий. Автор книги стихов «В эпизодах» (2010). Живет в Санкт-Петербурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2019, № 1.

В сущности, она была права. Днем мы изводили учителей, а по вечерам терроризировали город. Не было дня, чтобы мы не злоумышляли против общественного порядка. Пылали мусорные баки и почтовые ящики, взрывались бутылки с сухим льдом, вечерние прохожие расстреливались из рогаток. Но на четырнадцатом году жизни что-то вдруг переключилось в моей голове. Вероятно, причиной тому послужило мое пристрастие к чтению — в свободные от разбоя часы я зарывался в книги. И вот, ощутив тоску по гармонии с окружающим миром в лице школьной администрации и органов правопорядка, я в одночасье стал удивительно кроток и миролюбив, я сделался неслыханно прилежен и погрузился, наконец, в учебный процесс. У меня даже изменился почерк — он приобрел невиданную прежде ровность и четкость, — как и открывавшийся передо мной жизненный путь.

Тяготея к гуманитарным наукам, я определился в специализированный класс с соответствующим контингентом, по преимуществу девичьим. Вся наша гоп-компания к тому времени рассеялась в пространстве: один уехал, другой отбыл в исправительное учреждение, третий стал учащимся ПТУ на окраине города. В новой среде мне захотелось казаться благонравным и благовоспитанным. Сладковатая водичка смирения и непротивленчества тихо потекла в моих жилах вместо крови. Я перерождался. И все-таки что-то прежнее, уличное, еще шевелилось во мне, что-то взбулькивало и всклокатывало внутри. Я не особенно тосковал по себе прежнему, но испытывал некоторое беспокойство от того, что мое школьное существование стало слишком уж тусклым и бессодержательным. Меня беспокоила мысль, что лучшая пора жизни проходит бездарно, что во взрослую жизнь я войду со стерильной репутацией крепкого хорошиста и ничего не смогу предъявить современникам и потомкам. Но главное — мне нечего будет передать тому ироничному и томному господину в шлафроке, вальяжно расположившемуся в теплом сумраке кабинета в кресле у зеленой лампы, каковым я, по моим представлениям, должен стать лет десять или двадцать спустя. Необходимо было сотворить будущие воспоминания — чтобы этот господин мог, щурясь, со снисходительной улыбкой и не без удовольствия перебирать в памяти невинные проказы того пубертатного шалуна, которым он был когда-то, задолго до появления шлафрока и кабинета.

Нет, жечь классные журналы и топить школу в испражнениях было бы не в его вкусе. Звание гуманитария обязывало, требовалось что-то поизящнее. Пока же единственной моей шалостью было сочинение невинных эпиграмм и рисование столь же невинных карикатур на учителей. В этом возрасте хочется быть остроумным, смелым и независимым. И если не получается быть, — то хотя бы выглядеть.

Я не помню, как пришла мне в голову эта идея — украсть череп из кабинета биологии. Помню лишь, что в ту же самую секунду, как в моем собственном черепе красной лампочкой вспыхнула эта мысль, я уже знал, как будет называться предстоящая операция.

Операция «Бедный Йорик» была проведена молниеносно. Понимая, что мне понадобится сообщник и, что немаловажно, свидетель, я посвятил в свои преступные планы одного из нескольких недорослей, составлявших скромную мужскую часть нашего класса. Имя его я и по прошествии стольких лет не решаюсь предать огласке, скажу лишь, что выбор мой пал на него не случайно: гуманитарная подкладка в этом славном юноше сочеталась со здоровым авантюризмом, что и определило всю его последующую судьбу, в которой были и война, и тюрьма, и еще много чего, вполне достойного пера романиста. На перемене, когда кабинет опустел, он постоял «на

шухере», а я открыл дверцу шкафа и переместил мертвую голову в «бэг» — так тогда почему-то все называли школьные рюкзаки.

Почему именно череп? Наверное, это было в духе того макабрического юмора, который по моим тогдашним представлениям должен был отличать юного бонвивана и остроумца, каковым мне хотелось себя видеть. Это было сродни табачной обструкции, устроенной моим пращуром служителю церкви. И все-таки истинная причина моего выбора лежала гораздо глубже. Вид человеческого черепа всегда вызывал у меня тайный трепет. В детстве я завороженно смотрел на устрашающие таблички «Не влезай — убьёт!», с которых озорно улыбалась во весь рот пронзенная молнией мертвая голова. Сколько себя помню, я вечно совал взрослым бумагу и карандаш, прося изобразить человеческий скелет. У неплохо рисовавшего отца скелеты почему-то выходили всегда какими-то карикатурными, с гипертрофированными глазницами и крохотными челюстями — возможно, родитель просто не хотел меня пугать. Большие надежды я возлагал на дядю, врача-венеролога, но у него человечьи костяки получались какими-то совсем не страшными — выглядели они толстыми увальнями, представлявшими собой явный анатомический курьез, столь неожиданный для профессионального медика. Я тосковал. Я с тайным восхищением глазел на украшенную черепушкой фуражку Штирлица, я мучительно завидовал киношным пиратам — не столько их развеселому образу жизни, сколько тому, что над их забубенными головами реял «Весёлый Роджер». Позже, уже после того, как книги победили во мне уличного пакостника, мне грезился фаустовский кабинет с песочными часами, раскрытым манускриптом и непременным черепом на столе.

И вот, однажды я увидел его, вытащенного кем-то из шкафа под гвалт и визг учащейся сволочи. В эту секунду я вдруг оглох, ощутив тайный восторг долгожданной встречи.

Как и большинство прочих ветхих учебных пособий, наполнявших кабинет биологии, он был на сто процентов настоящий, если не считать две медные проволочки, на которых держалась нижняя челюсть. На переменах, пока никто не видел, я извлекал его из старого, еще довоенного шкафа, где он покоился на груде истертых костей в обществе скелета кошки, облезлого чучела макаки и гипсовой головы питекантропа. Я ставил его на парту, садился напротив и подолгу смотрел в похожие на лунные кратеры глазницы, предаваясь сентиментальным размышлениям. Когда-то, думал я, в этой удивительной чаше покоился мозг, плескались юные мечты, рождались помыслы и устремления. Когда-то эту пожелтевшую кость облекала мягкая розовая плоть, в этих глазницах светились пытливые зрачки, поверх этих неплохо сохранившихся зубов двигались губы, шептавшие слова любви или, быть может, изрыгавшие проклятия этому миру. Кем был ты, обладатель этого черепа? Простым смертным, посредственностью, обывателем? Или — непризнанным гением, непонятым мудрецом? Бывал ли ты счастлив или только и делал, что сгибался под ударами судьбы? Бунтовал ли ты против существующего миропорядка или со смирением принимал долю свою? Насколько осмысленно прожил подаренную тебе жизнь, какими путями попала твоя голова в школьный шкаф? Добровольно ли вызвался ты служить делу просвещения или же твой навеки остывший котелок бесстрастной рукой патологоанатома был исхищен из мертвецкой? Если верно последнее, то я спасу тебя от позора, твой череп больше не будет служить забавой для недоучек.

Думая так, я косился на свое отражение в зеркале, не без содрогания представляя, что внутри моей собственной головы тоже заключен костяной лик смерти, и когда-нибудь он освободится от лишних покровов и будет во весь рот

улыбаться обступающей его со всех сторон тьме... Но в силу нежного возраста размышления в духе memento mori не имели той длительности, которая необходима для глубокого погружения в тему. В сущности, в пятнадцать лет мы все еще бессмертны.

Итак, я сделал это. Я сделал это, и в первое время испытывал нечто вроде «морального удовлетворения» — задуманное совершилось, теперь у меня был свой собственный, домашний череп. И все же, в полной мере насладиться содеянным как-то не удавалось: к гордости за проявленную удаль и сладости тайного обладания вожделенной костью примешивалось чувство стыда за совершенную кражу. К тому времени я уже отвык от роли похитителя, так легко дававшейся мне в былые дни. Последний раз в этом качестве я был тремя годами раньше, когда брал с лотка «Дома книги» очередное научно-популярное издание. Да, именно брал — криминальное мастерство заключалось в том, чтобы со спокойным, немного даже рассеянным видом, с минуту потоптавшись возле атакуемого книголюбами прилавка, неторопливо направиться к выходу с понравившейся книгой в руках. Можно было и не к выходу — можно было достоверности ради еще немного пошататься по заполненному народом залу бывшего зингеровского офиса, глазея на книжные полки с блаженным видом малахольного книгочея. У кого могло бы возникнуть подозрение в отношении этого блуждающего чудика? Кто бы мог подумать, что книга, которую он листает на ходу, беззвучно шевеля губами, только что им украдена? Ни разу я не был пойман за руку, никогда не кричали мне вслед: «Мальчик, верни книгу на место!» Вечная толкотня вокруг вчерашних запретных плодов, вынесенных на прилавки волнами Перестройки, отсутствие привычных ныне видеокамер, электронных рамок и дежурящих повсюду Аргусов — какой простор для работы! Моя домашняя библиотека регулярно пополнялась пахнущими типографской краской издательскими новинками. Кое-что, впрочем, по прочтении я относил обратно.

Однажды, целую жизнь спустя, я забрел в изменившийся до неузнаваемости «Дом книги», и сам будучи изрядно изменившимся — дипломированным чистоплюем, отцом семейства, государственным служащим с репутацией и намечающимся брюшком. Как обычно, побродил по залам, покопался в новых изданиях и собрался было уже уходить, но... Мне вдруг стало интересно — нет, мне стало совершенно необходимо узнать, смогу ли я, как в прежние годы, вынести из магазина, минуя кассу, какую-нибудь — пусть самую маленькую, пусть самую дешевенькую книжечку. Забытый бесенок, проснувшийся внутри, все подуськивал, все подталкивал меня испытать свое хладнокровие, а заодно — бросить вызов этой надзирающей кодле со всей ее машинерией. «Нет, нет, никакого воровства — просто вынести, а потом сразу вернуться и положить на прежнее место», — увещевал бесенок. Я отыскал безлюдный закуток и взял с полки первую попавшуюся книгу — кажется, это был путеводитель по Японии. Нужно было всего-то найти и незаметно соскоблить защитную серебряную полоску, без которой ничто не пискнет у выхода, и нахально-вежливый охранник не произнесет громовым басом: «Мужчина, одну минуточку!» Я было начал уже скрести по полоске ногтем — не совсем отдавая себе отчет в происходящем — и вот уже кончик ее отстал от бумаги, и оставалось только потянуть... Столь же внезапно я пришел в себя и поставил книгу на полку. И, как оказалось, правильно сделал — еще не дойдя до электронных рамок, я был остановлен таким же прямоугольным, как эти рамки, охранником, вкрадчиво попросившим меня «открыть сумочку». Народу на выходе скопилось много, но

остановили только меня — значит, мои манипуляции с японским путеводителем не остались незамеченными.

— А в чем, собственно... — начал было я тоном оскорбленной невинности, но в моем положении строптивость была бы явно излишней. Уйти хотелось как можно скорее, я рванул застежку и сунул раскрытую «сумочку» под нос прямоугольному. Он залез туда весь — багровым носом, бровями, лбом, руками-веслами. На вынырнувшей обратно мосластой морде его отпечаталось недоумение: он был уверен, что поймал вора.

«Нет, "Дом книги" уже не тот, — думал я, выходя на Невский. — Да и я не тот». «Сумочка» моя была пуста, японский гид остался на полке, опасаться было нечего, но подходя к рамке я почувствовал, как налились кровью и запылали предательским огнем мои уши. О, где же тот плутовской артистизм, где та изумительная спокойная наглость, благодаря которым я пользовался главным книжным магазином города как личной библиотекой? А главное — где убежденность в абсолютной невинности всех этих мелкоуголовных манипуляций? Удивительно, но в том возрасте я совсем не чувствовал раскаяния, не считая похищение книг ни преступлением, ни даже проступком, достойным осуждения. Любовь к чтению, которую нам столь рьяно прививали в школе и дома, оправдывала любые злодеяния.

Однако похищению школьного инвентаря никакого оправдания быть не могло. Созревшая с годами совесть моя вещала из глубины: «Ты не просто украл, а украл у родной своей школы, у школы, можно сказать, фамильной, где, между прочим, учились и твоя маменька, и твой разлюбезный дядюшка-венеролог, ее младший братец, и твои собственные братья, такие же, впрочем, мерзавцы, как и ты». Совесть была права: получалось, что я украл у своих.

Череп я хранил в прикроватной тумбочке. С затаенной гордостью я показывал его заходившим ко мне друзьям и знакомым. Иногда по вечерам шел гулять с ним, завернутым в наволочку.

Время от времени Йорика забирал мой одноклассник и друг Крутик — череп требовался ему для совершения магических ритуалов. Обладавший пытливым умом и неуемной жаждой впечатлений, каким-то чудом попавший в гуманитарный класс, Лёша Крутиков в то время всерьез интересовался оккультизмом — это было очередное непродолжительное, но глубокое его увлечение. Череп он возвращал в перламутровых каплях свечного воска, а однажды я обнаружил на зубах Йорика плохо оттертые следы крови. В свои таинства Крутик меня не посвящал, всерьез уверяя, что я не готов еще к встрече с Князем тьмы, да я и не напрашивался — едва успевая осваивать школьную программу.

В отличие от моего друга меня интересовал сугубо научный аспект. Я всерьез задумался о прижизненной истории Йорика. Кем был этот человек? Как он выглядел? Я даже собрался изучить метод Герасимова и готов был попытаться при помощи пластилина восстановить облик таинственного мертвеца. Благодаря дяде раздобыв кое-какие специальные книги, среди которых был учебник по судебной медицине, я убедился, что когда-то мой Йорик, скорее всего, был женщиной, причем молодой.

В тот год я каждую ночь ложился спать на голом полу — если не считать старого и довольно жесткого ковра — без матраса и подушки. Домашним говорил о желании исправить осанку, на самом же деле это была чистой воды аскеза: живя по-спартански, я рассчитывал закалить тело и воспитать в себе железную волю.

— Ну, ты Рахметыч! — посмеивался в усы, поднимая над потрепанным номером «Нового мира» свои уже выцветшие, вытравленные алкоголем, но еще озорные глаза дядя, выгнанный из дома женой и временно живший у нас — в нашей с братом комнате. Он притулился в углу на древней оттоманке и все вечера проводил за чтением белогвардейских мемуаров. Он и сам смахивал на какого-то бывшего штабс-капитана, скрывающегося от большевиков под видом заросшего щетиной пролетария. Ему тогда было меньше, чем мне сейчас, но он казался нам с братом уже почти пожилым человеком. Он пребывал не в лучшей форме, что совсем не удивительно, учитывая, каким перегрузкам подвергался его организм на протяжении стольких лет. Казалось, не только тело, но и душа у него к тому времени износилась до крайности. С каждым годом сцепление ее истертых колес с земной поверхностью уменьшалось, и до катастрофы оставалось совсем немного. Никто из нас об этом не знал, хотя само время как будто посылало один зловещий сигнал за другим: в те годы люди умирали как-то особенно часто.

Насчет Рахметова дядя попал в точку: в школе мы как раз проходили тот незабвенный роман о похождениях «разумных эгоистов», воле и целеустремленности которых я мучительно завидовал. Книга меня не перепахала, но взбудоражила, а образ таинственного человека, спавшего на гвоздях, на некоторое время стал примером для подражания.

Ложились мы с братом поздно, все что-то читали, о чем-то спорили.

— У вас опять всенощная? — острил дядя, и сам любивший полуночничать.

Он не пил уже вторую неделю, принимал какие-то особые французские лекарства, добытые более удачливыми друзьями-медиками, и выглядел, в общем, довольно прилично. Дядя в качестве третейского судьи принимал участие в наших спорах, учил брата играть в «гусарика», рассказывал истории из врачебной практики.

Когда наконец выключался свет и я, сомлев, засыпал, сквозь тонкую дымную занавесь сна ползли ко мне из черных углов скользкие пупырчатые гады, забирались под одеяло холодные, влажные кровососущие многоножки. В иные ночи кошмары были совершенно другого рода: мне снились зияющие космические пропасти, в которые я падал, падал и все не мог упасть, наплывали из темноты женские фигуры в полупрозрачных одеждах, с полупрозрачными лицами. Ужасы сгущались, пугающие образы проникали в самые светлые, самые невинные, навеянные памятью о летних каникулах сновидения — идиллические картины дачного лета постепенно насыщались кладбищенскими деталями: на грядках, слишком похожих на свежие могильные холмики, обнаруживались пластмассовые цветы, но это были только цветочки: в колодце, сарае и комнатах дачного дома штабелями громоздились гробы — старые, полуистлевшие и сравнительно свежие, еще обтянутые глазетом, в комьях засохшей глины. Там покоились наши мертвецы — пращуры, никогда мною не виденные даже на фотографиях, и те, что умерли относительно недавно. Во сне я недоумевал, почему мертвые находятся в столь близком соседстве с живыми, но принимал это как данность. Мертвый мир темным половодьем затапливал мои сны. Я задыхался, с протяжным стоном открывал глаза и шел на кухню глотать воду. Дядя посмеивался и интерпретировал мои сновидения с сугубо материалистических позиций, уверяя, что единственной причиной ночных кошмаров является неудобное спаньё на полу.

Вняв его уверениям, я временно переместился на диван, реабилитировал матрас и подушку, однако ночная жуть не прекратилась. Вскоре я пришел к выводу, что виной всему — мертвая голова, покоившаяся в тумбочке, — в каком-нибудь метре от моей собственной, хронически недосыпающей головы. Из фильмов ужасов мне было

известно: если мертвец не предан земле, душа его не может обрести упокоения. Где же гнездится человеческая душа, как не в голове, если она, конечно, не ушла в пятки?

Именно там оказалась моя собственная душа в тот бледный предутренний час, когда я вдруг проснулся в липком поту после очередного кошмара и осознал всю легкомысленность своей кражи. Теперь к нытью больной совести добавился совершенно непреодолимый мистический страх: я был почти уверен в том, что все эти ужасы насылает на меня моя таинственная покойница, и что именно ее я видел во сне в образе полупрозрачной женщины на фоне звездных бездн.

Первая мысль — сейчас же, не мешкая ни минуты, вынести злосчастный череп на улицу. Этого требовал страх, на пару с бессонницей совершенно расстроивший мои нервы. Вскормленная школьной программой по литературе совесть призывала вернуть украденное имущество назад, в кабинет биологии. Впрочем, призывала не так уж уверенно: череп терерь не был нужен мне, но он требовался Крутику для его магических мероприятий, и лишить его этой игрушки было бы бесчеловечно. Возникла нравственная дилемма, которую во мгновение ока разрешил мой прямодушный друг:

— А ты мне его подари.

Это было в его стиле — преодолевая природную застенчивость, Крутик в совершенстве развил в себе качества, весьма полезные для жизни в социуме: его напускной цинизм и грубоватая манера держаться не единожды сослужили ему добрую службу. Вот и сейчас, обезоруженный его прямотой, я сдался без боя.

Торжественная передача Йорика новому хозяину состоялась в троллейбусе, который вез нас по Невскому проспекту. Избавившись от пакета, я почувствовал и облегчение, и сожаление. Крутик же мгновенно преисполнился озорства, его заискрившиеся серые зрачки нетерпеливо забегали по физиономиям пассажиров и вскоре остановились на двух матронах, державших в объятиях мешок картошки. Радость удачливых добытчиц, смешанная с тревогой за сохранность груза, читалась на их отцветающих лицах. Матроны оживленно беседовали, охая и вздыхая — о том, о чем говорили тогда все: что совершенно нечего стало есть и что за любым углом, в любой подворотне вас могут убить или изнасиловать. Одна уверяла другую, что пятно на лысине Горбачёва — дьявольская отметина. Собеседница, однако, предрассудков не разделяла, веря в науку и прогресс. Обе, впрочем, сходились на том, что страна пала жертвой каких-то нечеловеческих сил.

— Так а что ты хотела, моя дорогая, Ленин-то ведь — гриб! Это же научный факт, — вещала материалистка своей суеверной товарке, сокрушенно качавшей крашеной головой в вязаном берете.

Крутик подмигнул мне, вынул Йорика из пакета и, подойдя к ним, предложил:

— Купите. Недорого. Можно по бартеру — отдам за кило картошки.

Матроны с недоверием покосились на Крутика, потом озабоченно уставились на предлагаемый товар. Одна, рассуждавшая о грибной природе вождя мирового пролетариата, даже взяла Йорика в руки, обтянутые нитяными перчатками, взвесила, как будто это был кочан капусты.

— Какой-то он у вас... старый, — поморщилась она, возвращая череп обескураженному Крутику.

— Молодых разобрали... Берите, не пожалеете, — настаивал Крутик. — Когда-то этот череп принадлежал графу Петру Андреевичу Клейнмихелю. Большевики разорили его фамильный склеп, но череп был сохранен верным камердинером графа, моим прадедом. Достался мне по наследству.

— Да зачем он нам... — качали головой матроны. — Его даже собаки грызть не станут. Вы его лучше в музей сдайте.

У Гостиного двора мы сошли.

— Совсем народ очерствел. Ничем не проймешь...

Крутик был прав, вчерашние советские граждане перестали чему-либо удивляться. Мы шли по городу, вперемешку с табачным дымом вдыхая ветер жестоких перемен, превративший Невский проспект в сплошную барахолку. На перевернутых ящиках и коробках новоявленные торговцы разложили свой смехотворный товар. Никому не нужный хлам из старых, пропахших щами и гуталином квартир перемежался с символами нового времени: иконками, портретами царской семьи, фотографиями голых девиц.

— Почему в трусах? А без трусов? — интересовался, осклабясь, работяга в шапке-петушке, разглядывая загорелых бесстыдниц с узкими тряпочками на бедрах.

Неподалеку плотное кольцо зевак окружило уличного эксцентрика: мужичок-с-ноготок исполнял «арию Мистера Икса», совершая энергичные телодвижения.

— Уста-ал я греться-а у чужо-го огня-а!

Отсутствие и намека на мелодию, нарочитая безголосость певца, его демонстративное неумение играть на гитаре, а пуще всего — эти страстные рывки взад-вперед обеспечивали ему восторженное внимание многочисленной аудитории, состоявшей из людей всех возрастов. Публика хохотала, аплодировала, бросала мелочь. Крутик брезгливо морщился: все это оскорбляло его эстетический вкус. Да и не пристало человеку, чуть ли не каждую ночь вызывающему Ваал-Зебуба, потворствовать низменным пристрастиям толпы.

А жизнь вокруг бурлила. У Гостиного двора отливали медью обветренные рожи валютных менял, мелькали бритые бандитские затылки, шаталась, собирая пивные бутылки, нищенствующая братия. Фиксатый уркаган тасовал колоду и хриплым тенором в тысячный раз предлагал всем желающим угадать карту и получить вознаграждение:

— Граждане, гражданочки, господа и дамочки! Не проходим, а подходим, выигрываем и уходим! Валета найдем — в ресторан идем! Даму находим, в магазин уходим!

Неподалеку на корточках перед низким столиком с тремя перевернутыми пластиковыми стаканчиками сидел молодой напёрсточник. Стаканчики в его татуированных руках выписывали замысловатые круги и восьмерки под непрерывное завывание:

— А-а-ай следим за руками! А-а-ай кручу-верчу, запутать хочу!

В стороне от этой суеты над лотками с газетами и «политической литературой» отрешенно стояли идейные борцы. Выделялись обилием красного цвета прилавки коммунистов. В соседстве с их флагами развевался черно-желто-белый — имперский. Рядом смурной человек в «гансовке» торговал чем-то антисемитским. В военно-морской шинели и черной кубанке посреди человеческого моря возвышался дюжий усач, в одной руке сжимавший пачку газет, в другой — древко черного знамени, с которого под словами «Анархия — мать порядка» улыбался прохожим довольно умело нарисованный череп. Крутик вынул Йорика из пакета, поднес к траурному полотнищу и, словно ребенку, объяснил:

— Смотри, мой хороший, это — ты!

У Крутика мой Йорик зажил гораздо веселее. Он сразу приобрел довольно лихой вид — водруженный на шкаф, был пожалован сигаретой, солнцезащитными очками-хамелеонами, наушниками от плеера и облезлой кроличьей ушанкой, которую в дальнейшем последовательно сменили мохеровый берет, тюбетейка, танкистский шлем и ржавая немецкая каска.

Вскоре Крутик решил, что Йорику одному скучно, и выкрал из кабинета биологии гипсовую голову питекантропа. Он раскрасил ее гуашью «под пидора» — с подведенными глазами и алыми губами, — прицепил клипсы к ушам и поставил рядом с Йориком. Отныне бывшие экспонаты школьного паноптикума стали неотъемлемой частью уникальной Крутиковой комнаты. Эта комната была полна диковинных вещей вроде склянки со спиртом, в котором плавал вниз головой похожий на инопланетянина человеческий эмбрион. Склянка то ли была украдена из какой-то лаборатории, то ли подарена Крутику знакомой медичкой. Мой друг божился, что она похищена из Кунсткамеры, куда ее определил еще Пётр Первый. А напившись, всерьез уверял, что заспиртованный зародыш — его брат-близнец, умерший в утробе матери. И даже называл его имя — Ромуальд, или просто Рома. Крутик всегда мечтал о брате — возможно, в этой невинной фантазии воплотилась давняя тоска его домашнего одиночества. Как бы то ни было, Рому не раз приходилось спасать от посягательств — когда (обычно уже под утро) кончались и водка, и деньги, и кто-нибудь обязательно выступал с предложением отлить спирта из банки. Меня передергивало при мысли об употреблении этого мутноватого настоя, но среди разношерстных гостей моего общительного друга попадались и те, что не прочь были закусить самим Ромуальдом. В конце концов заспиртованный брат-близнец исчез — как утверждалось, был проигран Крутиком в очко, но я не исключаю, что залог его сохранности — спирт — был выпит, а самого Рому отнесли на помойку.

Крутик коллекционировал уходящую натуру — портреты вождей, пионерскую атрибутику, разнообразные похищенные им из присутственных мест таблички. Над входом в его комнату был прикручен тот самый столь волновавший меня в детстве металлический прямоугольник с черепом и надписью «Не влезай — убьёт!». Все это заполняло его малометражное жилище вперемешку с постерами голливудских фильмов, портретами полуголых поп-звезд, собственноручно написанными картинами, моделями вечных двигателей, самодельными жуткими чучелами птиц и мелких грызунов. Словом, новое местонахождение Йорика было занятнее того узилища, в которое он был заключен мною. Теперь вместо прозябания в школьном шкафу и прикроватной тумбочке судьба ссудила ему принимать участие в дружеских попойках, устраивавшихся Крутиком в перерывах между сеансами связи с потусторонними мирами. Рано или поздно, по мере разогревания аудитории, череп перекочевывал со шкафа на стол, ходил по рукам, был угощаем водкой и целуем в темя. Следовало обязательное фотографирование: щелкала и стреляла фосфорическим огнем дешевая «мыльница», производя на свет два в одном: групповой портрет и натюрморт с черепом. На глянцевых цветных фотографиях, запечатлевавших красные потные рожи пирующих недорослей, Йорик был, пожалуй, единственным, кто выглядел благородно.

Трудно сказать, как долго пробыл Йорик у Крутика. После одиннадцатого класса мой друг поступил в школу милиции и на время пропал из виду. Его захватили новые вихри, у него появились новые друзья, новые девушки. Однажды по телефону я спросил, как ему спится в одной комнате с частью чужого мертвого тела. «Нормально», — ответил он, но ответил как-то неуверенно. Наверное, в тот момент Йорика уже с ним не было. Когда именно и почему Лёшка Крутиков избавился от

моего подарка, остается загадкой. Я не выпытывал, предпочтя забыть о Йорике, как о тех дурных снах, которые он на меня насылал.

Я забыл о нашем Бедном Йорике на двадцать пять лет. Крутик давно снял милицейскую форму, переменил множество профессий, женщин, приятелей, стилей одежды, мест жительства и осел на окраине города в небольшой квартирке, которую делит с двумя самыми близкими существами — женой и компьютером. Из самого общительного в мире человека он превратился в затворника, болезненно реагирующего на любые сигналы, подаваемые внешним миром, — его на удивление сильно раздражает реальность, начинающаяся по ту сторону железобетонных стен его жилища — очень опрятного и совершенно не похожего на прежнее, затерянное в сумрачном лабиринте проходных дворов и ностальгических воспоминаний. Я был и остаюсь частью этой реальности, а еще — частью прошлого, раздражающего его не меньше, чем настоящее. Наше общение давно свелось к редкому — хорошо, если раз в полгода — перебрасыванию сообщениями в мессенджере. Даже звонить друг другу мы перестали.

Я знаю, что мое появление на виртуальном горизонте его не радует. Я вижу, как он морщится, и линии его лица образуют знакомый иероглиф: «За-чем?» И, тем не менее, мой указательный скользит по светящейся кириллице, выводя дежурное «Привет. Как дела?» Мне действительно интересно, как у него дела, но пишу я по другому поводу — более всего меня интересует, кому, в чьи руки он отдал нашего Йорика. «Привет. Нормально», — прилетает ответ.

Почему я вдруг вспомнил об этом несчастном черепе? С какой стати меня стала волновать судьба этой безделицы, канувшей в муть прожитых лет? С чего, собственно, я вдруг озаботился его местонахождением? Если это, как сказал бы какой-нибудь доморощенный психолог, мой «незакрытый гештальт», то почему острое желание закрыть его появилось у меня только сейчас, в сорок три года?

«Помнишь ли ты, старина, тот череп, который я тебе подарил во дни нашей юности? Не знаешь ли, что с ним сейчас, кто его нынешний владелец?» — волнуясь, пишу я. И — не получаю ответа.

Это обычное дело, я давно привык к подобному хамству: если ему не нравится мой вопрос, он его игнорирует. А может, ему просто лень. Два вопроса за один сеанс связи — это ведь слишком. И, тем не менее, мне хочется спрашивать и спрашивать, мне не терпится завалить его тяжелыми, как чугунные гири, вопросами: что с тобой происходит, дорогой товарищ Крутиков? Куда делась твоя феноменальная жовиальность? Кто украл твой фирменный оптимизм? Какой чародей лишил тебя того жеребячьего восторга перед жизнью, той удивительной жажды приключений и неуемной тяги к общению, столь свойственных тебе когда-то? Куда сползаешь ты, в какую полумглу уходишь, дай ответ!

Молчит. Не дает ответа...

Ответ я все-таки получил — через неделю: «Черепушку спихнул кому-то из девчонок. То ли Эмке, то ли Ириске».

Эмка? Я вспомнил, как несколько лет назад, выйдя из метро на окраине города, увидел идущую сквозь толпу ссутулившуюся женщину с большими, невидящими глазами на сером, лишенном выражения лице. Только сев в автобус, я понял, что это была она — наша Эми, в миру Эмилия Лазарчук.

Одно время, уже в последнем, выпускном классе, они с Крутиком дружили — сидели за одной партой, листали какие-то глянцевые журналы и беспрестанно

хихикали. На это было отрадно смотреть: их целомудренный союз доказывал возможность дружбы между юношей и девушкой — дружбы в чистом виде, без секса. Я знал его вкус, он предпочитал совершенно других девушек, а с ней ему было, как он говорил, «по приколу».

Когда я смотрел на Эми, на ее бледное лицо, обрамленное длинными пепельными волосами, стлавшимися по длинному — почти до колен — свитеру крупной вязки, я вспоминал хрестоматийное фото Любови Дмитриевны Менделеевой в роли Офелии, а еще — то место из «Пира во время чумы», где Вальсингам говорит: «Спой, Мери, нам уныло и протяжно...»

Она была бледна какой-то болезненной бледностью, и под ее глазами, всегда припухлыми и влажными, как будто заплаканными, вечно стояли сиреневые тени. В ее жестах, во всех ее движениях чувствовалась некая затверделость; иногда казалось, что ее руки невидимыми веревками были привязаны к туловищу — таким образом, что двигаться могли только белые лопаточки ладоней с плотно прижатыми, тоже словно привязанными друг к другу, пальцами. Вместе с тем, несмотря на малокровный свой облик и общую телесную скованность, Эми время от времени демонстрировала весьма веселый нрав и выглядела довольно озорной девицей. В ней тоже таился бесенок отрицания и сомнения — в духе времени, только что похоронившего целую государственную религию со всеми ее идолами.

На первых порах я стеснялся ее, как стеснялся всех хоть сколько-нибудь «продвинутых» по части интеллектуальных мод. Но ей моя отсталость, напротив, импонировала — по ее представлениям я как человек, пишущий стихи, и должен был быть архаистом и вообще человеком «не от мира сего». Мы не то чтобы сдружились — просто стали чаще оказываться в одной тусовке с Крутиком и Ириской. Пресыщенный вниманием первых красавиц класса, Крутик возжаждал иных утешений — и мы с ним стали завсегдатаями комнаты, представлявшей собой в глазах меломана и библиофила, каковым вдруг почувствовал себя мой друг, настоящую пещеру Аладдина. Глаза суетливо разбегались, когда он входил туда. Все горизонтальные плоскости этой комнаты, включая подоконник и пол, были заполнены западными пластинками и редкими изданиями — тоже в значительной части зарубежными. Происхождение этой коллекции не вызывало вопросов: Эми имела непростых родителей — кажется, они были как-то связаны с МИДом. По домам мы разъезжались не с пустыми руками — каждый увозил виниловый диск или книгу. Брали, разумеется, «с возвратом», однако сроки возврата никогда не уточнялись. Своими богатствами Эми делилась охотно, с некоторой долей легкомыслия. Впрочем, по части сугубо дамских сокровищ она была не столь расточительна, хотя и не слишком тряслась над ними.

Однажды Крутик — то ли ради любопытства, то ли по искреннему влечению попробовал перевести их дружеские отношения в иную плоскость — в плоскость громадной кровати, занимавшей едва ли не половину ее девичьей. Начало было положено, оба они оказались в горизонтальном положении, и вот уже белая, никогда не знавшая мужских прикосновений грудь любопытными сосочками выглядывала на белый свет из-под задранной футболки, однако до конца Крутик так и не дошел. Не то чтобы ему не позволили — нет, обошлось без запретов. Она просто спросила:

— А что дальше?

Крутик не на шутку призадумался и остановил свои нахальные пальцы на подступах к цитадели ее невинности. Дальнейшего он представить себе не мог: дружить или приятельствовать с Эми было можно, но быть «ее парнем» для Крутика,

предпочитавшего ярких красоток, было бы «не комильфо». Его можно понять: она была чахоточная дева, а он — не вполне свободен от мнения окружающих.

После школы Эми куда-то пропала — говорили, поступила в библиотечный техникум, что при ее уме и кругозоре было явной игрой на понижение. Все ждали от нее чего-то большего, однако в ее выборе было нечто весьма для нее органичное: ей-то как раз плевать было на мнение окружающих, в том числе тех, кто делал культ из высшего образования. И я не слишком удивился бы, встретив ее однажды в каком-нибудь тишайшем книгохранилище в качестве рядовой сотрудницы, заполняющей формуляры и выдающей читательские билеты.

Нет, скорее всего, Йорик был отдан не Эми, а Ириске. С этой славной девушкой у Крутика тоже была дружба — правда, не столь безгрешная, но ведь отнюдь не мимолётный секс определял их отношения, а другие — куда более высокие материи. Прежде всего, их объединяла страсть к хождению над безднами. Главным образом в переносном смысле — но иногда и в прямом. Ночами Крутик водил ее по крышам, они любили, взявшись за руки, постоять «бездны на краю», как говорил все тот же Вальсингам.

К слову, я тоже любил ночные променады над городом, но совершал их, как правило, в одиночестве. Сколько-нибудь отчетливо я помню лишь одну из этих прогулок — ту, что должна была стать последней: удрученный холодностью возлюбленной и затруднениями в освоении школьной программы, в одну чудную майскую ночь я выбрался наружу через слуховое окно, твердо зная, что назад возвращаться этим пыльным путем уже не буду. Та ночь была действительно чудной: снизу, из каменной тесноты двора, на дне которого столь жизнеутверждающе клубилась сирень и куда я намеревался спикировать ласточкой, доносилось такое благоухание, что начинала кружиться голова, и город за противоположным краем крыши лежал в маслянистых огнях фонарей, как убранный цветами прекрасный труп. Именно таким виделось мне, вопреки здравому смыслу, мое собственное бездыханное тело. Трудно сказать, что именно в конечном итоге взяло верх над манией самоуничтожения — элементарная трусость или тот самый продравшийся сквозь переполнявшую меня чепуху здравый смысл. Пожалуй, ни то, ни другое. Самое невыносимое в воспоминаниях о той ночи — это спокойная готовность к прыжку сродни готовности профессионального ныряльщика, стоящего на вышке в ожидании свистка. Я, всегда боявшийся высоты и смерти, бестрепетно стоял на самом краю жизни, и ржавая жесть уже прогибалась под моими ногами. Однако свисток почему-то не прозвучал. Пролетавший ли мимо ангел тому виной? Не знаю. Потоптавшись на краю крыши с полчаса, я-таки отправился домой через позорное слуховое окно — чтобы лечь спать и все так же бестолково жить дальше. Впрочем, нет худа без добра: в качестве компенсации за нанесенный себе моральный ущерб я впоследствии написал вполне недурной сонет, в который умудрился втиснуть и запах сирени, и неразделенную любовь, и он, кстати, понравился этой сладкой парочке — Крутику и Ириске, обожавшим суицидальные темы в искусстве.

К слову, любовь к поэзии была еще одной скрепой их дружеского союза. Основательно потоптавшись на Серебряном веке, оба — и Крутик, и Ирис — вдруг страстно полюбили стихи Бродского и читали их наизусть при всяком удобном случае. Эми до Бродского не снисходила, поскольку отболела им в более нежном возрасте. А я пока не дорос. Я как самый отсталый все еще сидел на Евтушенко.

Еще один аргумент в пользу того, что после Крутика новой хозяйкой Йорика стала Ириска — ее неравнодушие к эзотерике (которое в основе своей, вероятно, было

простым любопытством). Подозреваю, она могла ассистировать моему другу в проведении черных месс на дому. Однажды он не без гордости расстегнул рубашку, и я ахнул: вся грудь, вся спина его были как будто исписаны красной шариковой ручкой — это напоминало причудливую татуировку — в общем рисунке угадывались волны, горы, деревья, облака. И лишь приглядевшись, я с содроганием убедился, что все это — свежие порезы. Их первое интимное свидание с Ирис состоялось в его чудо-комнате на улице Жуковского. Интимность заключалась в том, что, раздевшись догола, они с увлечением резали друг друга бритвами, буквально залив комнату кровью, — возможно, этим и объяснялись бурые пятна на зубах Йорика, который тоже мог принимать пассивное участие в этом странном действе. Вероятно, его «поили» кровью — почему нет?

— Ничего ты не понимаешь. Это искусство. Его высшая форма. Мы рисовали друг на друге.

Я действительно ничего в этом не понимал, да и сейчас едва ли понимаю. Нашептал ли это вызванный Крутиком бес или все придумала наша неповторимая Ириска Ермолаева? Она могла. Было в ней что-то от маленькой ведьмочки.

На Ириску она обижалась — звучало как-то совсем по-детски, к тому же еще свежа была память о несчастной клоунессе из утренней передачи «АБВГДейка». На самом деле ее звали Ира, но для всех она была Ирис. Возможно, тут не обошлось без любви к Набокову, к роману «Смотри на арлекинов!», впрочем, не думаю, что она успела прочитать его, тем более что книга тогда еще не была переведена на русский. Сама она не жаловала расспросов о происхождении своего псевдонима, однако сравнения с одноименным цветком воспринимала благосклонно. Тем более что изображение ириса было одним из ключевых элементов эстетики модерна, который она, мечтавшая стать второй Фридой Кало, обожала. И как бы манерно ни звучало это имя, как бы мезальянсно ни выглядело оно в сочетании с рядовой русской фамилией, она ему вполне соответствовала, ведь Ирис по-гречески — радуга. Она была девушкой-радугой — и отнюдь не только потому, что носила яркие наряды, чем смущала наших пожилых педагогинь, после отмены школьной формы еще не привыкших к пестроте учащейся массы. Радуга была у нее внутри, это проявлялось во всем: в причудах и склонностях, в манере говорить и смеяться, в почерке, в походке, в стилистике сочинений по литературе, в любовных повадках и сумбурности ее неисчислимых эротических приключений. А впоследствии, когда обнаружилась и Ирискина сексуальная всеядность, ее радужное имя заиграло новыми красками.

Что еще можно сказать о ней? Ириска была девушкой, подарившей мне первый поцелуй. То есть, у нее-то он был далеко не первый. Да и не подарила, а просто навязала, можно сказать, всучила. Это было у Эми «на хате» — высосав бутылку «Алазанской долины» вперемешку с каким-то сладеньким ликером, мы слушали Джима Моррисона, распластавшись вчетвером на огромной, как Дворцовая площадь, кровати. Поначалу все было вполне целомудренно. Я закрыл глаза, погружаясь в приятную дремоту, и вдруг почувствовал, что мне трудно дышать. Через секунду я увидел предельно близко кошачьи зрачки болотного цвета, краем глаза сумев заметить, что Эми и Крутик деликатно, на цыпочках ретируются. «Куда же вы, сволочи!» — хотелось крикнуть, но было поздно. Я старался соответствовать моменту, судорожно соображая, что принято делать в подобных ситуациях. Мне ничего не было от нее нужно, мне совсем не хотелось проделывать с ней все эти взрослые вещи, но сама логика происходящего заставляла меня расстегивать ей рубашку, под которой, вопреки ожиданиям, не было ничего, кроме двух маленьких розовых сосочков на

совершенно ровной мальчишеской груди. И когда я машинально продвинулся дальше — то есть ниже — и под белоснежными кружевами уже обнаружился рыжеватый пушок, я с радостью услышал слабое: «Не надо». Тогда я не знал еще, что в таких обстоятельствах «нет» может означать нечто совершенно противоположное, и это невежество избавило меня от необходимости продолжать этот мучительный заплыв в неизвестность. Через минуту мы уже сидели одетые и болтали о чем-то отвлеченном. А через четверть часа в дверь осторожно поскреблись. Эми и Крутик пытались сделать вид, что ничего экстраординарного не случилось, но гаденьких своих улыбочек задавить не могли. Ирис, единственная из нас сохранявшая душевное равновесие, прикурила сигарету и спросила, где они пропадали так долго.

— На кухне чай пили, — обиженно соврал Крутик.

Как более опытный товарищ он заботился о моем половом просвещении. Ему нравилось наставлять меня. И пропустить мой первый сексуальный сеанс он не мог. Но то ли замочная скважина была слишком маленькой, то ли дверная щель чересчур узкой — в итоге он так ничего и не узнал. Впрочем, в ответ на его расспросы я не стал выдумывать то, чего не было.

— Нет, не трахнул. Успокойся.

Правду говорить легко и приятно. Мне никогда не грезилось потерять девственность с Ириской, я смотрел на нее без тайных мыслей приобщиться ко все увеличивавшемуся гурту ее любовников.

— Но где ты научился так целоваться? — обескураженно спросил он. — Ириска мне рассказала.

Не помню, что я соврал тогда, о каких своих несуществующих девушках рассказал. Помню лишь, что долго оплакивал невинность своих губ и всерьез опасался, что никогда уже не смогу почувствовать сладость поцелуя желанного и единственно возможного, в любви даваемого — того самого, о котором было написано в известном романе о «разумных эгоистах».

Раздобыть Ирискин телефон спустя столько лет оказалось делом непростым — у Крутика, отрекшегося от прошлой жизни, его якобы не было, прочие выходившие на связь экс-одноклассники и экс-одноклассницы уверяли, что, как и Эми, Ириска пропала из виду сразу после выпускного. К счастью, я вспомнил о рыжем студенте-стажере с незабываемой фамилией и весьма запоминающейся внешностью — у них с Ириской было что-то вроде романа. Найти его оказалось на удивление просто: стоило набрать эту странную — то ли греческую, то ли мингрельскую фамилию, и Интернет сразу выдал знакомую конопатую физиономию, еще больше раздавшуюся вширь. Бывший стажер из педвуза, тренировавший на нас свои зачаточные педагогические навыки, в новой жизни стал муниципальным депутатом, номер его мобильника был в открытом доступе. Мой звонок его насторожил, он долго мычал в трубку — то ли соображал, о ком идет речь, то ли пытался понять, не происки ли это политических конкурентов. В конце концов, промямлив что-то нечленораздельное, он продиктовал номер телефона.

Я написал ей в WhatsApp, немедленно вызвав ураган приветствий и расспросов, обильно сдобренных смайликами и сердечками. В этом потоке слов слегка смущало множество грамматических ошибок — поначалу я засомневался в достоверности добытых контактных данных, тем более что тщательно отретушированная женская фотография моей корреспондентки лишь весьма отдаленно напоминала лицо той, что чуть было не лишила меня невинности четверть века назад. С аватарки смотрела

незнакомая щекастая леди средних лет с ярко накрашенным ртом и заново нарисованными глазами. Но она меня вроде бы узнала и была мне, кажется, рада, а огрехи по части русского языка я отнес на счет женской эмоциональности. Что касается фотографии, то, возможно, Ирис просто использовала чужую — скрываться под масками было в ее духе. После обмена ритуальными фразами насчет идущих дел и утекшей воды я задал свой главный вопрос.

«Какой еще Йорик? Не помню такого. Был у меня Юрик, был и Ярик, а Йорика не знаю», — написала она в ответ, добавив, что если я немедленно не навещу ее скромное жилище, то буду последним гадом на всей планете.

Против этого аргумента устоять было трудно. К тому же я был почти уверен, что череп находится у нее — стоит где-нибудь на видном месте как напоминание о бурной юности. А может, поныне используется в домашних мистериях. Только бы он был цел — только бы не вздумалось ей превратить Адамову голову в ритуальную чашу, спилив крышку черепной коробки.

Едучи к Ириске с бутылкой французского вина и букетом голубых ирисов, я пытался вообразить себе ее жилище, мерещившееся мне почему-то то в сумрачно-готическом, то в ориентальном стиле. В кресле у камина мне виделся породистый пожилой муж — утонченный интеллектуал, снисходительно смотрящий на чудачества жены. У ног его лежал такой же породистый пес — например, черный дог. Я приготовился с глубокомысленным видом осмотреть коллекцию восточных амулетов, образцы «актуальной живописи» на стенах, с восторгом обнаружить фигуру Будды в красном углу, вдохнуть аромат жженого сандала...

Что касается аромата, то его я почувствовал еще на лестнице. Так иногда пахнут квартиры, в которых держат собак. Дверь, обитая истертым дерматином, оказалась незапертой. Позвонив, я услышал из глубины шум воды и приглушенный женский крик, приглашавший войти. Насчет собак я не ошибся: в прихожей меня встретила приветливая бородатая дворняга. Она пролаяла что-то радостно, завертела хвостом и, встав на задние лапы, положила передние — изумительно грязные — мне на грудь. Под вешалкой со старыми линялыми шубами на россыпи истоптанных тапок спала на боку беременная кошка. В первую минуту я решил, что ошибся: ничего общего с априорными представлениями о квартире моей бывшей одноклассницы здесь не было. Признаки обитания в этих стенах мужчины также отсутствовали. Передо мной было давно — возможно, еще с советских времен — не ремонтировавшееся жилье. Но главное, ничего общего не оказалось с тоненькой и гибкой, как ивовый прутик, Ириской у той полнотелой бабёхи в банном халате, с тюрбаном из полотенца на голове, которая вместе с облаком пара выплыла из ванной и немедленно заключила меня в пахнущие шампунем объятия.

— А я решила голову помыть. Все-таки гость! Все-таки мужчина! Извини, ненакрашенная — не успела. Давай, проходи на кухню. Зря винишко притащил — я что покрепче люблю. Да не переживай, у меня есть.

В квартире было оживленно. Мимо меня в сторону кухни равнодушно прошли несколько кошек и какие-то дети — насупленная девочка-подросток и мальчик лет семи. Судя по голосам, доносившимся из комнат, детей в этом доме было много.

— Ма, опять они мои краски взяли, — плаксиво пожаловалась девочка и, не дожидаясь ответа, ушла.

В тесной кухоньке пахло жареным луком и мусорным ведром. Голубым лепестком трепетал в водогрее газ. Ириска энергично метала на стол, звеня посудой.

Разделочным тесаком моментально расправилась с тушкой бройлера, через минуту уже пронзительно шипевшей на исполинской сковороде под большой, как рыцарский щит, крышкой. Здесь вся посуда была непривычно крупных размеров.

— Сань, можешь лампочку в коридоре ввернуть, пока я тут вожусь? — бросила Ирис через плечо. — Стремянка в кладовке. Лампочки там, справа, на полочке.

Я так и не понял, чего в этом доме было больше — детей или кошек. И те, и другие то и дело попадались мне на пути. Проходя по сумеречному коридору, я не преминул заглянуть в одну из комнат, откуда доносились пронзительные детские голоса. В ее дальнем углу белобрысые двойняшки с увлечением рубились в компьютерную стрелялку. Мое появление не вызвало у них никакой реакции — видимо, к гостям тут привыкли. Беглый осмотр помещения присутствия Йорика не выявил. Впрочем, череп мог находиться под завалами разнообразного хлама, сложенного по углам этой довольно просторной комнаты. На полках и шкафах тоже было полно всякой рухляди — коробок, свертков, полиэтиленовых мешков. Небоскребами высились пестрые стопки одноразовых книг и отживших свой век видеокассет. На диване, вытянув костистые босые ноги, дремала устрашающего вида старуха. Из ее приоткрытого рта одиноко торчал желтый клык. Стараясь не шуметь, я продолжил путь к кладовке, которую тоже не лишне было осмотреть.

Дело это было безнадежное — в кладовой, как и во всей квартире, наблюдалось невообразимое количество хлама, и шансы найти что-либо в этом хаосе при поверхностном осмотре были ничтожно малы. Единственным способом узнать местонахождение Йорика могло быть интервью с хозяйкой. Закончив с лампочкой в коридоре (заляпанная краской стремянка угрожающе скрипела), я вернулся на кухню, застав там, как говорит один мой приятель, «душевный столик». Передо мной румянилась на тарелке куриная ножка, увязшая в дымящейся лаве картофельного пюре, по которому растекалось расплавленное золото сливочного масла. Рядом символами изобилия громоздились в мисках домашние соления, мраморно белели на тарелке брусочки сала. В центре стола ледяной башней возвышалась литровая бутылка водки, извлеченная из морозильника.

Ирис возилась со спичками — собиралась зажечь мятую новогоднюю свечу в виде ёлки, вставленную в аляповатый, залитый воском подсвечник.

— Для настроения, — игриво подмигнула она.

Я смотрел на нее, так и не снявшую свой султанский тюрбан, и мысленно вопрошал: «О, где ты, где ты, где ты, Ирис? Куда делась та маленькая стройная девочка, любительница Бродского и кровавого боди-арта?» Лицо ее вполне соответствовало изображению на аватарке, но узнать в этом наплыве щек, в этой тяжелой маске из дрябловатой мякоти те — никогда не любимые мною, но по-сестрински милые сердцу черты было трудно...

Когда все было готово, она опустилась на табурет, взяла рюмку и воодушевленно выдохнула:

— Ну, за встречу!

Мы опрокинули, я сразу налил по второй.

— Ну, рассказывай!

— Нет уж, сначала ты. Как живешь?

— Да нормально живу, чего Бога гневить. У меня производство кондитерское, — не без гордости ответила она. — Тортики на заказ леплю. Бабуля помогает и дочка, Верочка, — ты ее видел. Пирожные тоже могу. Народ метёт за милую душу. Утром

сегодня пирог вон вишневый продала — большой такой, во весь стол. Хочешь — тебе со скидкой...

— Сладкая женщина, значит, — усмехнулся я, вспомнив одноименный фильм.

В ту же секунду я пожалел, что сказал это: под столом моей голени коснулось что-то мягкое — я было решил, что кошка, благо этих тварей в квартире было не счесть, но по взгляду Ирис понял, что главной кошкой здесь числилась она.

— Еще какая сладкая, — промурлыкала Ириска.

— За тебя! — нашелся я.

Мы снова опрокинули.

— За детей!

— За родителей!

Она медленно, но верно пьянела. Еще рюмку, и можно начинать расспросы.

— Общаешься с кем-нибудь из наших?

— Да нет, в общем. После школы как отрезало. А ты?

— Да я, в общем, тоже. Ну, давай за школьные деньки, так сказать!

Мы снова опрокинули. Я чувствовал, как первая, самая легкая, самая приятная волна опьянения накатывает на меня — еще слишком слабая, чтобы накрыть с головой и унести в открытое море алкогольного угара, но уже грозящая постепенной потерей самоконтроля. От момента, когда «падают шторки» и все становится возможным (даже, например, совместное посещение ванной комнаты — единственного в этой многолюдной квартире места, пригодного для уединения), — я находился рюмках в пяти-шести. Надо было переходить к делу. Я налил еще по одной.

— Ну, а теперь колись, подруга, куда череп дела, — пророкотал я, с преувеличенной строгостью ткнув в ее сторону обглоданной куриной косточкой.

Ее реакция была весьма неожиданной. Она медленно опустила глаза, сжав в руке вилку с соленым груздем. Потом исподлобья посмотрела на меня — в этом взгляде смешались предельное изумление и... запредельная ненависть.

— Откуда ты знаешь...

Это был не ее голос. Более того, этот голос был уже не женским и вообще не человеческим — таким утробным баском вещают откуда-то из жутких глубин засевшие внутри человека демоны во время церковной отчитки.

— Откуда ты знаешь... — снова произнес этот жуткий голос, и мне стало совершенно ясно, что медлить с ответом не стоит. Ибо застывшая в ее кулаке вилка вполне может совершить молниеносное путешествие к одному из моих вылупленных от удивления глаз.

— Так это... Крутик сказал, — сдал я старого друга.

— Кто?

— Бывший оперуполномоченный Алексей Крутиков, — я еще пытался шутить, но понимал, что ситуация неудержимо сползает в какой-то адский мрак.

— Ты что, в ментовке работаешь?

Это была ярость, доведенная до температуры кипения. Я покосился на дрожащую шляпку соленого груздя, вспомнил про разделочный нож в раковине, костлявую старуху на диване, и каждой клеткой своего жизнелюбивого тела почувствовал, что вполне могу разделить участь бройлера.

— Ты зачем пришел? — по-змеиному прошипела она.

— Да что с тобой, Ириска?

— Ты зачем пришел?! — прорычала она, вскочив.

Я тоже поднялся на ноги и машинально поправил галстук — рука сама потянулась

к шее. Но тут моя визави громко всхлипнула и вцепившись в свой тюрбан, плюхнулась обратно на табурет.

— Вы не представляете... — начала она после минутного молчания, не поднимая головы. — Ты не представляешь, какой он был сволочью... — прежним, только бесконечно усталым голосом протянула она. — Меня бил, детей бил... Баб сюда водил — прямо при мне. Я не хотела... Он пьяный пришел. Я его оттолкнула, понимаешь? Он сам упал, башкой ударился. Вон о край мойки. Не так уж и сильно... Я «скорую» хотела вызвать, но смотрю — поздно.

Я ничего не понимал. Я лишь смутно догадывался, что к Йорику ее рассказ отношения не имеет.

— Так значит, не у тебя он? Не у тебя, говорю, череп-то?

— Я его к сестре на дачу отвезла. Там в лесу закопала. Но теперь и сама не найду. Да и не хочу. Надо вам, вы и ищите.

— Зачем закопала-то, дурёха? — все еще не понимал я. — Мне бы лучше отдала...

— Ты что, дурак? — вскинулась она. — В твоем-то черепе что — опилки? Башки нет, значит, труп не опознать. Мясо-то я Диксону скормила — ты с ним в прихожей познакомился, — кости потом месяц по мусорным бакам раскидывала. А кишки его поганые — в Мойку. Он все рыбу ловил, а потом сам на корм своей плотве, будь она проклята, пошел. Только в конторе вашей галимой я об этом не скажу. Понял? Не знаю ничего — пропал мужик и пропал. Слышь, ты? Четыре года прошло — не докажете.

Она горделиво вскинула голову, ее заплаканные глаза вызывающе сверкнули. Тут только до меня дошло. Я почувствовал, как проглоченные куски бройлера просятся назад. Не тем ли самым ножом, которым...

— Ириска...

— Я не Ириска.

— Ирис...

— Я не Ирис. Я Ирина. Ира я. Понял?

Ее зрачки были покрыты коркой льда — как бутылка, за которую я ухватился, словно за последнюю точку опоры.

— Ладно, Ирка. Забыли. Давай, что ли, выпьем... За упокой души...

Когда человеколюбивая собака-людоед пролаяла мне что-то на прощание и дерматиновая дверь за мной захлопнулась, я что было прыти припустил вниз по лестнице, на ходу наматывая на уцелевшую шею шарф и не без труда пытаясь осмыслить произошедшее. Чувствовать себя живым и целым, не нарубленным на собачьи порции, было приятно, хотя меня все еще подташнивало при мысли о том кошмаре, который четыре года назад творился в этой чертовой квартире. Где были в это время дети? Неужели все происходило при них? А старуха? Помогала кромсать тушку зятька?

Нет, конечно, это была не она — не Ириска. Скорее всего, эта рыжая бестия, этот чертов народный избранник, подсунул мне какую-то другую Иру — одну из тысяч обыкновенных Ир. За этот подлог его самого надо пустить на корм рыбе! Впрочем, возни с таким боровом было бы слишком много.

Ну а если это все-таки она, наша девочка-радуга?

Выскочив на улицу, я долго не мог надышаться.

Теперь можно было попробовать наведаться к Эми. При всей своей феноменальной забывчивости я отчетливо помнил место, где она жила. С фотографической

точностью я мог воспроизвести в памяти многоугольные контуры ее огромного двора, сворачивая в который с узкой улицы я всякий раз на несколько секунд испытывал что-то вроде пространственной дезориентации — перед глазами распахивалась внезапная ширь, в которой свободно мог бы уместиться целый микрорайон. Но капитализм, как и природа, не терпит пустоты — когда спустя столько лет я снова оказался во владениях Эми, там, где мы вчетвером бродили по заросшим лебедой пустырям, выгуливая ее визгливую болонку, теперь торчали три многоэтажных близнеца, три богатыря в стеклянных шлемах и зеркальных латах. Такие дома принято называть элитными. Этот украшающий эпитет был жирно подчеркнут сплошной железной оградой, опоясывавшей территорию проживания успешных людей. Считавшаяся некогда роскошной кооперативная брежневка, в которой жила наша Эми, убого жалась в стороне, как бедный родственник.

Пришлось обойтись без звонков вежливости — номера ее телефона ни у кого не было. Нехорошо заваливаться в гости без предупреждения, тем более спустя двадцать пять лет, но во внезапности моего появления могла быть известная польза: если череп у нее, она не сможет отвертеться. Я увижу все по глазам, не особенно умевшим врать.

По пути я пытался представить, какой она стала. Речь не о внешности — если я не обознался тогда и встреченная мною возле метро женщина когда-то действительно была Эми, — то, вопреки усилиям времени, она не слишком-то изменилась. Интереснее было узнать, что осталось в ней от той странноватой девы, помешанной на рок-н-ролле и обожавшей все, что принято называть постмодернизмом.

На четвертый этаж я поднялся в старом, плохо пахнувшем лифте, с приятным недоумением обнаружив на его грязных стенках полустертые, сделанные еще Крутиком, надписи и корявые полудетские рисунки-шаржи, изображавшие нашу четверку: Эми с Ириской, летящих на метле, длинного и сутулого меня с выдающимся кадыком на полудохлом тощем Пегасе. Себя Крутик изобразил мчащимся на мотоцикле статным атлетом с голым торсом и в штанах с черным поясом — ни дать ни взять Жан-Клод Ван Дамм. Не заставая Эми дома, Крутик оставлял ей зашифрованные послания. Она изредка отвечала на них короткими английскими фразами, рисуя в конце маленькие условные рожицы — предтечи нынешних «смайликов». Вид этих посланий из прошлого, этой пещерной живописи нашей юности, настолько взволновали меня, что я долго стоял перед знакомой дверью, медля возвестить о своем прибытии.

Входная дверь многое может рассказать о квартире и ее обитателях. Эта не была исключением: если в те далекие времена она бодро заявляла о том, что хозяева состоятельны, прогрессивны и чистоплотны, то теперь сообщала нечто совершенно обратное: понуро бормотала о постигших семейство неурядицах, об утрате ими не только высоких доходов, но и элементарной опрятности. В нескольких местах истертая кожа была размашисто распорота — то ли это была месть соседей, то ли заурядный бытовой вандализм. Внизу дверь была особенно грязной — очевидно, хозяева имели обыкновение закрывать ее ногами. Впрочем, хозяева ли? Неизвестно, кто живет за этой дверью теперь. Прежние владельцы — родители Эми — вполне могли продать ее или разменять. В этом случае моя миссия оборачивалась провалом: последняя нить была бы оборвана.

Наконец, после нескольких минут безмолвного стояния я нажал на истертую кнопку звонка. За дверью послышалось знакомое щебетание искусственного соловья — шик по тем невероятным временам, когда мы вчетвером собирались тут, чтобы побалдеть под музыку и сухое вино.

Что сказать, если подойдет Эми? Ничего не говорить — просто улыбнуться ей в дверной глазок. А если не узнает — назвать ее по имени...

Я приложил ухо к двери — в квартире явно кто-то был. Этот кто-то совершенно не таился от меня, незваного пришельца. Женский голос в глубине квартиры ровно вещал что-то, и можно было бы решить, что это радиоприемник, который не выключили перед уходом, если бы не скрип паркета и странные, похожие на сдавленное мычание звуки, то и дело прерывавшие этот монотонный, как молитва, поток неразличимых слов. Я проявил настойчивость, граничащую с нахальством, раз за разом надавливая на кнопку звонка, заставляя электрическую птичку заливаться страстными трелями. Потом начал стучать — сначала кулаком, а затем и носком ботинка. Усилия мои оказались тщетны: мне не открыли ни через четверть, ни через полчаса. Как будто эта ободранная дверь была границей между параллельными мирами, обитателям которых не суждено увидеть друг друга.

Я приезжал сюда трижды — так обычно бывает в сказках, где ничего не происходит с первого раза. Вторично я навестил этот дом уже спустя полгода — командировка, загнавшая меня на окраину ойкумены, перетекла в длительный отпуск, который я провел на противоположном конце земного шара. Когда же, загорелый и полный оптимизма, я снова оказался перед знакомой дверью, мне опять не открыли — правда, чье-либо присутствие в квартире на сей раз не обнаруживалось — если кто-то и был там, то, верно, спал или нарочно затаился в неподвижности. Между тем об обитаемости этой квартиры косвенно свидетельствовали засохшие отпечатки разнокалиберных каблуков, по всей видимости, женских. Рядом змеились следы колес — от детской коляски, решил я. Было странно думать, что у Эми могли быть дети — а впрочем, почему нет? Почему бы ей не родить какого-нибудь бледноликого вундеркинда?

Итак, вторая попытка тоже оказалась неудачной. И только в третий раз мой визит увенчался успехом.

Невидимая птичка снова захлебывалась бесполезным чириканьем. В перерывах между соловьиными руладами я прикладывал ухо к дверной щели и жадно вслушивался в ватную тишину квартиры. Я был близок к бешенству. Мне хотелось наказать эту упрямую дверь, не пускающую меня в прошлое, — например, добавить новый порез на ее старческой коже. Ограничившись лишь тремя ударами кулаком и одним, не вполне удачным — ногой, я, слегка прихрамывая, направился к лифту. Спускаясь вниз, с грустью перечитывал знакомые надписи, дивясь, насколько коряв был крутиковский почерк. Нарочно прихваченным с собой черным маркером ниже размашисто написал: «Приходил тот, кто хуже татарина». От этой немудреной остроты протянул пунктирную стрелку к собственному кадыкастому изображению, контуры которого пришлось немного подновить. Эми сообразительная, она поймет. Несколько секунд я боролся с соблазном пририсовать снизу череп, но лифт уже скрежетал, приземляясь, и я сунул фломастер в карман.

...Из лифта я выходил в тот момент, когда открывалась, визжа ржавой пружиной, парадная дверь. Раздраженно расшвыривая сухие щепотки слов, среди которых можно было различить только матерные, восточного облика женщина вкатывала в дом инвалидную коляску. Сидевшая в коляске Эми не слишком изменилась — та же бледность, те же фиолетовые мешочки под глазами — только сами глаза были совершенно другие, как будто украденные хризолитовые подлинники заменили стеклянными копиями. Голова ее, увенчанная нелепым вязаным колпаком, была чуть

наклонена вперед, рот приоткрыт — словно она хотела что-то сказать и все не могла собраться с мыслями.

— Эми...

Услышав свое имя, Эми — вернее, ее печальная тень, как будто улыбнулась, но уж точно не мне: смотреть она продолжала мимо или сквозь меня — в светлую, видимую только ей даль.

Несмотря на боль в лодыжке, я помог поднять коляску к лифту. Восточная женщина совсем плохо говорила по-русски, но слово «пандус» знала.

— Пандус нэт, билят, — со злостью констатировала она.

Я протянул ей пятисотрублевую бумажку. Это сделало ее разговорчивее.

— С балкона прыгал, голова плохой был. И сиделка плохой был — не смотрел как надо. На дерево попал — хорошо.

Мы вкатили коляску в лифт. Я продолжал расспросы.

— Мама-папа? Нэт, — женщина неопределенно махнула рукой — это жест мог означать что угодно, в том числе отъезд за границу или отбытие на кладбище.

О том, кто именно дает деньги на уход, вытянуть не удалось. Она назвала заурядное женское имя-отчество, ни о чем мне не говорившее. Вероятно, какая-нибудь родственница. Почему Эми не отправили в больницу, тоже было неясно. С одной стороны, понятно нежелание отдавать родного человека в казенное учреждение, в грубые лапы санитаров. С другой — держать душевнобольную в квартире без квалифицированного присмотра опасно. В окно она уже не выйдет, но пустить газ или устроить пожар ей под силу.

— Уйду, сказала, — бормотала водительница коляски, выкатывая ее из лифта. — За такой работа другой дэнги надо. Жалко ее, но пандус нэт... Мыть, стирать, суп-каша варить надо? Надо. А я один совсем...

Когда мы оказались перед входной дверью, возникла заминка, что-то вроде неловкой паузы. Моя собеседница нетерпеливо звякнула связкой ключей в кармане куртки, но открывать не торопилась.

Я снова посмотрел на Эми. Она по-прежнему сидела в оцепенении, слегка скособочившись и продолжая невидяще смотреть перед собой. Присев перед ней на корточки, я взял ее руку — сухую, прохладную и бессильную. Подержал немного и поднес к губам. Ее белёсые брови поползли вверх и по-детски сложились домиком — все ее лицо приобрело выражение мучительной жалости — так смотрят на раненую птицу или безнадежно больного ребенка. На кого в этот момент глядели ее глаза? Кого они так жалели? Единственным достойным сострадания существом здесь была она. Через минуту вернулось прежнее выражение — вернее, отсутствие какого-либо выражения снова покоилось там, где когда-то было ее лицо.

В эту минуту в моей голове заворочалась дикая мысль: что если все это случилось с ней из-за Йорика? Что если это он сделал ее такой? И, если я найду его и унесу отсюда, быть может, рассудок вернется к ней...

— Давайте помогу, — я попытался перехватить коляску.

— Нэт, нэт, я сама, я сама... — испуганно затараторила женщина, вцепившись в ручки.

— Я помогу вам. Я друг детства... Друг семьи, так сказать... Я свой. Я помогу вам...

— Нэт, нэт... Мущина... Я вас нэ знаю...

– Хорошо, хорошо. Одну минуточку. Подождите. Я только попрощаюсь.

Я снова опустился на корточки перед Эми, все так же с полуоткрытым ртом смотревшей куда-то в свой таинственный мир, и опять завладел ее бледной, в голубых

прожилках, с неровно остриженными ногтями, бесконечно жалкой рукой. Хотя бы одна минута просветления, хотя бы несколько секунд!

— Ну, до свидания, Эми... — я встал и направился к лифту.

Женщина медлила, позвякивая ключами. Она выжидала. Когда автоматические створки почти сомкнулись передо мной, лязгнул, наконец, дверной замок, заскрипели старые петли. Я быстро сунул ладонь в щель, и двери лифта, помедлив секунду, поехали назад. Женщина обернулась, но было уже поздно: я бросился к двери в тот момент, когда передние колеса уже перекатились через порог.

— Аа-ай, — жалобно вскрикнула она.

— Я помогу вам! Тише! Тише! — шипел я, боком протискиваясь в полутемную прихожую.

В нос ударил запах многолетней затхлости. Женщина за моей спиной испуганно лепетала что-то на своем языке. Вскоре мне стало понятно, почему она столь ревностно обороняла вход: из некогда родительской комнаты вышел заспанный, похожий на сушеный инжир низкорослый мужчина лет пятидесяти, из-за его спины с любопытством выглядывала смуглая девочка-подросток.

— Это моя... Они завтра вокзал... — раздался плаксивый голос сзади.

Оказалось, я помнил в этой квартире каждый угол, каждый закуток. Ничего здесь не изменилось — мебель, обои — если не считать цветовой гаммы, вернее — одного единственного цвета, в который слились все прежние краски этого дома. Серый цвет преобладал — цвет пыли и обреченности. Цвет времени. Все здесь как будто выцвело, выгорело на солнце.

Я рванулся к комнате Эми. Все в ней выглядело иначе, без прежнего сумбурного уюта полубогемной норы. Знакомая «безразмерная» кровать была не убрана, скомканное, давно не стиранное белье серой горой возвышалось среди общего беспорядка. Седые слои пыли покрывали все поверхности — от подоконника до кроватной спинки. По полу валялись обрывки бумаги, какие-то лоскуты, грязные бинты, несколько раздавленных пластиковых стаканчиков.

Я заметался по квартире, шныряя глазами по углам и открытым поверхностям, бесцеремонно заглядывая в шкафы. Йорика нигде не было. Молчаливой свитой за мной бегали беззаконные жильцы: к мужчине и девочке добавилась беспрерывно охающая златозубая толстуха в пестром платке с младенцем на руках. Младенец вскоре заплакал, что придало всей этой сцене душераздирающий вид.

— Эээ... Чего хотел, уважаемый? — наконец, прорезался мужской голос.

Я неожиданно расхохотался — то ли меня действительно рассмешил этот вопрос, то ли овладевший моим рассудком демон имел слабость к театральным эффектам.

— Я ищу череп. Че-реп, понимаешь? — я растянул пальцами уголки рта, изображая Йорикову улыбку. — Отдай мне его, и я уйду.

— Нэт, уважаемый, тут такого, — испуганно заулыбался мужчина-сухофрукт, обнажив блестящие золотые резцы посреди зубной черноты.

Еще один пузырь дьявольского хохота лопнул внутри меня.

— Есть! Есть тут такой, уважаемый! Ищи! Ищи ты тоже! Ищите все! Иначе всех сдам! Слышите?

Не верилось, что это говорил я. Да и сейчас верится с трудом. Тем не менее, человеком в черном пальто, бегавшим по чужой квартире в поисках утраченного черепа и скверно орущим, был именно я. Забежав в ванную комнату и увидев в треснувшем зеркале вспотевшую, искривленную яростью физиономию, я не сразу узнал себя. И только чуть позже догадался, что сам начинаю сходить с ума. Видимо, воздух этой квартиры был пропитан безумием.

Не знаю, сколько времени прошло, пока я носился по комнатам, вскакивал на стулья, шаря по верхам ветхих шкафов, выдергивал ящики из комодов, расшвыривая их убогое содержимое. Последним местом, куда я сунулся, была кухня. На заляпанном, усеянном хлебными крошками и зернами гречневой каши обеденном столе стояла треснувшая голубая миска с недоеденной вермишелью. Я опустился на грязный, липкий стул и, глядя на эту миску, вдруг ощутил чудовищную, парализующую тоску. Прошло минут пятнадцать, прежде чем мушиные лапки рассудка вновь зашевелились в моей голове.

Появился златозубый мужчина, поставил передо мной стакан, доверху наполнил его водкой и почтительно отошел. Все святое семейство сгрудилось у входа, наблюдая, как я медленно, не морщась — словно простую воду — пью эту дешевую дрянь. О, если бы опьянеть! Но водка не действовала. Он налил еще. Я с удивлением огляделся по сторонам, не до конца понимая, как оказался здесь, в этой кухне. Мой блуждающий взгляд скользнул по деревянной хлебнице, по переполненному мусорному ведру и остановился на розоватых закатных облаках, висевших в прямоугольнике окна. Не отсюда ли вышла однажды Эми? Не здесь ли стояла она в последний раз на своих худых ногах? Окно было старое — не стеклопакет, а обычная деревянная рама, давно не крашенная, с чешуйками высохшей эмали. Я дернул шпингалет, толкнул скрипучие створки, впустив в помещение наполненную сладким запахом прели свежесть осеннего вечера, далекий лай собаки, крики детей и птиц, гул невидимого самолета.

Мир равнодушно продолжал свое непостижимое существование.

— Не сидите на ступенях эскалатора!

Я не сразу понял, что этот пронзительный женский крик обращен ко мне. Водка начала действовать с большим опозданием — исподтишка ударила в висок у входа в метро. Мир накренился и стал медленно съезжать — меня, что называется, повело. К счастью, внимание охраны было всецело поглощено медицинскими масками на лицах входящих, недостаточная твердость моей походки никого не насторожила. Пресловутый «масочный режим» был мне на руку во всех отношениях: машинально натянутый мной на физиономию бело-голубой прямоугольник не только спасал от венценосного вируса, но и прикрывал мой неудержимо кривящийся в улыбке рот. Что-то странное происходило с моим лицом. Оно тоже «поехало», как и все вокруг. Человека с такой перекошенной рожей едва ли можно пускать в метро. Но благодаря маске я свободно вошел и, пройдя турникет, ступил на раскладывающуюся под моими ногами чудо-лестницу. Почувствовав внезапную слабость в ногах, мешком опустился на ступень, и тут водка нанесла второй удар: я, наконец, заплакал.

— Мужчина, я кому говорю?

Да, это относилось ко мне. Пришлось подняться на хлипкие ноги и вцепиться в приплюснутого черного червя, тянувшегося вниз, в теплое чрево этой рукотворной преисподней, непрерывно поглощавшей и изрыгавшей наружу бесконечные гирлянды человеческих голов. Всё вокруг — круглые своды наклонной шахты, похожие на факелы светильники, ребристые ступени под ногами — казалось текучим и вязким, как сгущенное молоко.

Внизу на перроне стояло и ходило множество пассажиров, и было совершенно непонятно, для чего такое огромное количество людей скопилось под землей. Из черноты тоннеля задул несвежий теплый ветер, вспыхнул электрический глаз приближающегося поезда. Возвестив о своем прибытии трубным воем, состав со свистом затормозил, передо мной раздвинулись автоматические двери, между вагоном и перроном начался обычный обмен телами — одни выбросило наружу, другие, в том

числе и мое, втянуло внутрь. Оказавшись в душной тесноте, я ухватился за металлический поручень и осторожно огляделся.

Зачем нас так много? Какой в этом смысл? Чем это оправдать? Неужели существование вот этого, похожего на морскую свинку маленького человечка в дурацкой шапке так уж необходимо Вселенной? А этот длинноносый и сутулый сопляк, чем-то напоминающий меня двадцатилетней давности, — какие надежды возлагает на него «провидение»? И зачем это бесконечное повторение одних и тех же надежд, иллюзий, разочарований? Ведь все и так ясно.

— Все и так с нами понятно!

Неужели это кричу я?

Я вдруг испытал невыносимую жалость ко всем этим погруженным в себя или в свои телефоны, болтающим, толкающимся, раздражающимся друг на друга нелепым двуногим тварям — моим ближним, в самом прямом смысле этого странного слова. Столько людей, и каждый из них когда-нибудь умрет, каждое из этих лиц исчезнет в огне крематория или могильной гнили. Каждому уже назначен день смерти — единственный и не отменимый, как день рождения. И есть в вагоне человек, который умрет раньше других. Этот бравый отставник? Или вон та пожилая невротичка? А, может быть... Я встретился глазами со своим черно-белым, размытым, похожим на негатив двойником в черном стекле поверх надписи «Не прислоняться», за которым, казалось, была бесконечная ночь — та самая космическая бездна, которая виделась мне в кошмарах, навеваемых Йориком. Тут только я понял, что еду не по своей ветке.

Домой не хотелось — я вышел в центре, у Гостиного двора. Вид Невского проспекта, как всегда, подействовал на меня освежающе. Площадка перед торговыми рядами, четверть века назад именовавшаяся «Стеной плача» и кишевшая преступным элементом вперемешку с околополитическими зазывалами, была чиста и малолюдна. Я постоял немного лицом к Пассажу, спустился в подземный переход, где вдохнул аромат восточных курений, возле витрины Елисеевского поглазел на механический балет шемякинских уродцев, мимоходом взял фляжку коньяку и пошел дальше, в сторону Фонтанки — ноги сами понесли меня к дому, где я когда-то жил и с крыши которого когда-то столь блистательно не прыгнул. Вспомнив об этом, я поежился и машинально перекрестился, мысленно благодаря Неизвестно Кого за ниспосланное мне и спасшее меня в ту майскую ночь малодушие, — чего греха таить, ведь все-таки именно малодушию обязан я всем, что у меня на сегодня есть: коллекцией воспоминаний о глупо, хотя и весело прожитых годах, несколькими десятками бодрых стихотворений и двумя чудными девчушками, которые ждут папу домой, а он все шляется неизвестно где.

Я как во сне пересек суетный Литейный, сунулся в Ахматовский двор. Там было хорошо, и я бы остался подольше, но набежавшие откуда-то шумливые молодые графоманы собирались читать здесь стихи, и мне с моим недопитым коньяком пришлось ретироваться. Снова Литейный, и тут улица Жуковского выхватила меня из человеческого потока, затянула, полуспящего, в свой полупустой желоб, потащила, поволокла, и почти в самом конце — там, где уже маячил призрак Греческой церкви, заставила остановиться.

Это была его, Крутика, арка. За ней — маленький двор, но этот двор — лишь маскировка для непосвященных, его мы, посвященные, пересекаем наискосок и через узкий проход попадаем в другой — более просторный двор, где должна быть — вот, кажется, и она — Лёшкина дверь. Дальше — по лестнице на четвертый (или пятый?) этаж. Я подхожу к двери, но она, конечно, заперта, а тыкаться в домофон бессмысленно: Крутик здесь давно не живет. Его развеселую коммуналку, наверное,

давно расселили. А что если — нет? А что если Йорик — все еще там, в захламленной кладовке, под стопками старых газет, в каком-нибудь пошлом полиэтиленовом пакете, со сдвинутой на сторону челюстью — терпеливо ждет, когда его опять извлекут из темноты, и в его жизнь снова войдет праздник?

Я допил коньяк и пошел прочь.

В храме, куда я, устав шататься по улицам, спустя полчаса забрел в надежде на тишину и полумрак, было неожиданно шумно и светло. И какая-то уж слишком суетная, хотя одновременно и чересчур благостная картинка предстала передо мной: в самом центре, под сияющей люстрой, одетые в праздничные белые платьица девочки с цветами в руках и мальчики в аккуратных выходных костюмчиках обступали священника — неправдоподобно, кинематографично благообразного. Дети тянулись к нему, похожему на огромную завернутую в золотую фольгу конфету. А батюшка, умиленно прищуренными глазками оглядывая их из-под своего золотого горба, что-то тихо, вполголоса говорил им сквозь медицинскую маску, время от времени поглаживая согласно кивающие головки. Вдруг он замолчал и поднял глаза на меня, стоявшего у входа. Мне показалось, что он кивнул мне и как-то лукаво при этом улыбнулся сквозь маску — словно бы старому знакомцу. Я резко развернулся и вышел вон, едва не сбив с ног осенявшую себя крестным знамением бабульку. На улице, не отходя от церковных дверей, достал новую, еще не початую фляжку коньяка и сделал хороший глоток. Когда проходит некоторое время и ты начинаешь трезветь, ощущая звенящую пустоту в голове, как-то особенно приятно разом вернуться в прежнее состояние, не так ли? Ну, куда пойти теперь? Пожалуй, домой...

Когда фляжка наполовину опустела и я вернулся в храм, ни священника, ни детей уже не было. Только едва не сшибленная мною старушонка топталась возле церковной лавки, мусоля в скрюченных пальцах только что купленную свечку.

— Вот и ты, овца заблудшая, сподобилась в Божий дом заглянуть...

Я обернулся. Батюшка — теперь уже без маски и без своего торжественного горба, в простом подряснике, все так же лукаво улыбался мне из светло-русых аккуратно расчесанных зарослей.

— Как дела, Александр? Узнаёшь?

Узнать кого бы то ни было в этом вьющемся, покрывающем половину лица не золотом, но местами позолоченном руне было невозможно. И все-таки я вспомнил, кому принадлежали этот прищур и этот голос — голос, изумительно певший под гитару матерные песенки, произносивший длинные затейливые тосты, рассказывавший самые свежие и самые похабные анекдоты. Это был Лёнька Брагин, однокашник Крутика, завсегдатай его пиршественных чертогов, приводивший туда всякий раз новую девицу, с которой, как он уверял, знакомился по дороге. Он даже жил у Крутика некоторое время — оттуда по утрам они, похмельные, в своих курсантских шинелях и сдвинутых на затылок шапках из искусственного меха ездили в Стрельну, в монастырь, где в то время располагалась школа милиции. Закончив это учебное заведение, Брагин отслужил несколько лет опером, в антинаркотическом, кажется, отделе, потом, примерно столько же лет — за наркотики же — и отсидел.

— Вот уж не чаял... — пробормотал я в некотором смущении.

— Удивлен? — он протянул мне руку.

— Да, неисповедимы пути Господни... — я ухватился за его сухую крепкую ладонь. — Я ее тебе, вроде как, поцеловать должен?

— Что правда, то правда — неисповедимы. А целовать не обязательно. Ты торопишься? Я живу рядом.

Минут через десять неторопливой ходьбы мы свернули под арку и вскоре

оказались в небольшой квартире с неожиданно низкими потолками. У порога был расстелен коврик ручной работы с любовно вышитым изображением беса, высовывающего язык.

— Подарок. От прихожанок, — Брагин с ритуальной основательностью несколько раз вытер ноги о чертячью мордочку. — Проходи.

Я огляделся. Наверное, это было типичное жилище священника: все пространство его заполняли иконы, церковные книги, какие-то аляповатые поделки (видимо, подарки детей и подношения благодарной паствы). В воздухе стоял запах свечного воска.

— Тесновато живешь, отче.

— Ничего, мне нравится. Чай будешь?

Вместо ответа я вытащил коньячную фляжку.

— Да я не пью вообще-то... Но раз такой случай — давай. Только немножко.

Мы расположились за узким столиком на тесной кухоньке, где икон и церковных книг было больше, чем кухонной утвари. Брагин переоделся: теперь на нем были клетчатая рубашка и джинсы. Я задал неизбежный вопрос:

— Крутика давно видел?

— Давно. Лет семь назад. А то и больше...

— Ты вообще понимаешь, что с ним происходит? Заперся в четырех стенах и носу не кажет. Я пытался его из норы выманить — бесполезно. А помнишь, какой он был...

— Как не помнить.

— А давай ему сейчас позвоним. Пусть завидует. А то залез в свою раковину и сидит. Совсем старых друзей забыл. Ну что, звякнем на старости лет?

— Да не трогай ты его. Пускай сидит. Ему там хорошо.

— Думаешь? Ладно, Бог ему судья, как говорится.

Я приветственно поднял рюмку и разом опрокинул — как водку. Вот так же, без божества, без вдохновенья глотался нами коньяк в нашей прошлой неправдоподобной жизни в комнате гостеприимного тогда еще Крутика. Что и говорить, пить мы совсем не умели. А сейчас?

Брагин торжественно поднес янтарную рюмку к носу, потом осторожно пригубил, чинно утер потерявшиеся в усах и бороде губы и улыбнулся.

— Давно забытый вкус. Ну, как твои дела? Чем занимаешься? Поэтом, вроде, стать хотел?

— Хотел... А стал гражданином.

— Понимаю...

— Да что ты понимаешь... Ну как дела, как дела... В общем нормально. Состою на казенной службе.

— Кем?

— Акакием Акакиевичем.

— Ясно. Все мы вышли из гоголевской «Шинели».

— Ага... А где попадья-то твоя? В церкви, что ли?

— К матери уехала. Поссорились мы.

— Да ну! А я думал, у вашего брата, попа, и дома все чинно-благородно.

— Попы тоже люди.

Мы помолчали. Брагин достал из шкафчика детскую шоколадку, разломал ее в фольге, не разворачивая.

— Преломим, как говорится...

— Слушай, а что за детишки вокруг тебя копошились? У вас тут что, церковно-приходская школа? Или приют?

— Что-то вроде того.

— Совращаете невинные души?

Не иначе тот самый, ежедневно попираемый благочестивыми стопами бесенок, воспользовавшись моим греховным состоянием, скакнул с половичка прямо мне на язык. Что-то злило меня, не давало покоя. Я не верил, что Лёнька Брагин... Кстати, а как его величают теперь?

— Так и величают. Отец Леонид.

— Ну, колись, отец Леонид, почем опиум для народа? — я толкнул его рюмку своей. — Чего молчишь?

Кажется, мое запьянцовское ёрничанье начинало действовать ему на нервы. Хотя выдержке его можно было позавидовать. Четверть века назад на подобные «наезды» он отреагировал бы по-другому. Однажды я видел его в драке. Среднего роста, жилистый и невероятно подвижный, он уработал в кровь здоровенного лося-охранника, который попёр на него в фойе ночного клуба, куда мы заглянули в поисках бесплатного туалета. Нет, драться со мной он бы не полез (в той компании я был вроде блаженного) — но уж и отмалчиваться не стал бы. Молотить языком он умел не хуже, чем махать кулаками.

— Идея принять сан посетила тебя в тюрьме? — продолжал я, разливая коньяк.

— Да нет, это потом уже...

— А разве после тюряги в священники принимают?

— Бывает. Не всех.

— Надо бы еще сбегать, — я щелкнул пальцем по опустевшей фляжке.

— Да хватит тебе... Я еще в храме заметил, что ты под мухой. О человече... Но если уж так надо...

Он вышел и вскоре вернулся с большой бутылью в одной руке и банкой соленых огурцов в другой.

— Самогон. На кедровых орешках.

— Ух ты! А говорил, не пьешь.

— А я и не пью. Он у меня уже год стоит. Монахи знакомые прислали.

— Тоже менты бывшие?

Брагин как будто не расслышал — он сноровисто метал на стол, сооружая скромный, но приятный глазу натюрморт: к хрустящим, пахнущим смородиновым листом соленым огурцам добавилась тарелочка с желтым цветком из треугольных ломтиков сыра, консервированная селедка, нарезанный кольцами лук, несколько вареных картофелин в мундирах. Закуска была под стать напитку. Хозяин перестал сдерживаться и с видимым удовольствием выпил со мной несколько рюмок, отчего его щеки порозовели, на лбу выступила испарина.

— Вот это дело! Вижу, вижу прежнего Леонида Брагина! Ладно... Извини, если переборщил. Я сегодня что-то не в духах. Но ты мне вот что скажи... Можешь не отвечать, если не хочешь.

Я запнулся. Я соображал, насколько далеко захожу в своей арлекинаде. Но бесенок с коврика крепко вцепился коготками в кончик моего языка. Брагин тем временем смотрел на меня с еле заметной усмешкой — так, будто знал, о чем я собираюсь его спросить. Более того, он словно хотел, чтобы я его об этом спросил.

— Ты сам-то в Бога веришь? — наконец, тихо, почти шепотом произнес я.

Он хмыкнул, решительно взял за горло бутыль и налил себе полную рюмку.

— Да вообще-то нет. Сейчас не верю.

— Вот тебе и раз... А раньше?

— Да и раньше тоже.

— Вот тебе и два... Как же ты...

— Служу-то? С удовольствием.

Он подмигнул и выпил до дна.

— Понятно. Работа такая. Кстати, всегда было интересно узнать, какая у вас, у служителей культа, зарплата, — мне все еще хотелось вывести его из равновесия. Он как будто понимал это и не поддавался.

— Да не в этом дело, — сказал Брагин, помолчав. — Не в деньгах. У меня после отсидки бизнес вообще-то был — я его на первую жену переписал. Ставили счетчики тепла в квартирах... Так что деньги ни при чем. Да и вообще... Когда о деньгах не думаешь, они сами как-то появляются.

— Аллах дает, ага... Так это хобби у тебя, получается? — я ткнул пальцем в Богородицу на полочке.

— Не кощунствуй.

— Ладно, не буду. Так как же ты в попы подался — без веры-то?

И этого вопроса он ждал, а дождавшись — не смог скрыть своей почти ребяческой радости.

— Вот послушай. И постарайся понять... Ты слушаешь, или пьяный совсем? Ну вот... Да не будь ты жлобом, сосредоточься! Подожди...

Брагин налил себе еще и, не дожидаясь меня, выпил.

— Когда веры нет, самое время в попы подаваться, — он наклонился над столом, приблизив ко мне свою густую, пахнувшую ладаном русую бороду. — Бога вроде как нет, но он должен быть — понимаешь? Иначе смысла нет. Надо Его выдумать, создать Его надо. И жить нужно так, как будто Он — есть. И смотрит сверху, и плачет о грехах наших... Надо, чтобы стыдно нам за свое скотство было, чтобы прощения и утешения хотелось. А то какая-то... безотцовщина получается. Только этим мир и спасется.

Если бы кто-то сказал мне, что я услышу нечто подобное из уст Лёньки Брагина...

— Одним словом, Бога нет, но вы держитесь...

— Дурак. Не понимаешь ты... Когда есть вера, Бог есть. Когда веры нет, Бога нет. То есть Его для человека нет, а так-то Он есть.

— Так есть или нет?

— Конечно, есть!

— Но ты в Него почему-то не веришь...

— Вера — дело трудное. Сегодня есть, завтра уже нет. Тут усилие нужно. Надо каждый день себя за волосы над болотом нашим поднимать. Как барон Мюнхгаузен.

— Дуришь паству, Мюнхгаузен!

Он уже не слушал меня. Его зрачки, помутневшие от самогона, в глубине зажглись древним огнем, погасить который мог только Тот, в Кого он так верил.

— И еще. Когда думаешь, что не веришь, — тогда-то ты ближе всего к вере. Я лучше всего Бога оттуда вижу, — он сделал римский жест, приканчивающий раненого гладиатора. — Из глубины своего неверия. С самого дна отчаяния. Мое неверие — моей веры сестра. Без него Бог меня не видит.

— Значит, меня видит отлично, — я поднял рюмку и глаза к потолку.

Хотелось курить — благоприобретенный в юные годы условный рефлекс, поженивший алкоголь с никотином, снова давал о себе знать. Но более всего я страдал от ощущения нереальности происходящего. Все это было по меньшей мере странно. Я чувствовал себя попавшим в роман Достоевского. Пора было завершать эту богословскую беседу и переходить к главному.

— Кстати, коль скоро нас, так сказать, снова свела судьба, задам тебе еще один вопрос.

По виду моего визави было ясно, что он приготовился к новому теософскому витку. Однако мой вопрос поверг его в недоумение.

— Ты помнишь Бедного Йорика?

Он усмехнулся, потер лоб, по-видимому, напрягая память.

— Бедного Йорика? Конечно, помню... Эээ... Чума его разнеси, шалопая сумасбродного! Он мне однажды бутылку рейнского на голову вылил.

— Тьфу ты... Кончай, Лёнька. Тоже мне, первый могильщик... Я про череп...

Брагин вскочил со стула и с жаром продекламировал:

— Увы, бедный Йорик! Я знал его, Горацио; человек бесконечно остроумный, чудеснейший выдумщик; он тысячу раз носил меня на спине; а теперь — как отвратительно мне это себе представить!

Брагин обладал явными актерскими способностями. Возможно, посещал тюремный драмкружок. У меня даже мелькнула мысль — а не розыгрыш ли все это, не жертвой ли основательно подготовленной мистификации я стал. Действительно, какой, к дьяволу, из него священник! Но, оглядев убранство кухни, больше похожей на домовой храм, я решил, что если это и спектакль, то поставлен он поистине гениальным режиссером.

— Заглохни, Смоктуновский! Череп ты помнишь?

— Да Бог с тобой, какой череп?

— Ну череп... У Крутика в комнате на шкафу стоял. Я подарил. Спер по дурости из кабинета биологии и подарил. Ну как же... Ну на шкафу... Там еще голова питекантропа размалеванная была. Ну?

— Да много чего у него стояло... Питекантропа? Хм... Память у меня вообще-то хорошая. Ты знаешь, я даже псалмы почти никогда не заучивал — сами как-то укладывались. Евангелие от Иоанна слово в слово знаю. А это не помню.

— Ты еще скажи, что Ромуальда не помнишь. Ну, напряги ты память... Эмбрион плавал в банке со спиртом. Крутик его спер где-то. Ты все еще на спирт покушался — ну?

Почти ничего из той, прошлой жизни, он не помнил. Или притворялся, что не помнит. Или не притворялся, потому что вспоминать было нечего. Ведь, может статься, это моя взбалмошная, попавшая под дурное влияние воображения память нагородила весь этот огород... И ничего не было — ни всей этой возни с украденным черепом, ни других глупостей, из которых, казалось, сплошь состояла наша бездарная юность. А что же тогда было? Из-за чего так ноет время от времени моя страдающая бессонницей совесть?

Об этом думал я в тесной прихожей, ища разбежавшиеся ботинки, вылавливая шапку из рукава, — мне давно пора было возвращаться домой — к жене и детям, к своей непридуманной жизни, не желающей иметь ничего общего с той, другой жизнью, как будто вовсе и не мною прожитой...

— А был ли Йорик? — подмигнул я на прощание. — А может, Йорика-то и не было?

Мы обнялись. Я обещал заходить, хотя и не очень-то искренне.

— А с попадьей ты все-таки помирись, — кричал я уже на лестнице.

— Обязательно, — улыбался пьяненький Брагин.

Пока я спускался по ступеням, его зыбкое отражение в вечернем окне торопливо осыпало меня заботливыми щепотями.

Алина Витухновская

Гамлет — попытка полёта

На тело чёрной рыбы

Мы точки тьмы. Мы пыточки причин.
Отмычки к материнским чёрным дырам.
Лолиточки игрушечных мужчин.
Улиточки в ушах глухого мира.

Мы в шёлковых колготках червячки.
Мы локотки, царапанные в детских.
Растрёпанных развратников очки.
Вспотевшие (от них уже не деться).

Раздеться, отказаться, умереть.
Не отпереть сантехнику с косою.
Его тоска, как девочкина смерть.
Но я одна из всех ему открою.

Чинить водопроводов и колен
Те ржавые и мокрые изгибы.
И трубочки извилин и измен
Накручивать на тело чёрной рыбы.

Столбы, асфальт

Столбы асфальт столбы асфальт столбы асфальт
Асфальт столбы асфальт столбы асфальт столбы.
И будет дым из хобота трубы
Дуть в темноту и кушать облака.

И будет дом и в нём не включат света.
И вечный год без дней и месяцов.
И никуда из дома не уедут.
И будут спать, и не увидят снов.

Витухновская Алина Александровна — поэт, писатель, общественный деятель. Родилась в 1973 году в Москве. Публикуется с 1993 года. Автор пятнадцати книг стихов и прозы. Лауреат премии «Нонконформизм-2010» и др. В журнале «Дружба народов» печатается впервые. Живет в Москве.

И будущим не смогут омрачиться.
Застывший мир не потревожит смерть.
И будут знать, что нечему случиться.
И будут знать, что нечего хотеть.

Они, сменив асфальтом и цементом
Живой и скучный ненадёжный мир,
Стоят бесстрастно, словно монументы,
И в темноту глядят глазами дыр.

Их тело пусто, словно тело кукол.
Их отличить не просто от вещей.
Их ус в меду. В крови их руки.
И в масках страха лица не-людей.

Сжимают воздух щупальцы завода.
Над ним больное небо, а под ним
Продлится бесконечная работа.
Лежит дракон и огнедышит дым.

Собака Абсолюта

Собака Павлова — Гамлет Абсолюта.
Тело пистолета, прострелившего неизбежность Предопределённого.
Щебечущий ловкач, опередивший бунтующего человека.
Нищая вечность, как размотанный бинт на траве.
Время Не Быть растеклось, окровавленных губ убиенного бога почти не касаясь.

Гамлет — попытка полёта из налганной мглы.
Млечное бегство Туда и Обратно.
Выбор из двух, обещающий равенство боли.
Ибо вопрос — есть повешенность точки.
Казнь окончательна.
Ноль головы укатившихся лун на крючке.
Скучная курочка ада снесла золотое яичко.
Отрубленным солнцем лица принц упал и
скатился изумлённо-немыслимо-мимо, отброшенной
тенью отца в запределье пытаясь продлиться.

Гамлет — итог совмещенья мглы и ума.
Налганной яви Онегин.
Дуэль двойников после смерти поэта.
Быть и Не Быть — две медали одной стороны.
Принц из Освенцима вечности
На перекрёстном допросе
Раздвоенной личности.
«Быть или не быть?» —
Спрашивает Палач
У отрубленной головы,
Которая осторожно отвечает ему: «Увы,
Быть и не быть одинаково невозможно».

Притворство

Притворство мятное и ватное.
Что простота, что воровство.
Из баловства на ус наматывать
Ворсинки слов, и дуть в него.

Слова наматывать на волосы.
И смыслом лысину смутить.
И вымысел суметь по голосу
Как мглу на глаз определить.

Владимир Тренин

Рюмка Достоевского

Рассказ

Черничный морс — это очень вкусно. Сладкий глоток из детства, из переданной тайком литровой банки, через несколько рук, от мамы, а ты маленький и несчастный со свежим разрезом в животе. Самый сладкий глоток в иссушенное горло.

Он присел на край кухонного дивана и отхлебнул из большой кружки черничного морса. Насыщенная темно-фиолетовая волна разлилась по телу. Иван не торопясь пил, рассматривая дверцу холодильника, залепленную многочисленными магнитиками с названиями городков и поселков.

«У людей Барселона и Париж, Сочи, на худой конец, а у меня Сольцы, Бежецк, Дно, ну и Великие Луки с Ельцом», — усмехнулся Иван про себя, рассматривая географию рабочих командировок.

Дедовские ходики отстучали три часа ночи. Спать не хотелось. Он потянулся, скользнул ногами по теплому полу вдоль стены и почувствовал резкий укол в пятку.

— Что за хрень?

На коже выступила алая капля. Иван наклонился, поковырял непослушными грубыми пальцами в ранке и с трудом вытащил осколок. Поднес к глазам крошечный вытянутый окровавленный кусочек стекла, усмехнулся:

— Вот тебе и наказание...

Скакнул на одной ноге к шкафчику, взял салфетку, плюнул на нее и приложил к порезу. Остановив кровь, завернул осколок в бумажку и выкинул в пакет с мусором.

Закрыл глаза и долго водил ладонями по щекам и предплечьям, словно снимал невидимую паутину.

Тренин Владимир Витальевич — инженер-геолог. Родился в 1977 году. Окончил КГПУ и аспирантуру при ИВПС КарНЦ РАН. Работал сторожем, ночным продавцом, учителем географии и биологии, занимался поиском месторождений подземных вод в Карелии. Работает в проектной организации. Автор трех книг. Рассказы печатались в журнале «Север». Живет в Петрозаводске. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

1

Они пили в Старой Руссе, через дорогу от дома Достоевского, глотали ячменный дистиллят, топтались на льду Порусьи, радостные, что тяжелая работа закончена и завтра они поедут домой. Иван смеялся с товарищами, вспомнил имя реки, шутил и пропустил момент, когда его накрыло.

Он не слышал мужиков, в ушах звенела тишина, в глазах мелькали раскрытые в немом гоготе рты. Иван вдруг подумал, как ему хорошо и спокойно в этом месте, где все, казалось, такое русское: старые липы с черной изломанной сетью веток, основательные купеческие дома и бледное февральское небо; только в*и*ски, закупленное по скидке в ближайшем сетевом магазине, было шотландским.

— Скотское, — утверждал Павел, он разбирался в штрихкодах, хотя были сомнения, вдруг паленое, но раз Пашка сказал, значит, настоящее, как он там заявил, причмокивая, всасывая халявное бухло:

— Чувствую вольный дух горной Шотландии!

Размазанное солнце просвечивало через серую облачную вуаль, снисходительно наблюдало, как молча и торжественно трое мужчин, разменявших опасные тридцать семь лет, сделали по завершающему большому глотку золотистой жидкости и кинули бутылку «скотского принца» в пакет. Анорексичная вытянутая склянка — типа «сабонис», так в полевых кругах называли тару по ноль семь, тоненько звякнула, ударившись о полную свою, непочатую сестру. Они переглянулись, кивнули, пошли. Выбрались через сугробы по крутому берегу и открыли дверь в деревянный двухэтажный зеленый дом, где жил когда-то Фёдор Михайлович Достоевский.

Испуганные бабушки-смотрительницы, вдохнув свежего ячменного выхлопа, смешанного со вчерашним водочным перегаром, встрепенулись, строго посмотрев на благостные небритые физиономии, но пропустили посетителей. Гардеробщица приняла полевые, измазанные в глине куртки. Иван попросил повесить пакет на крючок. Бутылки предательски бзынкнули, и ему стало неловко, но вежливая старушка сделала вид, что ничего не услышала. Ваня, благодарно улыбаясь ей, поспешил за товарищами, шурша брючинами утепленного полукомбинезона.

Все было скромно в этом доме: тусклые тесные комнатки и высохшие скрипучие половицы с многолетними наслоениями красновато-вишневой мастики, небогатая посуда, дребезжащая в старинных буфетах от тяжелой поступи посетителей. На рабочем месте Фёдора Михайловича разложены перо, пожелтевшие копии черновиков с летящим почерком и наброском, изображающим князя Мышкина, напоминающего спитого бродягу с Курского вокзала. В столовой: большой стол, расставлены тарелки и почему-то только один красивый лафитник, — наверно, для хозяина дома. Иван подошел ближе, чтобы рассмотреть утварь: ничего особенного, желтоватый фарфор и запыленная рюмка, из которой не пили, возможно, уже полторы сотни лет.

Паша недоуменно рассматривал жутковатую темную картину с измученным ликом мертвого Христа, фрагмент знаменитого полотна Ганса Гольбейна Младшего, а любознательный Федя спрашивал смотрительницу: а это действительно вещи Достоевского? И что он написал в этих комнатах, а сколько заработал, а почему такой маленький дом у знаменитого писателя?

Старушка, загадочно улыбаясь, что-то отвечала Федьке, а в это время Иван схватил лафитник и сунул в карман. Зачем он это сделал, непонятно. Ваня не был

замечен в клептомании, никогда в жизни не брал чужого, даже наоборот, всегда делился и, наверно, был готов отдать последнее, если товарищи попросят. Замерев в ожидании сирены, криков и визгов, Ваня ждал, когда провалится в преисподнюю или кто-нибудь сильно ударит наглеца по шее, слушал яростный стук крови в висках, затылок его горел...

Ничего не произошло. Вообще. За спиной шелестел тихий, вкрадчивый голос служительницы дома-музея, гудели басовитые вопросительные реплики Фёдора, скрипели доски под ногами Павла, уходящего в соседние помещения.

Антикварное стекло, казалось, нагрелось и обрело невыносимую тяжесть, жгло бедро через слой синтепона, будто в карман залили раскаленного свинца. Иван смахнул пот со лба, сглотнул вязкую слюну и двинулся за Пашкой, с трудом передвигая ноги. Они за четверть часа посмотрели экспозицию, сфотографировались у большой копии портрета кисти Перова, где Фёдор Михайлович, сцепив длинные пальцы в замок, смотрел куда-то в угол. Глянув на опухшие физиономии товарищей, вставших с двух сторон от рамы, Иван, забывший на секунду о своем преступлении, не выдержал и рассмеялся — уж очень эти грубые лица кирпичного оттенка контрастировали с высоколобым, бледным и задумчивым ликом гения.

— Че ржешь, снимай, я устал щериться, — буркнул сквозь зубы замерший в улыбке и выпятивший грудь Пашка; кто-то ему сказал, шутя, что он красивый мужчина, и Паша, искренне поверив, теперь вышагивал по жизни как стриженый пудель среди дворняг.

Купив магнитиков и сувениров, продававшихся у гардероба, Иван вручил каждой из старушек по тысяче рублей, поблагодарив за хороший прием. Эта жалкая попытка замирения с совестью не помогла ему, карман горел и тянул чудовищным грузом, но хранительницы музея растрогались, не ожидав столь щедрых чаевых, и тепло попрощались со странными внезапными посетителями.

Мужики немного постояли рядом с музеем у старинного фонаря, покурили уже молча, без шуток и смеха, выпили по паре глотков и двинулись в сторону гостиницы. Надо было собирать вещи.

В номере Иван тщательно вымыл рюмку, поднял вверх за ножку и долго крутил ее, любовался, как переливаются стеклянные грани в теплом свете люстры. Потом достал из пакета бутылку с остатками виски. Поставил лафитник на стол и аккуратно наполнил до половины. Священный трепет охватил его, предплечья покрылись гусиной кожей.

— Думал ли я, уважаемый Фёдор Михалыч, что буду с вами из одной рюмки пить? Вы уж простите меня, взял грех на душу, украл ваш фужерчик, бес попутал, — прошептал Иван и выпил содержимое одним глотком. Занюхал сухой хлебной коркой, оставшейся со вчерашних посиделок, рухнул на кровать и задумался: «Зачем ты сделал *это*?.. Сегодня Ванечка превзошел сам себя. И почему, прежде чем попасть в дурацкую, иногда совершенно дикую, историю, ты — взрослый семейный человек, — думаешь не головным мозгом, а другими частями тела, не предназначенными для сложного и важного процесса?»

К сожалению, эта дилемма всегда его мучила уже после случившегося. Восстанавливая в памяти хронику событий, преодолевая тяжелое, разрывающее душу чувство вины, находя отправную точку, то самое метафизическое мгновение, отмечающее дихотомию бытия, когда еще можно было остановиться и пойти другим, светлым путем, принять правильное решение. Ну как «правильное»? Хотя бы такое, чтобы потом не терзала совесть.

Иван взял себя в руки и собрал рюкзак. Вечером на всякий случай посмотрел городские новости, с волнением ожидая сообщения о похищении ценного артефакта из местного музея, но, к счастью, все было тихо, и он с облегчением выдохнул. Выпил еще немного виски из рюмки Достоевского и лег спать.

Ночью ему снились старушки с добрыми лицами. Они шарили своими сухими лапками по его лицу и телу, что-то шептали неразборчиво. Почему-то они были голые и плоские, с неприятно колыхающимися высохшими блинами грудей, словно вырезанные из мятого пергамента. Иван не хотел смотреть на тела и жмурился, но у него не получалось — веки стали прозрачными. Сон был не страшный, но какой-то гадкий. Проснувшись, Иван не испытал облегчения. У него сохранилось скверное физическое ощущение на коже, будто его вываляли в невидимой паутине, которую он тщательно пытался смыть с утра, долго поливая лицо и плечи из треснувшей душевой лейки.

2

В дороге настроение улучшилось, и он забыл о странном сне. Павел с машиной остался на техобслуживании в Питере, а Фёдор с Иваном решили поехать на поезде, — быстрее хотелось добраться домой, в маленький город на берегу холодного залива. Коротали время в кафе в центре вокзала. Столики были установлены на ромбовидном подиуме, обтираемом разношерстным людом.

Вокзальная жизнь кипела. Беспокойные пассажиры, задравши головы, изучали расписание поездов, таксисты с лицами уркаганов вылавливали выгодных клиентов, пузатые, опохмеленные и поэтому жизнерадостные охранники в черных ушанках бродили парочками, обсуждая воскресную рыбалку, вездесущие цыгане искали подходящих для развода лохов, подозрительные сухощавые восточные юноши пытались впарить ворованные мобилы сонным, немного испуганным окающим провинциалам с северных поездов.

Друзья пили пиво и разговаривали о всякой ерунде.

— Ты читал Достоевского? — вдруг серьезно спросил Иван.

— Странный вопрос, — удивился Федя внезапному повороту в беседе. — В рамках учебной программы, как и все: «Преступление и наказание», но шло со скрипом, тяжеловат Фёдор Михайлович для меня.

— Ты же школьником был, попробуй сейчас, для взрослого человека там бездна смыслов! ...Интересно, что многие после школы не открывают классиков, людей как будто прививают от хорошей литературы. Я недавно решился, «Преступление и наказание» перечитал, «Братья Карамазовы» вообще на ура пошли, я уж не говорю про «Идиота». Возьмись на досуге!

— Не, Ваня, я уже не осилю, нет времени, да и лень, лучше в сериал тупо повтыкаю на диване. Знаешь, для меня самое популярное чтиво сейчас — это брошюры скидок в районном супермаркете, — хлебнул пива Фёдор и покосился на симпатичную пассажирку, проходящую мимо. Он долго и жадно рассматривал лицо и фигуру, чем, кажется, изрядно испугал женщину.

— Ты это, Федька, имей совесть, я тебе говорил, регламент — полторы секунды, смотри и сразу отводи глаза. Ох уж этот твой раздевающий зырк на полминуты, и жаркий танец бровями, — засмеялся Иван. — Не-е-е... с тобой неудобно рядом находиться, если бы сажали за изнасилование взглядом, ты бы уже загремел пожизненно по совокупности.

Товарищи за долгую командировку соскучились по красивым женским лицам, коих мелькало много в вокзальной толпе. Они забыли о Достоевском и увлеченно стали рассматривать и обсуждать проходящих фемин.

Оставив коллегу с рюкзаками, Иван сбегал в привокзальную букинистическую лавочку, в которой был частым гостем. Он плохо спал в поезде, обычно покупал томик небольшого объема, чтобы успеть прочитать за ночь. Книгу, выходя на своей остановке, оставлял на столике в купе.

В магазине целенаправленно направился к полке русской классики и четким движением зацепил «Игрока», который обошелся дешевле бутылки пива.

В купе они загрузили рюкзаки в рундуки под нижними полками. Разложили постели, молча смотрели в окно. Напротив двинулись цистерны, и создалась полная иллюзия движения их поезда. В дверях мелькнула проводница, выдворяя провожающих.

Вагон тряхнуло, и где-то в душе Иван осознал, что сейчас проживает очень важный момент. Он заранее понял, что, как всегда, примет неверное решение и чувствовал свою обреченность.

По-хорошему, ему надо было просто раздеться, стащить ботинки, лечь, открыть Достоевского. ...и наступит утро, и будет как надо. Он достал книгу из широкого кармана висящей рядом с дверью куртки и положил на столик.

Федя, улыбаясь, молча наблюдал за товарищем.

— Чего хихикаешь? Я читать, а ты давай укладывайся, — сказал Иван, открывая серый том с пожелтевшими страницами.

«Глава I. Наконец я возвратился из моей двухнедельной отлучки...» — Иван пробежал глазами начало и задумался.

Возвращаясь домой бесчисленное количество раз, он узнал опять этот зуд, внутренний раздрай и незаконченность действия, желание чего-то большего. Наверно, когда нет у мужчины сложного изматывающего похода, нет новых открытий и эмоций, остается только растрачивать себя на пустые вещи.

Иван перехватил хитрый взгляд Фёдора.

— Что?

— Ничего. Помнишь, как ты говорил, когда гоняли в Воркуту: «Вагон-ресторан манит меня, как зеленые острова в океанской пустыне»? Сейчас как? Манит?

— Хрен с тобой, золотая рыбка, погнали, — Иван захлопнул книжку и сунул ее в откидную сетку под верхней полкой. — Предначертанное да случится!

— Это к чему, не понял? — удивленно спросил Фёдор.

— Ничего, двигай булками.

Друзья на всякий случай сообщили проводнице, что вернутся поздно и направились в сторону девятого вагона, где располагался поездной шалман.

3

Хлопнула дверь в питейное царство, послышалась хоровая музыка, друзья осветились мягким светом, и тотчас к ним порхнула большой светлой бабочкой миловидная щекастая официантка. Судя по ее манящей улыбке, тесной блузке с глубоко расстегнутым воротом, она прошла подготовку по СДРКа (Стандартным Действиям Раскрутки Командировочных). Когда она наклонялась, посетители мужского пола, а их подавляющее большинство, теряли дар речи от душераздирающего зрелища:

ее пухлое богатство выкатывалось к обрыву и опасно колебалось у края упругой молочной волной, в любой момент готовое сорваться вниз. Каждый клиент считал, что знак именно ему, мысленно щупал эти прелести, сглатывал слюну и заказывал еще паленой водки по цене «Курвуазье».

— Какие замечательные гости пожаловали, молодые и красивые, я вам местечко хорошее берегла, словно чувствовала, присаживайтесь, — со сладостью в голосе встретила девица новых посетителей.

Хищно сдвинулись брови Фёдора.

— Не такие мы уж и молодые, — улыбнулся он, расправил плечи, плюхнулся на бордовый диванчик и незаметно снял под столом обручальное кольцо.

Иван видел этот трюк уже не раз, когда его коллега намеревался идти в активное наступление.

— Такие красавцы, я бы вот за любого из вас хоть сейчас замуж вышла, — сказала официантка, легонько коснувшись Ивана, разложила книжки с блюдами.

— Прям сразу «замуж»?

— Конечно, мои хорошие, я телефончик позже оставлю, — она наклонилась к ним в контрольный раз и задержалась в этой позе, словно хотела закрепить оглушающий эффект от своего декольте.

Федя встал в стойку, отработанным басом отчеканил, не заглядывая в меню:

— Салат, солянку, мясо по-французски и бутылку водки ...каждому! Счет общий.

— Ого, какие молодцы, как быстро! Уважаю решительных мужчин, — официантка быстро чиркнула в блокнотике и переспросила: — Если каждому, то получается, две бутылки?

— Нет, бутылку одну, — уточнил Иван и строго посмотрел на проглотившего наживку коллегу.

— И два пива, пока ждем, — не унимался Фёдор.

Девушка кивнула и удалилась, покачивая бедрами по очень большой амплитуде.

— Видал, на меня глаз положила, — прошептал Федя.

— Не будь дураком, у нее работа такая — вид делать глубокой и искренней заинтересованности, чтобы ты, Феденька, раскошелился.

— Ты так говоришь, потому что я ей больше понравился.

Иван махнул рукой:

— Можешь себе забрать, невесту эту.

Они, перешучиваясь, посчитали совместную наличность. Казалось, денег хватало с запасом.

Тем временем официантка вернулась с двумя бокалами пенного:

— Пять минут, мальчики, и все будет.

— Не переживайте, девочка, мы никуда не торопимся, — улыбнулся Фёдор и выверенным движением сунул зубочистку в край рта. — Кстати, как вас зовут?

— Алёна.

— Какое сладкое имя, прямо родное, наше! А меня — Иннокентием величать, будем знакомы, — Фёдор привстал и отбросил челку со лба.

Официантка хихикнула, закатив глаза, щечки ее покраснели, будто от внезапной радости знакомства, но вдруг она хищно прищурилась, заметив новых посетителей, и рванула к свеженьким, не окученным кошелькам.

— Ну что, «Иннокентий», — выпьем за «настоящую» любовь! — поднял пиво Иван.

— Ты погоди, еще не вечер, — не терял надежды Фёдор.

— Федька, ой, прости, Кеша, сегодня я так буду тебя называть, — сказал Иван. — У тебя же жена, прекрасная и умная, зачем тебе эти нелепые ужимки и приторно-масляные увивания? Завтра утром уже будешь дома, под теплым родным бочком.

— Все ходоки говорят, что это как рыбалка, важен процесс. Но, если честно... знаешь, я чувствую, — старею. Хочется понять, могу ли я еще нравиться не пенсионеркам с ресепшена районных гостиниц, а именно симпатичным женщинам моложе себя, примерно таким, как Алёна, — Фёдор вздохнул и выпил одним долгим глотком сразу полбокала. Взял салфетку и вытер пену с верхней губы. Посмотрел в окно. — Сложно, Ваня. Желание пропало любить. Трахаемся с женкой без души. И понимаю, ничего уже не изменишь... будем доживать.

— Давай не хандри, мы столько пережили и переживем, — Иван отхлебнул немного. Пиво было кислое. — Знаешь, Федь, ты, наверно, прав, физическая любовь, пожалуй, одна из несущих стен в здании мужского бытия. Все наше сознательное существование с десяти лет можно представить как историю вожделения и удовлетворения: вначале тебе не дают, потом дают, но ты не умеешь и позоришься в постели, потом ты умеешь и трахаешься как бог, тебе скучно и хочется нового. Кстати, мы примерно сейчас находимся на данном этапе, но, как правило, нам некогда искать на стороне приключений — мы работаем, созидаем. Хотя почему, ты же находишь, и очень успешно, да, Иннокентий?

— Поправочка! Я всегда трахался как бог — и вначале, и сейчас, — Федя поставил пустой бокал на стол, довольно ухмыляясь.

Иван, закатив глаза, шлепнул ладонью по лбу, мол, «ну что с тобой делать?», продолжил:

— И этот волшебный краткий период занят бесконечной пахотой и бытовыми заботами, ты не замечаешь, как проскакиваешь его. Наступает плохое время, — уже снова не дают, потому что ты старый и некрасивый. И вот — ты, немощный и равнодушный хрен, в объятиях старика Альцгеймера, рассматриваешь картинку на обоях в ожидании скудного пенсионерского ужина. Стучится приступ, и — вуаля! Хорошо, если сразу откинешься и не будешь в самой долгой для тебя теперь дороге до клозета оставлять за собой жидкий коричневый след.

— Расписал мне перспективку, спасибо, дорогой. Значит, задача сейчас — получить от жизни все в наш «золотой» период? А как же терпение, преодоление себя, душевные метания? Всем в конторе уши прожужжал про моральный закон и существование по совести.

— Я запутался, Феденька. Кажется, все наши моральные терзания мельчают перед естеством, перед желанием, особенно после долгой командировки.

— Вот и салатик, — вклинилась в их разговор запыхавшаяся Алёна.

Она выгрузила с подноса хлеб, тарелки и керамический чайник с двумя аккуратными чашечками.

— Алёнушка, милая, мы не просили чая.

— Тише, мальчики. У нас новые правила: не имеем права торговать напитками крепче пива, поэтому соблюдаем маскировку.

Иван огляделся, и правда — на всех столах стояла такая же посуда, как будто они находились в чайхане, а не в поездном кабаке. Он поблагодарил официантку, взял чайник и, придерживая крышку, аккуратно налил прозрачный ядовитый напиток в поданные чашечки.

4

— Ты смотрел фильм «Гостья из будущего»? — громко спросил Иван.

В ушах гудело. Преданное лицо друга расплывалось, и Ваня долго фокусировал взгляд. Перед ними громоздились пустые бокалы, постукивали выпуклыми боками два пустых чайника. Они допивали шестое или седьмое пиво.

— Конечно, каждые каникулы, — кивнул Фёдор.

— Сложно будет, но я попробую объяснить свою мысль. Что я хочу сказать... Я о машине времени, но чтобы такой: заснуть, посмотреть и проснуться со знанием будущего, и сделать все правильно... Ты знаешь меня, Федя, я чувствую иногда некоторые вещи наперед. Помнишь? Мне приснился снегопад, хотя прогнозы молчали! Я единственный в конторе поменял резину, и все смеялись, а снег-то выпал! Или на трассе... Ведь я вас задержал тогда с выездом, а там фура завалилась, аккурат бы попали! Потому что нехорошо мне было. Чуйка моя сработала!

Фёдор молча кивал.

— И есть у меня какая-то тоска, что ли. Вот живем мы в самой лучшей стране, говорят, хорошо живем, с каждым годом все лучше, а я так вижу наоборот — все хуже и хуже, и иногда, кажется мне, — падаем мы, Феденька, в яму черную. Глубже теряюсь и слепну. Была бы машина времени, посмотреть, что там лет через пятьдесят, уточнить мое предчувствие, прав ли я или ерунда... так, показалось. И боюсь я увидеть, что нет в будущем страны нашей, люди странные, злые ходят, на чужом языке говорят.

— Ну-у, это, проснулся ты это... узнал... и че бы сделал? — Фёдор с трудом сформулировал вопрос, допил пиво и стукнул пустым стаканом об стол.

Иван подумал и сказал:

— Ничего.

За спиной у него шушукались автомобильные барыги. Сквозь ресторанный гомон выхватывались обрывки: «...модельный ряд... новый кузов... прибыли нет... волатильность шальная... рынок рухнул... продажи упадут в ноль...»

Слева гоготали парни чуть за двадцать, смотрели смешные ролики на телефоне.

Иван тер виски и после долгой паузы сказал твердо и трезво:

— Может, и сделал бы что-нибудь... Нет, Федя, забудь, что я тебе говорил, главное для мужчины не бабло, жратва сладкая, да трах-тарарах еще, а глобальная самореализация! Понимаешь? У настоящих людей должна быть высокая цель. В войне победить, страну заново построить, материк открыть новый или к звездам, вверх, — вот какая цель! Это, конечно, метафора, но ты меня должен понять, Федька, друг сердешный! — Иван протянул руки и потряс друга за плечи. — Мы же нормальные люди, человеки, а не вот это. Посмотри, — он качнул головой в сторону соседнего столика. — У них проблем нет, счастье посредственности знаешь в чем? Они не осознают свое невежество и не мыслят высокими категориями. Гы-гы-гы, вся жизнь в шутейках и в поисках колбасы по скидке. — Он рухнул обратно на диванчик. — Хотя, и мы, наверно, недалеко ушли, такие же серые, водку жрем да про баб толкуем, и ты тоже хорош... читай Достоевского, а не всякую лабуду, понятно?

— Мальчики, вы что-то разошлись, давайте я вас рассчитаю и баиньки, — к ним подошла Алёна, уже не так призывно улыбаясь, положила счет и застыла в ожидании.

Иван прищурился, глянул краем глаза на серый бланк, исписанный кудрявым ученическим почерком:

— Что-то из памяти выветрился вкус лобстеров с трюфелями, а судя по итоговой цифре, мы точно должны были их кушать.

Он кинул всю наличку на стол: — Сдачу оставьте себе!

Девушка быстро пересчитала и спрятала деньги, глазки опять налились медком:

— Что-нибудь еще желаете?

— Редкий случай, но мальчики сегодня остались голенькие. Денег нет! — вздохнул Иван.

— Если хотите еще водочки или чего-нибудь, можете оставить паспорт в залог, потом с деньгами к поезду подойдете, документ вернем.

Иван чуть не поперхнулся остатками пива:

— Вот это поворот! Э-э, милая, пару часов назад вы обещали жениться, как же так? У нас купец, — он показал на привставшего Фёдора, в затуманенном взгляде его, характерном изгибе бровей читалась готовность к не очень чистой любви.

— Вручаю в ваши нежные руки это сокровище. Совет да... и что дальше вам решать! Можете забрать его на полчасика и для закрепления союза принесите нам пивка за счет невесты.

— Сейчас наряд вызову, — вдруг сердито и холодно прошипела Алёна.

Иван не узнал ту приятную, встречавшую их девушку. Прищурившись, он рассмотрел ее злое угреватое лицо, замазанное толстым слоем тонального крема, и рыхлые, прыщавые титьки, выпадающие из блузки.

— Спасибо! Я прозрел! Дайте, пожалуйста, рецепт вашей водки из чайника. Я хочу теперь всегда видеть настоящую реальность. ...Хотя нет, не надо, мне и так сложно жить.

Он театрально обратился к собутыльнику:

— Смотри, Иннокентий, исчезло волшебство. Пробили часики, карета превратилась в тыкву, а принцесса обернулась жадной некрасивой стервой!

Фёдор тем временем безуспешно пытался встать и ухватился за спинку дивана: — Э-э, Ванюсик, я давно хотел сказать, я не Иннокентий, я — Алонсо, по прапрадедушке я испанец, потомок королевской Габ-б-бу-сбу-бу-рской династии.

Федя шлепал губами и пускал слюну, долго выговаривая трудную нерусскую фамилию.

— Глупая женщина, настоящий дон Алонсо просил вашей руки, а вы... Мы уходим, где наши шляпы и оружие? Мы не уйдем, пока не вернете наши шпаги! — всплеснул руками Иван.

— Какие шпаги? А-а-ш-о-о-т! — заорала официантка.

Из кухни выскочил квадратный брюнет в поварском колпаке. Ашот был очень сердит и заряжен выдворить буянов с помощью силы, но чем ближе подходил, оценивая габариты друзей, тем дружелюбнее становился.

— Вот и шеф, собственной персоной, — Иван расплылся в улыбке. — Ашот, наш витязь без тигровой шкуры. ...Да и зачем вам шкура, у вас отличный естественный подшерсток.

Повар нервно почесал грудь, взъерошив кучерявую черную поросль, действительно густо покрывавшую тело, волосы поднимали ткань замызганного халата и выбивались масляными клоками между пуговиц.

— Эй, братья, па дабру сдэлаем, а? Поел, попил, ухади, — он показал широкой ладонью в сторону выхода.

— Ашот, вы в курсе, что мы кулинарные критики, и если так безобразно важных клиентов принимать, не видать вам звезды Мишлена, — Иван насупился, вытащил

ручку из кармана, положил салфетку на ладонь и сделал вид, что будет писать замечания.

— Что с ними сюсюкаться, вызываем ментов, сейчас стоянка будет полчаса. Пусть высадят этих клоунов, — прошипела Алёна.

— И какую причину задержания назовете? Чрезмерное опьянение незаконно проданной водкой? ...Эх, Алколёнка, а счастье ваше было так возможно! — Иван взял под руку уставшего друга, и они с гордо поднятыми головами покинули заведение.

5

Иван поблагодарил проводницу, спустился из вагона первым и принял от Фёдора рюкзаки. Товарищ отмахнулся от руки, спрыгнул сам.

Федя жил рядом с вокзалом. Он посмотрел на часы и взвалил мешок за плечо:

— Половина пятого. Пойдем ко мне, Ваня, ты еще пьяный, протрезвеешь, на троллейбусе домой попадешь аккурат к обеду.

— Ты будто у нас трезвый, — хмыкнул Иван. — Есть плюс, что все пропили: на такси денег нет, пока пешочком дойду, проветрюсь заодно. Не переживай.

Федя постоял минуту. Иван молча курил.

— Все хорошо, Вань? Точно?

— Точно, Федя, точно. Иди.

Федя постоял рядом, сплюнул, двинул снег ногой. Рыхлая серая масса под ботинком съехала в толстый мокрый комок.

— Снеговик бы вышел знатный, — сказал Иван.

— Самая та консистенция, — кивнул Фёдор. — Бывай, Ваня... Хороших выходных.

— Да, Феденька, спасибо. И тебе. В понедельник увидимся.

Ваня посмотрел на спину друга и повернул на запад, в сторону своего района. Шумно втягивал влажный воздух носом и сильно выдыхал ртом, словно стараясь выжать из организма через легкие весь алкоголь, употребленный за последние двое суток.

Миновал квартал, пересекал парк, покачиваясь и проскальзывая на ледяной дорожке, залитой водицей со снегом, поднимался на пологую горку, разгребая тяжелыми ботинками холодную кашу. Голубоватый свет фонарей освещал его широкий рыхлый след.

Откуда-то сбоку вынырнули три гопника. В бомберах, растянутых спортивках и паленых адидасах. Ваня неторопливо ступал, не смотрел на них, но почувствовал, что возможны проблемы. Парни перекинулись парой слов между собой и быстро двинулись к нему. Он обратил внимание на их рваную обувь: «Наверно, ноги мокрые».

— Дай закурить.

Ваня отвлекся от кроссов, которые хорошо сочетались с грязными трениками и куртками: «Всё по классике». Всмотрелся в плоское лицо просящего, долгим взглядом обвел его товарищей.

— Паспорт покажи? — спросил Иван. Страха у него не было, только абсолютное вселенское безразличие.

— Че?

— Хрен в оче, паспорт, говорю, покажи, выясним, можно тебе сигарету дать или нет?

— Чувак, ты не вдупляешь по ходу?

— Не хами дяде. Со скольки лет сейчас курево продают? Отвечай! — повысил голос Иван, поправляя рюкзак на плече. — Может ты еще маленький, не дорос до сижек.

Парни переглянулись. Они немного замялись перед дерзким мужиком, покачивались с ноги на ногу, не зная как продолжить процесс кидания объекта на бабки и телефон. Случайный прохожий нарушил принятый алгоритм поведения. В утренней мягкой туманной тишине потрескивали их перегретые маломощные мысленные процессоры, судорожно ищущие выход из непонятной ситуации.

— Вы че, русского языка не понимаете? И Достоевского, конечно, не читали? Хотя о чем я спрашиваю? ...Сука, как же вы задрали! — выдохнул Иван, резко скинул рюкзак с плеча, толкнул мешок сухощавому упырю слева и сразу обрушился лбом на переносицу наглого центрового. Хрустнул нос, мерзкая рожа перекосилась, нижняя половина лица залилась темной жидкостью. Худой левый гопник не удержался под весом брошенного тяжелого баула, поскользнулся на мокром льду и неловко упал, ударившись затылком о дорогу, и затих. Третий кидала, мгновенно оценив ситуацию, принял разумное решение не вмешиваться и не отслеживать дальнейшую судьбу своих подельников, метнулся в сторону по целине, высоко поднимая колени в мокром снегу, растворился в серой оттепельной дымке.

Иван взял за шкирку окровавленного парня, просившего сигареты, подтащил к обочине, молча окунул головой в сугроб у дороги. Поднял рюкзак и побрел дальше не оборачиваясь.

Через полчаса он стоял у своего подъезда. Прежде чем набрать номер квартиры на клавиатуре домофона, вдыхал и выдыхал, словно запасаясь кислородом перед нырянием на глубину, считая до двадцати шести — это было его счастливое число.

Он поднялся, открыл дверь и увидел родные уставшие серые глаза.

— У тебя лицо в крови. Что случилось? — испуганно спросила она.

— Дорогая, я убил человека.

Она всплеснула руками и жалобно прошептала:

— Ваня, не пугай меня, пожалуйста, ради детей скажи, что это не правда.

— Моя хорошая, я пошутил, просто поскользнулся и неловко упал, носом кровь пошла, не переживай, — он наклонился и долго рылся в рюкзаке, пока не наткнулся на искомое.

— Посмотри, что я тебя привез, любимая, это настоящая антикварная вещь! — Иван, покачиваясь посередине прихожей, улыбаясь окровавленным лицом, протянул любимой украденную рюмку.

Она схватила раритет и изо всех сил кинула об пол. Стекло расплескалось мелкими брызгами по всему коридору.

— Как я устала от всего этого! — вскрикнула женщина, горько зарыдав, закрывая лицо руками.

Иван ссутулился и побрел на кухню, не снимая ботинок. Под толстой подошвой захрустели осколки.

Он расчистил место на серебристой дверце холодильника, нащупал в нагрудном кармане комбинезона магнитик, изображающий деревянный зеленый дом с надписью по нижнему краю «Старая Русса», и прилепил его между «Вытегрой» и «Черняховском».

Сергей Золотарёв

Витька и Сухомлин

Междуречье

1

Ночью 23 августа 2011 года неизвестный мужчина, проникнув внутрь одной из ростральных колонн, открыл вентиль газового трубопровода и зажег на ней огонь. Как сообщили в правоохранительных органах, прибывший на место пожарный расчет перекрыл трубопровод и потушил факел.
(Из прессы.)
*
Теплоход «С» — Сашенька — ходит от пристани Кирбулычёво до города. Механик Витька сидит на баке, улыбается. Его улыбкой можно есть землю. Ногтями удить рыбу.
*
Ходит по консервным банкам, лежащим на дне реки. Не режется. Одной с ними крови.
*
Борода на его лице горит, как темное пламя, — языками вниз.
*
Витька смотрит на родник света в утренней воде.
*
Луч даже не язычок свечи. Луч — это там, у основания — восстановительное пламя. Впереди него несутся на гребне волны дельфины ангельского воинства. Вот они разогреты до скорости изменения. Все остальное — последствие их счастья.
*
Витька Кастанаев входит прямо в горящие листья осени и видит то, что видят из пламени только ангелы да орлеанские девы. Он чует мир, как слезу, шипящую на огне. Как линзу отчаяния, и тогда понимает, откуда берется пламя.

Золотарёв Сергей Феликсович — поэт, прозаик. Родился в 1973 году. Окончил Государственную академию управления им.С.Орджоникидзе. Автор поэтических сборников «Книга жалоб и предложений» (М., 2015) и «Линзы Шостаковича» (М., 2021). Лауреат премии журнала «Новый мир» (2015). Живет в г. Жуковский.

Предыдущая публикация прозы в «ДН» — 2020, № 4.

2

ВИТЬКА РОДИЛСЯ

Непредумышленное рождение его не было делом рук.

Витька парит в невесомости своего счастья.

В струе воздуха душа вытягивается и принимает привычный облик. В условиях невесомости души, расставшиеся с телами, благодаря давлению вины внешне также не отличаются от горения в земных условиях.

Дерево — искусственный спутник земли. Орбитальная станция для пребывания минеральных солей в межзвездном пространстве воздуха. Плоды умеют выходить в открытый космос.

Воздух — незарастающий родничок. Мягкие хрящи земного черепа. Только с помощью податливого воздуха голова Земли прошла тазовые кости пространства невредимой. При этом время сутулится.

Звезды — части света.

*

Кастанаев выпил. Выпивший человек живет ближе к смерти. Чувствует ее, как пальцы за стеклом. Ходит с ней. Часто у выпившего человека умирают знакомые, и он знает их смерть как свою.

*

Внутри выпившего алкоголь подменяет глюкозу в связи с клетками организма.

*

Витька заразился сексом от родителей.

*

Над каждым соском кормящей матери вьются неслыханные бабочки. К каждому кормлению слетаются невидимые пчелы. Только в этом случае устами младенца глаголет истина.

*

Так думал он все детство. А тут она. Пахнущая будущим. Хорошо. Пахнущая лучшей участью. Из под юбки — клей внутренних ног.

*

Каждая клетка в человеке — сачок, поймавший свою бабочку. Так и живем. Но если кто-то уберет сачки и хлопнет в ладоши...

*

Она хлопнула. В человеке вспорхнула вся поляна разом, и он обнаружил себя утром — взлетевшим на воздух.

*

Страдание — дар перевоплощенья. Возможно, самый главный дар. Когда он мальчиком полез на турник, то слез уже юношей. В паху скрутила боль, смешанная с наслаждением, и это чувство он пронес через всю жизнь. Перерождение как результат.

*

Она сидела в сквере в ожидании своего Азазелло. Крема не было, и Витька предложил ей то, что и всем. Набор косметики от «Ритуаль». Женщина накрасила губы пробником, и те растворились в улыбке кота. «А у вас спина белая», — пропели губы. Витька встал и пошел. Лавочка была осторожно окрашенной.

*

Любовь. Мурашки по телу.

А что есть мурашки? Атавизм вставания шерсти дыбом.

Черный свет от страха распространяет свои лучи. Черная щетина страха.
Ночь побрила ноги. И только мурашки выдают тайные могильники волосков. Курганы эти не спят всю ночь, чтобы прорасти новыми тайными знаниями.
Любовь — это отсвет первобытного страха. Страха приближения бога. И человек придвигается к человеку. Человек перестает быть зверем с человеком, чтобы не стать жертвой чуда. Любовь земная есть страх божий.
Думал Витька, мочась на белые венки тысячелистника.
*
Икнул и выкинул мысли из головы.
*
Проходящий под окнами Сухомлин посторонился и погрозил вверх.

3

А между тем Сухомлин тоже видел с изнанки.
*
Внешность человека — результат работы внутренних органов под воздействием окружающей среды. Следовательно человек произрастает изнутри себя, как какая-нибудь полевая дрянь.
*
Мир положен поверх человека, как краска, из-под которой проступают знакомые очертания. Так жучки-паучки попадают в акрил и являются достоянием стен, что рассматривают с кровати растущие мальчики-девочки.
А бывает человек положен поверх мира — и тогда это постер. Глянцевый и бессильный в своем тлении.
*
Глаз отдыхает на красивых вещах, как перелетные утки на озере. Гладь позволяет. Красивые вещи — узловые станции материального мира. Станционный буфет. И взгляд потчуется.
*
Птицы утонувших листьев расправили крылья в воде.
*
Днем за окном шумели дети. Не давали заснуть. Сухомлин думал, что нераздражительность — не есть умение сдерживать недовольство. Это равновесие раздражителей внутреннего и внешнего. Если дети шумят и радуются снаружи, тоже самое должно происходить и внутри — шуметь и радоваться.
*
Пушкин, Гоголь, Мандельштам. Одна посмертная маска на троих. Кто хочет, тот и берет.
*
Дети баловались маской, надевая ее по очереди и изображая мертвеца.
*
За окном меняют ГВС. Делают могилу горячей воде, дабы она текла вечно. Что-то Евангельское, сказочно-русское про живую и мертвую, точнее, про мертвую и живую. Вода, заключенная в земле, всегда жива. Сухомлин перевернулся на другой бок.
*
Одиношей всего отцветающий первоцвет в своей половой слабости. Цветок семенит и плачет. Семена его полны еще спермы и плача. Горечь эта чувствуется их матерями.

*

Собираясь в больницу, Сухомлин укладывал вещи, не доверяя жене. Считал, что старость, как парашют, нельзя доверить никому. В свободном падении может не раскрыться.

*

Любовь — подробна, ибо любит черты любимых. Страдание — масштабно, так как не нуждается в уточнении.

*

Продукты жизнедеятельности бесплотных ангелов — легкие уплотнения, которые иначе называются атмосферой. Она удержала воду, которая уже есть материя плоти. Таким образом, цепочка, приведшая к человеку, в любом случае использовала ангельское терпение.

*

Операция прошла, как гроза. Железы удалили, слезы остались.

4

Витька сжимал ее до ожога. Как клещ, напившийся крови, раздулся и приник.

*

Чувствовал участившееся в себе деление клеток и радовался этому отмиранию не как обновлению, но как удобрению. Он желал отдаться без остатка ее миру. Стать осадочными породами, аллювием для произрастания ее тесноты.

*

Лежа на кровати, размывался, как скальная порода, и относился к ней с течением времени.

*

За ночь ее прибивало к нему. С утренним приливом обнаруживала себя уткнувшейся лицом в его бороду, точно в пучок омелы. Мертвые чувства, как выброшенные на берег, пахли йодом.

5

Когда мужчины делят женщину, пространство вокруг нее взбивается морской пеной, из которой она и выходит обычно поутру. Она движется по осеннему солнечному двору, а незримые пузырьки лопаются на ней, переливаясь невидимыми цветами радуги. Только дворник из Кыргызстана в состоянии разглядеть нашу Афродиту и то только потому, что никогда не видел моря.

*

Сухомлин любил жену угрюмой ревностью совладельца. Витька обожал ее мелодию. Он напевал ее весь день, и воспроизводимая таким образом женщина весь день пребывала в приподнятом настроении. Ей словно бы и нравилось быть насвистываемой пухлыми губами человека, начисто лишенного музыкального слуха. Хотелось думать, что мелодия, звучащая в его голове, была лучше исполнения.

*

Была всегда рядом — на расстоянии одного укуса.

6

Витька летал во сне, как многие растущие организмы. Однако этот смог перенести отсутствующее чувство в жизнь. Он помнил технику ночного полета. Начиналось все обычно у стены. У стены храма, изрисованной сценами из страданий грешников и перечислением смертных грехов на теле вьющегося по стене змия. Витька стоял спиной к змию и вдруг ощущал прилив невесомости в ливере. Или отлив притяжения. Главное было управлять этим центром полетов. Умственным сердечным усилием он перераспределял этот движитель вверх к диафрагме и легким. И медленно поднимался под купол. Преодолевал каменный свод и вырывался в отверстое небо. Иногда терял управление и тогда начинал снижаться, но всегда обретал его снова.
В жизни он продолжал нести это чувство религиозно и осознанно.
Был кратным любому счастью, то есть делился им/на него без остатка.
*
Сухомлин летал иначе. На железных машинах военно-воздушного флота. Вертолет Ми-8. Консервная банка с нимбом вращающихся лопостей.

ОХОТНИК НА МУХ

Сухомлин подобрался, ноги положил в боксерскую стойку, руки поджал к голове и принялся ждать. Большая толстая муха влетела в комнату. Тут главное — бить пока она расслаблена. Если спугнуть, — большие мухи мечутся с адской скоростью и их становится жалко.
Раз, два — двоечка — левый отбросил ее под правую, а правая вколотила в стену, после чего он мгновенно подобрал насекомое, находящееся в состоянии грогги. Конечно, можно было ловить открытой ладонью, но тогда в тренировке своих навыков не было бы никакого толка.
*
Иногда они сталкивались на лестничной клетке.
При встрече хотелось быстро умереть, чтобы жить дальше. Чтобы жизнь являла собой отсвет смерти, а не была ее источником.
*
Соперники не сговариваясь решили провести воздушный бой.
*
Сухомлин положил себе летать молча и сдержанно. На бреющем. Исключить все фигуры высшего пилотажа и тем самым сохранить топливо на большее расстояние.
*
Как увеличить мощность мгновения? Убрать глушитель. Убрать те излишки, которые мешают. Излишества забивают фильтры. Пить смятый чай на даче. Ожидание этого чуда изнутри шахтовой выработки не сравнится ни с чем. С ночными клубами, алкоголем, каждодневным беспорядочным сексом. Чай со смородиновым листом после долгого трудового дня. Как прокачать течение жизни? И увеличить мощность мгновения? Аскеза и тишина. Тогда даже сфера занятости сделается выпуклой.
*
Витька решил построить Летающий корабль. Земля прощай. В добрый путь. Слышал он сказочный призыв.
Но из чего строить то, что, будучи тяжелее слова, должно парить в воздухе произношения? Силой происхождения.

Из чувства. Из пламенеющего чувства несправедливости, которая есть величайшая милость. Из деталей божьего быта, когда ты мальчиком, упав в траву, видишь весь мир в его обнаженной интимности. Где переплетение всех измерений есть эротика.
Где отчаяние выводит к той ровной радости, по которой хочется провезти всех губернаторов, чтобы показать им, как надо строить дороги.
Где смерть похожа на ростральные колонны. Коих две, и они бездействуют.
Витька взял Книгу путешественника и прочел:
«Наконец я выбил из ствола застрявшую гильзу и снова выстрелил. Медведица застыла на отвесной скале с вытянутой шеей.
С трудом добрался я до своей добычи. И тогда понял, почему медведица не нападала. Она спасала своего медвежонка. Материнский инстинкт оказался сильнее инстинкта хищника.
Я спустил медведицу за лапу на лед, освежевал. Шкура ее оказалась длиной в шесть шагов. А медвежонок был совсем маленький. Я забрал его с собой и путешествовал с ним полтора месяца.
(..)
В Певеке я с ним остановился у хозяина фактории. Мишутка, как всегда, сердясь во время еды, опрокинул на пол миску с горячим супом, которым угостил его хозяин. В наказание я выпроводил медвежонка в сени. Но хозяин очень беспокоился за него и уговорил меня постелить в сенях медвежью шкуру, чтобы Мишутке было теплее. Утром мы обнаружили медвежонка мертвым. У меня было несколько медвежьих шкур, и я по ошибке постелил ему шкуру его матери».

Теперь Кастанаев был готов к постройке.
*
Он уже знал, что в основании ее природы лежит пламя, а не влага. И надо учитывать огненный круг при расчетах.
*
Сухомлин давил на слезу.
*
Витька видел плазму ее плача и вдыхал ионизированный воздух щек, что твой Чижевский.
*
Гибель в ее глазах представлялась гальванизацией.

7

Ей нужно было в Питер по делам гидрологии. Она была водным инженером, но изменяла своей профессии с огнепоклонниками. Звезды относились к ней как к своей.
*
Сухомлин сел в «Сапсан» и обнял жену за запястье. Большего объять не умел.
*
Любовь это качество жизни. Время в пути.
*
Время сродни гравитации, которая есть взаимодействие двух тел. При наличии только одного, гравитации не существует. Время возникает при слиянии души и тела. Так вот. Душа — это время плоти, а тело — время души.
*
Его время отставало от ее. А Витькино обгоняло обоих.

8

Грязные улицы, как старицы рек. Фонари, восставляемые к набережной по плавающему на воде масляному пятну их предшественников. Люди болеют за «Зенит».

*

Не могу в этом городе. Вода со всех сторон.

*

Она родилась русалкой и резала себе руки в кровь о воду, точно в той был молодой лед успеха. Она резалась о края воды всегда, когда входила в дом, задевая собою влажный воздух. Сухомлин выставлял дни из недель, числа из ряда, как стёкла из рам. И тогда они могли хотя бы посидеть бок о бок без опасности заражения крови. Кровь ее, впрочем, тоже была ужасно ломкая.

Однажды море ее загорелось, и Сухомлин долго тушил его сигаретами «Дон». Тогда-то ее глаза из бутылочных и стали пепельными. То есть известны случаи, когда люди меняли группу крови, но — ко всему — она еще и поменяла цвет глаз. Хотя что вы хотите от пожара?

Этот пожар ее. Он произошел, когда она читала сцену из «Бесов», где там всё горит и погибает. Пламя занялось прямо в воздухе между роговицей и страницей, возможно, от яростного трения смысла об осмысление. Строки могли содержать в себе некий химический ожог изначально. И вот синеватое пламя, сделанное из влажного промежуточного воздуха, возникшее как фантом Фета, перекинулось на ее платье, никакого, впрочем, тому вреда не причинив, на плечи и ушло с гулом по воздуховоду зрения, вглубь взгляда, чтобы ничто и никто уже не могли потушить жара ее сердца. На пепелище русалка чувствовала себя лучше, чем в естественной среде обитания. Она оказалась саламандрой.

Урожденная русалка, она больше не принадлежала своему племени.

Больше — пламени.

Сухомлин чувствовал жар ее тела. Заставлял больную больше пить. Но она таяла на глазах. Медики хотели забрать ее в стационар, но женщина подписала отказ от лечения. Больная пахла парафином. И вспыхивала при упоминании воды.

*

Муж выбился из сил и пережарил корюшку.

*

Витька жил на Теплоходе неделю, пока по шлюзовым перекатам не поднялся до Невского водохранилища.

Там он взял синхронизатор и полез до стрелки. В Южной колонне двери были еще молочными, и он легко дернул их козьей ножицей. Газ шел из-под земли сибирских недр, когда Витька выпустил его, и оказался на совесть сухим, как спирт.

Факел пыхнул и вывесил противовес Витькиной бороде.

В городе Сухомлин обратил внимание на улучшение. Тени опять повторяли форму тела. Открыла глаза, полыхнула: «Поплыли отсюда, мое чудовище».

Летучий голландец вышел из дельты.

В результате инцидента никто не пострадал.

Наталья Изотова

Ахматова в профиль

Домашнее

С рожденья тут живу. А вон театр,
Открыты форточки, гудят распевки.
Я измеряю талии обхват.
Полуобхват одну вторую мерки
Записываю в нотную тетрадь,
Её тельняшка соль такую стерпит.
Мне шить по этим нотам что играть
Сонаты Талии, а не Эвтерпе.

Начало веселейшей из наук:
Ут*о*к игры, где ритм нить основы,
И ощупью мир пробовать на звук,
Так выведав, что рифма старше слова,
Встать на пуанты крепкие её,
Знать: нараспев сложенье — как служенье.
Нить золотая, гладкое шитьё.
Умолкший лебедь. Новое рожденье.

* * *

Я печатаю письменный рапорт
Миллиметрами кожи,
Я стихи прекратила царапать —
Набираю их тоже.

Мою жизнь постигает фронтально
Твой искусственный разум,
И теперь наша общая тайна —
Мои вены под глазом:

Чёрной речкою их начертали,
Как мерцающий контур,
Кровоток не кружит по спирали —
Льёт по линии фронта.

На стекле телеграмного чата
Телефонного смарта —
Указательный мой отпечаток,
Как почтовая марка.

Изотова Наталья Юрьевна — поэт. Родилась в 1980 году в Донецке. Окончила Литературный институт им.А.М.Горького. Работает конструктором-портным. Стихи публиковались в журналах «Октябрь», «Звезда». Живет в Донецке.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 9.

* * *

Идёшь по едва освещённому снегу ночному
к строению старому, сто двадцать пятому дому.
Живущий в начале столетия двадцать второго,
навстречу мне движешься. Здесь я, жива и здорова.
А сможешь ли ты рассмотреть в непроглядье морозном,
насколько лицо моё в эту минуту серьёзно?
Когда надевала перчатки и снова снимала,
а время к рукам прилипало комками крахмала,
в уме рисовалась... ты знаешь какая картина?
Ахматова в профиль, не знающая карантина
начала двадцатых годов двадцать первого века,
но всё же в перчатках, и тени шептали: «Аптека».
Нам выпали кости иной эстетической масти,
фонят на асфальте столбы фонарей из пластмассы,
улыбки в руке, колобки подстекольные жолты.
Вся жизнь впереди, ты идёшь и идёшь, куда шёл ты.

* * *

Капустницы на тихих крыльях
Несут горошины графита;
Игра нектара, изобилье
Течёт по хоботкам завитым,
В меня впадая внутривенно:
Так с лёту посвящают в дело
Добычи чудного мгновенья.
Я платья вырастила телом
Из серой карандашной точки,
Их сложный крой и цвет неброский,
Они капустные листочки
В шкафу глубокой заморозки.

* * *

Прозябать комфортнее на юге
в старом доме окнами на север.
В обрамлении глухой фрамуги —
проводов оборванное «Never...».
Ничего зловещего в природе:
мещанин снежок и дождь-филистер
в её кротком, тихом обиходе.
Живописцы, окуните кисти.
В темноте огни всё ярче, гляньте,
ясный взор — источник возгораний.
Утром цепь разомкнута в гирлянде,
включены соцветия герани
(лепестки зажгла, светодиоды,
#всюдужизнь, наука прикладная).
Неужели отстаю от моды,
колесо своё изобретая?

* * *

Берёзовый сок в промежутках древесных волокон,
Стремительный ток в проводах моего оверлока
По белым стволам разбегаются и за пределы,
И строчки, как ветки, растут из машинного тела.

Берёзы льют свет по системе запутанных трубок,
А я постигаю гармонию конусных юбок.
В них сила окружности, в них высота террикона,
В них спрячешь полцарства и высидишь яйца дракона.

Когда утомится металл и утихнут катрены,
Увидишь из парковой зоны уснувшей «Арены»:
Незримо ступая по тверди, что кажется плоской,
Плывут терриконы, как девы ансамбля «Берёзка».

* * *

Анамнез краток: Жанна д'Арк
в тебе искрит; вороний *каррк!* —
твой голос — выпал изо рта;
дрова для твоего костра —
соринки из твоих же глаз.
На том и сказ.
А вспыхнет речь, так ты не хнычь,
учись, как завещал Ильич;
горит эмалевым огнём
значок и человек на нём,
о ком узнаешь: он не прав,
но о другом поёт Пиаф,
и разгорается к стыдам
её *падам, падам, падам.*
Давай зачётку, тра-та-та,
хоть жизнь ещё не обжита,
пора уже (тяни билет!)
стать вундеркиндом в сорок лет.

Валерий Пискунов

Опыт Евангелия

Метанойя

Яко мыслию чудовной прозрети

* * *

Приступая к диалогу со своей памятью, я заметил, что в моем сознании действует некое нравственное предупреждение: не навреди любопытствующей мыслью содержанию воспоминания. Осторожность явно благоприобретенная и сродни правилу классической механики: наблюдая опыт проникновения в законы Вселенной, исключи искажающий эгоизм наблюдателя. Я признаю это правило для любой мысли в любой области познания. Но почему? Вот я окунаю пытливый взгляд в самую глубину моей памяти, почти к началу появления на свет. Глубина осознания ничем не противоречит глубине проникновения. Но могу ли я быть объективным наблюдателем над своей памятью? Я весь в ней, я не могу выйти за ее границу, как не могу выйти за границу своей жизни. Однако сознание ускользает из-под кромки памяти, и я гляжу на воспоминание так, как будто никогда и ничем не был с ним связан.

Чтобы показать сложность этих парадоксов, приведу пример одного из диалогов со своей памятью.

* * *

Младенцу около двух лет, он умирает от кори. Родители беспомощно наблюдают за тем, как он синеет и потягивается. Батюшка, окуривая кроватку ладанным дымком, отчитывает младенца. Потом все выходят. В комнате полумрак, окна занавешены. Так запомнили родители, а вот как это событие продолжилось и уложилось в ячейке моей памяти.

Скользящая волна хвори схлынула, и взгляд всей полнотой открывается в полутемную комнату. Взгляд осмысленный: полутемная комната мгновенно узнаваема, а чтобы узнать занавешенное окно с дырочками света, требуется легкий переток зрения. И полумрак, и звездочки света осязаемы для зрения. Осязаем полумрак, осязаем свет в дырочках занавески, осязаемо красное смещение в дырочках

Пискунов Валерий Михайлович родился в 1949 году. Автор четырех книг. Рассказы, повести и романы публиковались в журналах «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов». Живет в Ростове-на-Дону.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 6.

занавески. Перемешиваясь с этим зрительным ощущением, входит запах (ладана) и всеохватное чувство облегчения — свободы... Мне бы хотелось все это переписать каким-то иным языком, бесчувственным к земной, притяжательной геометрии. Потому что младенец (этот образ надо ретушировать) очнулся сразу всей полнотой чувств, еще не разделенных... Опять искажение. Я очнулся всей полнотой своего существа. Очнулся всевидящим и всеосязающим *оком*. Око видит пространство, око чувствует полумрак, око чует запах, око осязает свет в дырочках занавески. Это внутреннее ангелоподобное (как бы) духотворение лишает привычной содержательности все чувства младенца.

Младенец соскакивает с кровати и бежит из комнаты на полусвет приоткрытой двери. Ноги заплетаются и он падает.

А теперь самое существенное. Младенец помнит и видит, как соскакивает с кровати, движимый толчком радостного освобождения, ощущает мимолетное прикосновение к полу, то же ощущение пока бежит, и вот — узелок в ногах, потеря ведущего сознания, мгновенное обретение *иного* сознания и воспарение над самим собой. (Маме скажу: «Я стал большой, как жук!») Младенец воспарил, и на этом сюжет ячейки заканчивается.

Я могу многажды входить в ячейку и наблюдать, как происходит это странное прекращение одного сознания и вхождение сознания иного. Тут нет ни мгновения их перемены: младенец падает и взлетает. И теперь он видит всю комнату уже тем самым чувствующим оком, которое описал. Но это око не только обозревает, не только переводит чувственное во внечувственное, оно обладает таинственной способностью соединять сознание внешнее (мое нынешнее) и сознание внутреннее, обозревающее ячейку события, без какого-либо намека на их несовпадение. Младенец парит в полутемной комнате, внечувственно видит россыпь света в дырочках занавеси, углы потолочные, их переход в углы стен и пола. Он наполнен неким полноемким удовольствием от того, *что* видит и видит по-особенному, не подчиняясь изворотам уже отвлеченной комнатной геометрии.

Теперь он может видеть себя на кровати, не чувствуя себя лежащим, и тем же чувством не плотнее зрения... нет, чувством не плотнее предчувствия зрения, он ощущает и помнит дедушку — как призрак доброты над своим изголовьем. Младенец любит дедушку, но вот здесь, в ячейке памяти, он не может претворить ее в телесно-чувствуемую. Дедушка — некое доброраспевное уплотнение в пространстве ячейки. Его певучий тенор веселит меня подзвучным колокольцем, он рассказывает мне о младенце, рожденном вне причинного порядка и в этой беспричинности обретшем здоровье и славу. Я вне слов и опыта вникаю и понимаю повествование дедушки, поскольку повествование своим внечувственным смыслом предопределено внечувственной атмосферой ячейки воспоминания. Собственно ячейка — это полнота смыслов. Плотность видимого в ячейке равна плотности непосредственно воспринимаемого смысла. И я раньше смысла, по сути понимаю, что младенец, покоящийся на руках Богородицы, уже и саморожден, и самоопределен.

Опять предупреждаю себя, что событие ячейки при соприкосновении со словами отторгает несомый ими смысл. Как связать внезапный и навсегда принятый памятью полет младенца над самим собой с точечками света в занавеси, запахом ладана, добротой дедушки, благодатью, витающей в полутьме ячейки? А естественность полета над самим собой! Ну, не могу я летать над самим собой, но ведь летаю. Между здешним моим сознанием и сознанием взлетевшего над самим собой младенца нет никакой связи. Но и границы нет. Понять природу иного сознания необходимо,

поскольку она вписала в память эту ячейку, вписала так подробно, так надмирно, так совершенно, что ячейка «висит» в памяти и ее пространстве как самоценное, саморожденное, непорочносущее чудо. Вокруг ячейки все может исчезнуть в любую секунду, но она настолько полна существованием, что не подвержена воплощению и смерти.

При-рода при родах.

Трудность языка — трудность осмыслить то, что случилось в ячейке, и связать со мной, с моим логическим, причинно-следственным умиранием. Именно безболезненный, идеальный отрыв от матушки-природы и чудесный, антигравитационный полет над самим собой — именно эта внеземная бессмыслица привлекла внимание памяти. Внутри ячейки нет ни пространства, ни времени; в ней все обратимо, и при обратимости в ней не теряется ни крупицы ее полноты и абсолютной завершенности. И в этой обратимости я подозреваю еще одну чудотворную загадку.

Вот младенец открывает глаза и видит полумрак и комнату. Но в это же не поддающееся измерению мгновение над ним возникает некое внетелесное зрение, некий внутренний око-ем: он сразу видит младенца со стороны, он *знает,* что младенец сейчас спрыгнет с кровати и побежит. Ячейка уже знает весь ход события, она полна этим знанием, она разумна сама в себе. Итак, я точно и ясно для себя усвоил: память, создавая эту ячейку, указала на то, что во мне суть два сознания и что одним я могу управлять, а вот другое — вне меня, надо мной и, пожалуй, включает в себя и меня, и мою способность мыслить.

Перехода от сознания обыденного к сознанию внебытийному я не могу усмотреть, но неотменимый переход есть. Если бы его не было, младенец умер бы в то самое мгновение, когда исполнилась полнота ячейки: она наполнена всеми возможными смыслами, которыми до сего дня пользуется мое обыденное сознание.

Второе рождение наделило младенца «вторым» сознанием, или «второе» сознание наделило младенца вторым рождением? Мне нет надобности учиться смотреть внутренним оком ячейки: взаимопонимание тоньше любой интуиции. Вот пример: воспроизводя событие, я вижу свет в дырочках оконной занавеси. Этот свет всегда один и тот же и вот уже много десятилетий не теряет яркости. Чтобы уловить и остановить этот свет, нужно обладать Божественной мощью предвиденья.

Подтверждаю: быть в сознании натурального, «здешнего» света и обладать способностью предвидеть — невозможно. Чтобы остановить и запечатлеть в памяти *квант света* так, что никакой мой жизненный износ не изменит ни его интенсивности, ни его перемещения, надо обладать несусветным предвиденьем и не менее мощным захватом.

Оборачиваю око ячейки на себя вспоминающего. Знает ли она меня? Мое последующее существование никак не связано с ячейкой: событие свершилось, замкнулось на себе и пребывает в памяти как ничем не обусловленное внематериальное чудо. Ячейка не аксиома. Она иной природы, в которой закономерность никогда не переродится в неопределенность. Полагаю, что ячейка удерживает меня таким, каков я и поныне. Но как же она это делает, не влияя на мою посюстороннюю природу? Соприкасаясь с мембраной, соединяющей мое сознание с божественно умудренным сознанием ячейки, я вынужден мыслить. Значит: мыслю, следовательно существую? Нет, не в моем случае. Ячейка мне говорит: мыслить, значит не влиять, как не влияет Творец на сотворенное им чудо.

Но я любопытен. В ячейке нет причинно-поступательных последовательностей, нет временного деления, нет геометрических законосообразностей. Но вот что есть и что отзывается во мне — чувство, несомое младенцем: он освобождено спрыгивает с кроватки и бежит радостно, бежит наполняемый желанием увидеть родных, показать им себя здоровым, чувство выздоровления нарастает волной облегчения, освобождения от гнетущей плоти и бег его превращается во вдохновенное блаженство полета... На этом я мог бы успокоиться, но все то же любопытство понуждает вглядеться в *границу* между моим суетным сознанием и сознанием внутри себя мыслящей ячейки.

* * *

На вопрос 9-летнего сына, чем так знаменита его теория, Эйнштейн ответил: «Когда жук ползет по поверхности шара, он не замечает, что пройденный им путь изогнут. Мне же посчастливилось заметить это». Жук подарил Эйнштейну понимание *изгиба.*

Но вот как мой наблюдательный, немного подросший малец развивает мимолетное озарение Эйнштейна.

Навозный жук шагает вниз головой и задними ногами катит свой шарик по поверхности шара земного. Соответственно, земной шар подворачивается под шарик навозный. Малец видит и понимает, что жук явно разумен. Это интуитивное знание слегка пугает мальца, по голове пробегают мурашки: разум мальца колеблется над практическим разумом жука, удивляясь его рассудительной точности. Жук думает не о пройденном пути и не о предстоящем, он думает вот об этом неуловимом разумом моменте, в котором два шара — навозный и Земной — движутся относительно друг друга. Жук хочет знать: вкатываю шарик или скатываю? В точке мгновения-изгиба и зависла наука физика.

Точка взаимоизгиба движется с максимально доступной нашей Вселенной скоростью, и все, что движется внутри, перевито и связано условностью. Само понятие «движение» чревато синонимом «релятивизм». Малец мыслит одномоментно и шаром земным и шаром навозным, вот как я сейчас осмысливаю мыслящую ячейку, в которой бежит младенец, осмысливая предстоящую встречу с родными, а его второе сознание, сознание второго рождения, осмысливает предстоящие падение и взлет.

Я, как сказкой, заворожен способностью мыслить, осознавать, разуметь и способностью разума, не прибегая к чувственным приборам, определять плотность, качество и роль метафизического сознания. Когда Эйнштейн уловил *изгиб*, перед ним раскинулось *поле*, таинственное понятие, глубоко вошедшее в физическую картину мира и до сих пор не получившее опытного удовлетворения. Процитирую Эйнштейна: «Теория поля, представляющая, с моей точки зрения, наиболее глубокую концепцию теоретической физики со времени основания последней Ньютоном, зародилась в уме Фарадея». Понятие *поля* превратило Ньютонову вселенную в бесконечно текучую, бесконечно свободную пространственно-временную относительность. Из головы Ньютона родился Фарадей, из головы Фарадея родился жук, осознавший релятивистскую кривизну Вселенной. Жук понял, взвесив аналогию Земного шара в невесомости, что нет тяжести, а есть только масса и движение...

Наделенный опытом ячейки памяти, я могу отличить каждодневное сознание от сознания сновидения или от сознания бреда, сознание миража от сознания логики предикативного многообразия. И мне интересно, какое сознание определяло мышление жука Эйнштейна?

Точка соприкосновения двух шаров (изгибов), движущихся друг относительно друга, превращается в некую квантово-волновую функцию. Хочу понять, соприкосновение сознания моего младенца с сознанием мыслящей его ячейки — той же математической природы?

И здесь четырехмерный релятивный континуум, как ни странно, встречается с услужливой теорией вероятности... Ну и? Позволю себе отвлечься и описать случай, натолкнувший отрока (мне около 11-ти лет) на стихотворение Пушкина. Азартный картежник, поэт изучал труды по теории игры и вероятности (Паскаля, Ферма), и вот как это увлечение отозвалось в стихотворении «*ДВИЖЕНИЕ*»:

Движенья нет, сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не мог он возразить;
Хвалили все ответ замысловатый.
Но, господа, забавный случай сей
Другой пример на память мне приводит:
Ведь каждый день пред нами солнце ходит,
Однако ж прав упрямый Галилей.

Отрок увидел стихотворение так, как увидел его поэт, — не в последовательном изложении парадокса, а в синхронном сопряжении изображенных событий. Если бы речь шла только о гелиоцентризме, подвернулись бы имена Коперника, Бруно (поэт!), и Пушкин нашел бы под них изохронный стих и рифму! Но выбрал он «упрямого Галилея». Галилей вырвал движение из классической физики и, через Коперника, Бруно, впрыснул в Ньютоновый космос идею относительности. И отрок, вслед за поэтом, задает вопрос: что делает азартная, психомагическая теория вероятности в индифферентной теории относительности? Галилей вводит в картину физического мира идею нравственной, сугубо человеческой правоты. Там, где у Эвклида и Ньютона был инерционный, гравитационный, заряженный абсолютным движением космос, у Галилея появляется *игрок*. Эйнштейн назовет его Наблюдателем.

Игрок-наблюдатель в области отвлеченных идеальных экспериментов. Эйнштейн смотрит на рулетку вращающихся дисков, на вращающиеся сферы; в каждом эксперименте он расставляет наблюдателей, которые играют роль регистраторов в релятивистском поле неопределенности. Эйнштейн задается вопросом: оттолкнувшись от берега Ньютоновой вселенной, как пройти по волнам релятивистского поля? А ведь мы все еще в границах идеального эксперимента, описанного, уверен отрок, стихотворением. Потому что в идеальном эксперименте соревнуется с самим собой познающее самое себя живое *сознание*. А оно, как я уже знаю, неоднородно.

Эйнштейн тоже знает, что сознание экспериментатора неоднородно, поэтому в его эксперименте роли наблюдателей иерархически распределены. Не могу не согласиться с распределением по ролям моих сознаний, каждое из которых осознает свою роль в сфере ячейки моей памяти и меня за ее границей. Вот младенец спрыгивает с кроватки, и сознание предстоящей ему судьбы следует за ним, отслеживает каждый его шаг по полу, отсчитывает расстояние от кроватки до того мгновения, когда голые ступни младенца теряют опору о пол, теряют чувство гравитационной заземленности, и вот уже другое сознание подхватывает младенца и возносит его в сферу невесомой памяти. И все это я, как Эйнштейн, могу наблюдать со стороны.

Бог изощрен, но не злонамерен. Допустим.

Однако как же пройти по водам, аки по суху?

* * *

Читающий и внимающий уже понял, что здесь я оказался в точке бифуркации, то есть подвергся неопределенности. Мне бы хотелось свести вместе и рассмотреть два события: чудо, сотворенное Христом над Геннисаретским озером, и релятивистское «озеро», по которому пытаются пролагать метафизические «тропы» физики-неореалисты. Придать одновременность этим событиям я не могу, потому что весь подчинен классической матрице, но у меня есть граница, отделяющая классику от модерна, то есть *игра*. Как говорится: криво игриво, прямо упрямо. Хочешь испытать себя игрой — прими волевое решение. Кидаю монету.

Итак, повествует апостол релятивизма Эйнштейн: «Это было так, точно из-под ног ушла земля, и нигде не было видно твердой почвы, на которой можно было бы строить. Мне всегда казалось чудом, что этой колеблющейся и полной противоречий основы оказалось достаточно, чтобы позволить Бору — человеку с гениальной интуицией и тонким чутьем — найти главнейшие законы спектральных линий и электронных оболочек атомов. Это кажется мне чудом и теперь. Это — наивысшая музыкальность в области мысли».

Вспоминаю пушкинского Импровизатора из «Египетских ночей»: сколько времени потратил поэт на изобретение этой импровизации? Но, соблазненный нарастающей волной преображения неопределенности в статистическую вероятность, Пушкин уже не мог отказаться от игры.

Физическая интуиция, как ее понимали Эйнштейн и его скрипка, конгениальна музыкальной интуиции Моцарта. Апостол Бор рассуждал так: спектральные линии и электронные оболочки — струна звучащая; следовательно, струна умолкшая возвращается к самой себе. Звучащий квант оборачивается волной, а замирающая волна оборачивается квантом.

Я уже говорил, что мировоззрение из Божественно данной природы, окунулось в природу статистически нравственную. Спор двух апостолов новой физики — Эйнштейна и Бора вокруг квантовой механики — это спор в границах фантастического понятия «реальная метафизика». О сторонниках вероятностно-статистического понимания квантовой механики, Эйнштейн говорил: «Они из нужды делают добродетель.» Надо понимать, что «нужда» — «внешнее оправдание» квантовой механики, но следует ли отсюда «добродетель внутреннего совершенства» самой теории? Бор доказывал «добродетель» правотой логически (и математически) обустроенных парадоксов. Эйнштейн был убежден, что Бог не играет в кости... На самом деле, спор шел о *причинности*, но причинности особенной — не физической, а метафизической. Подкосив классическую аксиому пространства и времени, равную по мощи физической аксиоме всемирного тяготения, физики, потеряв почву, вынуждены были искать новую аксиому единства Вселенной.

Так играет Бог в кости или не играет?

Эйнштейн, жонглируя неким четырехмерным континуумом и синхронизированными часами, пытался оформить берегами разыгравшуюся стихию — единой теорией поля. А вот как очередной апостол Гейзенберг характеризовал эту попытку в статье «Замечания к эйнштейновскому наброску единой теории поля»: поведение масштабов и часов принимается в теории относительности как данное и не выводится из каких-либо общих допущений. Между тем масштабы и часы (!) «построены, вообще

говоря, из многих элементарных частиц, на них сложным образом воздействуют различные силовые поля, и поэтому не понятно, почему именно их поведение должно описываться особенно простым законом». Гейзенберг посадил Эйнштейна на струну наивысшей музыкальности в области квантовой физики.

Апостолы «реальной метафизики» тянулись понять (= опровергнуть) друг друга с тем, чтобы доказать неоспоримую прочность каждый «своей» теории, то есть свою точку зрения узаконить аксиомой. И потекли они *мысью* (белками) по древу познания добра и зла. Потому что причинность — это нравственная правота, которую адепты отстаивают некой лабораторно доказанной аксиомой.

Один бог в кости играет, другой бог не играет.

Евангелические апостолы, искушенные чудесами Христа, потянулись не к Нему, а от Него. Для них Христос был аксиомой. И они понесли аксиому как Божественную истину во вне.

Я уже говорил, что руководствуюсь описанными в ячейке законами памяти. Младенец оттолкнулся от «земли» и вплыл в антигравитационную сферу многоочитого сознания. Кто видит меня со стороны? Кто отслеживает и направляет мой полет над полом, над тенями, над светом? Чьими глазами я вижу себя и по сей день со стороны из любой точки зрения?

Соприкосновение сферы моей памяти со сферой земной невозможно объяснить ни пространственно-временным континуумом, ни прыжками кванта из себя и в себя. Мое появление в мире земном еще можно описать статистической вероятностью, но мое попадание в этот мир выше статистики — это веро-ятие, то есть поятое, взятое верой паки-бытие.

Апостолы Христа знали силу взятой веры, но они не знали, что высказанная мысль, пройдя через отверстие в мембране чужого сознания, сама не знает, чем обернется. Чем тоньше отверстие в мембране чужого сознания, тем невероятнее превращение проскользнувшей мысли. Но за эту экспериментальную выдумку пусть отвечают добронравные апостолы квантовой физики.

* * *

Осталось последнее чудо Христа — чудо Воскресения.

Я пережил воскресение и могу отвлеченно, но с достоверностью памяти, описать тонкости перехода из ничто в нечто. Младенец, открыв глаза, понимает, что ничего не чувствует. Все, что он видит, умо-зрительно. Он не чувствует, но понимает, как переводит взгляд, озирая полутемную комнату. Другая мысль, возникнув ниоткуда, удивляет его уже этой бесчувственностью ко всему видимому. Она ему (или он себе) говорит, говорит без слов, напрямик, интуитивно, что это уже *было*, так почему же он видит это, как будто впервые? Было — но впервые. Вокруг ячейки накручивается замкнутая на себя сфера слоистого парадокса: все видимое уже было, но теперь это будет впервые. Странность в том, что младенец, открыв глаза, сразу мыслит, мыслит всем объемом многозначной сферы. Он не удивляется тому, что видит себя со всех сторон, видит в предстоящей пробежке от кровати к приоткрытой двери. В этой ячейке-сфере он знает *все,* и это знание всего толкает его бежать к двери, чтобы сообщить близким свет понятого.

Что ты понял, младенец? И что тебя, на взлете понятого, так мягко, сопрягая с внечувственной, идеальной природой мысли, оторвало от земли? Неужели ты есть,

пока есть я? Или все наоборот? Сфера-ячейка, в которой парит воскресший младенец, практически «вечна» относительно моей текущей и утекающей жизни. Сфера-ячейка в себе не имеет времени. Время — мой удел. И глядя на воскресшего младенца, я спрашиваю себя и небо: для чего дана ему вечность, если он исчезнет вместе со мной? Он пребывает на Земле, которая взвешена и найдена легкой, вневременной пылинкой. Я же чувствую время как ускоренный гравитационный износ. Умозрительное *знание* смерти правит мной так же, как правит мной закон тяготения. А измысленная пространственно-временная рулетка предлагает мне кинуть, как в первый раз, — на удачу.

Христос знает свою судьбу и предсказывает ее. Перед роковым судом Его снедает тревога, Он мечется в пространстве, из селения в селение, Он увещевает духовную ненадежность учеников и вероотступничество народа. Он считает свои последние дни. Он смертельно тоскует. Не будем забывать, что судьба Христа дается в пересказе внешнего Наблюдателя. И в этом пересказе впервые, как равный о равном, рассказчик описывает *душевные* переживания Христа: Он скорбит и тоскует. Тоска земная, смертельная. Тревога той же земной ипостаси доводит до того, что Он просит Отца избавить от «чаши сей». Затем тревога возрастает до отчаянного, сверхбытийного сомнения: Боже мой! Для чего Ты меня оставил? — Он умирает. Тайна преодоления смерти остается Его тайной.

Как говорится: не столько смертей, сколько скорбей.

Возвращаюсь к драме релятивных физиков. По Ньютону пространство и время абсолютно обусловлены. Таков договор с Богом: он ограничивает и бесконечность пространства, и бесконечность времени. Но вот по Земле пополз жук, и прямизну взяла кривизна, время океаном развело берега. То, что было абсолютной достоверностью, превратилось в пространственно-временной континуум.

Люди до релятивного жука были двумерными. Эйнштейн так иллюстрировал прорыв из Вселенной Ньютона в космос релятивизма: вот луч света падает на киноэкран, и на экране начинают жить своей двухмерной жизнью любознательные двухмерцы; они, путем долгих наблюдений и вычислений, предполагают, что *свет* приходит оттуда, где сидит трехмерный наблюдатель. В свою очередь трехмерный наблюдатель достает из жилетного кармана недремлющий хронометр и уточняет, что до окончания жизни двухмерцев осталось всего ничего минут...

Не могу не пособить себе литературным отступлением. Механические часы разбежались по классическому миру быстро, но я нигде не могу обнаружить тот общедоступный пункт, по которому помещик, сидя безвылазно в деревне, настраивал своей «недремлющий брегет».

Вот в этом пункте — не ты по времени, а время по тебе — совпадает тоска и скорбь Христа с релятивизмом новой физики. Но в отличие от Христа, который с покорностью принимает кончину своего земного времени: впрочем, не как Я хочу, но как Ты, — физики будут предлагать хронометрированному человечеству часы все более утонченной точности.

Напомню: я повествую не о физических свойствах измерительных приборов и не о возможностях математических измышлений; я описываю подлежащие внутреннему опыту и его воспроизводству «вечные» самородки памяти.

Казалось бы: пространство искривилось и превратилось в подсобное хозяйство, время — ходовой товар. Апостолы релятивизма думали и мечтали об этом? И поэтому они экстраполировали свои сомнения, тревогу, тоску и скорбь вовне, передоверив

все эти глубочайшие, соприродные душе переживания, — реликтовой гравитации, реликтовому континууму и реликтовой вероятности? На слух человечий ворона скорбно поет, а все потому, что так она пела задолго до того, как на земле появились люди.

* * *

В этом последнем пункте возвращаюсь к опыту моего, не поддающегося времени, младенца. Поверив опыт своей памяти опытом Христа, опытом классической физики и физики релятивной, обнаруживаю в памятной ячейке еще не разведанную, не раскрытую затаенность. Когда воскресший младенец спрыгивает с кроватки и бежит (он знает, куда бежит, но знает ли, что с ним случится через несколько мгновений?), в его памяти не может не быть опыта *умирания*. Сначала он бежит не к свету, он бежит оттуда, из мрака, которым наполнена вся занавешенная от света комната. Почему же память не открывает мне то, что виделось и мрежилось младенцу в его предсмертном беспамятстве? Он несет в себе эту память, но почему она затаенная?

Он бежит и не знает, упадет или взлетит, а я досаждаю ему своими вопросами. И при этом заведомо, как апостол в пересказе, знаю: то затаенное, откуда он бежит, чудотворно пережил Христос на кресте, — абсолютное одиночество.

* * *

Наташа, моя покойная жена, приснилась мне дней через пять после похорон. Как всегда озабоченная какой-то мыслью, она мимоходом, по-матерински предупредила меня: «Туда тоже надо родиться».

Олеся Николаева

Брат мой Битов

В преддверии «Человека в пейзаже»

— Ничего, что я тебя втягиваю во всякие мистические приключения? — спрашиваю, задыхаясь от радости и предчувствуя желанный ответ.

— Да я только и жду, чтобы меня кто-нибудь втянул... Так куда мы едем?

Наутро мы на битовской желтой «четверке» отправились в Лавру, забрали оттуда иконописца архимандрита Зинона и махнули неведомо куда — Владимирская область, город Юрьев Польский, потом еще по шоссе — село Небылое, изба на окраине, неподалеку от пруда, ключи — вот: их дал моему мужу иеромонах Авель, который там жил и служил, а сейчас гостил в отпуске, в Москве. А адрес — на словах и жестами: как съедете с основной дороги — там направо-налево и наискосок. Шел 1983 год.

Ехали с шутками-прибаутками, с серьезными разговорами о живописи, об искусстве, о творении, о Творце, ели на ходу бутерброды, прогулялись по Юрьеву, хотели даже зайти в местный ресторан, который располагался в бывшем монастырском корпусе, да он был закрыт. Уже и не чувствовалось, что Андрей познакомился с отцом Зиноном лишь этим утром, так вольно текла беседа, в которую вливались и вливались ручейки побочных тем, делая ее неизбывной и бесконечной. Собственно, она и продолжалась, пусть порой лишь мысленно, до конца дней.

Приехали уже в темноте, ломились поначалу не в ту избу, смеялись, наконец нашли то, что искали, вошли впотьмах — выяснилось, что в доме нет электричества. Отыскали свечи, распаковали кулек со скудным провиантом и бутылкой вина, сели вечерять.

Впрочем, Битов потом воспроизвел кое-какие наши разговоры на страницах «Человека в пейзаже», впустив в пространство прозы других, не похожих на нас персонажей, в иных обстоятельствах и с иными событиями, но вложил в чужие уста наши слова.

Хотите удостовериться?

«— Я в дьявола не верю, — вдруг воспротивился я.

— То есть как? — воскликнули Павел Петрович с неведомо откуда слетевшим к нам Семионом. (*Никакой, конечно, это был не Семион, а отец Зинон, и не Павел Петрович, а мой муж — тогда еще Володя Вигилянский. — О.Н.*).

Николаева Олеся Александровна — поэт, прозаик, эссеист. Профессор Литературного института им.А.М.Горького. Автор многочисленных книг стихов, прозы и эссе. Лауреат многих литературных премий, в том числе Национальной премии «Поэт» (2006). Постоянный автор «Дружбы народов». Живет в Переделкине.

— То есть в Творца, в Христа, — залепетал я, зажатый двумя мудрецами. — Верю как в реальность, что они были... есть... а дьявол так же есть, как они, — нет. (*Это уже сам Битов, а не его персонаж. — О.Н.*)

— Он не верит... — испуганно прошептал Семион своей белой подружке. — Во что же он тогда верит?!

— Слушай его, слушай, — сказал Павел Петрович.

— Да ведь весь воздух кишит! — и Семион, как всполошенный петух, взмахнул рукавами, обводя доставшееся нам здесь пространство. (*В действительности тогда взмахнул широким рукавом греческой рясы отец Зинон. У меня до сих пор эта сцена перед глазами. — О.Н.)*

Я отшатнулся. Павел Петрович предательски кивал.

— Чем кишит? — разозлился я.

— Невидимыми существами! — и он заозирался, будто в страхе (*Так и было! — О.Н.)*

— И в тот свет — не верю! — уперся я.

— То есть как? — Семион, казалось, лишился дара речи.

Павел Петрович не без интереса на нас поглядывал.

— А так, — сказал я зло.

— Так ведь раз есть свет этот, — сказал Семион голосом вдруг мягким и вкрадчивым, — так есть и тот...» (*Очень хорошо помню этот довод отца Зинона. — О.Н.*)

Впрочем, потом слова отца Зинона, художника, иконописца, он вкладывает в уста пейзажиста Павла Петровича, воспроизводя свои тогдашние разговоры с архимандритом и создавая при этом иную реальность, в которой, однако, как сквозь очень мутное и деформированное «пьяное» стекло, угадываются силуэты и тени реальности первой. (Так в автобиографической «Дачной местности» он заменил дочь Анну на сына Сергея. Так впоследствии Андрей познакомил меня в Доме журналистов на Никитском со своим приятелем, с которого писал Павла Петровича. Так и сказал, указал на улыбающегося невысокого лысого человека: «А вот это Павел Петрович!»)

Все эти высокие и глубокие рассуждения о Творце и творении, о Слове и образе, о Первом Дне, о земле и воде, о человеке и первородном грехе, о творчестве и об искусстве, о природе и культуре здесь «снижены» тем, что ведут их «под бутылочку» с «патефончиками» полупьяные маргинальные персонажи: не вещают, а выбалтывают, выветривая пафос и серьезность оригинала.

Да много чего из наших тогдашних разговоров я узнавала, читая рукопись повести, которую Андрей закончил через два месяца после нашей поездки в этот скит (23 августа 1983 года) и которую он сунул мне в самолете, когда мы летели в Тбилиси в начале октября, рассчитывая попасть на Тбилисобу: вольный грузинский праздник с народными гуляниями, реками разливанными молодого вина и блюдами с виноградом. У меня там были дела с издательством «Мерани» и Коллегией по переводам, и я решила превратить деловую командировку в праздник.

А потом уже в «Ожидании обезьян» (в трилогии «Оглашенные», куда входит «Человек в пейзаже») тоже находила следы наших разговоров, странствий, приключений.

Недаром он в предисловии к этой последней части написал «от автора»: «Автор просит благословения у настоятеля монастыря Моцамета архимандрита Торнике и иконописца Архимандрита Зенона (*тут он ошибся: «Зи» — Зинона. — О.Н.*). Автор благодарит литератора-послушника В.Н.Вигилянского» (*хотя он никаким послушником не был*).

Так мужа моего Андрей сугубо поблагодарил за историю, которую тот ему рассказал — о том, как он трижды нырял в Абхазии в ледяной поток за камнем мученика Василиска, и даже подарил ему, Битову, камень со следами застывшей мученической крови. Этот рассказ, несколько его переиначив и отдав его своему герою, Битов и вставил в «Ожидание обезьян».

А уже я потом писала послесловие к этой книге... Он попросил, сказал: «Ну, ты же там все знаешь...»

Но сначала надо рассказать об архимандрите («мама») Торнике, у которого автор «Оглашенных» просит благословения... Собственно, именно этот необыкновенный человек положил начало нашей дружбе. Итак, маленькая вставная новелла.

Мама Торнике

Грузинский архимандрит Торнике сидел дважды.

Первый раз за царицу Тамару. Насколько я помню, он тогда подвизался в монастыре Зедазени, на самой вершине горы. И туда поднялись советские туристы. Мама (по-грузински — отец) Торнике принялся их просвещать, стал рассказывать про крещение Грузии. Упомянул, конечно, и святую царицу Тамару. А один из туристов, полковник, себе на беду, скабрезно хмыкнул и обозвал ее нецензурным словом. Ну, и получил от архимандрита по заслугам, прямо в зубы: тот, как рыцарь за честь Прекрасной Дамы, вступился за святую царицу. Полковник на него и донес куда следует.

Второй раз мама Торнике сидел за то, что крестил еще в советские времена в Чёрном море пионерский лагерь. Я представляю это так: пионеры пошли купаться, а он над каждым произнес: «Крещается раб Божий (имярек) во имя Отца (аминь), и Сына (аминь), и Святаго Духа (аминь)». Трижды окунул, и пионеры вышли из воды юными христианами. Возможно, именно он и стал их крестным отцом.

После этого он вновь уединился на высокой горе, но уже в другой части Грузии — неподалеку от Кутаиси, и восстановил там разрушенный монастырь Моцамета — святых Давида и Константина.

И вот этот чудесный архимандрит собирался приехать в Москву. Наш друг, патриот Грузии, как и мы, сказал нам:

— Наконец-то я покажу вам настоящего подвижника. Он будет проездом в Москве, и я вас с ним познакомлю. А уж поскольку он здесь окажется, он пойдет в «Детский мир» покупать подарки для своих малолетних внучек.

Мы удивились:

— Что это за подвижник, у которого внучки и нужда в подарках?

— До монашества он был женат и звали его отец Георгий, вот у него и внучки. А потом он принял монашеский постриг с именем Торнике.

Наконец он приехал. Двери распахнулись, и... Нет, кажется, таких людей земля уже давно перестала производить на свет, разве что в виде великого исключения вспомнила вдруг о славных временах древнего мира — временах праотцев, Патриархов и Пророков, на которых Бог и природа не скупились своими дарами, являли свое искусство, достигая высот художественности и отвешивая им по девятьсот лет жизни!

На пороге стоял величественный человек, не старик, но старец двухметрового роста, с роскошными седыми кудрями и такой же белоснежной густой бородой.

Прекрасное лицо его было тончайшей лепки и резьбы: римский нос, высокий лоб, острые скулы и добрые мудрые глаза, знающие тайны, сокрытые от простых смертных.

Одет он был в темно-вишневый подрясник, на котором золотился большой наперсный крест. Сам облик его уже был проповедью. За этим человеком хотелось пойти, куда бы он ни пошел, и около него хотелось пребывать, где бы он ни оказался.

Когда мы, сопровождая его, отправились, наконец, в «Детский мир», все — и прохожие, и продавцы, и покупатели, и старики, и дети — застывали потрясенно, чуть приоткрыв рот, увидели диво, а затем завороженно и бессознательно, словно не желая расставаться с чудесным виденьем, двигались за ним следом. Некоторые даже просили у него благословения. А он шел с просветленным лицом сквозь толпу, как посланник иного мира, вестник Небесного Царства, оказавшийся в самом центре суетливой атеистической Москвы и свидетельствовавший о том, что есть и другая жизнь, и другая Россия...

Уезжая, он пригласил моего мужа к себе в монастырь:

— Женщинам туда вход воспрещен, — пояснил он мне. — А муж твой пусть приедет помолиться. «Моцамета» значит «исполнение желаний»! Ко мне и из России приезжали креститься, писатель Андрей Битов, может, знаете?

Мой муж, недолго думая, отправился туда, да не один, а с другом — иеромонахом из Лавры. Заехали сначала в места ссылки Святителя Иоанна Златоуста, побывали на месте мученической смерти святого мученика Василиска, которая произошла над источником, куда стекла его честная кровь. Ныряли в этот источник с ледяной водой, чтобы достать со дна один из камней, на которых, по преданию, запечатлелись следы его праведной крови, а уж потом проехали Кутаиси и поднялись в Моцамети.

Вокруг была несказанная красота! Монастырь располагался на утесе, формой напоминавшем перевернутый утюг. И на самом его острие, над пропастью, высился чудный храм, возле которого было монастырское хозяйство. Отсюда, сверху, пасшиеся внизу коровы казались божьими коровками, а добротные крестьянские дома — спичечными домиками.

Но зрелище, которое им открылось возле храма, и вовсе их поразило. Был воскресный день, и все пространство здесь было заполнено народом. Люди держали в руках кур, петухов, уток, вели на веревках коз и барашков. Куры кудахтали, петухи кукарекали, барашки блеяли. Литургия уже завершилась, и на пороге показался священник, который взял одного из таких барашков на руки и пошел с ним вокруг храма. Толпа двинулась следом.

Лаврский иеромонах и мой муж замерли в недоумении, наблюдая эту национальную специфику здешнего Православия.

— А, — махнул на это рукой отец Торнике, когда, увидев их, подошел с благословением. — Это попросился послужить священник из местных. Есть такой здешний обычай — жертвовать на монастырь курами и барашками. Однако жертва считается принятой, если священник обнесет ее с молитвой вокруг храма. Тут еще много следов язычества — в некоторых домах и селах жители просят священников, чтобы те нарисовали у них во лбу крест кровью жертвенного петуха. Но в своем монастыре я этого не позволяю.

— А куда вы деваете потом этих кур с барашками? — спросил иеромонах.

— Они у меня живут в специальных загончиках, пока не приезжают люди из ближайшего колхоза, которые их покупают у монастыря. Мне-то эти куры ни к чему — как монах я мяса вовсе не ем. Но вас, — он посмотрел на моего мужа, — я все-таки сегодня угощу цыпленком табака. Прошу!

И он жестом пригласил их в дом.

Гости оказались в большой комнате, можно даже сказать — зале. В ней стоял белый рояль, длинный стол со стульями, в углу была печка, у окна — швейная машинка. И на все это благолепие из красного угла взирали святые лики.

— Мы здесь живем вместе с леди. Только я и леди. И никого, — загадочно сказал мама Торнике.

Мой муж и иеромонах смущенно переглянулись: очень эта «леди» не вписывалась в картину уединенного монастыря.

В залу тем временем вошел огромный белый дог.

— Знакомьтесь. Это и есть моя Леди, — улыбнулся отец Торнике, потрепав ее по холке. — Располагайтесь! Сейчас я буду с вами разговаривать и печь хлеб. Вы любите лаваш?

Он достал с полки муку.

— Давайте я вам помогу, — с готовностью вызвался мой муж.

— Нет, — решительно отказался священник, — я все делаю сам. Сам готовлю, сам убираю, сам себе шью. Все мои подрясники, рясы, все, что на мне, — это мое рукоделие. Женщин вообще не допускаю в монастырь. Разве что в храм, если придут помолиться. Человек должен постоянно трудиться, ибо леность губительна. Порой она приводит к слабоумию. Вот сейчас стало много открываться в округе старинных горных монастырей. Монахи там живут по двое, по трое и... голодают! Не могут самих себя прокормить! Очень часто они, молодые, ко мне, старику, приходят на поклон, чтобы поклянчить. Я никому не отказываю, однако, стыжу: «Вы — сильные, крепкие, а попрошайничаете! Где ваше монашеское рукоделие, которым пустынники древности добывали себе пропитание?» Даю им денег и выгоняю с позором.

Отец Торнике, закатав рукава подрясника, уже вовсю месил тесто для хлеба и прикрыл тяжелой крышкой шипевшего на сковороде цыпленка, возле которого томилась на маленьком огне в горшочке зеленая фасоль.

— А там, в подвале, у меня целебные настойки, которые я сам готовлю на травах, — продолжал архимандрит, ловко переворачивая хлеб. — Меня в лагере так и называли «лекарь», кличка такая у меня там была. Пойдемте, пока готовится еда, я вам покажу.

Они спустились в подвал. Он представлял собой большое помещение, весь пол которого был уставлен бутылками, бутылочками, банками и склянками с настойками. Большие и маленькие, аккуратные и растрепанные пучки трав свисали с потолка и стен. Это была целая фитолаборатория, хранилище Богом данных целебных веществ...

— Это — от давления, это — от одышки, а вот это — от кашля, — пояснял лекарь-священник, обводя рукой комнату и притрагиваясь то к корзинке, то к склянке. — Господь врачует нас Своими дарами — земными и небесными.

Однако пора было уже и к столу.

Настоятель расставил глиняные тарелки и миски, стаканчики, достал кувшины с питьем, положил моему мужу обещанного цыпленка, а себе и иеромонаху — плодов земли: фасоли, шпината, пахучих помидоров и зелени, и трапеза началась.

— Поначалу я был здесь в монастыре один, совсем один. И чаял жития отшельнического, когда есть лишь душа и Бог, и более никого. Но потом сюда потянулись местные жители — в храме помолиться, ребенка покрестить, совета священнического попросить. Стали приезжать и люди издалека — из Тбилиси, из Москвы, даже из заграницы: как откажешь, если у человека скорбь или болезнь, или вопрос неразрешимый, или нужда в покаянии? Как откажешь, если просят пособоровать больного или отпеть умершего?

И он тяжело вздохнул. Потом поднялся из-за стола, сел за белый рояль и заиграл Шопена.

Все это было так необычно, так чудесно! Высокогорный монастырь. Отшельник, старый лагерник. Царица Тамара, за честь которой он в свое время вступился и пострадал. Белый дог Леди, белый рояль, целебные травы, Шопен...

Здесь у отца Торнике жизнь действительно представала во всей своей подлинности. Она была нерасторжимо и страшна, и прекрасна, как «Господи помилуй» и «Аллилуйя». В такие моменты человек чувствует на себе взоры Всевышнего, понимает, что сердце его — в руках Божьих, все его входы и исходы ведает Господь, все давно начертано у Него в Книге Жизни.

Мой муж вышел на воздух. Было уже темно. По безднам, над которыми нависал монастырский утес, лепился туман. А прямо над головой сияли огромные звезды.

Какая-то шальная курица — тварь, которой Господь не дал разумения, — не дождавшись, когда ее отдадут колхозу, перелетела через загородку импровизированного курятника и, кудахтая, сорвалась в пропасть. Туда же устремилась и вода из умывальника, которой муж ополоснул лицо и руки. Где-то далеко, там, внизу, залаяли собаки... А возвышающийся надо всем храм, казалось, стягивал к себе всю округу, не давал пространству расползаться бесформенной массой и придавал ему и форму, и смысл.

Крещение

Вот к этому архимандриту Чабуа Амирэджиби с Резо Габриадзе в начале восьмидесятых и привезли крестить Битова. Обоих он стал считать своими крестными отцами. Так и говорил: «А у меня целых два крестных отца!» Правда, с годами он заменил Чабуа на маму Торнике. Но все равно так и осталось: два крестных отца. В конце жизни это аукнулось, когда сам Андрей захотел стать вторым крестным своего правнука.

Собственно сразу после этого мы с ним и подружились крепко-накрепко, когда я ему сказала таинственно: «А я все знаю про Моцамета! Мама Торнике!» И так стояли и смотрели друг на друга, словно были связаны одним большим секретом.

Сели в ЦДЛ за отдельный столик и, как заговорщики, стали, перебивая друг друга, рассказывать о мама Торнике и его обители. Вспомнили и про его догиню Леди (не она ли перекочевала на страницы «Человека в пейзаже»: «*мраморная богиня ослепительного ужаса и красоты*»?) Тогда же и договорились, что обязательно отправимся в Грузию вместе.

— Я и раньше хотел креститься, но Резо меня останавливал, — сказал Битов. — Сказал: подожди, то ли еще увидишь! Я сам тебя туда отвезу. И Чабуа, узнав об этом, тоже решил отправиться с нами — для верности, а то, как он сказал, много бывает препятствий на пути к Крещению. Да и путь неблизкий: из Тбилиси до Кутаиси, а там еще и под гору.

...Вот я и позвонила ему, водителю желтой «четверки», когда машины у меня еще не было, а она была жизненно необходима. Попросила, чтобы он отвез нас с моим духовником в Небылое. Зачем? А просто: отцу Зинону позволили отлучиться на несколько дней из монастыря, и он захотел куда-нибудь отправиться, а никаких идей насчет этого у него и не было. Тут-то и возник этот иеромонах Авель, с его скитским домиком в почти опустевшем селе посреди лесов и полей. А как его везти туда без

машины? Итак, я вовлекла Битова в мистическое приключение, которого он, по его словам, «как раз и чаял, и ждал». В одной из книг есть у него рассуждение про монаха в длинном подряснике, идеально вписанном в пейзаж. Помню, как наутро, когда мы вылезли из избы отца Авеля, огляделись при свете и пошли в лес, Битов залюбовался отцом Зиноном, который поднялся на холм и замер. Гармония — это совпадение образа и реальности, — как-то так он сказал тогда.

Сам себя считал постмодернистом, а на деле — чистый платоник: во всем земном и материальном пытался отыскать эйдос, в феноменальном — ноуменальное, в нерукотворном — Замысел, в рукотворном — идею, в жизни — линию судьбы, в обстоятельствах — указание Промысла Божьего. А при этом с Богом он общался как-то накоротке. Сидит с рюмкой в руке и рассуждает о том, как смотрит на него Господь да приговаривает: ну, выпей, выпей еще рюмочку, а потом — все, достаточно, тебе хватит! И часто было такое впечатление, будто он прислушивается к этому голосу. Иное дело, кому именно на самом деле он принадлежал. Но было что-то трогательное и детское в этом внутреннем обращении и вслушивании.

Прощаясь с нами (он с отцом Зиноном уезжал из Небылого, а мы с моим мужем еще оставались здесь), он сказал: осенью обязательно вместе поедем в Тбилиси. И поехали — он, я и мой муж. А отец Зинон хотел да не смог: на этот раз не отпустили из монастыря.

В Грузию!

Билеты на самолет я привезла ему поздно вечером накануне вылета: покупала их по блату у тещи покойного поэта Володи Шлёнского, которая работала начальницей в кассах Аэрофлота. У Битова сидела Валерия Нарбикова, и он, совершенно не стесняясь, спрашивал меня при ней: «Давай я ее выпровожу, а?» — «Зачем?» — «А чтобы не выпендривалась». Она и не выпендривалась, она просто сказала мне:

— Как? У тебя трое детей, две собаки, три кошки? Я бы так жить не смогла. Нет, это не для меня.

— А тебе это никто и не предлагает, — раздраженно ответил Андрей, словно защищая мой домашний уклад.

Как-то раз он заметил:

— А твой муж — гордится.

— Да чем же?

— Ну, что у него всего много, все есть — дети, жена, семья.

У Битова были такие периоды, когда ему очень нравилась «мысль семейная»: он даже в какой-то момент, уже живя в Переделкине (середина 90-х), решил почувствовать себя этаким патриархом и собрать под своим кровом и маму — Ольгу Алексеевну, и всех жен, и детей. Вот — все женщины, все дети, все внуки в сборе, а он — главный и мудрый — простирает над ними крыло. Но это не вполне удалось: собрались вокруг него, помимо матери, только первая жена Инга с дочкой Анной и последняя, третья — Наталья с маленьким Егоркой. А Ольга, вторая, которая между ними, не согласилась. И ее сына Вани тоже не было на этой семейной трапезе, то есть осталась в стороне целая ветвь. И тем не менее никогда Андрей не был так прост, легок, весел, радушен, как в те дни. Ездил в супермаркет, покупая продукты, собирал гостей: по летнему времени — под окнами своего домика, у костра, осенью — в комнате, где все сидели чин по чину за большим столом, а больная Ольга Алексеевна лежала тут же на

диване и участвовала в разговоре. Кажется, она запуталась в его женах, и Наташа, третья жена Битова, объясняла ей, что это она — законная.

— Законная я! — повторяла она.

Между прочим — и Ольга, и Ваня, и Анечка, и ее дочка Полина, внучка Битова, — мои крестники... Битов как-то раз позвонил мне и попросил срочно отвезти их в Переделкино (в середине 80-х) и там покрестить. Я заехала за ними куда-то на Юго-Западную, и все утрамбовались в моей маленькой машине: Ольга с Ваней и Аня с маленькой дочкой Полиной — на заднем сиденье, Андрей впереди рядом со мной, чтобы ревниво следить, как я веду автомобиль. До этого он дал мне один урок вождения, приговаривая: главное — не давить население и не портить железо, сшибая по пути твердые предметы. И потом, через много лет, когда я часто увозила его домой с общих мероприятий и посиделок, он с удовлетворением отмечал:

— А ты хорошо водишь! Рационально и спокойно.

...Тогда же они все были крещены по самому полному чину — «с погружением»: такая великолепная купель была в Храме Преображения Господня в Переделкине.

А выросший крестник Ваня недавно поставил мне в укор, что я плохо за него молюсь, поэтому у него в жизни все не так, не туда, не то. Наверное, да, плохо, прости, Ваня, прости!

Сойдя с самолета в Тбилиси, мы расстались: Битов поехал к Резо Габриадзе, а мы — к нашим друзьям Лохвицким, но вскоре, не успели мы переодеться и глотнуть чая, он позвонил и сказал, что Резо нас приглашает на ужин. Так мы потом и ездили то друг к другу, то к общим друзьям. В один из дней к нам присоединился прекрасный грузинский поэт Бесик Харанаули и позвал нас всех к кому-то на день рождения. В Грузии это было запросто: друг моего друга — мой друг. Пришли. Сели рядком, влились в общее веселье, и вдруг после энного тоста какой-то захмелевший гость кинул что-то пренебрежительное о русских.

Битов напрягся.

— А ну — повтори! — и сжал кулаки.

Тот криво усмехнулся в ответ.

— Пойду набью ему морду! — Битов вскочил из-за стола. Мы с Резо принялись удерживать его, хватая за руки, но, казалось, он еще больше бушевал от этого и вырывался.

— Лучше пойдем отсюда, пойдем!

Буквально силком затолкали его в такси, приехали к Резо, но он все не мог успокоиться.

— Я — антисоветчик, — говорил он, — но я и империалист! Русский империалист.

Этот эпизод сильно его раздражил. По какому-то незначительному поводу вдруг прикрикнул на Левана, подростка, сына Резо, назвав его почему-то «Иудушкой», на жену («Уйди, Крошка!»), потом повернулся ко мне, руки у него дрожали, я впервые видела его таким гневным, и спросил растерянно:

— Почему меня разрывает от ярости? Может, во мне бесы?

— Успокойся! Ты же в них не веришь! Их же для тебя нет.

— Зато они верят в меня. Я-то для них есть... Может, какие-нибудь таблетки мне пить?

Вот так мы с ним и общались: с какой бы ерунды ни начинался наш разговор, где бы мы ни встречались, так или иначе непременно соскальзывали в метафизические объяснения: Бог, бесы. Могу утверждать, что он был человеком богобоязненным. Знал, что такое «страх Божий».

Начало

Мы познакомились с ним, когда мне было шестнадцать лет, я училась в десятом классе. А он — уже известный писатель, как раз в те поры опубликовал великолепные «Уроки Армении» в «Дружбе народов», уже написал «Пушкинский Дом», экземпляр рукописи которого носил в своем потертом кожаном портфеле. Его поздно вечером привезли к нам в гости из ЦДЛ мои родители: хотели еще посидеть, выпить, поговорить. Папа, между прочим, принимал самое активное участие в публикации «Уроков...». Он тогда был заместителем главного редактора «Дружбы».

И вот я говорю в прихожей по телефону — договариваюсь о завтрашнем походе в зоопарк, это 8 марта, выходной день в школе, и тут входят радостные папа, мама и с ними — о, я таких людей вообще никогда не видела, как тот, который с ними... Почему-то у меня сразу возникло предчувствие, что это человек особый, который будет иметь отношение к моей жизни.

Я тут же оборвала телефонный разговор.

— Вы посидите с нами? — спросил он, когда мы познакомились.

Конечно, посижу.

— А стихи почитаете нам? А споете?

И почитала, и спела... Да, я тогда пела свои песни и подыгрывала себе на пианино.

Заговорил о своем (и потом через много лет снова и снова возвращался к этой теме), а я сидела, затаив дыхание и развесив уши:

— Самый «разврат» начинается там, когда понимаешь, что какое-то «ты» — это тоже «я». Меня поразило, когда мне сказали: «А мы вчера о тебе говорили...», то есть я, не ведая о том, присутствовал параллельно в другой точке пространства. Это умножение «я» среди множества других «я» было для меня открытием...

Рассуждал о «непрерывности» времени и — о его «прерывности», а я внимала, примеряя на себя: у меня-то какое, прерывное или нет? Рассказывал о том, как он завоевывал первую жену, угнав у ее отца автомобиль (нигде потом я не встречала этой истории в его прозе), что произвело на меня огромное впечатление: надо же — какой авантюрист! Пират!

Уже собираясь уходить, открыл свой потертый черный кожаный портфель и достал из него толстенную рукопись:

— Это мой новый роман. Будете читать? Прочитайте за три дня, а то у меня практически не осталось экземпляров.

— Конечно.

— А вы? — это ко мне.

— Обязательно.

Взяла роман и читала всю ночь напролет, как-то торжественно, сглатывая от волнения слюну.

Мама вернула ему рукопись через три дня, а я увидела Битова лишь через три года, в ЦДЛ, накануне моей свадьбы. Я-то думала, что он меня не узнает, но — нет, так и сказал: «А я вас часто вспоминаю...» Такие вещи производят впечатление на юное сердце! И да — он был красавец! Для меня это было важно. Мне было двадцать лет.

Недоразумение

Потом он сам пришел к нам, но уже не в родительскую квартиру, а в квартиру моей свекрови, писательницы Инны Густавовны Варламовой, где мы тогда (один год) жили с моим молодым мужем. То ли это были какие-то диссидентские проводы, то ли приехали американские издатели Карл и Эллендея Профферы, но народу в эту небольшую двухкомнатную квартирку на Аэропорте набилось преполно. И тут — Битов:

— Красивый у вас муж!

Так они познакомились.

У меня на груди в сумке-кенгуру висела трехмесячная маленькая дочка Александрина.

— Прелестное у вас дитя!

Через много лет она будет брать у Битова интервью, даже не подозревая о столь давнем знакомстве с ним, а он будет так мил с ней, так обаятелен и дружественен, что это еще раз подтвердит мое чувство внутреннего родства с ним.

Потом виделись то и дело в ЦДЛ. Поэт N, встретив меня, сказал:

— Давай твои стихи, которые здесь не печатают. Я их опубликую в хорошем издании. Неподцензурном. О тебе тут Битов говорил. Там все наши — Аксёнов, Битов, Ерофеев...

Я и отдала ему подборку «непечатных».

А через весьма малое время моя подруга Л., поэтесса, рассказывает:

— Ох, вчера так напились в ЦДЛ, что решили продолжить у меня (она жила неподалеку — в Гнездниковском переулке. — *О.Н.*). N с нами. Потом, когда все ушли, оказалось, что у меня пропала бутылка шикарного французского шампуня, я еще его даже не открывала. Ты знаешь, тут про N поговаривают, что он запросто тырит чужие книги. И еще, что он берет чужие стихи, потом едет в провинцию и там печатает под своей фамилией... Поэтому я на него грешу.

И вот это была такая чушь, такая небывальщина: N-то и самого тогда не печатали, а он что — чужие стихи, которые не прошли через цензуру, сможет опубликовать? Под своей фамилией? Зачем? А я, хотя и взрослая была уже девушка — 23 года, искусилась: подумала, надо же, еще опубликует мои стихи под своим именем, поди потом доказывай, что это все — мое! И решила у N свои стихи забрать. А его и нет нигде — проходит месяц, проходит другой, а N в ЦДЛ и след простыл. То встречала его там едва ли каждый день, а тут пропал. Встретила Битова:

— Андрей Георгиевич (тогда — так!), помогите мне, пожалуйста, найти N, а то он взялся мои стихи где-то напечатать, вас упоминал, какое-то неподцензурное издание, а я раздумала, хочу их вернуть. Да у меня и книжка вот-вот выйдет в «Советском писателе» (вышла через два года). Вы не знаете, где N? Вы не могли бы ему сказать, что я не хочу публиковаться у него.

Битов посмотрел на меня, что-то соображая, и сказал:

— Напрасно. А мы уже читали ваши стихи, и они нам нравятся. Но раз вы против, то конечно...

Оказалось потом, что речь шла о «Метрополе».

Такая вот нелепая история...

В Астраханском переулке

В 1977 году мы с мужем переехали в квартиру в писательском доме в Астраханском переулке, которую — на всю семью — получил мой отец, и оказались ближайшими соседями детского писателя, можно даже сказать, классика детской литературы Геннадия Снегирёва. Его жена Татьяна стала нашей — моей и моего мужа — крестной матерью, и дружба наша была крепче смерти. Виделись мы с ними каждый день, а порой и по нескольку раз, и имя Битова очень часто звучало в этом доме. Еще бы — ведь Генка был прообразом его Зябликова из «Улетающего Монахова», а Татьяна — той самой Натальи, которая «танцевала с шалью» и которой автор-герой был не на шутку увлечен.

У Битова действие повести перенесено в Ташкент, но на самом деле все происходило в Москве в квартире Снегирёвых на День Татьяны, Танины именины. Но там была не «шкура яка», как в повести, а настоящая медвежья шкура, на которой Снегирёв любил возлежать, поражая всех, кто впервые попадал к нему в дом.

Далее про Зябликова, точно списанного с детского писателя Снегирёва:

«Зябликов и впрямь оказался весьма забавным человеком. Монахов (альтер-эго автора. — *О.Н.*) таких не встречал. Он был великий путешественник. Он проплыл сибирские реки от истоков до океана, перешел пустыни и тайгу, и все это, кажется, была правда. Он мог прожить полгода один в обществе комаров и сосновых иголок и тогда не пил не только потому, что нечего, но потому, что незачем. Остальную жизнь, включая себя, он знал, кажется, не хуже, чем лес, и презирал, по-видимому, настолько глубоко, что оставался спокоен и снисходителен. Глупость, конечно, его раздражала... В общем, он сильно нравился Монахову, и Монахов старался ему понравиться и проявить ум, постоянно поскальзываясь на своих неточностях. Но это уже не Зябликов прикалывал его неудачные слова взглядом, а сам Монахов в ту же секунду ловил себя на них, выправляя и выруливая — вот благо соседства с умным человеком! Короче, они выпивали».

— Гена — гений, — впоследствии говорил мне Битов о Снегирёве. — Чтобы быть гением, надо быть полным шизоидом.

Это так он перефразировал самого Снегирёва: «Чтобы казаться в этой стране сумасшедшим, надо иметь железную психику и крепкие нервы».

— Битов, конечно, обалдел, когда к нам попал, он не понимал, как можно так жить, как мы тогда жили в однокомнатной квартире на Малой Грузинской: спали на медвежьей шкуре, — вспоминала Татьяна. — А Битов поначалу был весь такой — в светском напряге. Но Генька (это она так называла Снегирёва) быстро с него этот напряг снял.

Ну да! Снова узнаю Снегирёва:

«Зябликов склонялся доверительно, дышал в ухо:

— Наколка есть, понимаешь?

Монахов согласно кивал, не понимая. Он принимал «наколку» с той же готовностью, с какой заглатывал «раску» — самое плохое вино, которого на его пять рублей Зябликов сумел купить прямо-таки невероятное количество. «Дело-то совершенно чистое», — шептал Зябликов. Он знал, где лежит клад. Ему нужен лишь напарник. Напарника найти не просто... Получается, что именно Монахов и нужен.

— Единственное, что мне не нравится в тебе... — Монахов насторожился, почему-то тотчас готовый к обиде. — Так это твой трудовой напряг...

А тут сразу — миллион.

Ну что же, Монахов, пожалуй, согласен.

— По рукам!

— Слушай сюда, — Зябликов покачнулся сидя. — Еще наколка есть...

— Да не слушай ты его! — рассмеялась Наташа. — Что, курган зовет копать?»

Да! И нас звал — и курган копать, и мухоморы жрать, по примеру древних викингов, собирающихся в Крестовый поход ко Гробу Господню, и учиться лекарскому искусству у бурятского мага!

А вот это уже про Монахова, который так похож на Битова, на его тягучие мысли, которые он мог произнести и вслух:

«Монахов сурово придвинул к себе бутылку, выпил полный стакан в решительном одиночестве и сделался демонстративно мрачен. "Господи! Что же это? Умер я, что ли? Что ж это я не люблю никого. Ни ее, ни жену. И себя не люблю, да ведь и маму тоже!.. — Он подумал это словами и впрямь ужаснулся. А ведь любил, как любил..." — догадался он и зажмурился — так внезапно подступило все из глуби его стертых лет, будто и всегда было рядом, будто вчера, не в последовательности, не в протяженности, а сразу, вместе, на одном холсте, будто времени не существовало, а все происходило сразу: и сегодня, и вчера, и завтра — в одном пространстве».

Не забыл он здесь и Татьяну, которую нарек Натальей, празднующей свой день рождения. Даже красную ее юбку перенес в текст, даже краски ее лица, красоту ее простоты и естественности:

«Ему нравилось в Наталье все, и ничто не противоречило, все было в самый раз: и монгольская тяжесть в лице, и неуклюжесть... Он представил себе, что сказали бы о ней бесспорные красавицы его жизни, с оценками которых (главным образом, себя самих) он так неукоснительно считался, что и не подумал хоть раз посчитаться с собственным, так и не развившимся вкусом... он легко это себе представил: и гримасу, и яд женской критики, миллиграмма которого хватало ему на убийство того, что ему нравилось... Монахов пытался разгадать, объяснить себе ее привлекательность, но вот она-то и была столь бесспорна для него, что объяснить не удавалось. Чем старательнее он разымал ее черты, тем более непонятным оставалось целое: ни одной правильной, ни одной красивой черты не находил он, разве кожа... Да, ничего особенного — соединено уникально... Все это... было само в себе, так просто, естественно и убедительно, что — именно так и правильно... И, провожая ее взглядом, Монахов ощутил тоскливый укол: ему предстояла жизнь, давно лишенная цвета. Последняя, быть может, краска испарялась сейчас на полотне».

Очень точное описание. И правда: именно так — в единственно правильном порядке были составлены в ее лице на длинной шее черты, глаза, скулы. Вся — естественная, всегда без косметики, без парикмахерских заморочек, но яркая, красивая какой-то основательной, «не богемной» и «не киношной» красотой: просто — идеальная Родина-мать! «Зоя Космодемьянская» — говорила о себе сама Татьяна, имея в виду непререкаемую положительность своего образа.

Жить поблизости

Даже не помню, когда как-то незаметно мы перешли на «ты».

Может быть, тогда, когда Битов приезжал к Снегирёвым, и Гена вводил его в гипноидную фазу, посылая на поиски его сбежавшего за границу брата — журналиста

Олега Битова, и Андрей, пребывая «в астрале», отыскал его в Венеции? Между прочим, Битов из-за брата-перебежчика пострадал — его перестали печатать. Или — мы перешли на «ты» в Небылом, когда разгуливали по лесам-полям и вели ночные беседы, и это как-то само собой разумелось и потому не запомнилось?

Был какой-то период, когда мы с ним хотели купить два дома в глуши, но по соседству. Потом и вовсе — один дом на двоих, но чтобы большой. Чтобы и я с мужем и детьми могла там разместиться, и он — один или с женой (там по-разному бывало, в зависимости от его семейного положения). Началось с того, что мы случайно встретились с ним на Ленинградском вокзале у касс.

Мы с друзьями ехали неведомо куда на рыбалку, в какой-то чужой незнакомый дом, от которого нам дали ключи, где-то на водохранилище за Удомлей. Туда надо было добираться на перекладных: до Бологого, потом — с пересадкой — на каком-то допотопном поезде, а далее уже на попутке или автобусе, который ходил раз в сутки. Купили билеты, а тут — ба, Битов!

— Поехали с нами!

У него аж глаза заблестели. Он даже придвинулся к нам на шаг. Но потом вдруг потух:

— Мне завтра машину из ремонта забирать...

— А если она там подождет?

— Не подождет, — увы! А что у вас там — дом?

— Нет, но мы, может быть, купим.

— Тогда и для меня присмотрите, рядом где-нибудь. Поспрашивайте, возьмите адрес, к кому обратиться.

Проводил нас на поезд, руку мне пожал на прощание:

— Буду ждать вестей.

Сказал, как заговорщик:

— Прочитал твое письмо, прелестное! Нашел в дупле.

А я уже и забыла... Просто узнала, что он тайком от жены получает на Центральном Телеграфе письма от любовницы «до востребования» и решила схулиганить: послала ему стихотворение, которое сочинила буквально «на коленке» как бы в продолжение нашего неоконченного разговора, но получилось очень лихо и смешно. Положила в конверт и отправила вот так же — «до востребования». И, оказывается, он его получил, а потом в «Преподавателе симметрии» упомянул о некоем письме, оставленном «в дупле» без всякой гарантии его получения.

...Добрались мы туда едва ли не к вечеру следующего дня. Оказалось, что это глушь так глушь: даже электричества нет, а местных раз-два и обчелся. Зато водохранилище потрясающее, рыбы там видимо-невидимо: мы плавали ночью на лодке, светили фонарем в темную воду, а наш друг Лёва Казаков (бывший сельский житель и прекрасный писатель) бил ее багром, а потом коптил возле русской печки.

Нашла я там какого-то местного мужичка и спросила, не продает ли кто дом.

— Петрович продает, — уверенно сказал он. — Но он в Волочке живет, сюда редко приезжает. А дом его — вон там.

Я посмотрела: хороший, крепкий дом. А нам покупать его, честно говоря, — денег нет, да и как с малыми детьми без электричества? Зато Битову, ищущему приключения и сюжеты, быть может, в самый раз. Дай, думаю, возьму адресок хозяина для него. А мы можем в гости приезжать вот в эту избу, где сейчас ночуем.

Взяла адрес, позвонила Битову, он обрадовался:

— Как раз еду в Ленинград, так мне Волочёк по дороге. Зайду.

Звонит недели через две:

— Какая-то мистическая история. Приезжаю в Волочёк, иду по адресу, который ты мне дала, поднимаюсь по деревянной лестнице на второй этаж, а навстречу мне — какой-то большой мужик, еле-еле с ним на лестнице разминулись. Звоню в дверь. Хозяин мне открывает, рассказываю, зачем пришел: хочу купить у вас избу на водохранилище.

А он мне:

— Что случилось? Вот так-так! То три года не мог ее продать, то покупатель так и попер. Я только что его продал. Видел — мужик от меня вышел?..

Потом мы уже искали дом в живописных лесных окрестностях Печор. Нашла один такой — просторный, двухэтажный — в глуши, на хуторе, на холме над прудком, а вдали — высокий еловый лес. Красота несказанная! Но хозяина не найти. Нашла другой, но — дорого, денег нет даже на половину.

А потом уж Битову дали дачу в Переделкине, где тогда жили мои родители, а мы с мужем обосновались подле них в сторожке. И стали мы с Битовым ближайшими соседями, как того и желали.

Я в этот период учила древнегреческий и ездила на велосипеде на соседнюю улицу к моей преподавательнице Наталье Петровне, жене Сергея Аверинцева, и Битов, встречая меня по дороге к ней, говорил:

— Лев Толстой ты наш!

Толстой ведь тоже на старости лет увлекся изучением древнего языка.

Мне казалось, что Андрею — так, теоретически, тоже бы хотелось...

Но дом в Печорах я все-таки купила потом. И делилась своими скудными познаниями в древнегреческом (в пределах евангельского текста и Божественной Литургии) с монахами-иконописцами Псково-Печерского монастыря. А больше ни для чего мне этот прекрасный язык не пригодился.

Ольга Алексеевна

Еще до этого переделкинского периода Битов пришел к нам и попросил отвезти его с матерью к отцу Зинону, который тогда восстанавливал Даниловский монастырь, что мой муж и исполнил. Ольга Алексеевна — (Царство ей Небесное!) — светлая и утонченная женщина, дворянка, красавица, была крещена в детстве, но потом много лет провела вне Церкви, а теперь была рада, что ее сыночек водит такие знакомства: отцом Зиноном она была очарована. И все трое — отец-иконописец, Битов и мой муж — продолжили свой разговор, начатый еще в Небылом. А меня там не было: старшие дети пошли в школу, и я целый день то водила их туда, то забирала оттуда, передвигаясь вместе с младенцем Настей в коляске.

Младенец Настя очень любила Битова. Однажды, когда он пришел к нам, она спала в соседней комнате в обычной детской кроватке, окруженной прутьями. И вот она впервые оттуда самостоятельно выбралась и, не умея ходить, приползла к нам, еще сонная, розовая, в золотых кудрях. Увидела Битова и вдруг начала покатываться от смеха. И он засмеялся в ответ. А она — еще звонче, а он — еще громче. Тогда и мы засмеялись. И ничего-то смешного не было, а просто это был смех радости. Такое бывает между близкими людьми.

Почему-то некоторые пишут в своих воспоминаниях о Битове, что он «не смеялся» или «редко смеялся». А я помню, что мы с ним нередко смеялись от души

и даже хохотали. Смеялись и тогда, когда он пришел к нам на дачу в Переделкино, а Настя была уже пятнадцатилетним подростком, и они стали меряться ростом. И каждый старался поджухать, показать себя выше, чем он есть. Вставали на цыпочки незаметно, а когда прислонялись затылок к затылку, еще и ладонью прибавляли себе росту. И мы тоже тогда просто покатывались от смеха.

Итак, когда мы стали с Битовым жить рядом, он перевез Ольгу Алексеевну к себе на дачу, где она разболелась и слегла, и он решил позвать священника, чтобы тот ее поисповедовал и причастил. Муж мой еще не был иереем, отец Зинон пребывал уже далеко — в Псково-Печерском монастыре, но между этими «еще не» и «уже» у нас в нашем Патриаршем Подворье в Переделкино, в храме Преображения Господня, служили иеромонахи из Лавры, весьма дружественные и отзывчивые. Я и позвала отца Агафангела с золотыми вьющимися волосами, которого бабки в храме называли не иначе как «отец Ангел». Он согласился, но попросил, чтобы мы отвезли его потом туда, где он обещал быть в скором времени, чтобы освятить дом. Поэтому после того, как он поисповедовал и причастил Ольгу Алексеевну, мы с ним и с Битовым сели в машину и покатили куда-то за Одинцово.

Там отец Агафангел дал нам поручение: пока он будет переходить из комнаты в комнату, рисуя на стенах по четырем сторонам света кресты и освящая их, следовать за ним и подпевать «Господи помилуй» и «Аминь». И мы согласно и послушно: Битов — своим великолепным баском, я — чуть подхрипшим сопрано — вторили ему. И нет ничего, что бы так душевно сближало людей, как совместное молитвенное пение.

Он так и надписывал нам свои книжки: «Дорогому брату и сестричке».

«В бегство да обратится все лукавое бесовское действо», — возглашал отец Агафангел.

А мы с Битовым дружно тянули свое: «Аминь».

Плавание

А потом мы отправились с ним в далекое и счастливое плаванье...

Незадолго до этого отгремел расстрел Белого Дома, а редакцию и авторов «Нового мира» пригласили отправиться в трехнедельное путешествие к далеким берегам по маршруту Москва — Одесса — Афины — Александрия — Хайфа — Константинополь — Одесса — Москва, сначала на поезде, а потом на пароходе «Тарас Шевченко». К тому же и бесплатно. Надо было лишь обменять рубли на какие-то жетоны, чтобы расплачиваться ими в баре на корабле, если вдруг захочется посидеть и выпить кофе, вина или коньяка. А так — нас еще и кормили три раза в день за счет благотворителя.

В группу были включены, естественно, Сергей Залыгин, главный редактор, его секретарша — очень милая женщина Валентина Николаевна, Олег Чухонцев, тогда заведующий отделом поэзии, Ирина Роднянская, заведующая отделом критики, а также постоянные авторы: Виктор Астафьев, Андрей Битов, Владимир Маканин, Булат Окуджава, Виктор Розов, Михаил Кураев, Игорь Шкляревский, Александр Архангельский и аз, грешный, по тем временам еще «молодой поэт», но «постоянный автор» «Нового мира»: все-таки впервые там напечатали мои стихи, когда мне было девятнадцать лет. Кто-то еще был, да я позабыла — все-таки более четверти века прошло... Оказалось, что кроме нас на корабле поплывут известные музыканты,

актеры, преподаватели Иерусалимского университета и еще какие-то деятели науки и искусства.

Холодным ноябрьским деньком мы сели на поезд и отправились в Одессу. Так начался праздник. Ночью не всем удалось уснуть, поскольку кое-кто из наших так храпел, «словно терзал с урчаньем какого-то зверя», по словам Окуджавы, который простоял всю ночь то в коридоре, то в тамбуре, куда все то и дело выходили покурить. А уж в холодном «накопителе» Одесского порта, когда прошли таможню и в duty free обзавелись запасами вина и коньяка, началось такое веселье с преждевременным распитием купленного впрок, такой кураж, что на пароход попали уже изрядно пьяные и счастливые.

Меня поселили в каюту с Ириной Бенционовной и Валентиной Ивановной — они обе на нижних полках, а я — на верхней, на которую, вдруг ворвавшись к нам, залез Архангельский, и обе дамы долго упрашивали его не мять мое девичье ложе, пока я сидела в каюте Чухонцева и Битова, где скрывалась от Виктора Астафьева, поскольку он норовил всем и каждому рассказать, как видел меня на горшке, когда приходил в гости к моим родителям в незапамятном далеком году.

Впрочем, всем было весело, всем хотелось куража, фантазировали, что было бы, если бы нас отправили в такое плаванье на год с условием написать по книге, и Ирина Бенционовна не раз говорила, уже когда мы возвращались домой: «Неужели никто потом так и не напишет о нашем путешествии? А ведь как было бы интересно почитать... Тут такие характеры собрались!»

Битов — и благодушен, и язвителен одновременно — всем придумывал под большим секретом клички, например, одному из наших спутников — «Замаскировавшийся амбал», что было очень смешно и точно, а другому — «Маленькая собачка», подразумевалось «которая навсегда останется щенком». Маканин же ему навязчиво напоминал собой — из-за усов, наверное, — Горького. Впрочем, злоречие отнюдь не отравляло, а забавляло. Он и о себе говорил словами журналиста Андрея Караулова, который одно время заведовал отделом литературы в «Огоньке» и обращался к Битову так:

— Ну что, классик, все маразмируешь?

Потом нас повели в корабельный ресторан, где мы уселись за один столик вчетвером — Битов, Окуджава, Ирина Роднянская и я — и подолгу сиживали после трапезы, не желая прервать разговор.

Кажется, во время таких посиделок Булат Шалвович спросил, обращаясь ко мне:

— Ты не знаешь, почему происходит такое: какой-нибудь человек, очень милый и интеллигентный, говорит мне: «Я так люблю ваше "Моцарт на старенькой скрипке играет" или "Молитву Франсуа Вийона", а я смотрю на него и начинаю тихо ненавидеть за это. Может быть, потому что он тем самым дает мне понять, что после «Моцарта» и «Вийона» я ничего стоящего не написал?

Увы! — такие вот поклонники не раз подходили к нему на пароходе и признавались в любви к его «Синему троллейбусу» или «Ах, Арбат мой, Арбат»...

— А меня бьют «Пушкинским домом», — признался Битов, — словно я после него ничем не отличился.

Булат Шалвович, и правда, почти и не писал в ту пору стихи, зато с большим увлечением и уважением говорил о своей прозе: «Я пишу историческую прозу!» Вот и тут ему захотелось хотя бы о ней упомянуть. Он рассказал забавную историю, как его

за какие-то автомобильные грешки остановил гаишник, но сразу узнал в лицо, расплылся в улыбке и попросил автограф. Но Булат Шалвович сказал:

— Что такое автограф? Давайте я вам свою книгу подарю и распишусь в ней?

Гаишник радостно закивал.

Окуджава достал «Похождения Шипова», надписал и протянул милиционеру со словами:

— Вам будет интересно, тут о Льве Толстом!

— А-а, — вдруг разочарованно протянул тот. — Нет, не надо: про Толстого я и так уже все знаю!

...Проплывали Босфор и Дарданеллы, сидя в баре и с молчаливой торжественностью глядя в окно: совершалось то, о чем мы совсем недавно даже не смели мечтать. Наконец прибыли на первую стоянку в Пиреях, сошли на берег и прогулялись мимо выставленных перед магазинами и лавочками вешалками с одеждой и полками с сувенирами. На одной из них были крючки с вязаными шапками, и Битов взял одну из них — серенькую — и надел.

— Ну как тебе? На кого я похож?

— На дедушку, — засмеялась я.

С тех пор он так и стал себя называть:

— А дедушка тебе яблочко принес!

Или:

— А ты скажи Чухонцеву, что один противный старикашка занял ему место в автобусе.

Он говорил, что, по его интуиции, тот человек доживет до глубокой старости, которого ты можешь себе представить дряхлым стариком. И спрашивал:

— А меня ты представляешь таким?

Но у меня и без его вопроса вдруг возник перед глазами совсем старенький Битов с редкими белыми волосами и слезящимися глазами: он сидел в глубоком кресле, с ногами, укрытыми пледом, и силился из него подняться...

— Ты долго проживешь! — уверенно ответила я.

В Афинах, куда привезли на автобусе, нас отпустили погулять, и мы с Битовым нашли какое-то скрытое от людских глаз кафе и расположились на веранде. Выбрали мы его, потому что «больно на Тбилиси похоже» — тоже видна была поросшая лесом гора, близкое синее небо, разнеживающее солнышко и запах, запах! Пахло любимой Грузией! Официант принес нам по бокалу красного вина, и Битов с ним разговорился. Тот сказал, что приехал в Афины с острова Тасос.

— Пафос? — уточнил Андрей.

— Патмос? — переспросила я.

— Нет, Тасос. Совсем небольшой остров, тринадцать тысяч жителей.

— О! — Битов заинтересовался. — А не махнуть ли нам туда? Не хочешь ли на Тасос?

Официант словно понял, о чем он говорит, и живо включился в разговор, уверяя, что там можно дешево снять домик под соснами на самом берегу Эгейского моря. Кажется, он воспринял все всерьез.

— Там есть и святилище Афины, — добавил он, словно это сразу повышало рейтинг его острова и давало ему дополнительный бонус.

— Э, нет, тогда нам это точно не подходит, — сказала я.

Только мы подняли бокалы с вином, как вдруг — откуда ни возьмись, появился Маканин, который та-ак многозначительно и как бы всепонимающе на нас посмотрел, усмехнулся в усы, сам же смутился, отвел глаза и быстро зашагал прочь.

Это было столь выразительно, столь красноречиво, что мы рассмеялись.

— Ну, все, попались! Решил, что у нас роман. Удалился, чтобы не смущать, не мешать, деликатный, — сказал Андрей.

— А романа-то у нас и нет!

— У нас мистический роман, мы вставлены в единый текст. Никогда сами не договариваемся о встрече — и встречаемся, когда это нужно Автору, — пояснил он.

И тут вдруг — облачко к облачку, тучка к тучке, ветерок к ветерку — небо потемнело, и началась гроза. Гроза? В ноябре? Да, в Греции же, как известно, всякое бывает, все есть.

Мы укрылись в кафе и через открытую дверь любовались ливнем, сквозь который, впрочем, снова засияло солнце и отогнало его прочь.

Ангел Времени

Это и правда было какое-то смутное время. Словно Ангел Времени на небе сменился, и пришел другой. Он пока что приглядывался к миру, менял вещи местами, перетасовывал людей, переставлял события. Было какое-то напряженное ожидание и недоумение, куда все пойдет, чего хочет от нас Господь. Порой было муторно, неуютно, сумрачно, бессловесно.

Вот и Андрей тогда сказал про прохождение пространства, прожитого, но не проговоренного, не покрытого словом: «Слишком далеко по нему зашли, и поэтому непонятно, куда попали».

Однако внезапно эти потемки озарялись неожиданными яркими вспышками света, перемежались передышками, поражали непредсказуемостью: например, это плавание. Что это было для нас, выросших на «Плаванье» Бодлера?

> Для отрока, в ночи глядящего эстампы,
> За каждой далью — даль, за каждым валом — вал...

Как выяснилось еще на корабле, его организовал и оплатил не кто иной как Мун, глава известной секты. У бедной Ирины Бенционовны, как только она узнала об этом, было такое лицо, словно она вот сейчас кинется в море и доплывет до берега, лишь бы не оставаться на этом сектантском корабле!

И вообще — путешествия! Незадолго до этого мы с Битовым выступали на радио — то ли это была «Свобода», то ли «Би-би-си», и, пока я везла его на машине домой, выяснилось, что мы в один и тот же день летим в Париж: у меня там вышел в издательстве «Галлимар» роман, у него тоже были какие-то издательские дела. Все это было неожиданно и чудесно, если учесть, что при советской власти мы и мечтать не могли о том, чтобы попасть в дальние страны. Я часто видела Францию во сне, понимая, что сон этот — несбыточный!

Впрочем, в Париже нас ожидало полнейшее несовпадение: Андрей звонил Марье Васильевне Розановой, у которой мы с мужем остановились, а нас как раз не было дома. Мы перезванивали по телефону, который оставил Битов, а он «пять минут как вышел» или «еще не вернулся», мобильных же телефонов у нас тогда не было. Просто

получилось так — «не суждено». Он, кстати, любил это «не суждено» или «не судьба». Или, наоборот: «судьба»!

Сейчас, пройдя этот период непонимания насквозь, я вижу, что меня лично и мою семью эти волны времени несли на твердую землю: вскоре мой муж стал священником, и путь стал понятен в своей определенности. Но тогда, в начале девяностых, движение жизни казалось хаотическим, а смысл его — неуловимым... Все было сорвано со своих корней, и мы с Битовым часто говорили о действиях Промысла, о способах его истолкования. Он считал, что для уяснения этого предпочтительно оставаться пассивным и лишь откликаться на предложения и приглашения со стороны. Я ему возражала, что именно такие приглашения могут быть искусительными, ибо неизвестно, какой дух тебя заманивает и втягивает в свои истории или, напротив, воздвигает препятствия. Соблазн ведь тоже предлагает себя, выставляет с лучшей стороны, вызывает, прельщает или, напротив, — отваживает от должного и уводит на сторону далече.

...Мы гуляли в афинском парке, где расхаживали косули, в пруду плавали утки, и летали прекрасные птицы.

— Мы в раю, — сказал Битов и добавил, свернув на литературную тему. — Я хочу написать роман, который так бы и назывался: «Мой отец в Раю».

Почему-то высматривали льва и какую-то черную рыбку, которая никогда не умирает. Но что это за лев и что это за рыбка, я не могу вспомнить, поскольку добыла их из моего дневника, который вела на корабле вперемешку с набросками к новому роману (судя по всему, к «Мене, текел, фарес»). Уселись на скамейку и просто молчали. Если зажмуриться и «отложить житейские попечения», можно и сейчас оказаться в том месте и в той точке времени, реально ощущая это благоуханное спокойствие и умиротворение. А потом отправились в старые Афины в поисках камилавки и хорошего ладана для отца Зинона: он просил меня привезти из Греции и то, и другое. Битов охотно подключился и внес свои двадцать долларов на подарок для аввы.

Проходили мимо ареопага, с которого святой Апостол Павел «уловил» свою единственную «рыбку» в богатых и пресыщенных Афинах. Но эта рыбка стоила множества выскользнувших и утекших сквозь пальцы рыб. Говорили о «нищете духовной». Ведь, как писал протопоп Аввакум, Дионисий Ареопагит до проповеди Апостола «хитрость имел сосчитать беги небесные», но, обратившись ко Христу, вменил это ни во что, предпочитая духовную нищету.

Мы с Битовым тоже на корабле следили эти «небесные беги»: видели Южный Крест, а вокруг — россыпи звезд. Но «исчитати беги небесные любят погибающие, не принявшие истинной любви, и за это пошлет им Бог действие лести ("действо льсти"), дабы поверили они лжи», как-то так... Там даже «действо льсти» сродни чародейству или лицедейству...

А потом нас посадили в автобус и повезли на меховую фабрику, где писатели затеяли суету и просили меня мерить шубы, выбирая их для своих избранниц. Для жены поэта Z я перемерила штук пять, наконец, мы выбрали серую из соболя и отправились на корабль, чтобы плыть дальше — в Александрию. Расселись по своим местам ужинать, и тут прибежал взволнованный и разгневанный Z и стал кричать, что сзади на шубе он разглядел некий знак, вроде буквы «Т», как специально выделенный мехом более темного оттенка, и что шубу эту надо срочно обменять. Рвался с корабля на берег, обвинял всех подряд, что «не досмотрели». Особенно осуждал меня — ту,

которая мерила и должна была разглядеть себя со спины. Я растерялась, но все же сказала ему:

— Мой приятель пожаловался мне, что у него кончился шампунь, а он так хотел вымыть голову! А я посоветовала ему в таком случае вымыть голову яйцом. На что он ответил невозмутимо и по-своему резонно: «Ну, я же не акробат!»

Мне кажется, Z так и не понял, при чем тут этот акробат. У него был настоящий стресс, и в каюту к нему понабился народ: шубу рассматривали, подносили к глазам, отодвигались. Мнения разделились: одни говорили, что это обман зрения, и никакого знака на спине нет, другие, особо зловредные, подтверждали, а сугубые насмешники даже уверяли, что это — масонский символ. Советовали шубу на этом месте выстричь или покрасить краской для волос. Все тайно и явно потешались над поэтом, и один лишь Битов его успокоил, уверив, что такое бывает на исключительно высококачественном мехе и лишь подчеркивает его добротность.

Коль скоро эта история уже вышла за пределы нашего писательского сообщества и стала достоянием музыкантов и актеров, Z предпочел поверить на слово и стал высказываться вполне благодушно, а меня так даже поблагодарил за хороший выбор для его жены. И только Михаил Кураев оставался мрачен: ему предстояло как соседу Z по каюте провести с ним ночь в бесконечных разговорах. Наутро Миша пересказывал нам ночные истории Z, в том числе о лайке поэта, которая «загрызла трех человек»: она была полукровка и оказалась наполовину волком.

Была и еще одна история, не позволявшая забыться и раствориться душой в морских пространствах, блаженно покачиваясь на волнах. Я взяла с собой в путешествие кипятильник, жароустойчивую чашку и растворимый кофе, который мы пили со всеми желающими в нашей женской каюте. И вот я отправилась на берег, а Валентина Ивановна с Ириной Бенционовной решили немного взбодриться, включили кипятильник, вложили его в чашку с водой и почему-то ушли... Вода выкипела, чашка дала трещину и так прикипела к поверхности стола, что, когда ее отодрали, на столе остался прожженный круг. То есть произошла порча казенного корабельного имущества и, стало быть, кому-то надо было заплатить за ущерб. С одной стороны, владелицей виновников — кипятильника и чашки — была я, но у меня было крепкое алиби. С другой стороны — обе — Ирина Бенционовна и Валентина Ивановна хотели выпить кофе и включали кипятильник, обе же и покинули место преступления. Конечно, никому не хотелось платить, да и компенсировать стоимость испорченного стола, полагаю, было не просто разорительно, но и невозможно: даже если бы мы все, попавшие сюда от «Нового мира», сложили бы свои скудные валютные сбережения, все равно не смогли бы покрыть убытки. Обе дамы были в полнейшем шоке и очень интеллигентно выясняли между собой, чья именно рука втыкала кипятильник в розетку.

К концу плавания, правда, эта ситуация разрешилась самым счастливым образом. Писатели пригласили к себе на встречу капитана, обаяли его и в самых трогающих за сердце выражениях признались в порче имущества. И он со всем благородством простил нам причиненный ущерб, уверяя, что корабль и так после нашего путешествия будет отправлен на капитальный ремонт.

Словом, было о чем поговорить, особенно после учебной тревоги, по которой нас собрали на палубе, заставили надеть спасательные жилеты и распределили по шлюпкам.

В Александрии три богатыря — Битов, Чухонцев и Кураев — купили мусульманскую одежду, нарядились в нее, и вот так все трое появились на корабле и встали рядком.

Смотрелись они очень кинематографично и, по какой-то ассоциации, отдаленно напоминали знаменитых Труса, Балбеса и Бывалого из «Кавказской пленницы». Потом Битов отправился любезничать с Кларой Лучко («Все-таки актриса, женщина, надо оказать ей внимание»). А мы с Булатом Шалвовичем взяли повозку и отправились на Александрийский маяк, зашли там в музей, в котором были выставлены в качестве экспонатов дурно раскрашенные картонные рыбы (мы таких рисовали на уроках в четвертом классе), и посидели на набережной в кафе. К нам подбегали местные мальчики, которые, выкидывая вперед палец, кричали нам: «Русские! Русские!» На что Окуджава сделал в ответ то же самое, то есть выставил вперед руку с указательным пальцем и закричал: «Египетские! Египетские!»

На обратном пути к пароходу возница завез, вопреки нашему желанию, в старую часть города, в какой-то ювелирный магазинчик, и сказал, что не повезет дальше, если мы что-нибудь не купим. Мы уже опаздывали на корабль, вот я и купила браслет с камнями («Это камни со дна Красного моря, по которым проходил Моисей, когда выводил свой народ из Египта», — пояснил мне продавец). А вечером в баре, когда все хохотали над нашими ряжеными «мусульманами» и обсуждали покупки, ко мне подсел мой оппонент Лёня Кацис: мы полемизировали по поводу его статьи об антисемитизме Розанова и Гачева. Статья была напечатана в газете «Сегодня», мой ответ Кацису под названием «Чекистская логика» там так и не опубликовали, впрочем, как и в «Московских новостях», и лишь отважная Марья Васильевна Розанова напечатала его в «Синтаксисе» да еще и вдогонку сказала Кацису несколько нелицеприятных слов.

Ссориться с Марьей Васильевной ему явно не хотелось, и теперь он намеревался «прояснить позиции» и найти некие общие точки. Начал с того, что принялся критиковать движение внутри иудаизма «евреи за Христа», посмеивался над теми из них, которые задумали модернизировать иудаизм, отменить обрезание и допустить возможность вкушать «кошерную свинину».

— У вас ведь в православии тоже есть такие обновленцы? — спросил он. Я была поражена его осведомленностью, когда он сам начал рассказывать мне о них со знанием дела и комментировать вполне адекватно.

Этот разговор мы продолжили потом в Иерусалиме по дороге от автобуса туда, где должно было состояться выступление «Нового мира» перед читателями. Почему-то автобус высадил нас очень далеко от этого места, и драматург Розов, уже совсем старенький, сильно хромал из-за давнего ранения в ногу и потому рисковал сильно отстать и потеряться. Мы с Лёней, уверявшим меня, что прекрасно знает дорогу, старались держать драматурга в поле зрения. Однако уже начало быстро темнеть, буквально сразу «тьма покрыла Ершалаим», а мы увлеклись разговором, и, когда осмотрелись, выяснилось, что Розова перед нами нет, а сами мы потерялись. Короче говоря, мы проплутали до тех пор, пока вечер не закончился, все наши писатели выступили, и мы появились в зале одновременно с последним вопросом, прозвучавшим из публики: «Скажите, поэт в России — больше, чем поэт?»

Наше отсутствие на вечере было замечено, и Битов сказал мне иронично:

— А я уж думал, что ты иудаизм приняла!

И потом, видя нас с Кацисом в баре, он говорил с улыбкой: «Дедушка пришел увести тебя подальше от религиозного соблазна».

О том, как мы с ним были у Гроба Господня, шли по виа Долороса и преклоняли колени у Камня Помазания, я писать не буду... Это все равно что рассказать всему миру не только о своей, но и о чужой исповеди.

«Ожидание обезьян»

В это время как раз был напечатан в «Новом мире» роман Битова «Ожидание обезьян», и он дал мне номер, который я читала на корабле перед сном. Но и у меня вышел в «Знамени» «Кукс из рода серафимов», я тоже не без робости дала ему журнал, и эта вещь его зацепила, потому что он потом целый вечер и часть ночи, которую мы провели в корабельном ресторане, мне говорил, как можно было повернуть сюжет — так или этак. Но все у него сводилось к тому, что один из главных героев — иеромонах — должен пасть с искушающей его девицей. Или, напротив, сам уродец Кукс должен прельститься ею, несмотря на то, что она, по его словам, для него «недостаточно красива». Я отбивалась от таких вариантов, потому что эта маленькая повесть — об искушении, которое должно держать читателя в напряжении до последней точки, до катарсиса.

И потом, когда мы попали в музей в Каире и там нам показывали и фаюмские портреты, и старинные сосуды, и диковинные саркофаги, Битов очень заинтересовался рассказом экскурсовода о том, что самый большой саркофаг заказал себе карлик, который надеялся воскреснуть в обличье высокого мужчины, и именно поэтому ему необходим был именно такой саркофаг.

— Это прямо про твоего Кукса! — сказал он, имея в виду, что герой моей повести тоже страдал от своего уродства и прикладывал усилия, чтобы победить его и воскреснуть в новом прекрасном образе. — А египетский карлик знал, что саркофаг надо делать непременно на вырост.

И вдруг предложил:

— А напиши послесловие к моему роману!

Я и написала, вернувшись в Москву. Все это было замешано не только на битовских текстах, но и, в том числе, на темах наших многолетних разговоров. А это практически одно и то же.

Поэтому я писала не столько о романе, сколько о самом Андрее и его экзистенциальных проблемах, как я их понимала. Этот зеркальный лабиринт, единство, распадающееся на множественность, дурная бесконечность рефлексии. Христианский человек в плену фаустовского мышления.

Я — сказал Адам после грехопадения;
ты — сказал Каин Авелю;
он — сказал его потомок про другого потомка;
он — это я, — напомнил всем Христос.

Как птицы

Любопытно, что, вернувшись из плавания, я написала стихотворение, в котором вдруг появляется Грузия с ее холмами, на которых лежит ночная мгла... Это безусловно — оттуда, из тех садов в Афинах, по которым мы гуляли с Битовым.

Дорогой! Оказывается, мы живём, как птицы:
пролетая над океаном, ночуя в крипте,
то, что они не допели в Греции, допоют в Ницце,
догуляют в Константинополе, довершат в Египте.

Слава Создателю — в их ночном окаянстве!
Божье благодарение — в их дневном хлебе!
Всё, что мы потеряли во времени, —
обретем в пространстве.
Всё, что мы обронили в городе, — подберём на небе.

Потому что на холмах Грузии — ночная мгла.
Потому что всё остальное — только кимвал звенящий.
Потому что Геба столь ветрена, что, кормя орла,
проливает на землю кубок громокипящий!

Неописуемое

Уже на обратном пути в Москву он вдруг вспомнил, как мы от храма, откуда вознесся Христос, спускались вниз — в монастырь святой Марии Магдалины и в Гефсиманский сад и шли оттуда вдоль шоссе ко Гробу. Там не было тротуара, и пришлось передвигаться по проезжей части, по которой мчались машины. Приходилось прижиматься к колючим кустам. Битов показал мне исцарапанную правую руку. А я своих царапин и не почувствовала: на всем этом пути мне слышались распевы Страстной Недели.

Какая-то невероятная скорбь. Чистое вещество скорби.

— А вот попробуй написать неописуемое, — сказал он.

Я пошла в каюту и написала, тем паче что апостол Пётр, отрекающийся от Христа, все время так или иначе возникал в наших разговорах, прямо или косвенно, как в наших спорах о «Студенте» Чехова.

Мысли

Мысли мои — белые обезьяны,
Агасфер, бормочущий на ходу.
И, кроме смерти, он ничего не хочет.
«Любишь ли ты меня?»
О, трижды безумный камень,
о, Пётр в чёрном саду,
клюнул-таки тебя петух твой жареный,
предрассветный кочет!

Сердце моё — устало. И ночь — холодна. К нулю
движется дело, и тьма двулика и безъязыка.
Но стоит тебе лишь вот так: «О, люблю, люблю!»
крикнуть, ломая печать, сбивая всё с панталыку,

как начнёт волноваться нива желтеющая,
греческий хор, ангелы в очесах,
прикрывающиеся крылами, отворачивающиеся стыдливо,
видящие Сидящего на небесах...
Но область неописуемого, как и Он, ревнива!

Текст и подтекст

О студенте же спорили пылко, даже с каким-то ожесточением, потому что для Андрея студент, который замерз во время охоты на вальдшнепов в Страстную Пятницу и подошел погреться к огню, как некогда Пётр во дворе первосвященника, выражал все ту же, давнюю битовскую мысль: «Он — это я». А для меня тут ключевым было именно то, что студент семинарии оказался здесь в этот самый скорбный для христианина день и словно повторил отречение Петра.

Никогда не забуду, как мы встретились с ним на отпевании известного врача в храме Боткинской больницы, и мой муж был одним из священников, участвовавших в этом прощальном обряде, а потом Битов попросил завезти его домой. Мы поднялись в квартиру «на минуточку», застряли там на несколько часов и ожесточенно принялись спорить о Чехове и его «Студенте».

— Ты не понимаешь, этот рассказ с восторгом цитируют православные читатели, желая увидеть в Чехове «своего». Однако они не на того напали. И ты попался на эту удочку! — возбужденно говорила я. — Чехов пишет отнюдь не заметку для миссионерской газеты. Весь контекст его творчества кричит о том, что здесь есть законспирированная, типично чеховская подкладка. Первый вопрос: каким это образом в Страстную Пятницу, вечером, когда совершается одна из самых главных церковных служб — чин Погребения Плащаницы, — студент Духовной академии и сын дьячка оказывается в полях возле костров? Почему он не на богослужении? Откуда он идет? А идет он, оказывается, с охоты, где он слушал дроздов и стрелял вальдшнепов, и покончил с этим, лишь когда стемнело и подул ледяной ветер. Итак, усталый, замерзший, но довольный, он направляется домой, и вот тут-то, по дороге, остановившись погреться у костра, он вспоминает, что когда-то и ученик Христа — апостол Пётр грелся вот так же у ночного огня. По этой ассоциации у него всплывает весь евангельский сюжет этого церковного дня. Возможно, с этим перекликается и его бессознательное чувство вины, которое объективируется теперь в рассказанной им истории неверного ученика, отрекшегося от Учителя.

— Нет, все не то, — с огорчением возражал Битов. — Он почувствовал то же, что испытывал Пётр в ночь отречения. Это очень христианский рассказ.

Я его не слушала, а все напирала:

— Да твой студент просто дистанцируется от бессознательного переживания собственного отречения, доводя его до порога сознания в форме литературного пересказа, при этом еще и миссионерски нагруженного, что вполне отвечает статусу рассказчика как студента Духовной академии и подобает сыну дьячка: возможно, это и облегчает то чувство бессознательной вины, в связи с которой он и помыслил о грехе Петра в такую же холодную ночь.

Так же дистанцированно он отмечает и внутреннее соучастие, и сострадание крестьянских женщин судьбе Христа и его ученика, вызванные его речью. Никаких чувств подобного же рода сам он при этом не испытывает, с удовлетворением наблюдая их проявление в своих слушательницах и воспринимая их как нечто от себя отдельное, как объект для собственного дискурса, рождающего в нем ощущение радости. Природу этой радости Чехов описывает в самом конце рассказа, дай-ка сюда книгу.

Я стала судорожно ее листать. Ну вот: «И чувство молодости, здоровья, силы, — ему было только двадцать два года, — и невыразимо сладкое ожидание счастья,

неведомого, таинственного счастья овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной, полной высокого смысла».

Это общее место у Чехова. Например, — тут я взяла другой том и почти сразу нашла нужное место: «И мы с тобою увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную, мы обрадуемся и на теперешние наши несчастья оглянемся с умилением, с улыбкой...» Это, на всякий случай, находящаяся в отчаянном положении Соня — такому же неудачнику дяде Ване.

Очевидно, в чеховском контексте, это не духовная радость верующего о Господе, Сыне Бога Живаго, который — вот-вот придет Пасха — воскреснет из мертвых, «смертию смерть поправ», но радость естественная, религиозно нейтральная, радость юности — собственной полноценности и самодостаточности: предчувствия жизни, избытка сил, игры гормонов, весны, горячего костра, охоты, способности мыслить и говорить, готовности вот-вот «увидеть небо в алмазах».

Такие мистифицирующие приемы вообще свойственны Чехову, у которого всяко яблоко надкушено и всяк плод с червоточиной.

И, наконец, я сформулировала эту очень простую мысль:

— У него подтекст противоречит тексту.

И подумала про себя: «Как у самого Битова!»

Но Битов, кажется, терпеть не мог всех этих «проекций», «гештальтов«, «порогов сознания». Он верил «студенту» и даже как-то обиделся за него на меня.

Словом, мы почти поругались, и я после этого написала статью «Мучитель наш Чехов».

Божий Промысл

Пожалуй, главной темой Битова, как и его любимого Пушкина, была тема Промысла Божьего (судьбы, рока) в жизни человека: Промысл и свобода, их сочетание. Но у него было своеобразное отношение к Божьему Промыслу: он верил, что «послушных судьба ведет, а непокорных тащит», поэтому он старался быть послушным ей, будучи уверенным, что она посылает ему указующие и предупреждающие знаки. Он серьезно относился к приметам (тут Пушкинский заяц сыграл немаловажную роль, да и вообще — Пушкин, для которого тема Промысла, судьбы, рока была центральной); каждое утро «гадал», раскрывая наугад Священное Писание, особенно любил Псалтирь, удивлялся, когда у него «сходилось»; мало того — в конце жизни он стал искать ключ к характерам людей в их именах, составляя из букв этих имен слова, которые, как ему казалось, раскрывали их тайну. Он словно искал то новое имя, которое в Царстве Божьем праведник («побеждающий») получит начертанным на белом камне. Помню, как после юбилея Фазиля Искандера в театре Вахтангова мы сидели с ним в фойе ресторана, где проходил банкет, и он нам с моим мужем раскрывал механизм своего нового открытия: «Фазиль: ил, лиф, зал, лаз, фиал».

Уважительно относился к магии чисел: было такое поветрие — складывали дату, месяц и год рождения и что-то там отнимали, а в результате оставалось число, указывающее на характер человека. Был недолгий период, когда он увлекался астрологией, с интересом читал всякие популярные брошюрки о влиянии звезд на характер людей, родившихся под тем или иным знаком Зодиака. То есть изучал «беги небесные».

Мы с ним оба были — Близнецы, и это он воспринимал всерьез. Однако ужасно ревниво относился к тому, что я родилась в день рождения Пушкина — 6 июня. А ведь он сам претендовал на это, доказывая, что Пушкин-то родился 26-го мая, в один день с Битовым. «Да, — соглашалась с ним я, — но тогдашнее 26-е мая как раз и есть теперешнее 6-е июня!» Ох, он иногда обижался не на шутку, ревновал и злился, злился!

По этой же причине он был отзывчив на всякие приглашения и даже испытания, считая их провиденциальными. Но именно такая установка сознания помогла ему принять с мудростью и с великолепным мужеством перенести два страшнейших диагноза: пережить и трепанацию черепа, и рак горла, когда он в течение какого-то времени не мог говорить, а только хрипел в телефонную трубку. Я звонила ему, когда он лежал в больнице, и хотела его забрать к себе на дачу, но он отказался: за ним приехала дочь Аня из Питера и собиралась увезти его с собой.

— Так что я к тебе не поеду. Давай просто поговорим! Тут мой сын Андрей предлагает мне священника, чтобы меня причастить. Что ты об этом думаешь?

— Что могу думать — прекрасно!

И мы еще проговорили едва ли не полчаса. Я все ужасалась его болезни, а он был совершенно спокоен и настроен весьма философски.

С сыном Андреем он познакомил меня в середине 90-х, и оказалось, что мы с ним ходим в один храм — Московское Подворье Лавры, я сразу его узнала. Сам Битов признавался, что это — самый воспитанный и благополучный из его детей.

— Наверное, это потому, что он рос вдали от меня, — с грустной улыбкой добавлял он.

Итак, к своим ужасным болезням он относился стоически и совершенно спокойно потом говорил: «Ты же так меня своими речами до припадка доведешь, я же — припадочный, трепанированный. Вчера вон во время выступления со стула упал». Как об обычном бытовом событии сообщал он, что у него дотла сгорела дача под Питером. Бесстрашно и почти бестрепетно переносил те неприятности, которые посыпались на него и за участие в «Метрополе», и за бегство родного брата в Италию.

Человек-автор-герой

Но бывало и иное, когда он сам, вопреки собственным убеждениям о «покорности судьбе», по собственному произволу включался в какие-то события, поворачивал течение жизни, придумывал всякие новины, начинал новые причинно-следственные ряды. Расколотая и внутренне противоречивая воля, о которой писал еще Апостол Павел: «Доброе, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю», побуждала его к непредсказуемым чувствам и поступкам.

Из-за своей рефлексии он был человек раздвоенный: с одной стороны, как верно заметил Снегирёв (его «Зябликов»), у него был «светский напряг», порой он выглядел очень высокомерным, холодным и даже надменным, понимал, как оказаться «в нужное время в нужном месте», с другой — вдруг становился очень простым и открытым, даже душевным и беззащитным. Мог в таком расположении духа запросто выпивать с каким-нибудь деревенским алкашом, разговориться с первым встречным или с попутчиком в поезде, и его принимали «за своего».

Многие люди, вспоминающие о нем, рассказывают, как они, будучи малознакомыми, вдруг попадали под обаяние битовского внезапного расположения, когда он запросто общался с ними, высказывал прикровенные мысли, делился своими писательскими размышлениями, и они расставались с ним, насыщенные его идеями и размягченные его симпатией. А едва ли не на следующий день, кинувшись к нему с распростертыми объятьями, вдруг осекались под его отчужденным взглядом. Как будто и не было этих возлияний, этих откровенностей.

Мог он внезапно ляпнуть что-то, крайне для себя не выгодное, или отчебучить нечто, шокируя всех.

Было с ним и такое.

История, рассказанная мне по свежим следам Сергеем Чуприниным. Приехали они с Битовым на книжную ярмарку в Прагу. И вдруг прибегают посольские работники с известием, что российский стенд собирается неожиданно посетить президент Чешской Республики Вацлав Клаус, который хотел бы побеседовать со знаменитым писателем и было бы хорошо, если бы тот подарил ему в ответ свою книгу с дарственной надписью. Этот сценарий сразу объясняют Битову, он не против. Побеседовали. Битов раскрывает книгу, выводит на титульном листе «Уважаемому...» и замирает в недоумении с ручкой наперевес.

— А как вас зовут, простите? — наконец спрашивает он.

— Клаус, — отвечает тот несколько оторопело.

— Да нет, — досадливо отмахивается Андрей Георгиевич. — Я спрашиваю, как ваша фамилия?

Чупринин рассказывал, что посольские работники едва не грохнулись в обморок от такого казуса, а то и куршлюза. Ну, а с другой стороны: а что? Наш классик, «певец Империи», русский писатель Битов, сын великой державы, должен поименно и пофамильно знать всех президентов многочисленных государств мира, что ли?

Было у него и качество, которое сразу в нем отметили проницательные читатели «Пушкинского дома» и в котором он сам открыто признавался, хотя люди, как правило, такое скрывают: он был завистлив. Причем он завидовал не только Пушкину (у него и Тютчев ему завидовал), Блоку, Пастернаку, но и в старости завидовал самому себе, молодому. Вернее так: он, автор, завидовал своему персонажу, который, по сути, был его альтер-эго.

Как-то раз, встретив меня в ПЕН-центре очень ревниво сказал:

— Тут Кушнер очень хвалил твою новую книжку. Как она называется?

— «Amor fati».

— Да-да, в таких словах о ней говорил! Я позавидовал.

— Так я тебе тоже подарю! И ты скажи.

— Ну, он же уже сказал...

А когда я пригласила его на церемонию вручения мне премии «Поэт», он неожиданно выдал: «Нет, я не пойду, а то вдруг я буду завидовать!» Он и сам очень хотел получить эту премию, именно эту, и очень осторожно подкрадывался ко мне с просьбой выдвинуть его. Я отшучивалась, отвечала уклончиво. Он в лоб спрашивал, как мне понравились его стихи, его книжка «Дерево». Кажется, он более всего теперь ревновал о своем поэтическом поприще.

Однако эта зависть происходила у него, как мне кажется, от жадности жизни — ему хотелось быть всем: Пушкиным, Пастернаком, поэтом, Поэтом, собой — молодым. И руки у него были такие — пальцы с приплюснутыми подушечками на

кончиках. Еще Таня Снегирёва, по-женски подмечая это, говорила: «Какие жадные у Битова руки — хотят все забрать и притянуть к себе!»

Зашел ко мне как-то раз, после того, как мы накануне «хорошо посидели» у Олега Чухонцева и Ирины Поволоцкой, голодный, съел сковородку котлет, выпил вина, и вдруг на пороге появился Юрий Кублановский с женой Наташей. Ну и стали немножко пировать. И тут Битов решился почитать нам стихи. Читал по памяти, язык у него уже немного заплетался, он забывал, мы с Кублановским ему очень сострадали и даже из лучших побуждений подсказывали рифму, если он на ней запинался. Но рифмы у него были по преимуществу неточные, ассонансные или корневые, такие «вознесенско-евтушенко-ахмадулинские», а мы с Кублановским в каком-то смысле «перфекционисты стиха», поэтому промахивались, не угадывали.

С ним можно было не только поговорить о метафизических проблемах, но и поболтать о сущей ерунде, посмеяться вдоволь. Он мог быть серьезным до занудства, а мог и юродствовать. Мог годами жить в необустроенном жилище, обставленном фанерной мебелью, но при этом оставался эстетом и, завидев изящную вещь, обращал на нее внимание. Порой, после полугодового (годового, двухгодового) расставания, он встречал меня так, как будто мы расстались полчаса назад, и начинал прерванный разговор с полуфразы. А иногда глядел холодно, как чужак, и надо было заново завоевывать его внимание и расположение. Словно он находился в подводной лодке, которая, прежде чем всплыть, выставляет перископ, приглядываясь к тому, что на поверхности. С одной стороны, он очень ценил жизнь как путь, как непрерывность, с другой — напротив, вдруг опровергал это, представляя ее как собрание отдельных фрагментов, и надо еще потрудиться, чтобы сложить этот пазл.

Выступая на презентации моей книги «Православие и свобода», сказал там о человеческом и писательском пути: «Пройденный путь, облеченный в слово» — это то, что делает человека писателем. «Непроговоренные пространства», которые пересекает человек, позволяют подозревать, что он слишком далеко зашел и заблудился среди бездн бессловесности.

Но как это противоречило тому, что он незадолго до этого писал в «Ожидании обезьян»!

«Реальность не выносит быть описанной. Или она гибнет, или обретает полную независимость, или ее вообще не было? Так или иначе, описав что бы то ни было, можешь удовлетвориться одним лишь фактом законченности текста — сличить его будет не с чем: и прошлое куда-то провалилось, да и пространства не стало... Итак, все места, в которые я любил заточать себя с целью написания неких страниц, пали одной и той же смертью: однажды вошли в текст... Они так или иначе описаны... Но я для них умер».

Не путь познания и становления, а дух самоотчуждения и самоумерщвления. Фаустовский дух тут бился до конца с христианином.

Сам он называл себя постмодернистом, но, по моему мнению, он был «типичный» экзистенциалист. Как-то он мне говорил о сути своего писательского дела, о том, что Автор проигрывает, запечатлевая в своем творении, такой способ существования, который бросает вызов случайности, аморфности, конечности реальной человеческой жизни. Поэтому и его собственный герой, порой сливающийся с ним самим, а порой выступающий вдруг как трикстер, настолько был для него живым «ты», что он с ним порой и полемизировал, и тягался.

Был этот зазор между ним и автором его произведений, как и между автором и героем. И при этом все трое — были одним Битовым. Но они сосуществовали не «вплотную и впритык» друг к другу, но оставляли между собой люфт, позволяющий так или этак свободно поворачиваться разными сторонами друг к другу.

Я, — назвал своего героя Автор.
Ты, — обратился к Автору Битов.
Он, — огрызнулся на Битова герой.

Он говорил, и за точность слов я отвечаю:

— Пойми. Я не центрован, я растекаюсь, плыву по внешним впечатлениям. Если хочешь, от меня осталась только душа. А жизнь — прошла!

И еще он говорил: «Точность — не заслуга, неточность — грех», воспроизводя, может быть, сам того не ведая, мысль Чарльза Вильяма «Hell is inaccurate» («Ад — неточен»). И очень был доволен, когда я сказала ему, что по-гречески «грех» и «промах» — одно и то же слово, равно как и «согрешить» и «промахнуться».

...Ходил по пароходу «Тарас Шевченко» и твердил: «Жизнь прошла!» И он с некоторых пор вглядывался в нее, как бы поверх, скользя взглядом. И в то же время что-то рисовал в своем воображении о ней.

Жизнь «прошла», а герой остался. И Битов завидовал ему, молодому, себе бывшему.

Как-то раз сказал мне, что очень отчетливо представляет такую картину, напоминающую нечто тургеневское, из «Дворянского гнезда». То ли это был у него такой сон. Как он приезжает в монастырь, и в храме, когда он у подсвечника пробует зажечь свечу, мимо него проходит монахиня, «еле шурша рясой», в которой он узнает меня: «голова склонена, губы шепчут слова молитвы». Но я ни единым движением лица не выдаю, что заметила его: «сосредоточенно» и «серьезно» двигаюсь я туда, к алтарю и встаю на клиросе меж других монахинь, сливаясь с ними. И он уже «не может различить» меня среди них и чувствует, что «умиленно плачет».

Рассказывая это, он и правда тогда едва ли не прослезился...

Он вроде был и свободным, независимым, «беспартийным» человеком, общаясь и с диссидентами, и с либералами, но и с людьми русофильских взглядов — очень ценил и уважал до благоговения Олега Васильевича Волкова или, например, запросто выпивал с Анатолием Передреевым, на что ему пеняли отдельные товарищи из партии «либералов». А с другой стороны — ему вовсе не безразлично было это «общественное мнение», «либеральные» иголки больно его кололи. Но удары были и с другой стороны, ведь он был многолетним Президентом Русского ПЕН-центра, на который в определенных литературных кругах смотрели с большим подозрением.

Про «масонов»

Это было году в 93-м или 94-м. У нас шло вялотекущее отчетное собрание ПЕН-центра в тускло освещаемом зале Дома журналиста. Кто-то, пригревшись после декабрьского мороза, тихонечко дремал, а Вадим Рабинович (поэт и ученый), сидевший возле меня, то и дело склонял голову мне на плечо и так громко храпел, что

заглушал голос оратора на сцене. Битов, который предложил вести собрание Саше Ткаченко, сам, сидя на сцене, тоже кемарил.

И вдруг! Дверь распахнулась, и взволнованный человек, литературный критик Валентин Оскоцкий, промчался сквозь зал и вскочил на сцену, потрясая газетой над головой. Несколько секунд он не мог отдышаться и только продолжал размахивать газетными листками.

— А знаете ли вы, — наконец произнес он потрясенно, — что нас записали в масоны!

Тут все пробудились, даже Вадим Рабинович встрепенулся и, хлопая сонными глазами, тревожно спросил:

— Как? Что?

— Нас записали в масоны, — объяснила ему я, пока со сцены зачитывали фамилии.

— А это хорошо или плохо? — спросил Вадим.

— Ну, кому как, — уклончиво ответила я. — Мне — плохо.

— А что ты будешь делать?

— Если моя фамилия там есть, подам в суд за клевету и вчиню иск за нанесение морального ущерба и урона деловой репутации.

— А какой тут ущерб?

— Ну, как — какой? Меня, христианского поэта, жену православного священника, обвинили в том, что я вступила в масонскую ложу.

— Да? — Вадим вдруг воспрял. Он выспался, и теперь глаза его сияли, а щеки розовели. Он выскочил на сцену и предложил всем:

— Давайте подадим на них в суд!

Все обрадовались, в рядах послышалось «в суд, в суд», и тут кто-то громко спросил:

— А за что?

— Как — за что? За моральный ущерб, за удар по деловой репутации, — радостно сообщил Вадим.

И тут мнения разделились. Раздались голоса, что, может, это не так плохо, ведь даже Пьер Безухов был масоном. Вспомнили, что читали о благотворительной деятельности масонских лож... Никто их никогда не видел, но слышали, будто у них высокие моральные правила... И лишь одна милая пожилая дама была в полном отчаянье.

— Что — масоны! Мы для них еще хуже! Мы — меневцы! Нашего отца Александра убили топором по голове, а теперь нас придут убивать!..

В ее глазах отразилась эта воображаемая картина, как она дрожит за запертой дверью, с ужасом прислушиваясь, а там, снаружи, притаились убийцы с топорами, подкарауливающие, когда она, наконец, выйдет и они совершат свое черное дело...

Я потом прочитала этот список. Примерно половина в нем состояла из бывших членов КПСС, но были и совершенно далекие и блаженные люди, вроде поэта Олега Чухонцева. Ну и Битов, само собой. Как же без него? А Вадима Рабиновича, автора шикарной книги «Алхимия», там, слава Богу, не было! Хотя кто-то мне рассказывал, что он слышал, как о Рабиновиче с его алхимической книгой кто-то из писательской «русской партии» отозвался: «Видный масон!»

Со смехом я рассказала эту историю одному дружественному монаху в Печорах. А через весьма малое время он мне говорит:

— Ты знаешь, тут такая ерунда вышла! Приехал Платонов, который составлял эти списки. А я ему сразу: «Что — и Олесю вы подозреваете?» А он отвечает: «Мы пока к ней присматриваемся!» А я ему: «Да вы что — она православный человек!» И решил дать ему почитать твою статью, которую ты мне привозила. Полез в ящик и протянул ему: «Читайте и убеждайтесь! Никакой она не масон». И что? Приходит он ко мне на следующий день и возвращает то, что я ему давал. «Ну что — поняли теперь?» А он смотрит на меня как-то странно и подозрительно. Ушел не попрощавшись.

А я, убирая твою статью обратно в стол, смотрю: ба! Да я перепутал! Дал ему не то, не апологетическую твою статью, а твой рассказ «Агент страхования» про еврея Сёму, страхового агента! Как ты считаешь, что он мог о тебе теперь подумать?

Я расхохоталась, попытавшись представить, как этот неизвестный мне Платонов читает сей рассказ с целью раскусить, есть ли у меня масонские нотки.

Так что для меня это прошло незаметно и даже меня повеселило, а вот Битов ментально пострадал. Он вдруг вообразил: а что если без его ведома масоны вот так взяли и записали его в свою ложу? Эта тема приобрела у него какой-то иррациональный обертон: ему, в этом причислении к масонам, в то время как он не только не давал на это согласия, но и вообще пребывал в неведении, чудилось метафизическое насилие. Было тут что-то сродни его детскому удивлению, о котором он рассказал в ту, самую первую, нашу встречу, когда он услышал от кого-то: «А мы о тебе вчера говорили».

И это подозрение не давало ему покоя, он даже спрашивал у моего мужа, может ли такое быть? Ведь вставляют его, не спрашивая, в редколлегии или попечительские советы каких-то журналов, в жюри конкурсов и премий!

Но мой муж сказал, что быть такого не может ни при каких обстоятельствах: насколько он читал про масонов, ритуал посвящения там очень сложный, а кроме того, для вступления в ложу требуется две рекомендации масонов высокого градуса.

— Если ты не проходил масонскую инициацию, то нечего и беспокоиться!

Он поверил, даже посмеялся, однако все же несколько раз возвращался к этой теме: масоны, левые, правые, западники, русофилы... А потом вообще заявил, что все это разделение на почвенников и либералов — всего лишь «дешевая разводка».

Время и пространство

Что мне в его рассуждениях казалось очень близким, это отношение ко времени: вот это: «так внезапно подступило все из глуби его стертых лет, будто и всегда было рядом, будто вчера, не в последовательности, не в протяженности, а сразу, вместе, на одном холсте, будто времени не существовало, а все происходило сразу: и сегодня, и вчера, и завтра — в одном пространстве».

Вот так и я чувствую себя в России, где все рядом: и Иван Грозный, и Пётр Первый, и разночинцы с террористами, и октябрьский переворот, и Гражданская война, и чекистские подвалы, и сталинские лагеря, и Царственные страстотерпцы, и святые подвижники, и раскольники, и хлысты, и «белые голуби» — все это здесь, ничего не минуло, все пребывает с нами, располагаясь в пространстве в том или ином приближении. И это ощущение я ношу с собой...

Пространство и время

1

Спрашиваешь: — Когда?
— Где-то на той неделе.
(Словно бы чуть поодаль — на пне хромом.)
— Где-то в эпоху Грозного...
(Словно у дальней ели.)
— Где-то в Смутное время...
(Словно за тем холмом.)

Густо заварено днями пространство. Битком набито:
не протолкнуться, не вклиниться, чтобы не задеть — в упор
то пролетарий с булыжником глянет темно, сердито,
то зрачком помавает цепкий тушинский вор.

Плотно заселено эпохами всхолмие. Крепко сжато
медленными веками — впритык и заподлицо
время покрыло землю...
— Где-то веке в десятом...
(То ли в сарай запихнули, то ль в сундук под крыльцо.)

Только себя окинешь оком довольным, гордо
голову вскинешь, твёрдо встанешь на землю, ан —
турки уже в Царьграде,
а под Москвою — орды,
моавитяне — в сердце и лупят в свой барабан.

И коль суждено нам встретиться — всего вернее залоги
искать в Книге Жизни, совершить плагиат:
где-нибудь через сто дождей, когда-нибудь на дороге, —
там ещё облако чёрное, как пиратский фрегат.

2

Где-то лет двадцать назад, при царе Горохе, —
это за той горой, которая родила мышь
и на которую махом одним взлетаешь на вдохе, вздохе
и падаешь, как во сне, и летишь, летишь...

То есть попросту — в Тридесятом царстве, под топот конский,
такой хмельной подавали мёд на пиру,
что всех повязали спящими, увели в плен Вавилонский,
и они лишь сейчас очухались на хлестком чужом ветру.

Глядят, продирая глаза: пески, пёсии мухи,
тарабарские песни, змеи, пронырливые хорьки
и все — одни старики. Одни старики и старухи
с немолодыми детьми. Старухи да старики.

3

Спрашиваешь: — Когда?
— Где-то в районе лета,
Где-то около мая, где-то в седьмом часу...
И вот нас туда несёт, на стыках дрожа, карета,
и конь коренной летит и стелется на весу.

Так странствуем мы — то в Рим эпохи упадка, пены,
то в Ерусалим страстной, спускающийся с горы.
И преображается время в пространство, возводит стены
и вновь собирает камни, раскидывает шатры.

Тут что-то царица Савская высматривает на небе,
загадывает, зрачок вперяет — хоть плачь, хоть вынь:
— Когда же увижу вновь возлюбленного моего?
Но жребий
«Где-нибудь после смерти» — гласит ей. Аминь. Аминь.

Друг-брат-учитель-совопросник-конфидент

Часто тональности нашего общения с Битовым менялись, переключались регистры, то господствовали аккорды и созвучия, то диссонансы. И все это перемежалось паузами — то небольшими, то очень длительными. Но всегда существовали сквозные темы: Бог, творение, вера, суеверия, судьба, знаки судьбы, Промысл. Хотя подчас это все было вписано в самые легкомысленные и полушутливые разговоры: иногда мне казалось, что я могла бы так болтать с подружкой, особенно когда он меня просил растолковать сны, в которые верил.

Незадолго до смерти он позвонил мне из Питера и спрашивал, что может значить вот такая история. Он вышел по осени из своего дачного сортира, увидел серое тоскливое небо и произнес:

— Ну, сколько можно это терпеть?

И тут же услышал голос:

— Уже скоро, сержант!

Что за голос в безлюдье? И что за сержант?

И я в ответ рассказала две истории о том, как я дважды в своей жизни слышала подобные голоса, приходящие как бы ниоткуда, а на самом деле, из тонкого мира, где за нами охотятся бесы и охраняют ангелы. Первый раз это случилось со мной в шестнадцать лет, когда я увидела в полутемном коридоре поликлиники Литфонда, куда приехала на рентген, силуэт высокого молодого человека и тут же услышала голос: «Этот человек будет твоим мужем». Так и случилось. А второй раз, когда я, повернув по ночной поземке налево — к воротам своей дачи, увидела с ужасом, что на меня по встречке — слева же — несется на всех парах громадный черный автомобиль, метясь прямо в мою водительскую дверь, и поняла, что это — конец. И тут услышала — голос был тот же — спокойный и уверенный:

— Не бойся, не бойся, не бойся!

И — о чудо — автомобиль шарахнул по левому крылу, пролетел по касательной, разбив фару и бампер, и врезался в сугроб.

Битов любил такие истории.

— А голос какой был — мужской, женский?

— Мужской, молодой. Тенор. А у тебя?

— Бесцветный.

Так и сказал.

Порой при встрече он становился таким внимательным и тепло-душевным, так подкупал меня своим доверием, что и я рассказывала свои тайные мысли. Когда у меня были очень сложные и непонятные отношения (вам не называю, с кем, но Битову назвала), он меня внимательно выслушал и ответил:

— Если вы ничего не высказывали и оставили вокруг себя огромное бессловесное пространство, то скажу тебе, что вы слишком далеко зашли.

Но и я ему как-то раз рассказала свой сон — про него: будто я в игорном доме, тут крупье в джентльменской «тройке» и с усиками и хозяин, и игроки, и нищие. И все — жулики. Накидываются на меня и хотят меня обобрать, расхитить. И я кричу: «Андрей, защити меня!» И Битов вбегает, но они бьют и его. Но, в конце концов, он вырывается и хватает меня за руку, увлекая оттуда прочь. И когда разжимает руку, у меня на руке оказываются огромные синяки.

— Ну, вот видишь, — сказал он, внимательно выслушав, — я же тебя спас! Защитил.

И правда — я к нему обращалась несколько раз как к защитнику, но просила не за себя, а за других: подписать письма в защиту. Одно из них было об освобождении моего бывшего сокурсника по Литинституту Павла Проценко, который уже на излете Перестройки был посажен в Киеве за то, что собирал документы и свидетельства о новомучениках.

Ко мне приехала его жена, специально прибывшая в Москву, чтобы собрать подписи известных людей под письмом в высшие инстанции. И, конечно, в первую очередь, мне вспомнился Битов. Я ему позвонила и отправила к нему эту бедную женщину. Письмо он подписал, но потом при встрече сказал:

— Приходила ко мне твоя... Скажи, а почему, если ты православная, обязательно надо повязывать платок до бровей и одеваться как чучело? Что это за правило такое?

— Это для смирения, — ответила я. — Чтобы тебя не смутить.

— Так вот именно что смутила. Ряженая какая-то. И говорит как-то приглушенно, специально пришепетывая. Вот это меня и настораживает в Церкви. Стилизация. Игра в «отсутствие эстетики».

— Битов, у нее муж сидит, а ты про эстетику!

Но я это запомнила: сама в этот период ходила в длинной черной юбке почти до пола, волосы гладко зачесаны назад: в монастыре меня принимали за приехавшую на богомолье монашку.

«Женский вопрос»

Последние годы он жил в Питере. Там вышла на работу его жена Наташа, которая, сидя в былые годы с маленьким Егоркой на занесенной снегом переделкинской даче («как девица в терему»), истосковалась по общению, по собственным лекциям (она преподавала на филфаке Петербургского университета) и, как она признавалась, «одичала». Да и Егору пора было в школу, надо было уезжать из Переделкино.

И мы стали видеться гораздо реже, разве что они приезжали на дачу на каникулы. Но, когда они здесь появлялись, мы, конечно, и сиживали, и полуночничали вместе, и я возила всю их семью исповедоваться и причащаться в храм, где служит мой муж.

Наташа заходила ко мне пошептаться и пожаловаться на Битова за то, что он так часто и надолго уезжает, и она волнуется, и не без оснований: а где он? С кем он? А она ревнует, боится. Спрашивала, что делать, она из-за тревоги не может спать... А что я ей могла сказать? Что Битов всегда гуляет сам по себе, и единственное, что она может здесь сделать, это молиться Матери Божьей, чтобы она везде сопровождала его и за ним присматривала.

Наша общая с Битовым подруга, замечательная и прекрасная собой писательница Ирина сказала мне, когда мы с ней сидели на вечере в честь открытия памятника Мандельштаму в Москве, а наискосок от нас виднелся Битов с дочкой Анной:

— А ты слышала новое битовское открытие? Он вдруг узнал, что его отец — черкес?

Я слышала об этом, но не придавала этому значения: у него и раньше были какие-то сомнения насчет своего отца. На подозрении был «дядюшка Диккенс». Но, кажется, самой устойчивой версией было то, что он — из немцев. Ну, а теперь вот — черкес. Что ж, новый сюжет.

— А я поняла вот это все в Битове, когда он нам сказал про черкеса, — продолжала она. — Он — генетически мусульманин, многоженец. Это очень многое объясняет.

Я вспомнила, как к лицу ему был в Александрии мусульманский наряд.

Это, конечно, было остроумно, но совсем не верно: он считал себя христианином. Иное дело, что душа у него была расколота: «Два супостата в нас есть непрестанно борющася...»

У меня возникла совсем уж парадоксальная мысль. Я вспомнила его первую жену Ингу, которая, несмотря на уже весьма преклонный возраст, оставалась красавицей, свою крестницу Ольгу, Наташу и еще многих, кого он привораживал, а потом ускользал. И я вдруг подумала, что он, скорее, такой мирской «монах», от слова «монос»: с кем бы ни был, а всегда один. И даже когда он (почти всегда) метался между двух женщин, от одной прятался, а другой назначал свидание. Но две — это значит ни одной. Все это было суетно, хлопотно, игра не стоила свеч, поскольку вскоре эти женщины терялись из вида, оставляя едва не враждебные чувства. Однажды, поговорив с одной из них по телефону при мне, не скрывая раздражения, он с горечью произнес:

— Вот у тебя бывает такое? Вроде бы человек желает тебе только хорошего, старается, не глупый, заботливый, ты это понимаешь, ценишь, а ты иногда смотришь на него и... просто бесишься, так он тебе противен.. Просто до ненависти...

Он страдал от этого.

Вот — из его «Ожидание обезьян». Внутренний разговор героя/автора:

«— Слушай! Что это мы с тобой ни разу одну бабу не полюбили?

— А мне твои никогда не нравились. А моих ты стеснялся.

— Что ж, уж совсем ни одной, чтоб подошла обоим?

— Это уже любовь называется.

— Что ж, разве мы не любили ни разу?

— Ты думаешь, вам БЕЗ МЕНЯ (выделено мной. — *О.Н.*) было бы лучше?»

У Азы Алибековны

Мы, к сожалению, часто с ним виделись на похоронах. Вот и встретились у свежевырытой могилы поэта Анатолия Кобенкова на Переделкинском кладбище. После похорон пошли на поминки в столовую Дома творчества, сели рядом. После нескольких поминальных тостов он сказал:

— Что-то мне тошно, а пойдем лучше к тебе?

А у меня как раз шел грандиозный ремонт, приткнуться было некуда, везде шастали строители-украинцы, и вообще я собиралась ехать на именины к Азе Алибековне Тахо-Годи. Был День Натальи, она была крещена с этим именем. Я ему так и сказала.

— А возьми меня с собой, а? — просительно произнес он. — А то дома у меня полно народа, внуки... И мне очень бы хотелось с ней познакомиться. И вообще — хочется пообщаться с приличными людьми.

— Возьму, но если ты обещаешь, что будешь себя хорошо вести и покажешь себя с лучшей стороны...

— Обещаю!

И мы засмеялись оба и поехали.

Он позвонил жене, чтобы ее поздравить, ведь и у нее был День Ангела, и сказал, чтобы она не беспокоилась — он в надежных руках и едет в приличное место:

— Ты будешь рада — я еду на именины к самой Тахо-Годи!

Он положил трубку и произнес:

— Она сейчас лежит в больнице. Но она подтвердила, что рада за меня.

Да и сам он вдруг расцвел после похорон.

Я спросила у него, читал ли он книгу, которая получила последнюю Букеровскую премию. Он сказал:

— Нет, я, знаешь, вообще не читаю. Я вот председатель комиссии по наследию Платонова, а я и его не читал.

— ???

— Да, и Шолохова не читал!

— Что — и «Тихий Дон»?

— И «Тихий Дон».

Он выглядел очень довольным и наблюдал, какое это произведет на меня впечатление. Да ладно, мы люди бывалые, и не такое слыхали! Я неуверенно засмеялась. И он засмеялся.

— Да я вообще терпеть не могу читать!

И мы оба захохотали, почему-то ужасно развеселившись.

— Да я и не пишу ничего! Мой творческий портфельчик пуст. Сюжетов нет. Надоело писать.

И мы опять засмеялись.

Забрали из храма моего мужа, купили по дороге цветы и какие-то угощения, так и появились у именинницы. Аза Алибекова, увидев на пороге Битова и услышав извинения, что мы пришли не одни, по неизвестной причине как-то немножко напряглась.

— Ну, конечно, — решила пошутить я, чтобы исправить эту непредвиденную неловкую ситуацию, — все пришли на именины с подарком, а еврей привел с собой брата.

Не знаю, насколько моя шутка удалась, но Аза Алибекова хмыкнула из вежливости.

Однако пригласила нас за стол, который был уже накрыт, и мы повели чинную беседу.

И тут Битов проявил весь свой ум, истратил полугодовой запас обаяния, блеснул познаниями и совершенно очаровал именинницу, которая поначалу глядела на него сурово и с какой-то опаской.

Когда мы уходили, она призналась, что была о нем прежде совсем иного мнения. Не знаю уж, что именно она имела в виду.

Наутро они оба мне позвонили. Сначала Аза Алибековна, которая благодарила за то, что мы «открыли» ей Битова.

А потом и он:

— Ну, как я себя вчера вел?

— Ты был обворожителен. Никогда тебя таким не видела. Всех обольстил.

Он засмеялся как-то молодо и счастливо.

А вскоре, через несколько месяцев, у него умерла Наташа, жена. И мы уже в той же столовой Дома творчества Переделкино сидели на поминках по ней...

Битов остался вдовцом с Егоркой, сыном-подростком. «Припадочный», — как он о себе безжалостно говорил.

Из его книги «Дерево»:

...Есть мера одиночеств,
Каких никто не знал, кроме тебя.

Да он и при жизни Натальи говорил: «Я одинок, как мерин».

Старец Авель

Но незадолго до этого была вот такая история.

Андрей принялся названивать мне из Питера и спрашивать про некоего старца Авеля, не знаю ли я такого. Я о нем никогда не слышала. Он очень просил про него узнать.

— Понимаешь, мне тут приснился сон...

И тут он рассказал, что ему явилась во сне его покойная мать. И она сказала, что ему надо поисповедоваться у некоего старца Авеля. Андрей, как человек с «мистическим измерением», пребывал в трепете и недоумении.

Я о таком старце никогда не слышала и у кого бы из знакомых священнослужителей ни пыталась узнать о нем, все пожимали плечами.

Но Андрей, потрясенный сном, снова и снова будоражил меня своими рассказами о явившейся ему во сне Ольге Алексеевне и вопросами о старце Авеле, имя которого тонуло в неизвестности, и я даже уже опасалась, уж не из раскольников ли он, не от лукавого ли это сновидение...

Наконец он приехал в Переделкино, зашел ко мне и опять приступил с вопросом. Честно говоря, я уже и не надеялась, что такой старец существует, но все же предложила ему позвонить моему мужу: он тогда работал в пресс-службе Московской Патриархии и мог там на месте хоть что-то разузнать о загадочном старце.

Он и позвонил, а у отца Владимира в кабинете как раз в это время сидели архиепископ Павел Рязанский и архимандрит Тихон (ныне оба — митрополиты).

Отстраняясь от трубки, отец Владимир переадресовывал вопрос к ним. На что владыка Павел ответил, что старец Авель очень даже хорошо ему знаком, поскольку подвизается в монастыре как раз в его Рязанской епархии. Он очень стар и немощен и никого уже не принимает. Но в то же время владыка тут же выказал готовность лично попросить старца побеседовать со знаменитым писателем. Мало того, он великодушно пригласил Андрея Георгиевича остановиться там же в монастыре, как только тот найдет возможность туда приехать. А архимандрит Тихон, который при этом присутствовал, все это слышал и тоже подключился. Тоже захотел принять участие в этом Божьем деле, предлагая помочь уже немолодому паломнику добраться до монастыря, довезти его туда на своей машине.

И все это с восторгом мне пересказал мой муж, когда вернулся с работы. Вот и Битов тоже дивился столь чудесному разрешению всех недоумений и готовился поехать в Рязань. Но... Тут вмешались роковые силы судьбы. Каким-то образом он узнал, что отец его происходил из кавказского рода, был чуть не черкесом (чеченцем, адыгом, сам Битов порой путался), и есть селение, половина жителей которого носят фамилию Битов. И тут ему приоткрылись перспективы нового поворота жизни, нового сюжета, а значит, и написания нового романа. Да, он именно так это и объяснял: «творческий портфельчик» (его ироничное выражение) пуст, а, побывав там, я его пополню: ведь какой поворот судьбы! Напрасно я удивлялась и убеждала его, что после поездки к старцу Авелю он имеет куда больше шансов «пополнить портфельчик»! Нет, он собирался все-таки написать роман «Мой отец в Раю», о котором рассказывал мне еще лет за двенадцать до этого, когда мы плыли по Средиземному морю в счастливые края.

Короче, он сорвался с места и поехал туда. Но роман он так об этом и не написал, время потратил и вернулся в Москву тогда, когда мы получили скорбную весть о кончине славного старца Авеля.

Такая простая история о не-встрече.

Получалось, что покойная мать, посылая сына на исповедь к старцу, словно предупреждала его о грядущих страданиях, которые неожиданно через несколько месяцев обрушатся на него: смерть жены Натальи, совсем еще не старой и крепкой женщины, трудный подростковый возраст младшего сына, поджог прекрасной дачи под Питером...

Эта история была через пять лет описана архимандритом Тихоном в его книге «Несвятые святые», который все ждал звонка от Битова, чтобы везти его к старцу.

И что из этого получилось? Недружественный антицерковный портал, уязвленный триумфальным успехом «Несвятых святых», решил «поддеть», а то и вовсе скомпрометировать архимандрита Тихона, уличив его в обмане: дескать, не было такого, а архимандрит все это насочинил. Приехал корреспондент этого раскольничьего портала к Битову и прямо в лоб спросил: а что, являлась ли ему во сне покойная мать и посылала ли она его к старцу Авелю?

А он — забыл! Пять лет прошло с тех пор! Пять лет тяжких испытаний, болезней и скорбей! Напрочь забыл, как видел во сне покойную Ольгу Алексеевну, просившую его исполнить ее волю; как в мистическом трепете он искал этого старца и как чудесным образом его нашел, собирался поехать и исполнить все, что наказала ему мать, но так и не добрался к нему... Не успел. Ничего не произошло, поэтому и стерлось из памяти...

Вот он и ответил корреспонденту, что нет, покойная мать ему не являлась и о старце Авеле он, якобы, слышит впервые. А корреспонденту только этого и надо было! Он поднял шум-гам, по-нынешнему — «хайп», недоброжелатели архимандрита громко зажужжали в интернете, что отец Тихон-де «все о писателе Б. напридумывал» и «как ему можно после этого верить».

Это было очень несправедливо, обидно и нечестно. Тогда за дело взялся мой муж, у которого с Битовым были свои превосходные отношения: не только друзья, но и, можно сказать, духовные родственники. Он ему позвонил и все это напомнил: как тот весьма настойчиво спрашивал о старце, просил что-то о нем разузнать и найти; как все чудесно совпало и старец неожиданно отыскался; как мой муж тут же об этом сообщил ему по телефону со словами: «ищущий находит»; как самого писателя приглашали в Рязань, в этот монастырь, и как предлагали его туда отвезти...

И тут Андрей заохал и признался, что он стал все забывать. И что совсем недавно он видел сон, в котором мать его, стоя между корней со свечкой, сообщила ему час его рождения. И что он проснулся и кому-то это рассказал. А сам — забыл. И час своего рожденья, и кому он это сообщил. А ведь, — добавил он, — это очень важно для гороскопа!

— Слушай, — вдруг сказал Битов. — А они что — корреспонденты эти, против тебя что-то имеют? Про тебя все выспрашивали. Но я им сказал: вы собираетесь «наехать» на Вигилянского? Но я вам тут не сообщник: это мой друг.

Так ответил брат наш Битов на вражеские инсинуации и интриги!

«Круглый стол»

Меня попросили позвать на «круглый стол», проходивший в Издательском Совете Московской Патриархии, известных писателей «православного исповедания». И я пригласила самых-самых и разных: от Валентина Распутина с Леонидом Бородиным до Битова с Ириной Роднянской, с Олегом Чухонцевым, Ириной Поволоцкой, Ренатой Гальцевой, Сергеем Чуприниным, Андреем Василевским и Александром Эбаноидзе. Некоторые, как Чухонцев и Распутин, не смогли прийти, но все равно собрание было весьма представительным. Мы должны были обсудить культурную стратегию Церкви. Однако православные-то православные, но не все были людьми церковными, а вел это Председатель Издательского Совета митрополит Климент, настоящий монах «от чрева матери», молитвенник, но человек совсем, как бы это выразиться, не светский, немного с иной лексикой, иным мышлением. Поэтому я ужасно волновалась, что из этого выйдет. Поначалу все чувствовали себя скованно, но потом обсуждение вошло в свое русло, я немного перевела дыхание. И вдруг Битов ка-ак встрепенется да ка-ак сказанет, громко и совершенно не к месту:

— А еще они в армию зачем-то полезли, попы эти!

Все замерли и переглянулись. Кто-то стал ему разъяснять, что традиция присутствия капелланов в армии — повсеместна...

А я, сидевшая возле Битова, просто показала ему под столом кулак и сделала страшные глаза.

Он вздрогнул, словно пробудившись, и произнес речь, которая украсила бы любой Вселенский Собор твердостью в вере, верностью традициям и славословием Христу.

После «круглого стола» все разошлись, а мы с владыкой еще минут десять обсуждали, как это подавать прессе. Когда я вышла в заснеженную ночь, во дворе Издательского Совета горбатилась сугробом лишь моя машина. Я небрежно стряхнула с нее снег, рассчитывая, что заднее стекло и так оттает под теплыми струями печки, и тронулась задним ходом, как вдруг заметила темную и какую-то как бы бомжеватую фигуру, на которую я чуть было не наехала.

— Эй! — я открыла дверь, чтобы разглядеть этого человека, как вдруг он влез ко мне в кабину и плюхнулся на переднее сидение.

Битов!

— Ну, как я там сказал? Как выступил? Ты что — злишься? А я тебя ждал. Отвези меня домой.

И мы поехали.

— Видишь, Битов, когда ты был молодым преуспевающим писателем, а я — бедной студенткой, ты меня возил...

— А теперь ты возишь дедушку, — перебил он меня. — Я вот удивляюсь, как тебе удается на двух стульях сидеть?

— В смысле?

— Ты и в ПЕН-центре, ты и здесь своя, церковница! Как тебе это позволяют?

Я посмотрела на него, думая, что он шутит. Но он не шутил.

Тогда и я сказала серьезно и вызывающе:

— Я сижу на своем собственном стуле и сама себе это позволяю. Помнишь, как Снегирёв говорил: «Кем назначишь себя, тем и будешь»?! Да и ты, мой друг, с того момента, как покрестился, тоже сидишь на своем.

— А почему ты меня все время поучаешь? — вдруг вскинулся он.

— Потому что ты бываешь порою глуп, братец Кролик!

Мы помолчали, следя за дворниками, которые почти не справлялись с летящим снегом, и тут он вновь произнес свою мантру:

— Я одинок, как мерин. А ты — не злись.

И прибавил, вылезая из машины:

— Время сокращается...

ПЕН-центр

Последние годы мы с ним встречались исключительно на официальных мероприятиях: на встрече писателей с Президентом, на церемонии вручения премии Правительства РФ, когда оба стали лауреатами, на его Пушкинской премии, на которую меня упорно не приглашала устроительница банкета, над чем мы с Битовым подшучивали, потому что это было очень глупо — так показывать свою маленькую административную власть; на собраниях ПЕН-центра...

Но на том ПЕНовском — скандальном — собрании, с которого пошел раскол и на котором в последний раз то ли вновь выбрали Битова Президентом, то ли продлили его полномочия, мы с ним почти не общались: просто поздоровались дружеским целованием, и все. Я слишком была погружена в иные ситуации.

Во-первых, я пришла на заседание после последнего в том году семинара в Литинституте, который обязательно надо было провести, хотя бы и передвинув на более ранний час. Поэтому я и приехала в институт в десять утра. Было морозно,

сумеречно. Студенты пришли в весьма малом количестве, как и у Рейна, который позвал Андрея Чернова выступить перед ними. Ну, и мне предложил объединить семинары. Но Чернов после своего выступления устроил у нас на кафедре грандиозный скандал и по поводу «Крымнаш», и в связи с сожженными людьми в Доме профсоюзов. Короче говоря, наш бывший комсомольский вождь, а ныне неистовый ультралиберал, обозвал нас с Рейном «ватниками» и кинул напоследок, что по нам плачет Гаагский трибунал. Поэтому на собрание ПЕНа мы отправились уже несколько возбужденные. Этим и объясняется то, что Евгений Борисович время от времени вскакивал и позорил тех, кто тихой сапой вывесил на логотипе ПЕНовского сайта трезубец.

А я села рядом с моим давним другом поэтом Виктором Гофманом, который был принят в ПЕН недавно, впервые попал на такое собрание, и поэтому все ему было в диковину. Он смотрел на всех свежим взглядом и очень смешно все это комментировал. В общем, мы сидели и легкомысленно покатывались с ним от смеха, несмотря на всю серьезность происходящего. Бывает такое: может, и правда, были там забавные персонажи, а, может, мы с ним просто давно не виделись и вот — рады были встретиться, соскучились! Пошли после этого собрания в ресторан и поели там вволю, разговаривая о музыке. О втором концерте Баха для двух скрипок с оркестром. Настолько мы были далеки от происходящего здесь и сейчас.

Так что с Андреем мы эту ситуацию так и не обсудили.

Последние месяцы

Битов часто мне звонил — то поболтать, то пожаловаться на жизнь («Я живу в аду!»), но и по церковным вопросам: у него родился правнук, и он спрашивал, можно ли, чтобы у него было сразу два крестных отца. Я ему ответила, что не знаю такого в церковной практике. Но он настаивал: он-то сам считал двоих людей своими крестными — архимандрита Торнике и Резо Габриадзе. А тут у ребенка уже есть назначенный крестный по другой родственной линии, но и он хочет быть таковым. И он желает прочитать над ним «Символ Веры» и ходить с зажженной свечой вокруг купели.

Кажется, это был едва ли не наш последний разговор.

Я прилетела из Лондона и сразу с аэродрома поехала в ЦДЛ, где отмечали юбилей Литературного института (мы там, кстати, с Андреем одно время преподавали вместе). Почему-то мне сказали, что это важно, и я обязана там быть. Проходя между рядами в зале, я услышала, как кто-то (кажется, это был Алексей, сын Юза Алешковского) сказал: «Битов умер! Его не смогли вывести из искусственной комы».

...Вот и кончились наши такие порой родственно-семейные, подчас дружественно-сокровенные и даже игривые, а иногда — мистические и серьезные отношения с этим безусловно важным для моей жизни человеком. Бывало, он вдруг обледеневал, смотрел, как осажденная крепость с задраенными оконцами, и надо было его «растапливать», цеплять каким-нибудь поворотом мысли или просто махнуть на это рукой: «Ну и пожалуйста, ну и ладно, ну и фиг с тобой!» Как говорил Снегирёв: «Тщеславие погубит тебя, Битов!» Но гораздо чаще выглядывала из его глаз такая обаятельная сокровенная душа, и губы складывались в блуждающую извиняющуюся улыбку.

Да и я у него кое-чему научилась.

Битов, будучи, на мой взгляд, писателем-экзистенциалистом, познающим реальность по мере ее описательного переживания или переживательного описания, дал мне увидеть и почувствовать этот «крен», который он совершал, преображая действительность в текст и прототипов — в своих персонажей. Ведь все, что он сочинил, имеет под собой реальную основу, но там произведен такой отбор, монтаж, купаж, смена ракурсов, что возникает нечто новое, лишь отдаленно напоминающее первоисточник. Кстати, и глагол *сочинил* — очень ему подходит. Это не значит — придумал, но сочетал характеры и события таким образом, что они выстроились по своему смыслу и чину, отбросив лишнее.

Недаром тема его диссертации, которую он писал, будучи аспирантом ИМЛИ, звучала так: «Проблема взаимоотношений автора и героя». За этим стояла идея «единого текста», эквивалентного его собственной судьбе.

«Он сказал или я подумал?»

Герой его романов и повестей порой неотличим от автора, и все же это всего лишь двойник, пребывающий в иной реальности, так что он имел власть, будучи порой излишне «sophisticated», и надмеваться, и куражиться над автором, охлаждая его пыл и сбивая спесь. И Битов иногда, не скрывая, завидовал ему. Но мне, признаться, автор был милее, ближе и дороже.

Ну и что еще мне сказать вослед? После отпевания, которое совершили наш друг протоиерей Валентин Асмус и мой муж, мы все отправились на поминки, поскольку хоронить Битова его дети решили в Питере, где он родился и вырос, жил в юности и в последние годы. А мы все разбрелись по автобусам. Задержавшись в храме, я вышла оттуда едва ли не самой последней, и выяснилось, что автобусы заняты: не было ни одного места. Но поодаль стоял еще один, вроде бы пустой. Я влезла туда, чтобы узнать, куда он едет, и оказалась там вместе с сыновьями Андрея — Иваном, моим крестником, и Егором, которого знала еще младенцем. Я вспоминала, как мы с Битовым, встретившись в ЦДЛ вскоре после рождения детей — моей старшей дочки Александрины и его сына Вани, сели пить кофе.

— Ну, как твоя дочь?

— А твой сын?

— Болеет. Такой был пухленький, а что-то исхудал.

— А вот наш детский врач... Дать телефон?

— Да у нас — свой. Такое ревнивое отношение друг к другу у этих врачей...

И еще вспоминала совсем маленького Егорку, ростом с высокий — выше колена — сапог Наташи.

И как он сидел, маленький, худенький, неприкаянный подросток, на поминках матери и смотрел отчужденно на взрослых, которые зачем-то собрались за столом и не имеют к его жизни никого отношения...

А то я вдруг вспомнила, как мы случайно встретились с Битовым на переделкинской даче Чухонцевых, и все были в ударе, читали стихи, говорили наперебой, пили вино, много вина! Все цвело и благоухало, это был май. Вечный май, какой-то провал во времени: все были юны и прекрасны. Расставались в три ночи. Битов почти не стоял на ногах, и я посадила его в машину, чтобы отвезти через две улицы в его домик.

Я врубила концерт Баха для двух скрипок с оркестром, который в те времена слушала непрестанно в машине, то мчась по шоссе, то стоя в пробках, и не могла оторваться от этой музыки. Эти скрипки то отчаянно спорили, то их голоса пересекались в контрапункте: одна жаловалась, а другая утешала. Одна напирала, другая отступала, жалко защищалась и всхлипывала. Одна оправдывалась, а другая укоряла... Я словно стянула это у себя же из своего романа «Мене, текел, фарес». Только там звучал Моцарт, когда моя героиня посадила к себе в машину духовника игумена Ерма и дала по газам, делая вид, что похищает его, увозя его от соблазна перейти в католичество...

«И закат был какой-то красный, как бы к холоду, к смуте, к беде. Мы летели в пространство, и музыка ломилась к нам, звуча все громче, щемя все больнее, желая уязвить до смерти, оглушить, заставить понимать только ее.

— Она похитила игумена Ерма! — изумленно кричали провожающие нас деревья, летящие облака.

— Она хочет переиграть Промысл! Она заигрывает с возмездьем! Она искушает судьбу! — било в окна красное отчаянное закатывающееся солнце.

— Да что это с вами? — встревоженно спросил отец Ерм. — Остановитесь!

Но музыка была так стремительна, так огромна, она столько пророчила бедному сердцу, подстрекая, раня и будоража. И я выжала до отказа педаль.

— Да стойте же вы! — приказал игумен. — Я не желаю этого слушать! Верните меня назад!

Но Моцарт призывал все новые скрипки, и за них вступались виолончели, альты, флейты, пререкались душные контрабасы — они так хотели бы все повернуть вспять, именно что возвратить назад! Но вся тема была построена на "невозможно!", замешана на "не бывает!", закручена на "не может быть!" А они, эти скрипки, все пытались свое "а все-таки?.." А они все подкрадывались со своим "а если?..". Вламывались со своим "а вдруг?".

— Да что здесь творится? — отец Ерм наконец разозлился. — Остановитесь!»

Это была совсем новая литературная ситуация — одно дело воссоздавать в романе преображенную реальность, а совсем другое — воплощать в жизнь написанное тобою когда-то с изрядной долей воображения.

Мы давно подъехали к битовской даче, но все продолжали слушать, пока не замерли заключительные, особенно отчаянные звуки третьей части концерта. Тогда он неловко вылез, сильно шатаясь, и я поняла, что надо ему помочь: буквально доволокла его, как раненого — санитарка, и всунула в дверь.

— Зайди на минуту. Чаю хоть попьем! — попросил он.

Добрался до кухни, огляделся и с грустью показал мне пустую коробку от чая.

— Здесь жили мои дети, а я приехал только вчера. Ни-че-го мне не оставили: ни чая, ни хлеба, ни сигарет!

— Пойдем ко мне, напою тебя чаем, — предложила я.

— Нет, — он помотал головой, — но я тебя провожу... А что это за самоплагиат ты устроила? Все эти скрипочки, бешеная езда? Я думал, ты меня убьешь напоследок.

Он понял, прочитал-таки! Воистину брат мой!

Ему одному из первых подарила тогда этот роман.

И, цепляясь за стену, он стал выбираться из прихожей на крыльцо, поставил было ногу на ступеньку, но оступился и загремел вниз, прямо на скамью, которая стояла

у подножья лестницы. Стукнулся головой так, что сломал эту скамью и остался лежать без движения, без признаков жизни.

Я застыла от ужаса: погиб! А что делать? Три часа ночи, вокруг темно, телефона у меня с собой нет...

— Битов, — жалобно позвала я, нагнувшись к нему. — Битов, миленький, очнись! Ну, пожалуйста, — я заплакала.

И тут он перевернулся на другой бок и захрапел.

Я его растолкала, втащила в дом и отправилась восвояси, все еще не в состоянии прийти в себя после потрясения.

На следующий день я малодушно боялась ему позвонить: а вдруг там самое страшное? Но он сам пришел. Не то чтобы «как огурчик», но вполне вменяемый, разговорчивый и дружелюбный. Смеялся, когда я ему рассказывала про его вчерашнее падение.

— Да? А я сегодня смотрю: почему скамья разломана в щепу?

Так и расстались после полуночи.

Или — явилось совсем нелепое воспоминание, как он пришел к нам, а у нас сидел гость, приехавший откуда-то, где ловят вкуснейших рыб, которых и привез нам. На столе стояло блюдо с осетриной и бутылка французского вина. А это был Петров пост, да к тому же и времена, скудные на гастрономические изыски. И я, вводя Битова в комнату, говорю ему, неофиту, показывая на блюдо с осетриной и вино:

— Так постятся православные христиане!

Или — как мы шли по лесу — еще там, в Небылом, и потеряли из вида моего мужа и отца Зинона, и заблудились. Или — как мы плыли на корабле и наблюдали по ночам Южный Крест. Или — как мы договорились встретиться в Тбилиси на нейтральной почве, на проспекте Руставели у Кашветской церкви, и Битов пришел, неся перед собой красную розу. Или — как мы с ним зашли к нему на дачу, а перед ней на роликах катался его очаровательный внук, сын Вани, — в шлеме, в наколенниках, в налокотниках, во всем снаряжении, и Битов сказал, заглядевшись на него: «Как же все-таки Бог меня, негодного, любит», — и прослезился, прикрывая глаза рукой. Или — как я впервые увидела его в прихожей у меня дома и почему-то сразу поняла, что это не случайный человек, и я буду каким-то образом связана с ним на всю жизнь. Так и получилось. И еще он тогда сказал моим родителям:

— Талантливая у вас дочь!

Это было при мне. А мне было шестнадцать лет.

...И мы долго ехали втроем, автобус стоял в пробках, еле полз, еле двигался, менял маршрут и опять застревал, а мне казалось, что это Битов так устроил напоследок. И сейчас присутствует тут незримо, довольный: получилось как-то так, как и должно быть в финале хорошего романа или фильма.

И так мы ехали, ехали, уже и фильм сняли, уже и прокрутили его до самого конца, пошли титры, а мы все ехали, ехали, пока на экране не погас свет.

P.S.

Посмертные посланья

А.Б.

1

О тебе для рассказа я слов не нашла:
косоглазьем болеет глагол,
всё двоится, и мимо летает стрела,
и сокольничий гол, как сокол.

Надо было записывать путь, жизнеход,
каждой мысли твоей поворот,
каждый жест, каждый вывих, каприз, оборот
и внизу ставить дату и год;

А теперь — как багрянца и охры накал
описать, если снизу ползёт,
осыпаясь, земли суеверной провал,
этой пасмурной умбры испод?

...Ты и сам еще в стане живых что-то мне
говорил о незримых следах,
о таинственных связях явлений, о не-
описуемом в наших садах.

Что сияло и веяло там, за канвой:
трепет сердца и ангельский лик –
может разве что в образе ласточки твой
отразить бестолковый язык.

А ещё рассказать, как граница тонка,
как безмолвия грусть глубока,
как в небесную реку земная река
возвращает её облака.

2

Побеждающему дам... белый камень и на камне
написанное новое имя,
которого никто не знает, кроме того, кто получает...

Откровение Иоанна Богослова

Люблю слова, которые по звуку
воспроизводят смысл: жесть, жар, заноза, жжёт.
Ещё сюда прибавь растраву и разлуку,
а щастье — убери, его звучанье лжёт.

Царапают шипы, цепляет заусенец, –
всё достоверно здесь, как горечь, плач — горюч.
Блаженствует душа, как розовый младенец,
к загадочным вещам свой подбирая ключ.

Мы оба — слух и речь, язык и ухо, оба — с
наушником: в космический провал
натянут проводок, откуда первообраз
сам выразил себя и сам себя назвал.

...Послушай, как ты там — над облаком ли, в дыме,
на светлой стороне?
В гостях у высоты
всё новое — язык, обличье, голос, имя.
Там, названный, поймёшь по звуку, кто же ты.

3

В России Хронос побеждён,
к пространству пригвождён:
с погодой слит, с рельефом свит
и звёздами блазнит.

Здесь Ленин Сталина дерёт
за рыжие усы.
Здесь Сталин Ленина ведёт,
схвативши под уздцы.

И птица Сирин здесь поёт
невиданной красы.
И в недрах — Древний Змей живёт,
и в кузнях — кузнецы.

Башмачкин мокрый снег жуёт,
Тряпичкин жжёт чубук.
И Клячкин открывает рот,
да вырубили звук.

Все рядом: там — приказчик пьян.
Ямщик попал в буран.
Святая Ольга жжёт древлян,
бьёт заяц в барабан.

Бомбист таскает динамит,
язык ломает фрик,
чело Державина томит
напудренный парик.

И стелятся туман и дым,
и Врангель входит в Крым.
Прощается славянка с ним,
а я останусь с ним.

Эпох сливаются слои,
хоть в славе, хоть в крови,
где все чужие — как свои,
пускай и визави.

Глядит зелёная звезда,
Земля пред ней, что взвесь,
и говорит, что навсегда
мы вместе будем здесь!

Ольга Балла

Вчитывая, вычитывая, (пере)прочитывая

Писатели о писателях в серии «Жизнь замечательных людей»

В биографической («художественно-библиографической», как уточняет ее корректное описание) серии «Жизнь замечательных людей» книги, написанные писателями о писателях, формально никак не выделяются, но занимают тем не менее особенную смысловую нишу — похоже, до сих пор не отрефлексированную в целом, в ее тенденциях, в особенностях именно литераторского взгляда на собратьев по жизненным задачам. Пора предпринять некоторые шаги в этом направлении — неминуемо предварительные и приблизительные в силу хотя бы уже одной только труднообозримости материала.

Понятно, что всех книг писателей о писателях, вышедших с момента основания серии (начата серия с таким именем была, напомним, Флорентием Павленковым в 1890 году, выходила до 1924-го и затем была возобновлена Максимом Горьким в 1933-м, с тех пор — не раз поменяв свои задачи — и не прерывалась), нам не охватить. Но, кажется, перед нами тот самый случай, когда избирательность не помеха — ну не то чтобы (все равно недостижимой) полноте, но, по крайней мере, нащупыванию тенденций, выделению разновидностей взгляда авторов на своих коллег. Ограничимся поэтому писательскими биографиями последних полутора десятилетий, а среди них — теми, что успели попасть в поле читательского зрения обозревателя: выделив некоторые точки биографического процесса, постараемся понять эти точки как чувствительные. При всей прихотливой случайности этой выборки, продиктованной, повторюсь, прежде прочего персональным читательским и человеческим любопытством автора этих строк, в ней нежданно обнаруживается много показательного — прежде всего потому, что первой в этой стопке лежит книга (о, спорная, проблематичная... но не будем же забегать вперед), означавшая в свое время ни много ни мало как поворотный момент в развитии серии, даже, пожалуй, новый его этап — именно в силу своей спорности, пристрастности, если не сказать — фантастичности. Это вышедшая в 2005 году книга Дмитрия Быкова о Борисе Пастернаке. Она-то и навела мое рецензентское воображение на мысль о том, что в работе писателей над биографиями своих коллег возможны несколько различно устроенных биографических стратегий, способных и совмещаться (дерзну назвать их даже если не равноценными, то равно необходимыми), — одна из них и воплотилась в быковских книгах о Пастернаке и, вслед за тем, об Окуджаве в полной сияющей мере.

Но все по порядку, и начнем мы не с этой стратегии (которая все-таки не видится мне в «ЖЗЛ» и даже в писательском ее сегменте ведущей, хотя, пожалуй, стоит поддаться соблазну признать ее наиболее яркой), но с той, что должна быть первой по праву — и кому, как не писателям, осуществлять ее: с прочитывания недопрочитанного, выявления недовыявленного. Биография, которая кажется мне близкой к эталонному

осуществлению такого подхода, так и называется в своем подзаголовке: «Прозёванный гений». И это — вышедшая в текущем году книга Майи Кучерской о Николае Лескове.

Прежде чем мы заговорим о ней, необходима еще пара предваряющих строк.

При всем различии стратегий, задач и целей писательской работы над жизнеописанием коллеги, поверх этих различий происходит обыкновенно следующее: задается ведущий, ключевой образ (или, что реже, совокупность таковых), который ведет за собой биографическое восприятие и организует биографическое повествование. Как правило, рассказ писателя о писателе — это еще и эмпатическое вчувствование в героя. Иногда — почти отождествление.

Кучерская о Лескове: перечитывание

Майя КУЧЕРСКАЯ. Лесков: Прозванный гений. — М.: Молодая гвардия, 2021. — 622[2] с.: ил. — (ЖЗЛ: сер. биогр.; вып. 1865)

Если говорить о читательски-биографических стратегиях, систему которых мы обещали наметить с самого начала, то вариант, воплотившийся в биографии Николая Лескова, написанной филологом и прозаиком Майей Кучерской, должен быть назван *перечитыванием,* заново-прочитыванием, прочитыванием пристальнее обыкновенного и с новых позиций. (Кстати: это первая за почти семьдесят лет биография Лескова, — вторая после написанной его сыном «Жизни Николая Лескова: По его личным, семейным и несемейным записям и памятям», вышедшей в 1954 году[1].

Со строгостью мышления и с документальной основательностью у Кучерской все хорошо: по одному из своих профессиональных обликов она все-таки ученый-филолог, и на эту работу, потребовавшую привлечения больших объемов архивного материала, у нее ушло двенадцать терпеливых лет. Задача, поставленная перед собою автором, — именно историко-литературного характера: если и не переписывание русской литературной истории, то существенное ее уточнение. (Вообще-то, бормочет автор этих строк себе под нос, уж если ради чего и писать новую биографию писателя, то именно ради этого: увидеть его так, как до сих пор не видели, открыть новые ресурсы его понимания.) Вполне можно было бы написать монографию. Но начинает она книгу с разговора не о писателе, а о человеке.

«Лесков был человеком разорванным. Его постоянно “вело и корчило”, растаскивало между скепсисом и восхищением, гимном и проклятием, идиллией и сатирой, нежным умилением и самой ядовитой иронией, ангелом и *аггелом*[2], праведниками и злодеями».

Эмпатии здесь столько же, сколько исследовательской работы, и у книги — темперамент (да, у книг тоже бывают темпераменты) больше романа, чем ученого труда (хотя и те бывают пламенны). Книге очень хочется быть романом, время от времени на поверхность текста вырывается совершенно романная речь, да с нее, собственно, книга и начинается — чтобы надежнее втянуть читателя:

«Юноша спит, слегка посвистывая во сне. Новенький суконный картуз сполз на нос — из-под широкого козырька видны только темные усы, круглый подбородок в прозрачной поросли, губы — пунцовые, пухлые.

---

[1] Все-таки было бы, на наш взгляд, несправедливо на страницах «ДН» не упомянуть книгу Льва Аннинского «Лесковское ожерелье» (М.: Книга,1982, — были еще издания, дополненные). Формально — это история создания главных лесковских текстов, «биография» книг. Фактически же она посвящена — процитируем Аннинского — самому писателю, «неистовому в страстях, неосторожному в поступках, непредсказуемому в решениях и, однако, твердому в том, как видел он и понимал реальность. <...> Можно сказать, что тема этой книги: Лесков и мы». — *Прим. ред.*

[2] Падший ангел, служитель дьявола. — *Прим. М.Кучерской.*

Ветерок омывает лицо и шею, в скулу бьет вдруг тугая пуля — очнувшийся шмель или муха; юноша вздрагивает, сдвигает картуз, поводит сонными испуганными глазами. Вдоль обочины толпятся березки в легком сиянии первой листвы и птичьей трескотне. За березками — распаханное поле. По острой зеленой травке всходов удивленно расхаживают черные грачи».

Это юный Николай Семёнович едет в Киев. Не сомневайся, читатель: время здесь в точности расчислено и сверено по календарю, дело происходит — как и свидетельствуют документы — в начале мая 1850 года.

На самых же последних страницах книга, выполнив свои исследовательские задачи, рассмотрев важнейшие тексты Лескова (помнят-то в основном «Левшу», да и того давно ли перечитывали? — ну разве еще «Леди Макбет Мценского уезда»), объяснив, почему они важны, от ученых филологических освобождается и — пусть в объеме одного только небольшого эпилога — становится торжеством языка, чистейшим, пряным и жгучим художественным текстом.

Ведущий образ обозначен в подзаголовке: «Прозёванный гений». Выражение принадлежит Игорю Северянину, но эту мысль автор всецело разделяет. Лескова, уверена она, и недооценили, и забыли: «XX век забывал Лескова постепенно».

Исследовательское предприятие — не только дань читательской любви (в основе которой — воля к пониманию), оно еще и этическое: устранение того, что автор остро чувствует как несправедливость. Своим художественным исследованием, даже расследованием (вне сомнений, в построении этой биографии присутствует своего рода детективный элемент, хотя интрига тут всецело лежит в области истории идей — и страстей) Кучерская старается, если и не изменить место своего героя в общекультурной табели о рангах (культура столь же иерархична, сколь и упорна в своих иерархиях, и с этим мало что можно сделать), то, по крайней мере, аргументированно оспорить то, что Лескову, в отличие от равномощных ему, по мысли автора, Толстого и Достоевского, не достался статус безусловного национального гения, а заодно разобраться и в причинах этого. В этом и состоит «детективный» компонент книги.

Но самое, может быть, интересное — и самое редкое: вызывание Николая Семёновича из неполноты бытия для Майи Кучерской оказывается предприятием еще и языковым (и вследствие того — магическим: писателям ли не знать о магичности языка?). Тем более что с языком у ее героя отношения особенные и действительно близкие к магическому — то есть к поэтическому: он, показывает Кучерская, не только глубоко понимал русскую жизнь, ее социальные и психологические стороны, но был в чутком контакте с языкотворческими энергиями, что роднит его (не с прозаиками, а) с поэтами следующего (даже через-следующего, годящегося ему во внуки) поколения, например, с Хлебниковым. И это вторая из биографических стратегий, воплотившихся в книге: *вычитывание* из корпуса текстов героя того, что, видимо, оставалось вне магистральных путей внимания.

И книга Кучерской — не то чтобы двуязычна, но, во всяком случае, написана двумя речевыми пластами, в двух речевых модусах: собственным языком автора и языком ее героя. Тщательно восстановив, собрав жизнь своего героя, вообразив и прочувствовав ее, в конце концов Кучерская начинает говорить языком Лескова. Становится немного им. Воскрешает его. Воскрешает буквально: в эпилоге Николай Семёнович просыпается в посмертии — живой. Так что, как знать, может быть, эпилог он сам и написал. Ну, продиктовал, по крайней мере.

«Тучи стали синей, столкнулись. Зареяли молоньи, загремели один за другим громовые раскаты. Упала воробьиная ночь, вспышки огня на небесах ни на минуту не гасли, освещая удивительные группы фигур на небе и сгущая тьму на земле.

Вот как надо писать, думает он, вот как: только слово, одно слово живо. И понимает, наконец, как сделать так, чтобы слово истины осветило мир. Отменить печатанье! Печатать не на тряпке и не на папирусе, не на телячьей коже, печатать надо прямо по небу! Все тогда вместе с зарей увидят на небесах слова правды. Да, да, он все напечатает прямо по утреннему зареву! Осталось только понять, отчего блистает свет и как огустевает тьма...»

Быков о Пастернаке и Окуджаве: вчитывание

Дмитрий БЫКОВ. Борис Пастернак. — М.: Молодая гвардия, 2005. — 893 [3] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: Сер. биогр.; Вып. 962); Булат Окуджава. — М.: Молодая гвардия, 2009. — 777[7]с.: ил. — (ЖЗЛ: Сер. биогр.; Вып. 1165)

Ну, теперь к истокам. Мы уже поняли на только что рассмотренном примере, что соблазн беллетризации в случае, когда за писательскую биографию берется собрат-писатель, не только непреодолимо силен, но иногда бывает смысл и поддаться ему. Книга, автор которой поступил именно так, в середине нулевых буквально — и резко — переломила судьбу серии. «Жизнь замечательных людей» к тому времени — особенно после безденежья девяностых — совсем уж было затухла: и книжек стало мало, и писали их в те поры главным образом узкие специалисты языком правильным, точным и — да, совершенно верно: скучноватым для широкой аудитории; а потребность этой последней в знании о чужих жизнях удовлетворяли в основном средства массовой информации, всего более сосредоточенные на скандальных подробностях. Как бы ни относиться к биографическому повествованию Дмитрия Быкова о Борисе Пастернаке (признаюсь, я отношусь к нему сложно), этот огромный том в тысячу без малого страниц, туго набитый обильно интерпретируемыми и многословно комментируемыми фактами, не просто выдержал более десяти переизданий, но, сказывают, вернул читательский интерес к биографическому жанру вообще, к изданиям «Молодой гвардии» в частности и к томикам с серым корешком и советских еще времен факелом на нем — в особенности. Более того: именно после быковской книги редакция стала систематически привлекать к работе над серией современных писателей, что, в свою очередь, сильно способствовало ее популярности — и, в сущности, создало сам предмет нашего сегодняшнего разговора.

Эта точка нач*а*ла новой жизни обозреваемой серии — классический пример биографической стратегии, которую мы назовем *вчитыванием.* Оно же — домысливание (но не будь его — оказала бы книга столь животворящее воздействие на серию, в которой вышла? Думаю, вряд ли. Вообще — стоило расшатать, расширить то узкое русло, в котором до Быкова эта серия спокойно и незаметно совершала течение свое).

Что же вчитал Дмитрий Львович в Бориса Леонидовича? Прежде всего (и еще, пожалуй, прежде понимания предмета как такового) — самого себя, собственный темперамент, воображение и чувствование мира.

Мы уже заметили, что в каждой писательской биографии, вышедшей из-под пера писателя, есть свой ведущий образ или ведущая метафора. У Быкова — сплошь метафоры; ведущая средь них — метафора лета, которая открыто работает у него на правах исследовательской модели: «Жизнь Пастернака отчетливо делится на три поры, как русское дачное лето — на три месяца <...> он представляется нам явлением по преимуществу летним <...> Стихия Пастернака — летний дождь с его ликующей щедростью, обжигающее солнце, цветение и созревание; на лето приходились и все главные события в его жизни — встречи с возлюбленными, возникновение лучших замыслов, духовные переломы. Мы применили эту метафору для его жизнеописания».

В точном соответствии с этим — три части: «Июнь. Сестра», «Июль. Соблазн», «Август. Преображение».

Ведущий же образ — есть и он, не путать с метафорой — это образ счастья.

«...Он весь был нацелен на счастье, на праздник, расцветал в атмосфере общей любви, а несчастье умел переносить стоически. Оттого и трагические неурядицы своей личной биографии — будь то семнадцатый год, тридцатый или сорок седьмой, — он воспринимал как неизбежные “случайные черты”, которые призывал стереть и Блок. Однако если у Блока такое настроение было редкостью — подчас неорганичной на фоне его всегдашней меланхолии (какое уж там “Дитя добра и света”!), — то Пастернак тает от счастья, растворяется в нем...»

Запомним Блока — он нам в разговоре о быковских биографиях еще пригодится.

В споре беллетриста с историографом — он практически всегда происходит на страницах книг этого жанра, оба субъекта биографической речи представлены и у Быкова — здесь решительную и торжествующую победу одерживает беллетрист, которому в живых подробностях и в лицах известно даже то, как встречали новопреставленного Бориса на том свете.

«Между тем в сферах, с которыми он всю жизнь был в теснейшем, хоть и прерывавшемся по временам общении, готовились мистериальные перемены: суетились вокруг пиршественных столов, проверяя, все ли на месте, что он любил; тамада Тициан рассаживал гостей, наполнял гигантский штрафной рог, гордясь правами распорядителя застолья; друг Паоло уговаривал друга Владимира не начинать с выяснения отношений (“Вспомните, каково было вам в первый час”), Райнер занимал место поближе: “Должен же я наконец увидеть его!”»

Право, подумаешь, лучше уж было роман написать.

Что бы ни говорил автор о нераздельности жизни Пастернака и его текстов — а ведь говорил: «Судьба и текст для него — одно (и судьба — полноправная часть текста)», — внимание у него все-таки сильно смещено с Пастернака-поэта на Пастернака-человека; непохоже, чтобы он хорошо понимал его стихи и ставил это себе целью: «...смешно требовать от них логической связности, — замечает биограф с нефилологическим простодушием, — они налетают порывами, как дождь, шумят, как ветки» (так что в схватку между беллетристом и историографом филолог даже не вмешивался). Справедливости ради, однако, надо сказать, что при всей размашистости обобщений Быков своего героя не (очень) упрощает, чувствует его сложность: «В пастернаковское счастье непременной составляющей входит трагизм, но “трагическое переживание жизни” — не нытье и не сетования, а уважение к масштабу происходящего».

Надо упомянуть еще о быковском же «Окуджаве», вышедшем в той же серии четыре года спустя и вполне разделившим с «Пастернаком», так сказать, стратегические особенности. Ведущая — и довольно настойчивая — метафора здесь та, что Булат Шалвович — «реинкарнация Блока». Биограф выражается, правда, осторожнее: «своеобразная реинкарнация Блока», то есть как бы не имеет в виду ничего такого метафизического. Впрочем, эта мысль уходит корнями в известное представление о родстве Окуджавы с символизмом, развиваемая, например, Александром Жолковским в статье «Поэтический мир Булата Окуджавы» еще в 1979 году (сам Быков и цитирует): «Перед нами некая популярная версия символизма, с его аллегорическим просвечиванием идей сквозь земные оболочки и предпочтением всего прошлого, будущего и надмирного настоящему. <...> Можно сказать, что с этой точки зрения Окуджава занимает в русской поэзии место, зеркально симметричное месту Блока: если тот, по замечанию Шкловского, канонизировал (то есть возвел в высший литературный ранг) и поставил на службу символизму жанр цыганского романса, то Окуджава как бы популяризировал достижения символизма и вообще высокой поэзии, обогатив ими песенно-поэтическую публицистику современных бардов и менестрелей». Но Быков, честно сказать, прямолинейнее и грубее. В этой книге вечные соперники, беллетрист и историограф, допустили на поле своей битвы филолога (и тот действительно делает немало, выявляя контексты и подтексты Окуджавы, укореняя эти тексты в целом культурном пласте с его настроениями, тяготениями, символами). При этом основной объем его филологической активности приходится на пролог, где проводятся жесткие аналогии между текстами двух поэтов: «Текстуальных и композиционных совпадений у Блока и Окуджавы такое количество, что подчас трудно признать их случайными». Из этого делаются далеко идущие выводы и о родстве, чуть ли не тождестве, их социальных позиций, и даже о неслучайности их внешнего сходства: «...в авторском облике, часто субтильном, сниженном, хотя и Окуджава, и Блок были рослыми кудрявыми красавцами <...> отмечается разительное сходство».

Впрочем, книге, вышедшей в популярной серии, позволительно.

Вторая несущая конструкция быковской биографии Окуджавы, на которую обратил внимание автор одной из самых конструктивных рецензий на книгу, поэт Валерий Шубинский, — мысль об «аристократизме» поэта, источник которого — «врожденная принадлежность к партноменклатуре»[1]. К собственной биографической работе Шубинского мы теперь и перейдем.

Шубинский о Ходасевиче: внимательное прочтение

Валерий ШУБИНСКИЙ. Владислав Ходасевич: Чающий и говорящий. — М.: Молодая гвардия, 2012. — 528 с., ил. (ЖЗЛ: Сер. биогр.; Вып. 1534 (1334)

Поэт, критик, историк литературы Валерий Шубинский, вообще много работающий в биографическом жанре, написал еще биографии Даниила Хармса[2] и Николая Гумилёва[3] (впрочем, отчасти сюда может быть причтена и книга о «всероссийском человеке» Михаиле Ломоносове[4], бывшем также и поэтом), но в серии «ЖЗЛ», кроме второго издания книги о Ломоносове, вышла (одним из изданий) только книга, посвященная человеку с целиком литературной биографией — Владиславу Ходасевичу (по всей вероятности, это следствие каких-то внелитературных причин; и «Зодчий» — книга о Гумилёве, и «Жизнь человека на ветру» — книга о Хармсе, глядя непредвзято, прекрасно бы сюда вписались).

Между прочим: это первая — по крайней мере, на русском языке — биография Ходасевича вообще, и сразу научная и основательная. Шубинский написал ее на основании больших объемов источников, в том числе архивных, основательно проработав архивы Москвы и Петербурга. Восстанавливая жизнь своего героя, строго и жестко мыслящий Шубинский выключает беллетриста — если такая субличность у него вообще существует — совершенно. У него и в мыслях нет сделать из биографии поэта роман — хоть в отношении структуры, хоть в отношении интонаций, — он занимает позицию исследователя. Притом позиция эта — оценивающая (и, как все оценивающее, по определению несвободная от пристрастности).

Он, например, убежден, что Ходасевич «гораздо значительнее любого из русских поэтов-символистов, кроме Александра Блока и Иннокентия Анненского». Утверждение настолько крупное, что его тип биографической стратегии вполне мог бы быть назван и перечитыванием в смысле, сопоставимом с тем, в каком Майя Кучерская перечитывала и перепозиционировала Николая Лескова, — если бы изменение места Ходасевича в литературной иерархии было основным предметом книги. Но нет; Шубинский не колеблет иерархий, ограничиваясь формулировкой своего мнения (тем более, что перепрочитан и переинтерпретирован, и радикально, Ходасевич уже был: «Казавшийся современникам почти архаистом, через полвека после ухода он был прочитан как новатор»). Основная его задача — не литературоведческая, а именно биографическая: внимательное восстановление жизни поэта, буквально хроники ее чуть ли не по дням (в случае пунктуального Ходасевича такое вполне возможно: в «Камерфурьерском журнале» последних семнадцати лет жизни поэт ежедневно фиксировал, с кем встречался и над чем работал за письменным столом, — как сказал автор биографии в одном из интервью, «он проявлял пунктуальность историка

[1] http://os.colta.ru/literature/events/details/8651

[2] Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру. — СПб.: Вита нова, 2006; АСТ, Corpus, 2015.

[3] Николай Гумилёв: жизнь поэта. — СПб.: Вита Нова, 2004; Зодчий. Жизнь Николая Гумилёва. — М.: АСТ: Corpus, 2014; Приключения Гумилёва, прапорщика и поэта. — СПб.: ДЕТГИЗ, 2014.

[4] Михаил Ломоносов. Всероссийский человек. — СПб.: Вита Нова, 2006; Ломоносов. — М.: Молодая гвардия, 2010. — (Жизнь замечательных людей).

литературы и по отношению к своей жизни»). Но это — предприятие и человеческое, и историко-литературное одновременно: не колебля иерархий, Шубинский тем не менее уточняет место Ходасевича в культурной памяти, его особенное, штучное положение в отношении с литературными традициями и их проблематизацией: «Ходасевич, — говорил автор в интервью Дмитрию Волчеку, — в сущности, всегда был модернистом, всегда был поэтом, взрывавшим традиции изнутри, но он это делал не в том направлении, которое ожидалось». Объясняет он и бывшее долгое время устойчивым понимание поэта как архаиста: «Ведь история литературы — это всегда много направлений движения, а читатель ждет открытий, ждет революции в одном определенном направлении. И все то, что не соответствует этим ожиданиям, воспринимается как архаизм. И так произошло с Ходасевичем».

Жизнь своего героя Шубинский описывает в целом, чего до сих пор не делалось. Восстанавливает во всей возможной полноте, с человеческими отношенями и страстями, с бюджетом и материальным положением... — начиная от предыстории: происхождения, культурных истоков, судеб его предков. В частности, отдельное, совсем небольшое, но плотное исследование он посвящает биографии деда Ходасевича по матери — Якова Александровича Брафмана, «яркого, хотя и одиозного человека», крещеного еврея, выступавшего против иудаизма, автора знаменитой в свое время «Книги кагала». «Евреи Российской империи Брафмана ненавидели». Шубинский не то чтобы восстанавливает жизнь Брафмана — это как раз «единственный из предков Ходасевича, чья биография известна в деталях», — он, по существу, в каком-то смысле отчасти реабилитирует историческую память о нем, восстанавливая и проясняя систему его мотивов. «Перейдя из иудаизма в православие, — цитирует автор предисловие Николая Богомолова к тому Ходасевича в «Библиотеке поэта», — он всячески старался выслужиться перед новыми единоверцами и поставлял им материалы, обличающие зловещую природу иудаизма, не стесняя себя особыми доказательствами их подлинности». «Эта фраза, — говорит Шубинский, — верно передает прижизненную и посмертную репутацию Брафмана, но фактически она неточна. Яков Александрович не был ни тривиальным карьеристом, ни фальсификатором. Все обстояло сложнее и интереснее». Автор так подробно останавливается на этом сюжете из фамильной памяти поэта еще и потому, что усматривает прямые поэтические последствия. «Позднее судьба распорядилась так, что Владиславу Фелициановичу, внуку Якова Брафмана, знавшему об исторической роли своего деда и о том, что “таким еврейским родством гордиться не приходится”, выпало самым активным образом участвовать в деле перевода еврейской поэзии на русский язык, и эта работа оказала известное влияние на его собственное творчество. Видимо, такова была внутренняя логика жизни поэта: в ней не было ничего случайного».

Это, кстати, тип биографического мышления Шубинского: он представляет себе — не знаю, жизнь ли вообще, но жизнь поэта вне всяких сомнений — как логически связную систему, которая превращает в собственные элементы, обращает на пользу себе все, сколь бы ни было оно разрозненно, разнонаправленно, случайно само по себе: «Неслучайным было и то наследие, которое поэт получил. Здесь были разные составляющие — шляхетский гонор и мелкобуржуазное смирение, пышный католицизм и строгий иудаизм, условность академической живописи и точность фотографии, наконец, верность (говоря о матери, Владислав Фелицианович употребляет именно это слово) и предательство (которым объективно стала жизнь Якова Брафмана, местечкового бунтаря и чиновника-мракобеса). Все это так или иначе отразится в его биографии и его стихах».

Говоря о Ходасевиче, Шубинский мыслит и некоторыми параллелями — сказать, «как и Быков», который, как мы помним, усматривал в Окуджаве реинкарнацию Блока, язык не очень поворачивается, потому что у Шубинского это существенно мягче и тоньше. Он усматривает у своего героя известные аналогии с Пушкиным: у него в жизни была своя Арина Родионовна — Елена Кузина; свой Державин — Аполлон Майков. Но если говорить о типологическом сходстве — и темпераментов,

и умственных складов, и поэтических позиций, — куда более близким Ходасевичу автор считает Баратынского.

Ведущей метафоры у Шубинского в отношении своего героя, пожалуй, нет (он вообще избегает метафоричности); но есть биографическая модель — во-первых, парадоксальность его литературной судьбы, во-вторых, напряженное противоречие (и притом плодотворное и трудное взаимодействие) между поэтом и человеком. Слова «чающий и говорящий», ставшее названием книги самоопределение поэта, по мысли автора, отражают именно это.

Погорелая о Черубине де Габриак: внимательное прочтение, перечитывание, вычитывание

Елена ПОГОРЕЛАЯ. Черубина де Габриак: Неверная комета. — М.: Молодая гвардия, 2020. — 329[7] с.: ил. — (ЖЗЛ: Сер. биогр.; Вып. 1821)

«Неверная комета» в названии книги поэта и литературного критика Елены Погорелой — из стихотворения Максимилиана Волошина, взятого к ней эпиграфом: «В мирах любви — неверные кометы, — / Закрыт нам путь проверенных орбит...»

Ведущая ли это метафора? Ну, в каком-то смысле... разве что в пушкинском: беззаконная комета в кругу расчисленном светил. Вспыхнувшая на небосводе — очень ярко и очень ненадолго — противу всех, казалось бы, ожиданий тогдашней литературной астрономии.

Впрочем, биограф напоминает, что в литературном отношении комета Черубины была на самом деле не такой уж беззаконной: она этим звездным небом предполагалась — попала именно в самую сердцевину ожиданий — и, более того, во многом это небо сформировала, определила важнейшие траектории на нем. «Как уже неоднократно писали и говорили, именно Черубина де Габриак, самим своим явлением сформулировав запрос на женскую лирическую ипостась Серебряного века, подготовила “выход на поле” двух центральных фигур женской лирики — Анны Ахматовой и Марины Цветаевой».

Сама Погорелая находит возможным предположить, что «ахматовский канон учитывает если не стихи Черубины, то по крайней мере ее историю, и что мистификация, которую Ахматова столь гневно клеймит, оставила в ее сознании и жизни вполне внятный след». И Погорелая показывает этот след, и биографический, и литературный: «по мнению ряда биографов, именно вызов Гумилёва и его безукоризненное поведение во время дуэли (с Максимилианом Волошиным — из-за Дмитриевой. — *О.Б.*) заставили Анну Горенко взглянуть на него благосклонно» — и на четвертый раз ответить ему на предложение руки и сердца согласием: «Отчасти из сострадания, отчасти — добавим мы — из-за того, что в литературных кругах Петербурга эта дуэль придавала Гумилёву ореол героизма и связывала его имя с именем Дмитриевой, а уж этого Анна Ахматова, не терпевшая, чтобы мужчины были влюблены не в нее, перенести не могла». А поэтическое наследие Черубины, утверждает Погорелая, в ее глазах «не стоило ничего». (Не то — Цветаева, Черубину оценившая, а смысл Максовой мистификации истолковавшая совсем иначе — к оправданию обеих сторон: «Цветаеву в ситуации с Черубиной заворожила <...> мысль о поэтическом гении, о духе, который дышит, где хощет, о крылатом Пегасе, уносящем бестрепетную героиню туда, где не знают земли». Погорелая находит у Цветаевой прямые отсылки к Черубине и развертывание ее мотивов. «К слову, и Цветаева, и Ахматова называли Черубину предшественницей, первая — щедро одаривая признанием <...> вторая — надменно разоблачая как самозванку, покусившуюся на уготованный Ахматовой трон. Однако и та и другая рассматривали Черубину как точку отсчета, либо развивая и уплотняя ее метафоры, либо отталкиваясь от нее с тем, чтобы разогнаться в противоположную сторону».)

Справедлив автор по отношению к Анне Андреевне или нет, можно сказать, что на восстановление литературной справедливости в отношении Дмитриевой она работает безусловно, вовлекая в поле литературоведческого внимания и те ее стихи, что были написаны не от имени Черубины, в том числе — цикл «Домик под грушевым деревом», написанный от имени китайского философа Ли Сян Цзы в самом конце жизни и изданный только в 1999 году. Она *перепрочитывает* ранние стихи Лили Дмитриевой, которые «вовсе не были такими уж “милыми и простыми”, а, напротив, свидетельствовали о напряженном болезненном поиске собственного *сюжета судьбы*».

Не говоря уж о том, что и в облике Черубины (бывши в этом облике всего-то около года) она — как формулирует автор — «играючи угадала <...> как минимум три центральных для женской лирики прошлого века сюжета».

Но основная задача Погорелой — не литературоведческого, а человеческого свойства. Это тоже своего рода *внимательное прочтение*, только не текстов, а личности и судьбы, — можно сказать и так: *вычитывание* из Черубины Елизаветы Дмитриевой, чья недолгая жизнь была все-таки существенно длиннее истории с Черубиной, и чье значение в истории литературы и культуры к этому эпизоду, при всей его силе и яркости, сведено быть не может (ну, например: Самуил Маршак, вместе с которым Лиля Дмитриева, тогда уже, по мужу, Васильева, в Екатеринодаре рубежа 1910—1920-х годов создавала театр для детей и Детский городок для перевоспитания беспризорников, «и много лет спустя признавался, что именно встреча с Васильевой перевернула его представления о детской литературе и побудила писать для детей». И вообще, именно Маршаку и Васильевой — им вместе! — «пришло в голову создать тот самый легендарный Театр для детей, с которого началась вся детская театральная история XX века»). Ей важно понять и рассмотреть за литературной маской (на какое-то, очень недолгое время ставшей почти лицом) человека. Потому что «многие знают Черубину де Габриак», но «Елизавету Ивановну Дмитриеву мало кто знает».

Вот уж где, казалось бы, было — непримиримое, несогласуемое — противоречие между человеком и поэтом. Но Погорелая показывает, что корень у них был общий, и затмивший Дмитриеву гетероним помог ей не просто раскрыться как поэту, но в каком-то смысле и осуществиться как личности, связанной с поэтическим обликом на самом деле глубоко и тесно, — *довоплотиться*: юная «Лиля <...> претендовала на *довоплощение*, и не ее вина, что довоплотиться в 1909 году можно было в облике Прекрасной Дамы, наделив ее соответствующими голосом, внешностью и судьбой».

...А вообще парадоксально. Книга-то — не о Черубине де Габриак. Она — именно о настоящей, живой Елизавете Дмитриевой, которую за литературной маской не увидели, а увидев, не нашли причин всматриваться. Это прежде всего человеческая история. Но называется книга все-таки именем Черубины...

P.S. Тоже «Жизнь замечательных людей». Только другая.

Григорий КРУЖКОВ. Что и требовалось доказать: Жизнь Льюиса Кэрролла в рассказах и картинках. — М.: Книжный дом Анастасии Орловой, 2021. — 112 с.: ил. — (Жизнь замечательных…)

Название серии практически то же, а вот издательство и, главное, адресаты ее — совершенно другие. Это серия совсем молодого издательства для детей и юношества, а в ней поэт (в том числе и детский поэт), эссеист, переводчик Григорий Кружков рассказывает серьезным взрослым людям, уже вступившим в средний школьный возраст, кто такой был, придумавший Алису, Страну чудес и Зазеркалье, Льюис Кэрролл.

Ну, на самом-то деле понятно, что он был волшебником, — ведь неспроста же «даже в его имени есть что-то волшебное». Только это, разумеется, секрет, поэтому автор находит возможным сообщить, что Кэрролл «был профессором математики, а еще сказочником и поэтом, и просто великим выдумщиком, мастером придумывать всякие игры и головоломки». (Он еще и трехглавый дракон, но всех карт раскрывать не будем.) И вообще он, для надежной маскировки, не такой уж Кэрролл и не очень Льюис. Просто мальчик по имени Чарльз Додсон, когда вырос и стал профессором, а при этом начал еще писать и публиковать стихи, однажды понял: одному ему с таким количеством задач не справиться. Пришлось срочно придумывать Льюиса Кэрролла, «чтобы разделить работу пополам, по-честному. С тех пор так и пошло: мистер Додсон преподает и пишет научные статьи, а Льюис Кэрролл сочиняет что попроще — стихи и сказки для детей. И все довольны».

Помните, у некоторых авторов, упоминавшихся в этом обзоре, мы замечали мышление параллелями? Кто бы мог подумать, что параллель мы обнаружим и здесь! — правда, в духе Кэрролла, уж совсем непредвиденную: с Александром Сергеевичем Пушкиным. Дело в том, что Чарли Додсон запросто мог оказаться сыном нашего всего. Родился-то он, обращает наше внимание автор, не когда-нибудь, а в январе 1832 года. А ведь «ровно за год до этого Александр Сергеевич Пушкин женился на юной красавице Наталье Николаевне Гончаровой». И вздумай маленький Чарли родиться в семье Пушкина, он бы как раз успел точно ко дню своего рождения! Более того, у них еще и потом оставался шанс увидеться — «если бы Пушкин отправился в путешествие за границу, в Англию, которой он очень интересовался и даже учил английский язык», заехал бы в Чеширское графство, зашел бы к священнику Чарльзу Додсону, увидел бы его маленького сына — а то, пожалуй, и стихи бы ему написал.

«Как все-таки жаль, что Пушкин не поехал в Англию! А почему? Потому что царь боялся, что Пушкин сбежит, и за границу его не пускал».

То есть, что тут делает хитроумный Кружков? (Это его Кэрролл, конечно, научил.) Снимая с событий тонкий покров осуществившегося, он показывает читателям — пока те еще не отрастили себе взрослый скептичный взгляд, — что почва событий внутри себя вся изрыта сложнопереплетенными ходами, кроличьими норами неосуществившегося. Нырни в любую — даже представить себе не можешь, куда попадешь.

А из осуществившегося он рассказывает о самом интересном. Во что, например, играл в детстве Чарли с братьями и сестрами (и сколько потрясающего успело возникнуть в мире, пока он был маленьким: железные дороги, электрический телеграф, почтовые марки, фотография! — а чуть позже, в юности Чарльза, в Лондоне построили первое в мире грандиозное сооружение из стекла), что публиковалось в домашних рукописных журналах братьев и сестер Додсонов «Полезное и назидательное чтение» и «Всякая всячина», как в 1840-е годы играли в регби там, где эту игру и придумали (да-да, именно в Регби); что общего между Оксфордом и Хогвартсом (о, гораздо больше, чем можно ожидать!) и, пуще того, между математикой и поэзией; как выглядели фотографическая техника и практика на самой-самой ранней стадии своей истории; что видел Кэрролл в своем единственном заграничном путешествии — в России. Ну и, конечно, кто такая Алиса. И под каким именем впервые узнали ее в России в 1879 году (тут уж точно ни за что не догадаетесь).

Да, мы ведь говорили о биографических стратегиях. А как биограф — что все-таки делает автор? Он играет в Кэрролла. Играет вместе с Кэрроллом и своими юными читателями — в обширные британские окрестности Страны Чудес, причудливые не меньше ее самой, во время и пространство, в английскую жизнь XIX века, с ее обычаями и правилами, в описывающий это все русский язык и в воображающее это русское воображение, и вместе со всем этим — в жизнь своего героя.

И это еще одна — и совершенно суверенная, не сводимая ни к одной другой — биографическая стратегия.

Вечный Сад: символ, почва и судьба

О романе Марины Степновой «Сад» размышляют Елена Лепишева, Александр Люсый и Елена Сафронова

Елена Сафронова

Новый Чехов явился?..

«Вся Россия наш сад».

Эти слова Пети Трофимова из хрестоматийной пьесы Чехова начали меня преследовать с первых же страниц романа Марины Степновой «Сад».

Аналогия с «Вишнёвым садом» сперва казалась поверхностной, навеянной совпадениями, которые и не совпадения вовсе. Мало ли еще литературных текстов касаются сада!.. Но почему-то Чехов упорно не давал о себе забыть. Не потому ли, что Степнова сделала сад главной локацией, фоном, а по существу — основным действующим лицом своего нового романа?..

«...Как будто неясно было, что вечером в июле чай пить следовало только в саду», — думает княгиня Надежда Александровна Борятинская, владелица только что купленной воронежской усадьбы близ Анны, летом 1869 года, досадуя на бестолковость прислуги. «Имение в Анне было куплено не в последнюю очередь из-за роскошных садов. Прежняя хозяйка... развела на жирных воронежских землях такие невиданные кущи, что Надежда Александровна... заплатила наследникам отлетевшей в подлинные райские сады старушки, сколько просили, не торгуясь». В саду Надежда Александровна чувствует необыкновенный прилив сил и радости: «Вокруг был праздник — нескончаемый, щедрый, торжествующий». В саду же начинается их почти библейское «грехопадение» с мужем — единственный акт бурной любви, не заботящейся о приличиях. После этого княгиня родит позднего ребенка, дочь Тусю, а князь никогда не сможет полюбить «случайно получившееся» чадо и потом вовсе съедет из воронежской глуши в блестящий Петербург, фактически оставив семью. Такова завязка романа, в котором почти у каждого героя (кроме крепостных крестьян) будет свой сад.

У жившего при Иване Грозном и Алексее Тишайшем Георга Мозеля, Григория Ивановича Мейзеля, дальнего предка личного врача княгини и княжны Борятинских, «был первый в Немецкой слободе сад — не по-русски ухоженный, по-московски щедрый», который пышно цвел, когда основатель врачебной династии умирал. Для его

Марина Степнова. Сад: Роман. — М.: Изд-во АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020.

отдаленного потомка, тоже Григория Ивановича Мейзеля, сад имел исключительно прикладное значение: «Сад Мейзель признавал, но не любил — единственный, пожалуй, во всей усадьбе. Сад был нужен Тусе — для развития, для игр». И все же волею княжны Борятинской врача похоронили во время цветения садов в усадебном парке, установив над могилой «часовню — кружевную, нежную, розово-мраморную, похожую на девочку-подростка, которая привстала на цыпочки, чтоб дотянуться до поспевших яблок». Для стареющей княгини Борятинской сад в анненской усадьбе являлся фетишем: она стала со временем практичной и хозяйственно мыслящей помещицей, но любые предложения по благоустройству усадьбы, затрагивающие ее любимые кущи, пресекала на корню (удачная «садовая» метафора): «... но Борятинская, как только поняла, что сад придется вырубить... архитектору немедленно отказала». Единственный, кто смог воплотить в жизнь прихоть княгини — и дом расширить, и сад не тронуть, был архитектор Пётр Бойцов: «Старый сад останется на прежнем месте. А вокруг левого флигеля придется разбить новый, чтобы сохранить надлежащую симметрию. Так что у вас будет два дома — и два сада». У бедняка и авантюриста (якобы из сербского королевского рода) Виктора Радовича в детстве не имелось собственного сада, но утешали чужие симбирские: «Старый Венец был глух, дик, грязен и покорил сердце Радовича бесповоротно. Сады фруктовые, тутовые, ягодные чащи, просто безвестные махровые зеленя — вся эта мощная сочная масса переваливалась через заборы, треща ветвями и досками, и перла вниз до самой воды». Выросший Виктор после женитьбы на Тусе окажется в пышном саду Борятинских — до поры до времени, конечно, потому что судьба княжеского сада и есть «красная нить» книги, и сад просто обречен погибнуть — как пьеса Чехова обречена быть бессмертной. Только уничтожит его не пришлый купец Лопахин, а сумасбродная княжна Борятинская, в замужестве Радович, воспитанная Мейзелем в духе отторжения любых авторитетов.

Совершенно чеховской атмосферой дышит финальная сцена, когда старая княгиня умирает в своей комнате, проваливается в болезненный сон и просыпается от резкого звука — то за окном крестьянин рубит антоновскую яблоню. Молодая барыня приказала рубить, не дав даже крестьянам собрать урожай, чтобы как можно быстрее расчистить пространство для конного завода — завод, а не сад был ее личным фетишем. Мать это осознает. «Когда сад закончили вырубать, Борятинская была еще жива, но уже ничего не чувствовала. ...Новый и старый сад вырубили полностью. Парк тоже». В этом торжестве капитализма над старым дворянским бытом не нашлось места только запертому в покинутом доме Фирсу — но, видимо, его роль в какой-то мере исполняет доктор Мейзель, похороненный в саду. Около его могилы благодарная воспитанница оставила единственное дерево — грушу.

Апелляции к пьесе Чехова усиливают параллели между манерой изложения Степновой и героев «Вишнёвого сада». Монологи их, помнится, еще Бунин бранил за вычурность и ненатуральность. «Подумайте, Аня: ваш дед, прадед и все ваши предки были крепостники, владевшие живыми душами, и неужели с каждой вишни в саду, с каждого листка, с каждого ствола не глядят на вас человеческие существа, неужели вы не слышите голосов...» «Весь, весь белый! О сад мой! После темной ненастной осени и холодной зимы опять ты молод, полон счастья, ангелы небесные не покинули тебя...» Подобных выспренних фраз и сконструированных образов много и у Степновой. Искусственность построения фраз бросается в глаза, например, с использованием одного из излюбленных слов писательницы — «ласковый». Одно дело — «Брак оказался удачным, ласковым и веселым», и совсем другое — «Рак яичников — ласковый, тихий, беспощадный — забирал ее почти без боли».

Казалось бы, лексика — это частность. Но проблема романа «Сад», на мой взгляд, в том, что частностей в нем много — и они не складываются в общее, концептуально единое. Роман поделен на пять книг — «Мать», «Отец», «Дочь», «Брат», «Сын». По отдельности они читаются даже с интересом и воспринимаются легко. Правда,

заглавия вовсе не так очевидны, как можно подумать. Если «Мать» — действительно Борятинская, родившая третьего ребенка в 44 года и едва не скончавшаяся родами, а «Дочь» — ее своенравная Туся, то «Отец» — вовсе не старый князь. Глава посвящена истории врача Мейзеля, но «отцом» писательница, судя по всему, называет даже не этого одинокого и беззаветно любящего Тусю доктора, а, скорее, идею отцовства, овладевшую бездетным врачом. «Брат» же не о родстве, а о дружбе Виктора Радовича с — внимание! — Александром Ульяновым. Ну, а «Сын», который еще не родился у Туси, когда книга закончилась, — некий эпилог, подведение итогов. Правда, с итогами сложно...

«Не книга, а сплошная черная дыра. ...Начнем с того, что книга элементарно не дописана. Занавес поднимается-поднимается. Все мы куда-то вступаем, и все там что-то завязывается. Но нет, далее конец с надписью “2019”. Четыреста страниц одной экспозиции», — иронизирует в рецензии, опубликованной на странице в соцсети «ВКонтакте» критик Сергей Морозов. С Морозовым мы крайне редко совпадаем во мнениях — но это тот случай. Ему бросилось в глаза то же, что и мне: «”Сад” — идеальное доказательство тезиса, что из одних индивидуальных историй... романа не сложишь. В тексте, что и в обществе, определяющее значение имеют связи, а не индивид». Действительно, выпирает отсутствие внятных связей внутри орнаментально выписанного контекста романа и продиктованной внутренней логикой книги, а не Чеховым навеянной концовки. Морозов, впрочем, пишет, что автор обещала вторую часть истории — и тут я буду великодушнее его и допущу, что, может быть, в той части Степнова найдет ход, все объясняющий, связующий и рождающий идею. Но это разве что будет... Пока же, увы, не видать в «Саде» объединяющей идеи.

Высказанное выше предположение, мол, «роман о торжестве капитализма над старым дворянским бытом» — не более чем одна из версий. Честно говоря, если это и есть основной посыл, то он ох как опоздал... С тем же успехом «Сад» можно попытаться прочесть как пространное размышление на тему греха предательства и воздаяния за него (и тогда вся эта панорама восходит к изгнанию из рая). В тексте обозначены как минимум две яркие линии предательства. Доктор Мейзель всю жизнь мучается тем, что в 1831 году сбежал с места холерного бунта, оставив умирать избитого доктора Дмитрия Бланка, двоюродного деда Александра и Владимира Ульяновых. Виктор Радович страдает, что в Петербурге отдалился от единственного друга своего детства — Александра Ульянова, но вместе с тем и трусливо радуется, что в силу охлаждения не принял участия в его революционной борьбе: ведь Саша дошел до подготовки покушения на Александра III и был повешен в 1887 году. Причем Саша сам удалил друга из столицы накануне покушения, сообщив о болезни его отца и велев срочно поехать домой. Радович направился в Симбирск, но, услышав о поимке «бомбистов», пустился в бега с полпути. Он никогда больше не видел отца, не выдал своей дружбы с Ульяновым и выбросил, не читая, его прощальное письмо (возможно, в следующей книге диспозиция Радович — Ульянов изменится). Так что тема предательства муссируется активно — однако в нем ли суть?..

С некоторой натяжкой можно предположить и то, что «Сад» написан как некое художественное пособие по истории отечественной медицины. Степнова уделяет состоянию врачебной помощи в XIX веке, простите за каламбур, болезненное внимание. Болезненность объясняется убожеством лечебного дела, описанного, как это ни жутко, интересно и выразительно — и со знанием предмета. Страницы о повальной детской смертности на селе, вызванной антисанитарией и варварскими методами «ухода за детьми», или о холерных бунтах впечатляют. Вспоминается интервью Марины Степновой «Литературной России»: ее мама была врачом, сама писательница хотела получить медицинское образование на «лечфаке», в силу череды обстоятельств ее жизнь сложилась иначе, и теперь она жалеет, что не стала доктором. Возможно, обращение к образам дореволюционных врачей — дань уважения или

попытка реализации в любимой профессии хотя бы опосредованно. Однако состояние российской медицины полтора столетия назад, хоть и прописано дотошно, все же остается фоном. На первый план выведены личные переживания героев. Эффект довольно странный.

Почему-то меня смущает настойчивая конкретно-историческая подоплека романа (чета Борятинских с подлинными именами и одной измененной буквой в фамилии, строительство железной дороги Графская-Анна, семья Ульяновых, приговор народовольцам, архитектор Бойцов и пр.) в смешении с авторским вымыслом. Исторические романы обычно пишут именно по такой схеме: часть фактов, часть допущений, авторская мысль. Но итог может быть органичным или не органичным. По мне, «Сад» не органичен в своей историчности.

У Степновой большая история, как правило, подается глазами героинь через историю малую — любви, семьи, карьеры. Так было в книге «Женщины Лазаря», где мировые войны, эпоха большого террора, «шарашки»» и академгородки, секретные разработки советской физики, Сталин и Берия, оттепель и перестройка, дикий российский капитализм 90-х были только декорациями к драмам трех женщин Лазаря. В той книге царил женский взгляд на мир, и это было, может быть, не очень корректно, но органично. Такой же подход к истории Степнова сохраняет и в «Саде»: уводит повествование в преломление взгляда своих героев и в их психологию. С тем разве отличием, что женский взгляд уже не доминирует — мужчины рефлексируют не хуже и не меньше прекрасного пола. Но в «Сад» вложено уже слишком много тем и событий, чтобы узко-личностного взгляда было довольно для полноценного освещения и охвата всей этой панорамы. И, главное, как большая история связана с выходом романа в серии «Странные женщины»? Честно говоря, в этом саду не только женщины странные... Но зачем для изображения женских странностей использовать то приближенные к натуральным, а то и реальные исторические фигуры? Или все-таки основная проблема в туманности, клубящейся на месте идеи, — отсюда и все вопросы, на которые нет ответов?..

Елена Лепишева

Лопнувшие струны vs топоры

> Всё бы ничего, если бы не такой пустяк,
> как наша с тобой жизнь...
>
> *Елена Попова*

Стык эпох. Переломанные позвонки века. Кибитка, потерявшая колесо. Подминающая судьбы ирония «большой» истории.

Русская литература XIX — начала XXI веков — это, в определенном смысле, подступы к роли своего поколения на историческом перепутье, попытка придать актуальным социальным процессам экзистенциальное звучание. В многоголосье столетий мы слышим Тургенева и Достоевского, Горького и Мандельштама, современных русских писателей и русскоязычных авторов из Беларуси, обогативших общую палитру собственным видением «маргинального» положения постсоветского человека на пересечении различных культур, как, например, Елена Попова.

Я не случайно предварила свое размышление о романе Марины Степновой «Сад» словами героя ее пьесы «День корабля» (1995) — бывшего диссидента Шуры

Финского, об исторической контроверзе, приведшей «шестидесятников» к социальному эскапизму и погружению в быт. Такой же экзистенциальный выбор в условиях тотальной несвободы совершали герои Чехова. Видимо, название романа и обусловило отсылку к чеховской традиции, топовую в критическом дискурсе.

«Сад» Марины Степновой привлек внимание сразу: отмечен премией «Большая книга», стал объектом обсуждения в рецензиях (Е.Винокурова, А.Жучкова, Л.Маслова, Г.Юзефович и др.), что органично как обширному историческому материалу (временные рамки сюжета — 1869—1890-е годы, а канва может интерпретироваться с проекцией на современность), так и эстетической стратегии, отсылающей к произведениям достаточно широкого жанрово-стилевого (Лев Толстой, Тургенев, Достоевский, Чехов, Бунин).

Но я бы говорила о традиции Чехова с одной существенной оговоркой: обращение к ней происходит у Марины Степновой в форме не органичного усвоения, а отталкивания. Скажем так: творческой переработки. Причем не всего чеховского наследия, а сферы его идейно-эстетических интересов, тяготеющих к модернизму, близких экзистенциальной «модели видения-отражения действительности» (в терминологии Л.Шевченко).

Вообще Чехова можно назвать парадигмой осмысления проблемы «человек и история» в русской литературе (и отчасти — в белорусской русскоязычной) XX — начала XXI века. Его реалистические произведения с отдельными элементами модернизма вводят эту проблему в координаты современности, что впоследствии преломляется в эстетической практике представителей «городской» (Юрий Трифонов, Владимир Маканин), «исповедальной» прозы 1960—1980-х (Анатолий Гладилин, Василий Аксёнов, Андрей Битов), лишь отчасти — в опытах «новых реалистов» первого десятилетия 2000-х (Дмитрий Данилов, Захар Прилепин, Анна Козлова), романтизировавших жесткий взгляд на социум, декларативно заглушив звук лопнувшей струны — очарованное прощание со старым жизненным укладом в унисон Чехову.

Но ведь Чехов создал и одноактные пьесы, предвосхитившие драмы абсурда, и рассказы с «потоком сознания» («Спать хочется»). Причем нельзя сказать, что их генезис — западноевропейская литература. Напротив, на русской почве эти художественные поиски подпитывал «фантастический» реализм Достоевского, Лескова, Салтыкова-Щедрина, Сухово-Кобылина, к которым во многом восходят модернистские интенции представителей Серебряного века, обратившихся к исторической теме в русле религиозно-мистических исканий эпохи «сине-лилового сумрака» (Александр Блок) — вспомним «Петербург» Андрея Белого, «Чему нет имени / Бедной девочке снилось» Николая Евреинова, «Поэму без героя» Анны Ахматовой).

Вопреки соцреалистическому канону, к этому опыту русская литература возвращалась на протяжении всего XX века (Саша Соколов, Вен. Ерофеев, «другая проза» 1990-х). Похоже, в начале XXI столетия в силу кризиса рациональности происходит его реактуализация. Не случайно все больше произведений выстраиваются на жанрово-стилевой эквилибристике, вольном обхождении с материалом — согнутыми в параболу историей и современностью, не различимыми в хаосе кардинального переустройства. У Чехова такое мироощущение ознаменовано стуком топора, заглушить который нельзя — по логике истории. Зато можно «заклясть» с помощью виртуозной формы и нетривиального смыслового наполнения.

Собственно, это и делает Марина Степнова в своем новом романе «Сад». В центре внимания — историческая эсхатология, русский либерализм, фантасмагоричный в перспективе времени. Фабула включает историю России с середины XVI до конца XIX века, преддверия трагического XX-го с социальными революциями, гражданской войной, террором — ключом к пониманию современных процессов. Сюжет же движется «скачками» то в прошлое, то в будущее, напоминая параболу.

Такой эффект создается за счет вкрапления в повествовательную ткань эпизодов, которые вроде бы не способствуют развитию основной линии сюжета (семейной истории Борятинских, поселившихся в новом имении Анна в 1869 году), но вводят исторические параллели, необходимые для «считывания» авторского message. Возникает сеть лейтмотивов (*дикость*, *варварство*, *невежество*, *страх*, *рабство перед условностью*, *абсолютизация идеи*), поведенческих моделей и ситуаций, повторяющихся в различных исторических декорациях, что и позволяет говорить о «параболе» — органичной взаимосвязи событий Средневековой Руси и предреволюционной, с проекцией на Россию постсоветскую.

Так, в первой главе («Мать») мы погружаемся в иронично поданную «лжеидиллию»: немолодая чета богатых дворян Борятинских обживается в новом имении, в котором Надежда Александровна стремится наладить европеизированный быт, однако «народ в свежекупленной Анне поражал своим невежеством и ленью». Более того — к героине неумолима судьба, ведь ей приходится вынашивать позднюю, нежеланную, непростительную для высшего света беременность. Именно эта пикантная подробность станет поводом для проявления неумолимости Рока уже в глобальном социально-историческом масштабе: беременность — это «язык тела», демонстрирующий Надежде Александровне умозрительность ее либеральных идей (здесь уместно вспомнить Тургенева с его романами о «прожектерах»). Читатель же получает возможность выстроить логичную связь между декларациями в духе европейского Просвещения, «толстовства» (их практическая реализация исчерпывается громадной библиотекой, отлучением от родительского тепла старших детей, «вымытых до скрипа, смущенных») и утопичностью проекта реформировать имение (и Россию в целом) по оторванным от жизни лекалам. А еще знакомится с героем-трикстером — Тусей, младшей дочерью Борятинских, появление которой воспринимается как зловещее предзнаменование за счет сопровождающих ее образ поведенческих мотивов: *подмены* (вместо Наташи Ростовой, знаковой для Надежды Александровны, вспомним начало повествования «Что за прелесть эта Наташа!», — Туся), *тревоги* (эпизоды травмы и тяжелейшего родоразрешения), *тайны* (немота ребенка).

Впечатление грядущей безысходности усугубляется во второй главе («Отец») с характерным началом: «Пращур его, тихий лекарь Йоганн Мозель, был живьем зажарен на вертеле. Великая Русь. Москва. Мороз. Опричнина. Воронье. Лето от Рождества Христова тысяча пятьсот семьдесят девятое». Так вводится далекая историческая параллель, связанная с истоком врачебной династии немцев Мейзелей, появившихся в России во времена Ивана Грозного. А дальше — возвращение в 1875 год, когда последний из Мейзелей, Георг (Григорий) Иванович, стал доверенным лицом Надежды Александровны и фактически отцом Туси. Очевидно, что и названия глав, и сюжетные линии Борятинских, Мейзелей etc. реализуют *«мысль семейную»*, но с отсылкой не столько к Толстому («Война и мир» задает тон лишь на сюжетном уровне), но прежде всего к Достоевскому («Подросток», «Братья Карамазовы»), Лескову («На ножах»), Салтыкову-Щедрину («Господа Головлёвы»), произведения которых объединяют лейтмотив *«случайного семейства»* и его квинтэссенция — уродливое эго-сознание, отлученное от связи с Другим и с миром, а потому надрывно-трагическое.

Вот только трагизм в романе Степновой связан не с личностью героя (характеров в привычном понимании в романе нет), а с ситуацией — фатальной невозможностью изменить вековой уклад русской жизни индивидуальным волевым усилием. Об этом свидетельствуют третья и четвертая главы — «Дочь» и «Брат».

Так, Туся предстает в них существом полуинфернальным (патологическая страсть к лошадям, извращенная «витальность», дикая пляска, сквернословие), что раскрывается полемично по отношению и к народной смеховой, «карнавальной», по Бахтину, традиции (см. эпизоды в конюшне), и к религиозно-философским поискам

Достоевского, поскольку этот образ не содержит константной в обоих случаях идеи очищения, восстановления миропорядка.

Отсюда — отсутствие надежды на благополучный исход не только конкретной судьбы (Мейзеля, «проклятого» собственным малодушием, сироты Нюточки, альфонса Виктора Радова, Саши Ульянова, пожалуй, единственного пассионарного героя, казненного после покушения на императора), но шире — экзистенции национальной.

Об этом говорит пятая глава романа — «Сын», стягивающая все сюжетные линии в «гордиев узел»: уничтожение уникального сада ради конного завода, мечты Туси. На первый взгляд, этот «узел» «не разрубается» (по мнению Галины Юзефович, «роман обрывается там, где, по идее, должен был бы начинаться»). Однако не следует забывать, что события 1890-х излагаются с учетом опыта 2010-х, исторического и эстетического.

Исторический опыт связан с тем, что ко времени создания романа уже несколько поколений прошли через Достоевского, угадавшего в человеке такую веру и одновременно такое религиозное сомнение, что преодолеть его можно было только обухом топора или расщепкой иконы на лучину, что воплотилось в череде катастроф XX века. В свете этой перспективы запечатленные в романе события обретают трагическое звучание.

Что касается опыта эстетического, то авторская стратегия тяготеет, с моей точки зрения, к метамодернизму. Фактически «Сад» «договаривает» модернизм Серебряного века, сквозь призму которого переосмысляется традиция Достоевского, наиболее остро поставившего вопрос о фантомности либеральных идей на русской почве, о кризисе эго-сознания, раскрытых на стыке реальности и фантасмагории.

Так, не порывая с реалистическим ракурсом изображения, Марина Степнова подменяет причинно-следственную обусловленность исторических процессов их «инфернальной» предрешенностью. Возникает ощущение, что за видимыми событиями стоит нечто большее, повествователь не все «проговаривает», оставляя место для тайны. Можно смело говорить о суггестивной поэтике, установке на интуицию, отсылающих к эстетике Серебряного века, когда собственно и происходило становление модернизма как нерационального видения-отражения мира, связанного с «новым религиозным сознанием» (от неортодоксальных практик Мережковского и Вяч. Иванова до русской религиозной философии Бердяева, Шестова, отца Сергия Булгакова и др.). При этом важную роль играла идея «мессианства» — особого пути России, способной из глубины своего исторического «страдания» явить новое знание миру.

Вот с этой идеей и вступает Степнова в диалог, следуя принципу притяжения-отталкивания: признавая уникальность национального бытия, она не скрывает скепсис в отношении его «мессианства», реализовать которое мешают варварство, лень, идеализм, осмысленные как фантасмагория, «лики» исторического абсурда.

Отчасти фантомны и герои: их социально-психологические черты узнаваемы, но лишены нюансов, непосредственно не детерминированы обстоятельствами. Думаю, Степнову интересуют не характеры и даже не типы, а подсознание человека, ввергнутого в водоворот истории. Отсюда — «странные» для классического русского романа секс в «дворянском гнезде» (Борятинские, Радович и Нюточка), извращенные взаимоотношения с природой, причем не только Туси с ее страстью к лошадям, но и Мейзеля («Бог — был. И дождь тоже — был. И между ними существовала связь, очень правильная и настолько простая, что Мейзель дивился, как это не понимал ее раньше»), Борятинских, особенно Надежды Александровны. Так и не завершившееся приобщение этой героини к животворящему началу свидетельствует об антропологическом скептицизме автора, для которого человек изначально «выломан» из мира, лишен органичной, интимной связи с ним, тотально одинок. Наиболее показателен в этом плане эпизод вырубки сада накануне смерти Надежды

Александровны: «Когда сад закончили вырубать, Борятинская была еще жива, но уже ничего не чувствовала. В глазах ее, открытых, остановившихся, отражалось опустевшее окно, в свою очередь отражавшее такое же опустевшее, медленно темнеющее небо».

Утрата сада как крушение уютного микрокосма, безусловно, отсылает к Чехову, но раскрывается с явным экзистенциальным акцентом в эпизодах смерти героев (почти все они умирают от смрадных недугов, «пожирающих» изнутри), а также через несобственно прямую речь — цитаты из Библии, передающие теоцентричность мировосприятия, не находящего, однако, опоры в Боге.

На балансе между исторической конкретикой и фантасмагорией выстроен и хронотоп. Такой эффект достигается за счет «параболических» кульбитов то в прошлое, то в будущее, таинственной атмосферы художественного мира, «обнажающего» зловещую изнанку (присущую произведениям Серебряного века, в частности, прозе Фёдора Сологуба с его «недотыкомкой»), наконец, натуралистических описаний зверских казней времен Ивана Грозного (глава «Отец»), чудовищного крестьянского быта с антисанитарией и невежеством, неизбежными при крепостном укладе: «Матери уходили в поле еще до света, возвращались затемно. Новорожденных оставляли на младших, чудом выживших детей, на полоумных стариков. Или совсем одних. Счастье, если в доме была корова. Если нет... В лучшем случае нажевывали в тряпку хлеба с кислым квасом или брагой, в худшем — давали рожок, самый обычный коровий рог, к которому привязывался отрезанный и тоже коровий сосок. В рожок заливали жидкую кашу. К вечеру, в жаре, сосок превращался в кусок тухлого мяса, каша закисала. В такой же кусок тухлого мяса часто превращался и сам младенец, которого сутками держали в замаранных тугих свивальниках...»

Так формируется стойкое ощущение безысходности бытовой, социальной (смешанной с иронией в отношении либеральных идей), а значит — экзистенциальной, поскольку неизменность жизненного уклада на протяжении XVI—XIX столетий воспринимается как фатум русской истории.

Безусловно, такое прочтение предполагает рецептивную активность, готовность погрузиться в суггестивную стихию стиля: разговорную раскованность языка разных эпох с элементами сказа (передающего мир глазами Другого), с авторскими неологизмами (*умертвие*, *обьюродить*, *жалковать*) и историзмами (*свивальник*, *кравелюр*, *набрюшник*), с библейскими цитатами в церковнославянской версии и вульгарно-бранной лексикой. Их сочетание отражает восприятие мира как системы динамичной, незавершенной, со смешанными координатами верха и низа, прошлого, настоящего и будущего, вычленить которые в едином потоке способно сотворчество автора и читателя.

Принцип диалога лежит в основе не только их взаимоотношений, но и работы Марины Степновой с чужим текстом, который не подвергается деконструкции, а вводится бережно в виде символов (сад Чехова), лейтмотивов («дворянское гнездо» Тургенева, «мысль семейная» Толстого, кризис эго-сознания Достоевского, «недотыкомка» Сологуба и др.).

Отсюда, видимо, и возникает неповторимое обаяние романа, который, несмотря на скепсис в отношении исторических перспектив России, не содержит иронии тотальной. Преодолеть ее помогает предложенная Степновой «метапозиция» — признание взаимосвязи трагических звеньев истории, установка на диалог с писателями-предшественниками ради утверждения непреходящей ценности ввергнутой в исторические катаклизмы человеческой судьбы.

Александр Люсый

Когда деревья были большими

Герои «Сада»

Когда он за ней ухаживал, то зажимал нос деревянной прищепкой.

Салман Рушди. «Йорик»

Воспроизведение названия знаменитого в свое время фильма Льва Кулиджанова в заметках о романе Марины Степновой «Сад» не случайно. В обоих случаях в центре внимания оказывается не вписавшийся в колею устойчивого городского бытия герой, попытавшийся начать новую жизнь бегством в деревню, удачно припав при этом в обоих случаях, хотя и в разных ролях, к юной деве.

Правда, время событий, как, впрочем, и их осмысления, разное. «Сад» огорожен XIX веком, в который впервые на своем, ориентированном на современность, творческом пути Степнова расселяет своих героев, как будто бы отзываясь на некий запрос в современной литературе, «ну что же, если нам не выковать другого», именно на этот век. Вспомним ряд недавних романов подобного временно*г*о огораживания: «Филэллина» Леонида Юзефовича, художественную алхимию русской истории XIX века в греческой ее наполненности, «Поклонение Волхвов» Сухбата Афлатуни, своеобразный «Остров Крым», устроенный загадочным великим князем Николаем Константиновичем в Средней Азии, но с космическим измерением, или «Генеральскую дочку» Дмитрия Стахова, где синтезирующие «Капитанскую дочку» и скрывающегося под неизменной маской «Дубровского» события происходят в наше время, — однако классические жанровые структуры при этом, как бы вопреки острой полемике западных философов, не выходят на улицу, а уходят по старинке в партизаны. Инструментально XIX век — кол времени, вбиваемый в пространство «волкодава».

«Сад» Степновой, не затемненный этим рядом мощной прозаической лесополосы, вызвал не то что бы наиболее особую полемику, но раздражение ряда критикесс. Одна из них припоминает работу романистки в отнюдь не литературном глянцевом издании, акцентируя при этом внимание на, видимо, хорошо и ей известной тамошней зарплате, а не на, казалось бы, более завидной для литератора в эпоху визуального поворота творческой школе глянцевого «лицея» *XXL*. Другая, выкрикнув: «Подлец!» — прямо в лицо показавшегося ей здесь главным героя, доктора-немца Мейзеля (как будто он сам себя так не называл за вполне извинительную по молодости трусость во время холерного бунта 1831 года и не искупил это, не без срывов, своим «крестовым походом за детей» в российскую глубинку), выскочила из класса.

Интересней потолкаться среди самих героев на лабиринтных дорожках этого «Сада», поскольку главным героем, на тоже не только мой взгляд, является именно он, сам Сад, в широком и узком, от *побегов* до неизбежного по этому *метажанру* вырубания включительно, смысле слова. Сразу же осязаемо в своем неформальном прочтении распахнут и сад базовой словесности, российской и мировой.

«...Все книги в доме Борятинских, включая только что вышедшие, переплетались заново, причем кожу заказывали специально во Флоренции — тонкую, коричневатую, с нежным живым подпалом.

И не жалко тебе, матушка, итальянских коров на ерунду переводить? — посмеивался Владимир Анатольевич, все причуды супруги, впрочем, втайне одобрявший...

Надежда Александровна не пропускала ни одной новинки ни на одном из трех известных ей языков (французский, немецкий, даже русский) — хотя, помилуй, голубушка, уж по-русски-то, кажется, вовсе нет никакого смысла читать! Под библиотеку в петербургском доме была отведена просторная двухсветная зала — добрые люди в таких балы дают, а мы пыль по углам собираем.

Да что там Петербург, если в трех имениях от книг повернуться было негде...»

Современник романных событий граф Лев Николаевич Толстой — писатель и военнослужащий — с разных сторон становится важным предметом обсуждения супругов.

Степнова выращивает свой Сад как некую порождающее-уничтожающую сущность, словесный синтез с порога заполняющего ниши сознания «Соляриса» Станислава Лема и заглядывающей в окна «Меланхолии» Ларса фон Триера. Хотя тут, в отличие от «социокосмиста» Сухбата Афлатуни, всё сбывается на земле. Ткань её прозы открывает новые, питающие «почву и судьбу», потоки, раздвигает пространства избранного времени. Некоторые абзацы могли бы замкнуться в отдельные романы.

«Юноша-библиотекарь. Он вел каталог, выписывал по указанию хозяйки и своему разумению книжные диковины и новинки и был тихо, никому не приметно, но почти до помешательства влюблен в Надежду Александровну, с которой едва ли сказал десяток слов.

Однажды, ошибившись дверью, он застал врасплох в тесной, душной, простеганной шелком и жаром комнатке ее бальные туфли, маленькие, совсем розовые внутри, и едва не потерял сознание от страсти и счастья, так что и три года спустя, умирая от чахотки, всё видел перед собой станцованные почти до дыр нежные подошвы и бормотал — туфельки, туфельки, — пока всё не перепуталось наконец, пока не закончилось, пока не отпустила эта жизнь, эта мука...»

Но этот сюжет был уже исчерпан Степновой раньше, применительно к XX веку, в «Женщинах Лазаря», где аналогичному герою была дарована жизнь, долгая, успешная и даже возрождающе-посмертная. Ну, а библиотека, лишенная такого хранителя, исчезает в связи с утратой интереса хозяйки к книгам после рождения младшей дочери, предвосхищая последующую судьбу и самого Сада.

Итак, персонажи «Сада» сами по себе — не вполне герои, а становятся таковыми в своей подключенности к Саду. Они влекомы историческими ветрами отнюдь не из де Сада (и такая мелькнула в критическом многообразии ассоциация), а из «18 брюмера Луи Бонапарта». Да, это произведение — с зацитированной фразой насчет повторяемости истории в виде трагедии, а потом в виде фарса, — целомудренно не названного по имени автора, тоже входит в круг их чтения (еще, конечно, на немецком языке), вслед за Локком и Миллем. Лишь время от времени им, персонажам, удается совершить побег, сорваться, как яблоку с ветки, чтобы сразу же попасть в широко расставленные руки собирателей урожая.

В тексте русского сада, как пишет Александр Леденёв о всевременной, куда более сбившейся с линейной тропы сюжета, прозе Михаила Шишкина, герой выходит в очередной сад, и *полыхают* зарницы, а потом он едет на станцию, и звезды грозно и дивно *горят* на гробовом бархате, и чем-то горьковатым *пахнет* с полей, и в бесконечно отзывчивом отдалении нашей молодости *опевают* ночь петухи. Так Владимир Набоков в «Других берегах» стилизует свое впечатление от прозы Ивана Бунина, завершая рассказ о парижских встречах с кумиром его юности. В этом концентрированном отражении бунинской образности плотно взаимодействуют зрительные, акустические и обонятельные подробности[1]. Сенсорная отзывчивость

[1] *Леденёв А.* Сенсорная реактивность как свойство поэтики Михаила Шишкина // Знаковые имена современной русской литературы. Михаил Шишкин. Коллективная монография. Под редакцией Анны Скотницкой и Януша Свежего. Краков, 2017. С. 131—132.

образов, их способность одномоментно будить в читателе целую палитру ощущений, традиционно приписываемая лирике, стала одной из главных стилевых линий и современной русской прозы, по-разному ориентирующейся на классику. Теперь текст русского сада прирос и романом Степновой.

В тщательно спланированном и обустроенном пространстве ее Сада — целая система стилистических Сфинксов (в роли садово-парковой скульптуры), призванных время от времени устраивать читателям учебно-познавательное тестирование.

«Надежда Александровна, дошедшая до яблонь, сорвала и закусила крепкое шишковатое яблочко, невзрачную уродушку, вскипевшую на губах теплым, душистым соком. Груши оказались еще твердокаменные, древесные и на вкус, и на вид, зато в терновнике Борятинская попаслась вволю, совсем забыв о приличествующих роду и фамилии условностях и только крякая, когда на голову ей шлепались мягкие переспелые сливины. Самые лакомые, сизоватые, насквозь прозрачные, наливные — висели выше всего, и от прыжков и веселых усилий под мышками у Надежды Александровны быстро стало горячо. И предательские прозаические пятна на ее полотняном платье спустя восемьдесят с лишним лет превратились в прекраснейшую из цитат в автобиографическом романе никогда Борятинскую не знавшего писателя и поэта. Но нет, слишком рано — в 1869 году на свет родился только его отец...»

Я себя под Набоковым чищу и постирушки устраиваю...

Поклонники упаковки литературных произведений в познавательные сверхтексты могут извлечь из устройства «Сада» множество художественно-систематических единств. Например, характерную для вырастающей из по-достоевски замкнутой и по-лермонтовски прозрачной в своей ориентированности на созерцание слезинки ребенка в главную героиню (или антигероиню в судьбе самого Сада) систему «поз»: «Это не была желчная печоринская поза или скука затаскавшейся по балам девицы, которая знакома со всеми от камер-юнкера до лакея и наперед может предсказать каждую реплику на каждый па последней кадрили. Нет, Тусе было скучно и тяжело, как бывает скучно и тяжело взрослому человеку в обстоятельствах, какие нельзя изменить, а требуется просто вытерпеть — в приемной у большого чиновника, который все равно откажет, как ни проси, или на больничном одре, когда боль и время, мучительно переплетясь, становятся особенно вязкими, бесконечными. Туся терпела — мужественно, честно, изо всех сил, и видеть ее остановившееся, напряженное лицо было неприятно, даже страшно».

Однажды не выдержала условностей, случайно оказавшись на балу рядом с группой гусар пятого Александрийского полка, и поправила их познания насчет достижений лучших жеребцов России. Верх неприличия и изгнание из высшего света.

Сад — система благоуханий, о которых уже шла речь, и — смрадов.

Тем временем в параллельном саду на Волге: «Так не могло продолжаться вечно, но продолжалось. Дни покачивались — влажные, набухшие, неподвижные, синеватые, как утопленники. Такие же жуткие. От Волги тянуло сырым весенним смрадом, по ночам река возилась, иногда стонала — глухо, неожиданно, словно смертельный больной. Ледоход начался в середине марта — на месяц раньше обычного. Всюду обсуждали несостоявшееся покушение на государя, алкали крови, жаждали возмездия. Беспорядков в Нижнем не любили — знали, что любые перемены всегда плохо сказываются на прибыли.

Православие. Самодержавие. Доходность».

Доктор Мейзель скитается по России от смрада к смраду, которые стимулируют принятие профессиональных оптимальных решений в каждом конкретном случае. «Как замотали, нелюди! Пальцы Мейзеля, все в йодистых коричневых пятнах, тряслись, волны вони, гнева и духоты накатывали попеременно, так что в какую-то секунду ему показалось, что он не выдержит, сорвется. Давно было пора — уже много лет. Но тут девочка шевельнулась и запищала, сначала слабо, придушенно, но с

каждой минутой все увереннее, все сильнее, как будто давала Мейзелю знать, что жива, что все еще надеется на спасение». И так до погружения в смрад собственного стареющего организма.

А сразу же опознанного Мейзелем в качестве беглеца-антипода и не признанного в качестве своего системного наследника Радовича «вонь, ошеломляющая, спасительная, ударила в лицо, привела в чувство, освежила». Кстати, его биография — это в какой-то мере история соприкосновения с полифонией садов.

«Карамзинский казенный сад, следуя логике названия, неловко топтался вокруг памятника поэту (великому уроженцу здешних унылых мест), и, если выражаться карамзинским же стилем, весь дышал пылью и скукою. Десяток молодых вязов и лип, мелким шажком разбегающиеся прочь от монумента аллеи, обсаженные акациями и сиренью — которые каждый год обещали разрастись пышной душистой стеной, да слова своего так и не держали. В горячем воздухе дрожал мелкий песок, тонко смешанный со шпанскими мушками, скрипели дорожками няни, волоча за собой одурелых, мягких от жары малышат, и Радович, по периметру обойдя колючую чугунную ограду, водруженную на цоколь из ташлинского камня, решил, что ему здесь не нравится. Карамзинский сад (или, как говорили в Симбирске, сквер) был маленький, лысоватый, прозрачный насквозь, и — главная неприятность — соседствовал с Симбирской классической гимназией, в которую через полтора месяца Радовичу следовало поступить, повинуясь — чему? Министерству народного просвещения? Ходу судьбы? Тихой, ни разу не высказанной отцовской воле?»

Радович этого не знал, как не знал, впрочем, и того, кем хочет стать, какую стезю выбрать, статскую ли службу или военную. Само слово «стезя» казалось ему таким же пыльным и унылым, как аллеи казенного Карамзинского сада. Из садов своего лицея он вышел носителем пыльной пластики безволия.

«Николаевский сад оказался еще хуже — пустой, одичалый, жалкий. За сломанной загородкой, среди заросших кочек (прятавших под дерном не зародыши, а могильники бывших клумб), чинно бродили заблудшие коровы, очеловеченную зелень давно вытеснили сорняки — гибельные, грубые, сочные, почти в рост самого Радовича. Он побродил было среди сочных первобытных стеблей, воображая себя то святым старцем, то Робин Гудом, но набрался репьев и из по-настоящему интересного нашел только такой же заброшенный, как и сам сад, колодец, давно обвалившийся. Радович, бессмертный, как все мальчишки его возраста, сел на изъеденный временем каменный край, свесив ноги в гулкую зеленую мшистую пустоту. Бросил пару камешков, гугукнул, прислушиваясь. Из широкого бездонного жерла дохнуло сыростью, скукой, смертью. Радович помотал лапами, лениво борясь с неизбежным (и отчасти приятным) желанием броситься вниз, известным всякому, кто хоть раз оказывался на большой высоте или на краю обрыва — какой-то рудиментарный признак того, что все мы когда-то были ангелами, неподвластными смерти и гравитации.

Жара. Скука. Провинция. Июль».

Связано ли это с художественной ориентацией самого автора или нет, но среди истоков «Сада» видится не только замкнутый на самопознание жанр русского классического романа XIX века, но и направленный на познание Другого жанр травелога (путеводителя). У Другого и запах другой. У русского «немца», садовника словесности Карамзина, с его настроенным в собственном симбирском саду, как флейта факира, носом, в «Письмах русского путешественника» европейское *ольфакторное* (обонятельное) пространство благоухает столь же амбивалентно, как и российское у героя Степновой. В этой связи у меня к доктору Мейзелю претензии не поведенческого, а именно сенсорного характера.

С чем столкнулся Карамзин в Берлине? «Лишь только вышли мы на улицу, я должен был зажать себе нос от дурного запаха: здешние каналы наполнены всякою

нечистотою. Для чего бы их не чистить? Неужели нет у берлинцев обоняния? — Д* повел меня через славную Липовую улицу, которая в самом деле прекрасна. В средине посажены аллеи для пеших, а по сторонам мостовая. Чище ли здесь живут, или испарения лип истребляют нечистоту в воздухе, — только в сей улице не чувствовал я никакого неприятного запаха».

В Париже ему было не легче — «что шаг, то новая атмосфера, то новые предметы роскоши или самой отвратительной нечистоты — так, что вы должны будете назвать Париж самым великолепным и самым гадким, самым благовонным [Потому что нигде не продают столько ароматических духов, как в Париже. — *Прим. Н. М. Карамзина*] и самым вонючим городом». Лавка мясника с ее отвратительным запахом и деталями соседствует на рынке с лавкой духов и помады, а весь город оказывается сочетанием, столкновением, смешением зловония и благовония.

Впрочем, в это сопоставление вмешивается познавательная эпопея Доменика Лапорта об исправлении языка и нравов парижан посредством запретов выплескивать нечистоты на улицу и устроения канализации начиная еще с XVI века. Способность современного языка скрадывать дурные запахи не возникает спонтанно. Она указывает на долгую практику дисциплины, почти пуританских усилий, потребовавшихся для превращения «вульгарных» языков в «благородные»[1].

Так история нечистот оборачивается историей субъективности. А у нас рядом с Толстым уверенно встает Лесков, придумавший в «Полунощниках» слово *фимиазм*, которое соединяет фимиам и миазм. Для Андрея Белого «обычное прозаическое слово, т.е. слово, потерявшее звуковую и живописующую образность и еще не ставшее идеальным термином, — зловонный, разлагающийся труп»[2]. Степнова, не впадая в излишек языковых игр, устанавливает на дорожках своего Сада пару своеобразных биотуалетов трехэтажного языкового выражения, с каковым на чистом русском языке уходил в мир иной не столь уж и обрусевший отец доктора Мейзеля. Так и тянет заменить в этом выражении табуированное существительное, давно свободное от гендерной и физиологической определенности, именем так и не названного автора «18 брюмера»...

Дело в том, что это произведение — опознание (в данном контексте — эпистемиологическое обнюхивание) мировой *богемы* как действительной основы мирового бунта[3]. Экспозиция Сада — царство разнонаправленное и, во всей своей внешней устойчивости, дискуссионное, если судить по разговору его владельцев.

«Загребая ногами, подошла девка, впопыхах, до приезда Танюшки, определенная Надеждой Александровной в горничные девушки, спросила, не поднимая глаз, куда прикажут подавать чай — как будто неясно было, что вечером в июле чай пить следовало только в саду. И, пожалуйста, велите подать свежей малины. Девка, задастая, рябая, некрасивая, услышав непривычное “вы”, дернулась, словно ее хлестанули по крепким ногам крапивой, и, все так же не поднимая глаз, ушла. Надежда Александровна, привыкшая к тому, что в Петербурге императрицу, с которой она была очень дружна, можно и нужно было звать “Машенька” и “ты”, а швейцара — так же можно и нужно — “вы, Афанасий Григорьевич”, вздохнула. Завиток девичьего винограда прелестно рифмовался с завитком на столбике беседки, тоже совершенно прелестной, но не крашенной слишком давно, чтобы этого нельзя было не заметить. Народ в свежекупленной Анне поражал своим невежеством и ленью. Ленью и невежеством. Как везде.

---

[1] *Лапорт Д.* Nonolet — не пахнет // Ароматы и запахи в культуре. Изд. 2-е, испр. Книга 1 / Сост. О.Б. Вайнштейн. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 586—587.

[2] *Белый А.* Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 135.

[3] *Люсый А.П.* Глобальный трюкач: Экран как историческое убежище, пародия и производство киборгов // Историческая экспертиза. 2017, № 2. С. 285—286/ URL: https://istorex.ru/page/lyusiy_ap

Школу бы тут надо открыть, — сказала Надежда Александровна.

Пороть куда надежнее, — здраво возразил Владимир Анатольевич и немедленно был назначен крепостником и троглодитом. Томик Толстого, повинуясь Надежде Александровне, подвинулся к Борятинскому еще на пару сантиметров, и вслед за ним покорно переползло по скатерти уплывающее к лесу воронежское солнце».

Русское общество еще не стилистически, но психологически и физиологически созрело до состояния богемы, поэтому бежавший из столицы друг Александра Ульянова Виктор Радович и смог в нем раствориться. Богема сверху и богема снизу.

«Девка, ровным счетом ничего не понявшая, ушла — порка, как, впрочем, и ласка не могли произвести на нее никакого впечатления. Ей вообще было все равно — в самом страшном, самом русском смысле этого нехитрого выражения. То есть действительно: все — равно. Лишь бы войны не было да лето уродилось. И на каменное это, безнадежное "все равно" невозможно было повлиять никакими революциями, реформами или нравственными усилиями хороших и честных людей, которые век за веком чувствовали себя виноватыми только потому, что умели мыслить и страдать сразу на нескольких языках да ежедневно дочиста мыли шею и руки».

Наряду с персонажами романными, «Сад» населен историческими личностями. Александр Второй делает строгие совиные глаза при встрече со впавшим в безвыходную депрессию другом детства Владимиром Анатольевичем, ставшим совершенно ненужным своей супруге после рождения позднего ребенка (Туси).

«Опять нюнишься? Соберись! Заведи себе такое же новое счастье! Старое не помеха новому, жизнь одна, брат, лучше вспомнить и пожалеть, чем пожалеть, что нечего вспомнить». Имеется в виду тайный брак императора с юной княжной Екатериной Долгорукой, скрасившей его последние годы жизни, но вызвавшей имеющий свои последствия (что описано в упомянутом романе Сухбата Афлатуни) раскол династии. И князь честно устремляется в атаку, но...

«...Когда один из бастионов выкинул белый крахмаленый флаг и дело дошло наконец до будуарной возни, жалко бежал, потому что вдруг услышал, без особого пыла шаря в неудобных, нескончаемых юбках, тающий, легкий аромат не то ромашки, не то еще какого-то простецкого цветка, — и тотчас увидел скошенным глазом знакомый флакон, хрустальный, с тяжелой пробкой, Надя такими всегда душилась, а он никогда не мог запомнить, болван, хотя она говорила — вот же, как ты не помнишь никогда, это же мои любимые, — и точно, любимые, родные, на чужой шее, молодой, высокой, которая мгновенно стала гадкой, нестерпимой, покрылась порами, мерзкими волосками, и он просто смахнул с себя эти юбки, гадливо, будто таракана со скатерти, и выбежал вон, по-мальчишески пламенея ушами, заботясь не о репутации уже, потерянной безнадежно, а только о том, чтобы не разрыдаться при этой светской блуднице, при всех, при всех».

Александр Третий по-своему («армия и флот!») наставляет на путь истинный очаровавшего своей юной привлекательностью Радовича, попавшего на аудиенцию во дворец в чужом пальто, взятом напрокат, «как и вся его нынешняя жизнь»...

«Бросайте к чёрту. Таким красавцам место в гвардии».

Главным же из Александров в романе, своеобразным утаенным *Александром первым*, как будто бы вернувшимся после загадочного исчезновения в Таганроге (еще не воплощенная в романной форме версия истории, к каковой пока лишь слегка прикоснулся Леонид Юзефович в «Филэллине»), оказывается — Александр Ульянов. Он был в годы учебы в симбирской гимназии и петербургском университете лучшим другом Радовича, с совместным квартированием и с различенной с высоты толерантного XXI века возможностью чего-то большего, чем дружба.

1 марта 1881 года, когда Александр Второй был убит народовольцами, Саша сказал, что это низко — убивать беззащитного. И, подумав, прибавил: *я бы так никогда не поступил*. А уже через пять лет он оказался участником подготовки к

покушению на Александра Третьего. Метаморфоза остается загадочной. Эта загадочность восполняется в романе более обоснованной эволюцией Радовича, направление которой изменилось после рокового знакомства с лейб-гвардии ротмистром Вуком Короманом, который стал таскать его за собой, словно любимого щенка, — только замелькали вокруг «юбки, выпушки, галуны, ледяное шампанское, надорванные колоды, такие же надорванные хохотом молодые глотки». Так Радович превратился в отъявленного монархиста, будущего (в воображении, конечно!) короля Сербии, а заодно и в мужчину. И пути друзей тоже разошлись. Саша просто переехал на новую квартиру, и вряд ли это могло быть проявлением какой-то особой «любви» к отвергнутому другу.

По пути из столицы к родительскому дому Радович узнает об аресте Александра Ульянова и в страхе за последствия оказавшегося преступным знакомства принимает решение исчезнуть, бежать в новую жизнь. Из самой окружающей жизни, как в фильме Кулиджанова, герой подслушивает верное направление такого бегства.

И вот эта встреча состоялась. «Радович раскинул руки, надеясь оттеснить юродивую ко входу, но за спиной у него вдруг тоненько и заливисто заржал старый конь, Барин, кажется, — господи, здесь всего дюжина лошадей, а я до сих пор не могу запомнить их чертовы клички. А Саша еще говорил, что у меня лошадиная память». Так Радович, уже устроившийся на работу в имение Борятинских, встретил позднюю дочь хозяйки Тусю, вернувшуюся из долгого вояжа в столицу, с неуклюжими попытками вписаться в светское общество и получить высшее образование, сумевшей преуспеть только на ниве коневодства.

«Девчонка вдруг обернулась на Радовича и, все еще сияя этим страшным своим огнем, сказала, радостно и твердо, — он жив! Так радостно и твердо, что Радович несколько секунд — очень коротких и очень счастливых — думал, что это она о Саше». Мать сумела вернуть дочь только посредством ложного сообщения, что ее любимый конь Боярин пал.

«Девчонка посмотрела ему в глаза. Отвела морду жеребца — ласково, как человеческую руку. Прищурилась.

Надо думать, вы и есть влюбленный жених?

И только тогда Радович увидел наконец ее всю — как есть. Высокие скулы, сильную линию вздернутого подбородка, постанов крепкой шеи, не знающей, что такое кланяться».

Глаза и «лошадиная память» Радовича играют важную роль в построении романа, как и обонятельные рецепторы доктора Мейзеля.

В Симбирске друзьям порой мешал общению младший брат Володя, пристававший ко всем в семье с шахматами, и это всё, что надо знать здесь о нем, пошедшем совершенно «другим путем», не вмещающимся в избранные временные рамки. Но не вмешаться при виде шахматной доски с действующими фигурами?

«Лошадью ходи!» Есть такая партия!

Из всех партий, сыгранных «Володей», важнейшей оказывается та, что была сыграна им и основателем дадаизма Тцара в Женеве в 1916 году. Вот, у американского писателя и критика румынского происхождения Андрея Кодреску в эссе «Дада-путеводитель для постчеловечества: тцара и ленин играют в шахматы» переосмысливает игру Ленин — Тцара как поединок человека с постчеловеком: «Их планы были столь же различны, как и их игра, но чувство, что мир несправедливо устроен, было прочно укоренено в них обоих. <...> Воды забвения поднимаются, память хрупка и тонка, как материя черных дыр, но как говорил Тристан Тцара, “Дада против высокой стоимости жизни”, Ленин был тоже против, но с тех пор, как он нашел виновного, он был настроен предпринять хоть что-то»[1].

[1] *Кузнецова А.И.* Дадаистическая и Октябрьская революции за шахматной доской в «Дада-путеводителе» А. Кодреску // Россия в литературе Запада: Коллективная монография. М.: МПГУ, 2017. С. 221.

Шахматная партия по разыгрыванию «18 брюмера», как и любая интеллектуальная игра, подразумевает равенство и силу игроков, убедительные приемы (аргументы) обоих, и поэтому Кодреску равно представляет каждую из еще не воюющих, но играющих сторон, а заголовок демонстрирует попытку снять противоречия через их объединение. «Дада-путеводитель для постчеловечества» интерпретирует настоящее культуры как постчеловеческой (Ленин), однако предлагает стиль жизни в этой посткультуре дадаистический (Тцара). Возник «бродячий» сюжет постмодернистского фольклора, исследование которого не столько позволяет судить о реальных исторических лицах или фактах, сколько декодирует ментальность современного человека эпохи «пост» (постсюжетность в частности)[1].

Движение истории есть бесконечная шахматная партия в саду, которая никогда не может быть завершена. Немцы тут, как известно, ходят «свиньей», русские — «лошадью». Оказавшаяся единственной наследницей сада Туся исключением не стала. Она выбрала, несмотря на успешную при всей своей жесткости *языководческую* школу Мейзеля и провальную экзистенциальную — самозванца Радовича.

«Туся была беременна — своим первым конным заводом, первым ребенком, первыми своими настоящими, взрослыми, сбывающимися мечтами — и сама верила, что это так». Подрастающий шахматист знает, чем именно беременна Туся-Россия, но он еще не подрос, чтобы высказаться более определенно.

«Вишнёвый сад» Чехова был приговорен к разделению на дачные участки. Сад Степновой в руках Туси претворяется в почву для нового глобального проекта пастбища мирообразующей конюшни.

«Новый и старый сад вырубили полностью. Парк тоже. Туся оставила только одно-единственное дерево — возле усыпальницы Мейзеля. Старую грушу. Мать она похоронила на монастырском кладбище, подле прежних хозяев Анны (название имения Борятинских. — *А.Л.*), чтобы не беспокоить лишний раз Гриву (прозвище Мейзеля. — *А.Л.*). Пусть себе спит.

Усадебный дом стоял огромный, непривычно голый, впервые выставленный напоказ. Позади щетинились лесами — будто обглоданными ребрами — стремительно подрастающие постройки конного завода. Землю вокруг, сколько хватало глаз, распахивали под пастбища — черными, широкими, жирными, живыми полосами.

Туся была счастлива и свободна.

Наконец.

Как свободен всякий, не знающий, что готовит ему будущее».

Лошадиное пространство в финале распахивается всеобъемлюще, его обитатели наверняка созрели для осёдлывания новыми идеями и новыми романами. Читатели жаждут продолжения.

[1] Существует и апокрифическая версия происхождения самого термина. Потерявший в это время всякую веру в возможность новой революции в России, «Володя», наигравшись в шахматы, нагружался пивом до такого состояния, что мог только трясти головой, бессмысленно повторяя: «да-да-да». И сидевший неподалеку Тцара терминологически оформил это в дадаизм.

Николай Александров

Реторта литературы

Владимир СОРОКИН. Доктор Гарин: Роман. — М.: АСТ: Corpus, 2021.
Александр СОБОЛЕВ. Грифоны охраняют лиру: Роман. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2020.

Вышедшие практически одновременно очередной роман Владимира Сорокина «Доктор Гарин» и дебютный роман Александра Соболева «Грифоны охраняют лиру» как будто напрашиваются на сравнение.

Различия очевидны.

Имя Александра Соболева известно узкому кругу коллекционеров-библиофилов, филологов-специалистов по русской литературе Серебряного века. Но даже для них выступление Соболева с оригинальной художественной прозой — неожиданность.

Владимир Сорокин — признанный классик российского постмодерна, тексты его подвергнуты тщательной филологической рефлексии, в деталях разобрана его стилистика, поэтика и методология художественного строительства. На протяжении более тридцати лет сорокинские произведения вызывают неизменный интерес, он по-прежнему продолжает оставаться не просто современным, но актуальным писателем. В этом с ним может сравниться разве что Виктор Пелевин. Иными словами, более тридцати лет (срок огромный, с историко-литературной точки зрения в том числе) читающая публика, отвечая на вопрос, что такое современная российская словесность, твердо называет Сорокина и Пелевина в ряду новых авторов.

Сорокин уже давно создал свой «деконструктивистский» космос. Законы этого космоса постоянны и хорошо изучены, хотя вселенные, его составляющие, не тождественны. Последняя из них начала формироваться в «Метели».

Этот мир, зарождавшийся в «Метели», странное смешение архаики и современности, нового средневековья и посттехнологической эпохи, затем развивался в «Дне опричника», «Сахарном Кремле», «Теллурии», наполнялся карликами и великанами, роботами, мутантами, биогенными монстрами, «умными» гаджетами. У этого мира своя история и география: свершившаяся Третья мировая война и Первая исламская революция, распад и разъединение некогда цельных держав (на территории России, скажем, есть Московия, Рязанское царство, Алтайская республика). Владимир Сорокин даже нарисовал карту этого мира (для французского издания романа «Теллурия»).

«Доктор Гарин» уже по названию своему отсылает читателя к «Метели». Там мы впервые встречаем этого героя, земского врача, который едет на *самокате* (странный снаряд, запряженный маленькими, размером с белку лошадками) в село Долгое с вакциной от зомби. По дороге он встречает разных, совершенно невероятных существ, а в финале, попав в метель, кажется, замерзает. В новом романе мы узнаем, что Гарин, оказывается, не замерз, а лишь отморозил ноги. Теперь он обзавелся

титановыми конечностями и в качестве психотерапевта лечит VIP-пациентов в санатории «Алтайские кедры». Пациенты — довольно необычные существа. Тело у них заканчивается ягодицами (что не мешает им передвигаться), у них есть руки, рот и глаза. Раньше эти существа управляли миром. У них вполне узнаваемые имена — Дональд, Борис, Сильвио, Ангела, Владимир. У каждого характерная, с соответствующим национальным колоритом речь. Только Владимир немногословен. На все реплики, к нему обращенные, он отвечает: «Это не я». Описанием утреннего обхода и обычного дня в «Алтайских кедрах» и открывается роман, и если искать в нем следы политической сатиры, то, наверное, стоит обратиться именно к этим эпизодам. Впрочем, при желании их можно найти и в изображении коммуны анархистов, и в описании усадьбы графов Сугробовых, и в рассказе о жутком болотном концентрационном лагере в царстве *чернышей* — мутантов, людей войны, скрывающихся от цивилизации в каменном веке.

Но вся эта гипертрофированная образность, равно как и фирменная шокирующая сорокинская поэтика «телесного низа» — лишь внешние атрибуты. Цирк своего рода. Кстати, главные герои (Гарин и его возлюбленная Маша) в одном из эпизодов оказываются в барнаульском цирке, видят на арене во всей красе копию фантастической реальности Сорокина с парадом уродцев, с торжеством «телесного низа» и покидают представление. Нарочитая откровенность для Сорокина не самоцель. И даже не провокация. Литературная условность предполагает свободу, и роман уж точно не равен автору. А, кроме того, за всеми этими избыточно яркими декорациями (или внутри них) скрывается другое поле смыслов.

«Метель» вырастала из оглядки на тексты Пушкина, Толстого, Чехова, литературный миф зимней дороги. В «Докторе Гарине» литературная праоснова расколота и укоренена в другом времени (в советском XX веке). Странички из чьего-то дневника, письмо из деревни, фрагменты романа бывшего пациента Гарина Евсея Воскова (постепенно сходящего с ума, что видно по изменениям (деконструкции) его письма, постепенно стремящегося к бреду), — все эти осколки прежних времен свободно плавают в повествовании. У Сорокина в его причудливом мире не только отражается актуальность, не только предчувствуется будущее: в этом смысле Сорокин — удивительный писатель, кажется, его художественные тексты «подтягивают» к себе реальность. В его вселенной вращаются обломки прошлого, голосов, речений, языка ушедших эпох.

Ощущение расколотости, руинированности, хаотичности мира, наверное, главная черта «Доктора Гарина». Поэтому и сюжет скачет, неожиданно меняет направление, обрываются не только действие, но даже реплики и рассказы героев. Мы, например, так и не узнаем, как закончился один из рассказов Гарина о себе, как он добрался обратно до берега, далеко заплыв в море. Такую же обрывочность, оборванность эпизодов, недосказанности и умолчания, внезапные сюжетные переломы мы встретим и у Соболева, хотя его мировоззренческая основа иная.

Пунктирность, фрагментарность действия — отражение состояния сорокинского мироздания. Социальности, общественной общности не существует. Царит глобальный развал. Цельность можно обрести лишь внутри себя, вопреки внешнему хаосу. И в любви, конечно.

У Соболева похожая поэтика, но опирается она, скорее, на филологическое убеждение в необходимости другого письма. Устарело само каноническое романное видение, сложившееся в XIX веке. Для художественного строительства требуются другие способы и инструменты, и эпоха нач*а*ла прошлого столетия в большей степени может служить подспорьем для экспериментов.

«Доктор Гарин» — роман-путешествие, любовный роман («Тристан и Изольда», если хотите). И/или волшебная сказка. Тем более, что одно другому не противоречит. В тексте есть и знаковая подсказка (фрагменты «скандинавской» сказки «Деревянное

масло»). Сорванные с места очередной войной, обитатели санатория «Алтайские кедры» бегут. Разумеется, бегство сопровождается приключениями. Ряды персонажей редеют. Обстоятельства разлучают Гарина и его возлюбленную Машу. Гарин остается один, и теперь его цель — с Машей воссоединиться. Ближе к финалу романа типология сказки — прямо по Владимиру Проппу, его «Морфологии волшебной сказки» (препятствия на пути героя, враги и чудесные помощники и т.д.) — с еще большей очевидностью бросается в глаза. И это не случайно. Потому что сказка побеждает ужас и хаос. А в общем и целом — побеждает любовь. Которая сама по себе волшебная сила и источник всяческих чудес. Чудом все и завершается. Довольно редкий светлый финал у Сорокина.

Сорокин берет зерна современности и проращивает их в некоем условном, но не слишком отдаленном будущем, в котором неожиданно дают всходы и семена иных эпох (точнее, их литературные проекции) — от Средневековья до XIX, даже начала XX столетия, — обрастая причудливой, фантастической образностью. Сорокинская методология становится важной составляющей художественного письма Александра Соболева.

Действие романа «Грифоны охраняют лиру» происходит в вымышленном не столь далеком российском прошлом — в 50-е годы прошлого века. Октябрьский переворот потерпел поражение. Империя устояла и вытеснила революцию за границу. Социализм победил лишь в Латвии, которая стала своего рода резервацией большевизма. Кроме того, политических эмигрантов приютили другие европейские страны. Иначе говоря, роман рисует ситуацию, зеркально противоположную исторической. Несоветская Россия 50-х позволяет, с одной стороны, сохранить реалии начала века (Поливановская гимназия, городовые), а с другой — включить неидеологические приметы быта XX века (метро, телевизор, узнаваемые мелочи московской жизни). Эта придуманная ситуация и дает возможности для художественного строительства, которое основано не на сюжете, а на описаниях. Роман принципиально отвергает стандартные, устоявшиеся и привычные беллетристические формы (скажем, «современного романа, в котором на бесстыже торчащие ребра сюжета хамски натянута прогрессивная шкура идеологии»). Некоторая идеология все же у Соболева присутствует, а вот «бесстыжих ребер сюжета» — точно нет. Есть руины, сюжетные обломки, которые складываются в некое целое, благодаря единству мира и нарративной, повествовательной ситуации.

Главный герой — Никодим, неожиданно узнает от матери, что его никогда не виденный им отец — известный и куда-то исчезнувший писатель Агафон Шарумкин. Никодим пускается на поиски отца, одновременно погружаясь в его творчество. Фрагменты или пересказы произведений Шарумкина, включая и рассказ «Грифоны охраняют лиру», вклиниваются в повествование. Кстати, сам рассказ, в котором два сумасшедших географа обсуждают строение мира (оба сходятся на том, что кроме России ничего не существует, но один полагает, что за пределами России — мир мертвых, другой — что это придуманный мир, декорация, то есть, по существу, повторяя идею пелевинского романа «Омон Ра»), — ничего не объясняет. И название его, как выясняется, происходит «от рисунка водяного знака на старинной бумаге, послужившей автору для черновика». В каком-то смысле и сам роман — черновик, наброски к судьбе героя.

Действие дробится на фрагменты, последовательные сцены: Поливановская гимназия, история возлюбленной Никодима, Вероники, литературный вечер «прогрессистов» (писателей, сохранивших революционные симпатии и оппозиционных государству), встреча Никодима с другом отца, историком Зайцем, и загадочная смерть того, сеанс спиритизма в усадьбе князя В., поездка в Себеж (и удивительно точные дорожные описания, вполне современные, кстати), изгнание бесов из одержимой в сельской церкви, камлание в деревне Шестопалиха, наконец, встреча с отцом и финал,

мало что проясняющий в судьбе отца. Впрочем, эти неясности — одна из особенностей (и, вполне возможно, принципиальных) соболевского письма. Роман как будто реализует поэтику рассказов Шарумкина, фантастических казусов, случаев, не развивающихся в историю: страстный поклонник оперной певицы, по частям отсылающий себя по почте своей пассии, человек с абсолютной памятью, помнящий всех, кого когда-либо встречал, герой, выращивающий в себе дерево. Все это необыкновенно близко к Сорокину. Абсурдно-ироничная игра воображения, парадоксальные ситуации и положения из рассказов Шарумкина легко перетекают в жизнь. Порой не только типологически, но прямо переходят из одной художественной реальности в другую (как человек с абсолютной памятью, которого Никодим встречает на вокзале, отправляясь в Себеж). Это один из принципиальных моментов.

Произведения Владимира Сорокина как будто инициируют воплощение его вымыслов в реальную действительность. Этот тезис применительно к литературе вообще — зависимость реальности от литературной фантазии — формулирует и развивает Соболев в своем романе. Никодим, только что повстречавший человека с феноменальной памятью, размышляет над словами своего гимназического учителя Малишевского: «Малишевский как-то рассказывал на уроке про распространенную еще несколько десятилетий назад идею о том, что жизнь следует за литературой, а не наоборот... литературный герой воспринимался им как гипсовая форма, а последующие его живые копии — как бронзовые отливки, которых форма выдерживает бесконечное число. И вот сейчас, задумчиво сидя в буфете и глядя вслед незнакомцу, Никодим размышлял, вспоминая ту же метафору, не проще ли обстоит дело: не может ли герой просто сконцентрироваться из ничего, сойти со страниц, выйти из текста? Это явление трудно было вообразить физически, но, единожды постигнутое, оно кое-что объясняло бы в окружающем мире. Для бабушек и дедушек невообразим был сегодняшний синематограф — и Никодим откуда-то помнил, как шарахались первые зрители, увидев поезд, мчащийся на них с экрана. Теперь, когда кинотеатр есть в каждом маленьком городке, ожившие образы никого не удивляют (хотя регулярно с завидным простодушием зрители и надеются, что на какой-то раз обреченный герой не утонет на середине реки, а выплывет на тот берег). Таким образом, само отъединение образа от модели современный ум не отвергал как идею». Литература становится сродни алхимии, в реторте литературных произведений происходят невиданные трансмутации, наполняющие затем реальность и превращающие ее в фантастику.

Вмешательство фантазии в реальность не уменьшает, а увеличивает у Соболева ее случайность, хаотичность, непредсказуемость. Герои появляются и исчезают, оставляя вопросы и недоумения (например, кто и почему убил историка Зайца). Такое впечатление, что действия Никодима все время кто-то направляет, что его встречи даже с едва мелькнувшими в романе персонажами (как загадочный индус в антикварной лавке) не случайны, что окружающие его люди связаны невидимыми нитями, — но какими именно, и герой, и читатель, могут только догадываться.

Соболев с тщательностью филолога выстраивает синтаксис фразы, наполняет рассказ скрытыми и явными историческими и литературными цитатами, иногда, впрочем, как будто слишком очевидными. Вот один из характерных примеров. Говоря об эксцентричном и экспансивном характере возлюбленной Никодима, Вероники, в качестве одной из иллюстраций повествователь приводит такой фрагмент.

«На одном из уроков Закона Божьего она бросила чернильницей в стену, объяснив позже преподавателю, что целила в черта, который именно во время проповеди появился на крайней парте и стал ее искушать («Как искушать?» — «С помощью хвоста»). Тогда дело было замято, чтобы не привлекать общественного внимания к трудным взаимоотношениям полов в классическом образовании, но в следующий раз речь пошла уже об исключении бунтарки. Во время одной из перемен, в помещении столовой поспорив с буфетчиком Пастилой, который отозвался как-то

оскорбительно не то о женском поле и его образовательных перспективах в целом, не то о конкретной его представительнице, смиренно ожидавшей порцию саламаты, пирожок и какао, она (та же самая гимназистка), перегнувшись через стойку, больно укусила его за руку».

Откровенная отсылка к Достоевскому в первой части этого фрагмента (разговор с чертом Ивана Карамазова) заставляет читателя и во втором эпизоде увидеть не менее явную апелляцию к «Бесам» Достоевского, к шокирующим светским выходкам Ставрогина (который оттаскал за нос помещика Гаганова и укусил за ухо губернатора) и даже удивиться, почему Вероника, вопреки читательским ожиданиям, укусила Пастилу в руку.

Остро ощутимая литературоцентричность Соболева намеренно выдвигается на первый план. Он как бы балансирует между Набоковым и Сорокиным, увлекаясь метафизической игрой, ставя художественный вымысел (или преображение реальности) выше самой реальности.

В художественном смысле сам процесс созидания романного мира — самодостаточен. Метафорическое мышление, неожиданные образы и наблюдения ценны сами по себе. В этом сходятся и Сорокин, и Соболев. Но Сорокин больше полагается на свою писательскую интуицию, стилистическую мимикрию, вслушиваясь в эхо канувшей в прошлое литературы. А Соболев подобен исследователю-коллекционеру (примечательны, кстати, его подробные ботанические и краеведческие описания в романе), который фантазирует, рассматривая и перебирая накопленные богатства.

Художественное слово всегда было словом знаменующим, и если говорить о романах Сорокина и Соболева как знаках времени, то некоторые обобщения невольно приходят на ум. Их не назовешь новыми. Скорее — симптоматичными. И можно, наверное, сказать так: граница между реальным и помысленным, придуманным и воплотившимся, воображаемым и действительным настолько истончилась, что кажется уже несуществующей. Сферы воображаемого и реального находятся в состоянии диффузии. Может быть, это и есть примета нового «свободного» романа.

Борис Минаев

И вновь читая жизнь свою

Свое недавнее эссе Людмила Улицкая назвала «Подвиг чтения». В нем она подробно описала круг чтения в ранней юности, молодости, зрелости — запрещенные тогда, при советской власти, книги, опасные, нелегально ввозимые в СССР тексты — включая Евангелие.

Формула, найденная автором столь удачна, что даже перешагивает рамки темы. *Подвиг чтения* — не только о самиздате, Солженицыне в чужой обложке, не только об обысках и допросах. Подвиг в том, чтобы извлечь из книги, которую читают все, что-то личное, уникальное. Иначе книга в тебе не сможет жить, она останется по большому счету непрочитанной.

Помню, я не раз пытался объяснить своим собеседникам, что «Судьба барабанщика» Гайдара — это не повесть о диверсантах и вредителях, которых разоблачает пионер-герой, а повесть о мальчике, у которого арестовали отца. Это ощущение внезапно опустевшей, пыльной квартиры, горького одиночества, бесконечных летних каникул, когда тебе в буквальном смысле некуда пойти, — передано гениально, и недаром публикация повести Гайдара была приостановлена в «Пионерской правде», и понеслись слухи о его скором аресте. До сих пор не совсем ясно, что там произошло, но смерть писателя настигла совсем по-другому — на войне, в партизанском отряде, так как он сам бы, наверное, хотел умереть.

Но речь не об этом — про «Судьбу барабанщика» мысль не новая и совсем не моя, но сегодня ее трудно кому-то объяснить, «вчитать» заново. Шпиономания 30-х по-прежнему актуальна. Поди докажи, что Гайдар не это имел в виду...

Но есть текст, который, как ни крути, самый важный для прочтения, от того, как именно ты его прочитаешь, зависит очень многое, и этот текст — твоя собственная жизнь. Ее смыслы, ее сюжеты, ее действующие лица.

...Премьера прошедшего сезона — спектакль Дмитрия Крымова «Все тут» по мотивам пьесы Торнтона Уайлдера в театре «Школа современной пьесы» — как раз хороший образчик такого само-прочтения. Прочтения своей собственной жизни как текста. Текста, который надо понять во что бы то ни стало.

«Ну... это же междусобойчик какой-то», — сказал кто-то из моих знакомых. Да нет, не междусобойчик. Крымов вспоминает, как в начале 70-х в Москву приехал американский театр, приехал впервые после долгих лет все еще продолжавшейся холодной войны (видимо, небольшое культурное потепление возникло в преддверии визита Ричарда Никсона). И вот он привез спектакль «Наш городок». Спектакль юного Диму Крымова абсолютно потряс. Он вспоминает, как бежал по площади Маяковского, плакал от потрясения, а вокруг сплошным потоком шли машины, и все расплывалось в глазах: свет фар, мокрый снег, огни города. По сцене едут туда-сюда заводные детские

игрушечные автомобильчики, сталкиваясь друг с другом. Разноцветные, яркие, довольно большие. Почти детское восприятие события — и не нужно долго повторять, что автор был почти ребенком, достаточно этого образа.

Крымов привел на спектакль своих родителей — Анатолия Эфроса и критика Наталью Крымову. Им тоже понравилось. Дима Крымов ходил на спектакль еще и еще раз. Потом пьеса была поставлена в грузинском театре, ее снова привезли в Москву — и Крымов ходил снова и снова. Американская версия — основная, но и грузинская представлена тут — с мягкой иронией, смешными деталями, с колоритом. Здесь, наверное, стоило бы сказать о прекрасном актерском ансамбле спектакля: Александр Феклистов, Мария Смольникова, Юрий Чернов, Джульетта Геринг, Николай Голубев, Борис Вайнзихер. Ольга Гусилетова и другие играют этот трогательный текст на одном дыхании, и все же особо хочется сказать о художнике, авторе сценографии Марии Трегубовой — без ее удивительного видения «внутреннего пространства читателя» ничего бы не получилось.

Всего лишь несколько сцен, пара страниц, отрывки спектакля, — но Крымов оживляет «Наш городок» снова и снова. Он снова и снова переигрывает эти несколько реплик. Он читает свою жизнь, пытаясь постичь ее смыслы.

Занятие это абсолютно непростое, иногда даже болезненное. Театр в театре, спектакль в спектакле — прием не новый, но у Крымова он доведен почти до абсурда. Снова и снова всматриваясь в автора и героя, — мы пытаемся вместе с ним понять, что же его так перевернуло, что так вздернуло, что оказало влияние на всю дальнейшую жизнь? В чем был знак, знамение?

Понять это, конечно, абсолютно невозможно, это ведь спектакль-призрак, спектакль-дух, театральное привидение, для самого Крымова в том числе. Но чем загадочней становится это видение из прошлого, тем больше мы понимаем метафизическую опасность и глубину этого занятия — чтения своей жизни. Для литературы это занятие вроде бы не новое, и даже совсем старое. «Читали» свою жизнь по-разному — исповедально, горько, ностальгически или победно-разные мемуаристы и разные писатели. Но в целом во всех этих книгах занятие это выглядит гармоничным, естественным, «легитимным» — ну а что еще делать человеку пишущему, как не описывать прошлое, в том числе свое?

В спектакле «Все тут» это занятие не выглядит ни гармоничным, ни «легитимным» — напротив. Очень много болезненных недомолвок, горьких нот в истории отца, Анатолия Эфроса. Невероятная горечь утраты, боль потери близких людей — и в то же время сарказм и ирония. Уход автора из любимого театра. Вообще потрясение, которое еще не кончилось, рана, которая еще не затянулась. Все это — здесь же, на сцене, рядом с персонажами из пьесы Уайлдера. Бессистемный, откровенный, невероятно густой монолог о себе. Театр о театре? Нет. Театр о себе.

...Вообще театр Крымова, как новое явление, рос постепенно.

Я бы сказал, он развивался, как растение. Дмитрий Крымов преподавал на курсе будущим театральным художникам. Развивал у ребят фантазию и творческую, так сказать, жилку. Вместе они сделали этюды к «Демону» Лермонтова. Из этого получился первый спектакль — зацепившись за детское, ученическое отношение к тексту, Крымов выстроил из импровизации — его ученики рисовали и вырезали из бумаги персонажей прямо на сцене — удивительный перфоманс, принесший ему настоящую славу.

Потом было разное. Платонов и Чехов, Пушкин и Толстой. Но меня всегда не оставляло ощущение, что спектакли Крымова — не «интерпретация», не попытка по своему пересказать великие тексты. Нет, это скорее — уход от них, защита от

стереотипа — то есть от привычного их понимания, рассказ о том внутреннем читателе, который реагирует на классический текст абсолютно по-своему, порой даже стыдясь и стесняясь своего взгляда.

В спектаклях Крымова не сразу появились действующие и говорящие актеры — предметы и артефакты всегда были важнее. Правда самой вещи, которая имеет свою историю, свой неотменяемый смысл и которая может быть гораздо важнее правды слова, сочетаясь с ним самым неведомым образом — была для Крымова важнее любой «драматургии» и любого «прочтения». Помню, как меня поразила «Корова» — спектакль по рассказам Платонова, сыгранный еще в том театре, откуда Крымов через несколько лет ушел, — на сцене была большая, подробная железная дорога. Мечта любого мальчишки нашего поколения — с вокзалом, домиком станционного смотрителя, переездами, семафорами, насыпью и деревцами. Мой друг Саша Фурман всю жизнь собирал такую дорогу, а потом, через много лет, когда показал ее своим детям, — они ничего не поняли. Игрушечная цивилизация ушла уже далеко вперед. Эта игрушечная уютная дорога из «Детского мира» — и Андрей Платонов? С его темными глубинами, трагизмом революционного апокалипсиса, с его языком «сокровенного человека», не знающего, зачем и откуда он взялся, — и вот этот мультяшный паровозик?

Но этот «паровозик» Платонова, как и корова, именно он и сделал спектакль — это была точная краска, привнесенная талантливым читателем.

Без этого «паровозика», без этих электрических проводов, без обожествления любой техники — по-настоящему Платонова не понять. Внимательное чтение... Это и есть театр Крымова.

Но стоит ли так же внимательно читать свою собственную жизнь? Вопрос, наверное, формулируется по-другому — а можно ли ее *не* читать?

Крымов задает в конце спектакля вопрос самому себе — а стоит ли возвращаться в прошлое? Ведь все в нем видится как сквозь мутное стекло, все неузнаваемо, и ты сам — не тот, каким себя представляешь.

Персонажи «Нашего городка» уходят в вечность, как и родные и близкие Крымову люди, и сам автор формулирует для себя границы понимания мира, понимания себя в мире: звук лопнувшей струны — это когда настоящее становится прошлым.

Мы живем в то время, когда невозможно становится говорить о вещах социальных, общечеловеческих, об истории и «системе» государства. Боль от происходящего вокруг так велика, что человеку-читателю остается разбираться только с самим собой. То есть читать свою собственную жизнь.

Summary

The cross-cutting theme and the protagonist of the issue in general is a wrier as a reader. Not rarer than at the peak of postmodernism the home writers refer now to the texts of their predecessors. More and more often the writer becomes the character. The idea of the issue is to illustrate this trend.

Georgij GRATT. Russian Styx

The house inhabited by the characters of this novel looks like the waiting hall. Only they are waiting not the train but the rendezvous with themselves. In the meantime they are meeting with the protagonists of their own books, getting lost in the countless rooms of the house and approaching to the essence of their earthly and posthumous existence.

Poetry

Reading poems about literature, writers and poets you feel the rooted affinity of the author with his or her precious teachers and literary heroes.

Vladimir GENDELSMAN violently sprouts from "Velimirov's Book". Natalya IZOTOVA sees "Akhmatova in profile, not knowing the quarantine". Dmitrij RUMYANTZEV is in the search of Aladdin. For Alina VITUKHNOVSKAYA "Hamlet is an attempt of the flight". And Bakhyt KENDGEEV is remembering the person of natural gifts Remont Priborov who had written "The New Didactic Poems".

Vladimir ERMOLAEV. Motion to the Sunset. Fragments of the novel

The protagonists of this novel are the namesakes of the ideologists of the literary movement Sturm und Drung – Herder and Hamann. They live in the towers named after them. One of them is writing the novel about the other and the author himself is trying to comprehend the process of conversion of the intention into the fantasy.

Olesya NICKOLAEVA. My Brother Bitov. An essay

From the pieces of memoirs a full-length portrait of the writer is being composed.

Alexander LYUSIJ, Elena LEPISHEVA and Elena SAFONOVA are reading and interpreting the novel of Marina Stepanova "The Garden".

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал **«Дружба народов»**

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию **«ДН»** можно купить на **http://дружбанародов.com**

Журнал продается в московских магазинах:

«Фаланстер» (Малый Гнездниковский пер., 12/27)

«Бункер» (Покровка, 17; ежедневно с 12 до 22)

Также журнал можно приобрести через интернет-магазин **Лабиринт.ру**

в любом городе страны.

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректура: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РФ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»

Цена свободная

Индекс 70250



8/2021

Читайте:

Женя Декина. Роман «Кропаль»:

«До сегодняшнего дня Рыжий Ванька был уверен, что, убив Хорька, испытает радость и облегчение: отомстил за братишку, восстановил справедливость. Но вместо удовольствия — опять эта липкая боль. Смерть Хорька ничего не изменила — братишка уже в колонии. Вернется, чтобы тихо спиваться, клянчить мелочь, воровать, потом примется за старое и сдолбится насмерть. Поздно. Но плюс все же был — еще долго школьникам никто дурь продавать не посмеет. До нового Хорька. И, может быть, в этот просвет между Хорьками успеет вырасти чей-нибудь братишка. Ванька думал так, но все равно не легчало. Научиться бы, как Фархат. Тому убить — что зуб выдернуть. С заморозкой...»

Ярослав Катаев. Рассказ «Каблуки»:

«Дети рождаются оранжевыми. Иногда желтыми. Иногда синими. Иногда белыми, как мука. Желтые, синие, белые крохотные эти тела вымазаны, испачканы кровью. Склизкой, вязкой, перемешанной с плацентой кровью, которая налипает на кожу, как размазанные бордовые сопли. Он хотел перерезать пуповину. Но было тройное обвитие, и врач велел ждать в коридоре. Когда же его позвали, ребенок был уже на руках медсестры. Маленький сморщенный лягушонок, он целиком уместился на двух ладонях. Ярко горели лампы, и он видел эти разводы крови на крохотном иссиня-желтом теле, волокна вязкой крови липли к этому телу, будто тина морская. И ему стало стыдно. За своего ребенка, что он такой лягушонок, что он такой поросенок, извалявшийся где-то в грязи...»

ISSN 0012-6756

Дружба народов • 2021 • №7 • 1—272